ББК 63.3(2)711 П 12
Richard Pipes THE RUSSIAN REVOLUTION

Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя борются с эпилептиками революции.

И. Г. Щегловитов

П 12 Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима. 1905—1917. — М, Захаров, 2005. — 480 с.
ISBN 5-8159-0526-7
ББК 63.3(2)711
ISBN 5-8159-0527-5 (т. 1)
© Richard Pipes, автор, 1990, 1994, 2005
© Игорь Захаров, издатель, 2005

Предисловие к русскому изданию 2005 года

Мои книги «Русская революция» и «Россия под большевиками» впервые вышли в свет в Соединенных Штатах в 1990-м и 1994 году соответственно. Был подписан контракт и на русское издание: с московским издательством «Книга», которое традиционно выпускало репринты, а в то время — после развала Советского Союза — начинало печатать и оригинальные книги, лишь бы они были интересными. Контракт предусматривал стотысячный тираж — цифра экстраординарная для исторической монографии в США, но для тогдашней России неудивительная. Перевод продвинулся уже довольно далеко, когда руководство «Книги» приняло решение перейти на выпуск книг и периодических изданий, посвященных проблемам бизнеса, и в связи с этим отказалось от планов издать мою работу.

Публикация моих трудов на русском языке стала казаться несбыточной мечтой, но тут на сцене появилось еще одно издательство — Российская политическая энциклопедия, или Роспэн, — оно подхватило эстафету и продолжило работу по подготовке моей работы к печати. Проблема здесь оказалась вот в чем. Это сегодня Роспэн — крупнейшая фигура среди тех, кто занимается публикацией исторических документов и монографий, а тогда оно только становилось на ноги, и его редакторский состав практически отсутствовал. Поэтому во всех трех томах, увидевших свет в промежутке между 1994-м и 1997 годами, содержалось множество опечаток и ошибок, включая смысловые.

Более того, я был немало удивлен, узнав, что тиражи, первоначально запланированные на цифру в сто тысяч экземпляров, сократились для «Русской революции» до пяти тысяч экземпляров. А «Россия под большевиками» оказалась изданной всего-то в двух тысячах экземпляров: в несколько раз меньше, чем тиражи этих же книг в США! И я не вижу здесь недоработки издателя. Как мне кажется, произошло вот что. После семидесяти лет барабанной пропаганды «идеалов Великого Октября» российские читатели потеряли всякий интерес к исторической правде о том, как начиналась и на чем строилась Советская Россия. Наоборот, они не хотели вообще вспоминать об этом. С примерно таким же явлением я встретился в Германии, когда по окончании Второй мировой войны далеко не каждый был готов читать про то, как отвратителен нацизм, или вступать в дискуссии на эту тему. Со временем положение изменилось, и сегодня Германия наводнена книгами, посвященными событиям 1933—1945 годов. Полагаю, то же самое произойдет и в России, когда повзрослеют поколения, которые сами никак не участвовали в коммунистическом варварстве.

Мне повезло: свой огромный проект рассмотрения четвертьвековой российской истории с 1899-го по 1924 год я претворял в жизнь в условиях, когда, с наступлением в 1985 году горбачевской перестройки, советский режим стал разрешать все больше и больше свободы. Все больше и больше архивных документов о тех или иных событиях появлялось на свет; советские историки, анализировавшие прошлое, начинали смотреть на проблемы все шире. Разрешалось все то, что было десятилетиями запрещено. А после того, как советский режим рухнул, не только российские, но и иностранные ученые были допущены практически ко всем документам русской революции. Ознакомление с закрытыми до того историческими архивами, такими как, например, Центральный Партархив, да и другими, заметно увеличило мой багаж знаний. Я часто ссылаюсь на эти архивы в третьей книге, «Россия под большевиками», которая в основном написана после 1991 года.

Почему же я посвятил столько сил и столько времени этой теме? Да потому, что я считаю российский опыт классическим примером того, к какой катастрофе приводит использование государственной власти для того, чтобы переделать саму суть и человека, и общества, людьми сформированного. А ведь именно это и было конечной целью большевиков. Вспомним Троцкого: это же он однажды заявил, что его партия ставит своей задачей ни больше ни меньше, как «перевернуть мир». Такая цель может выглядеть сколь угодно безумной, но для многих интеллектуалов она была (и остается до сих пор) неотразимо привлекательной. И чем дальше становилась эта недостижимая цель, тем более жестокими становились шаги большевистских

теоретиков, беспримерно убежденных в своей правоте. Эта убежденность заставляла их видеть в очередном — еще более безжалостном — насилии над человеком средство достижения своих целей. Кончилось все безоговорочной катастрофой: десятками миллионов умерших — от голода, от рабского лагерного труда, от расстрелов. Это в России. В Китае или, например, Камбодже случались события еще более жуткие.

Все это надо просто знать. Меня поражают результаты опросов общественного мнения, согласно которым граждане России считают Ленина и Сталина соответственно третьим и четвертым по значению из величайших деятелей истории человечества. Ленинские бюсты и статуи в полный рост, разбросанные по городам и весям России, ужасают меня. Равно как и прославленные в названиях улиц «Великие Октябри», и прочие советские реалии. И все продолжают вязнуть в этой бесконечной галлюцинации, оставаясь в плену болтунов, обещающих рай на земле. И будут вязнуть, пока человек не прочертит четкую границу, отделяющую его от прошлого, — так, как это сделали немцы своей денацификацией. Поэтому пусть выходящие в свет сегодня мои три тома, теперь избавленные от ошибок, найдут многочисленных читателей не только в России, но и в той ее части, которая раньше называлась «советскими республиками».

Хочу выразить глубокую признательность М.Д.Тименчику и Н.И.Кигаю, двум переводчикам, выполнившим эту трудоемкую — как с точки зрения объема, так и сложности — работу; а также издателю, г-ну Игорю Захарову, за то, что мои труды вновь доступны российскому читателю.

Ричард Пайпс, март 2005

Предисловие к первому русскому изданию

Приступая к работе над этой книгой, я с самого начала (уже в 1976 году) затаил мечту о встрече с русским читателем, ибо был убежден, что рано или поздно книга станет ему доступна, хотя загадывать, когда именно придет такой день, естественно, не решался. И вот теперь, когда вдруг стали сбываться мои чаяния, меня охватывает смешанное чувство гордости и смущения: ведь, представляя на суд русского читателя мое исследование, я сознаю, что пользовался преимуществом свободного доступа к источникам, которого были лишены мои коллеги в самой России.

Эта книга заведомо разочарует две категории читателей: тех, кто полагает, что события 1917 года были неизбежны и положительны, и тех, кому они представляются противоестественным отходом от верного исторического пути России. Но она найдет отклик у всех тех, чье сознание не зашорено и не сковано идеологическими установками социалистической или националистической ориентации. В течение долгих лет работы над этой книгой я твердо придерживался мысли, что события, в ней описываемые, были вовсе не неизбежными, однако настроения, которые за ними стояли, не могли остаться без последствий. И центральное место в моем труде занимают не идеи или безликие «массы», но личности и группы, чьи поступки и решения повлияли на судьбы миллионов. Русская революция для меня драма, трагические события которой проистекают из человеческих слабостей.

Перед лицом трагедии историк вовсе не обязан оставаться совершенно бесстрастным наблюдателем, и если иногда мне не удавалось скрыть собственного волнения, это не стоит воспринимать как свидетельство «ненаучного» подхода. Аристотель, учивший умеренности во всем, тут делал исключение, говоря, что «тех, кого не сердит то, что сердить должно, следует счесть дураками». И там, где между людьми царит очевидная несправедливость, самое место гневу.

Мои политические взгляды лучше всего описываются понятием либерал-консерватизма в том смысле, в каком Петр Струве применял его к себе и к Столыпину. Это понятие полагает свободу высшим человеческим благом, но сознавая, что оно может быть достигнуто лишь при условии уважения к государственным институтам, закону и частной собственности. И доведись мне жить в России до 1917 года, я, очевидно, стал бы октябристом. Естественно, мои взгляды влияют на мой подход к событиям прошлого.

События прошлого важно изучать не только для того, чтобы понять, как Россия пришла к своему нынешнему состоянию, но и для того, чтобы избежать старых ошибок в будущем, когда Россия найдет в себе силы восстать из руин, куда ввергло ее семидесятилетнее коммунистическое правление, и впервые в своей истории приступит к построению государства, покоящегося на народной воле.

Ричард Пайпс Кембридж:, Массачусетс, 10 декабря 1992 года

Я приношу нижайшую благодарность Национальному фонду гуманитарных наук и Фонду Смита Ричардсона, оказавшим мне неоценимую помощь в работе над этой книгой. Пользуюсь случаем выразить свою признательность также и Гуверовскому институту (Стэнфорд, Калифорния), любезно предоставившему мне возможность воспользоваться своим уникальным собранием материалов. Искренне благодарю В.В.Шелохаева за помощь в подготовке издания в России.

Вступление

Эта книга вместе с двумя следующими томами является, пожалуй, первой попыткой дать

исчерпывающий анализ русской революции — бесспорно, самого значительного события двадцатого столетия. В работах на эту тему нет недостатка, однако в центре внимания исследователей лежит обычно борьба за власть военных и политических сил в России в период с 1917-го по 1920 год. Но, рассмотренная в исторической перспективе, русская революция представляется событием гораздо более крупным, чем борьба за власть в одной стране: ведь победителей в этой битве влекла идея не более не менее как «перевернуть весь мир», по выражению одного из организаторов этой победы Льва Троцкого. Под этим подразумевалась полная перестройка государства, общества, экономики и культуры во всем мире ради конечной цели — создания нового человеческого общества.

Эти далеко идущие последствия русской революции не были столь очевидны в 1917—1918 годах, и объяснялось это отчасти тем, что на Западе Россия представлялась страной, лежащей где-то на периферии цивилизованного мира, а отчасти тем, что происходила революция в разгар небывало опустошительной войны. В 1917—1918 годах события в России за ее пределами казались проблемой исключительно местного значения, не имеющей никакого внешнего влияния и, во всяком случае, явно легкоразрешимой в мирное время. Все обернулось иначе. Отголоски русской революции раздавались в последующие годы во всех уголках земного шара.

События такого масштаба не имеют ни ярко выраженной исходной точки, ни четкого финала. Историки уже давно ведут споры о датировках событий средних веков, эпохи Ренессанса и Просвещения. Точно так же нет единой и бесспорной датировки периода русской революции. Определенно можно лишь сказать, что начался он не с падения царского режима в феврале — марте 1917 года и с победой большевиков в гражданской войне три года спустя не завершился. Революционное движение становится существеннейшей чертой российской истории уже с шестидесятых годов XIX века. Первая фаза русской революции, в узком значении этого слова (соответствующая конституционному периоду Французской революции 1789—1792 годов), началась с волнений 1905 года. Тогда с ними удалось справиться сочетанием репрессивных мер и определенных уступок, но через двенадцать лет, в феврале 1917 года, волнения выплеснулись наружу с еще большим размахом и завершились октябрьским большевистским переворотом. После трехлетней борьбы с внутренними и внешними врагами большевикам удалось установить непререкаемое господство над большей частью бывшей Российской империи. Однако для осуществления своих честолюбивых планов в области экономики, социального и культурного преобразования они еще были слишком слабы. Эта задача отодвинулась на несколько лет, в течение которых страна могла прийти в себя от потрясений. Революция возобновилась в 1927—1928 годах и завершилась лишь десять лет спустя ценою ужасающих испытаний и миллионов жизней. Можно даже сказать, что революция завершилась лишь со смертью Сталина в 1953 году, когда его преемники нерешительно и с оговорками взяли курс на политику, которую можно было бы охарактеризовать как контрреволюцию сверху, приведшую, как мы могли видеть, в 1990 году к отказу от доброй половины революционных завоеваний.

В широком смысле русская революция продолжалась целое столетие. Понятно, что столь длительный процесс, учитывая пространность российских территорий и численность населения, протекал чрезвычайно сложно. Самодержавная монархия, правившая страной с XIV столетия, уже не могла отвечать требованиям современности и постепенно уступала свои позиции радикальной интеллигенции, сочетавшей в себе исповедание крайне утопических идей с безграничной жаждой власти. Однако, как и все подобные, растянутые во времени процессы, он имел свой кульминационный период. По нашему мнению, кульминация приходится на четверть столетия, которое отсчитывается от начала широких волнений в российских университетах в феврале 1899 года и заканчивается со смертью Ленина в январе 1924 года.

Учитывая радикальные замыслы и устремления интеллигенции, захватившей власть в октябре 1917 года, я счел необходимым рассмотреть вопросы, обычно лежащие вне поля зрения исследователей, сосредоточивающих свое внимание на военно-политической борьбе за власть. Для русских революционеров власть была лишь средством к достижению их конечной цели: созданию нового человека. В первые годы своего правления им еще не хватало силы осуществить задачу, столь внеположную народным интересам, но они все же не отказались от своих попыток и тем самым заложили основу сталинского режима, который возобновил их с гораздо большим размахом. Я уделил должное внимание этим социальным, экономическим и культурным предпосылкам сталинизма, которые, еще весьма несовершенно воплотившиеся при Ленине, лежат в самом сердце русской революции.

Книга состоит из трех частей.

Первая часть, «Агония старого режима», описывает гибель царизма, кульминацией которой явилось восстание Петроградского гарнизона в феврале 1917 года, не только в удивительно короткий срок свергшего монархию, но и разорвавшего в клочья саму социальную и политическую ткань государства. Тем самым это исследование служит продолжением моей книги «Россия при старом режиме», в которой прослеживается развитие российского государства и общества от момента зарождения до конца XIX столетия.

Вторая часть книги, «Большевики в борьбе за власть», повествует о том, как партия большевиков захватила власть сначала в Петрограде, а затем и в губерниях Великороссии, установив по всей территории однопартийный режим с присущими ему аппаратом подавления и централизованной экономической системой.

Третья часть, «Россия под большевиками», охватывает период гражданской войны; в ней рассматриваются процесс отделения и присоединения вновь приграничных территорий, международная

деятельность советской России, культурная и религиозная политика большевиков и коммунистический режим в том виде, какой он принял в последний год ленинского руководства.

Невозможно переоценить трудности, встающие на пути историка, взявшегося за столь сложную и обширную тему. Однако трудности эти проистекают вовсе не из-за нехватки источников, как обычно полагают: при всей труднодоступности определенной доли документов (в особенности тех, которые обнажают кухню большевистских резолюций) материалов, по сути, более чем достаточно, и уж во всяком случае их больше, чем способен переварить один человек. Проблема историка заключается скорее в том, что русскую революцию, как одну из составляющих нашего времени, трудно оценивать хладнокровно. Советское правительство, контролировавшее основной корпус источников и начальствовавшее над историографией, желало, чтобы его источник легитимности — революция — описывался сообразно его же установкам. Десятилетиями целеустремленной подачи исторических событий оно сумело не только установить каноны описания событий, но и определить их выбор. Среди многих тем, запретных для историографии, — роль либералов в революциях 1905 и 1917 годов, заговорщический характер большевистского октябрьского переворота, категорическое неприятие большевистского режима через полгода после прихода его к власти всеми классами, включая и рабочих, отношения большевиков с Германией в 1917—1918 годах, военная кампания, направленная против русской деревни в 1918 году, и голод 1921 года, унесший более пяти миллионов жизней. Поэтому, приступая к созданию научной истории русской революции, исследователю предстоит не только переработать гигантскую массу фактического материала, но еще и сбросить с себя ту смирительную рубашку, в которой семьдесят лет содержала историческую науку официальная историография. Впрочем, в этом отношении Россия не составляет исключения. Во Франции тоже долгое время революция служила в основном пищей для политической полемики: научная кафедра по изучению ее истории была учреждена в Сорбонне лишь в 80-х годах прошлого века, то есть по прошествии целого столетия, во времена Третьей республики, когда на события 1789 года уже стало возможным взирать несколько отвлеченно. Но споры так и не утихли.

И все же при самом научном подходе истории современных революций не могут быть свободны от личных оценок: мне не приходилось читать исследований по французской или русской истории, которые не выдавали бы со всей очевидностью, несмотря на все заверения авторов в беспристрастности, на чьей стороне лежат их симпатии. И причину этого не приходится искать далеко. После 1789 года революции поставили самые жгучие этические вопросы: должно ли разрушать создававшиеся веками и испытанные временем современные институты ради новых идеальных систем; оправданно ли жертвовать благополучием и даже жизнью людей нынешнего поколения ради поколений грядущих и можно ли вообще превратить человека в идеальное существо, кладезь одних добродетелей? Закрывая глаза на эти вопросы, поднятые Эдмундом Бёрком уже два столетия назад, не разглядеть и не понять чувств и побуждений, которые двигали и теми, кто творил революции, и теми, кто противился им. Ибо в конечном счете топливом революционных пожаров, разгоравшихся после 1789 года, служила не политика, а вера.

Таким образом, научный подход требует от историка критической оценки источников и честного отношения к фактам, в них почерпнутым. Но это вовсе не означает этического нигилизма, то есть позиции восприятия происходящего как неизбежного и должного и, значит, стоящего за пределами добра и зла, — позиции, которую занимал Бердяев, утверждавший, что судить о русской революции можно не более, чем о наступлении ледникового периода или о падении Римской империи. Но русскую революцию произвели не слепые силы природы и не безликие массы, а вполне реальные личности, преследовавшие свои интересы. При всех стихийных чертах она явилась результатом преднамеренных действий, и потому не может не подвергаться оценке.

В последнее время некоторые французские историки призывают положить конец спорам о причинах и смысле Французской революции, объявив их «исчерпанными». Но явление, ставящее перед нами столь фундаментальные философские и моральные вопросы, неисчерпаемо. Ибо спор идет уже не только о том, что произошло в прошлом, но и о том, что может случиться в будущем.

Ричард Пайпс Чешэм, Нью-Хэмпшир, май 1989 года

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1905: ПЕРВЫЙ ГРОМ

В предисловии к автобиографической повести «Эшенден, секретный агент» Сомерсет Моэм объясняет, почему он предпочел описать события в литературной, а не в строго документальной форме: «Факт — плохой рассказчик. Он приступает к рассказу наудачу, как правило, задолго до начала, бредет как попало, перескакивает с пятого на десятое и обрывает на полуслове, не дойдя до завершения... Рассказу нужна основа. Основа рассказа — это, конечно, его сюжет. Сюжет обладает некоторыми неотъемлемыми свойствами. Он имеет начало, середину и конец... Это значит, что повествование начнется в определенном месте и в определенном месте закончится»[1].

Для историка непозволительная роскошь подгонять события под основу сюжета, и поэтому его повествование может и не иметь четкого начала и явного финала. Оно начинается произвольно и обрывается незаконченным.

Где начало русской революции? Петр Струве, ведущий либеральный публицист начала века, анализируя крушение Российской империи, приходит к выводу, что предпосылки гибели были заложены уже в 1730 году, когда императрица Анна Иоанновна преступила обещание придерживаться тех конституционных ограничений, которые аристократия навязывала ей условием вступления на трон. Существуют достаточно веские основания, чтобы полагать началом революции неудачную попытку восстания декабристов в 1825 году. Во всяком случае в 70-е годы XIX века революционное движение в России было уже вполне оперившимся; и вершители революции 1917 года видели в радикалах 70-х годов своих предтеч.

Если все же попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 года. Хотя эти возмущения были быстро усмирены обычным сочетанием уступок и репрессий, они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905—1906 годов. Первая русская революция была тоже в конце концов остановлена ценой крупных политических уступок, фатально ослабивших русскую монархию. И если полагать, что всякое историческое событие имеет свое начало, то началом русской революции вполне можно считать всеобщую университетскую забастовку февраля 1899 года.

И в этом отправном моменте была большая доля случайности. С 60-х годов XIX века российские высшие учебные заведения были основными центрами оппозиции царскому режиму: революционеры были либо учащимися, либо выходцами из университетов. В начале XX века в России было десять университетов и кроме того множество духовных, юридических, медицинских и инженерных училищ. Всего в них обучалось 35 тыс. человек. Подавляющая масса студентов принадлежала к низшим сословиям. В 1911 году наибольший контингент составляли дети духовенства, затем — чиновничества и крестьян. Потомственные дворяне представляли лишь 10%, то есть часть, равную процентной норме для евреев[2]. Имперскому правительству была необходима образованная элита, и оно способствовало развитию образования, однако предполагая при этом невозможное — свести обучение к усвоению строго профессиональных знаний и развитию природных дарований. Такой подход вполне устраивал большинство учащихся, которые — пусть и недовольные существующим положением — не желали отдаваться политике за счет академических занятий, что подтвердили события 1905 года. Однако стоило лишь властям переусердствовать в отношениях с радикальным меньшинством — что, как правило, и случалось, — как ряды студенчества сплачивались.

В 1884 году, в ходе контрреформ, предпринятых после убийства Александра II, правительство пересмотрело либеральный Университетский устав, введенный двадцать один год назад. Новые правила лишали университеты большой доли автономии и ставили их под непосредственный надзор министра народного просвещения. Было отнято и право избирать ректоров. Дисциплинарные полномочия вверялись постороннему лицу, не представляющему университета — государственному инспектору, наделенному полицейскими функциями. Студенческие организации, даже в форме землячеств, объединявшихся с единственной целью взаимопомощи, были объявлены нелегальными. Новые правила вызвали естественное недовольство студенчества, усугубившееся назначением в 1898 году на пост министра народного просвещения Н.П.Боголепова, профессора римского права, первого в этом ряду представителя академических кругов, однако человека сухого и черствого, консервативного во взглядах, получившего среди студентов прозвище «Каменный гость». И все же 80-е и 90-е годы были сравнительно спокойными для учебных заведений России.

Событие, нарушившее этот покой, было пустячным. 8 февраля* отмечался день основания Санкт-Петербургского университета. Обычно в этот день студенты после торжественного собрания, организованного администрацией, устремлялись веселыми толпами в центр города. И ничего, кроме юношеского задора, никакой политики за этим не стояло. Но в России в то время всякое публичное действо, официально не санкционированное, рассматривалось как акт неповиновения, то есть акт политический и крамольный. Намереваясь положить конец подобному нарушению порядка, власти потребовали от ректора, известного и популярного профессора истории права В.И.Сергиевича, предупредить студентов о недопустимости подобных увеселений. Это предупреждение, расклеенное по зданию университета и опубликованное в прессе, заслуживает того, чтобы его привести здесь полностью, как яркий пример полицейской ментальности режима:

* Если нет дополнительных указаний, то даты на период, предшествующий февралю 1918 года, даются нами в соответствии с юлианским календарем, действовавшим до того времени (ст. ст.) и отставшим от западного календаря в XIX веке на 12 дней, а в XX — на 13. С 1 февраля 1918 года даты даются по новому стилю (н. ст.) — то есть по западному календарю, принятому советским правительством с этого времени.

«8-го февраля, в день празднования годовщины основания Императорского С.-Петербургского университета, нередко происходят со стороны студентов нарушения порядка и спокойствия на улицах С.-Петербурга и в публичных собраниях. Беспорядки начинаются немедленно по окончании университетского акта шествием студентов большой толпой с пением песен и криками «ура!» по Дворцовому мосту и далее по Невскому проспекту. Вечером происходят шумные вторжения в рестораны, увеселительные заведения, в цирк, в Малый театр. Смежные с этими заведениями улицы бывают до глубокой ночи пересекаемы

возбужденной толпой, что дает повод к прискорбным столкновениям и вызывает неудовольствие публики. Общество столицы давно обратило внимание на эти беспорядки; оно возмущается ими и осуждает за них университет и все студенчество, тогда как в них участвует только небольшая его часть. Закон предусматривает такого рода беспорядки и за нарушение общественной тишины и спокойствия подвергает виновных аресту на 7 дней или денежному штрафу до 25 рублей. Если же в этих нарушениях будет участвовать целая толпа людей, которая не разойдется по требованию полиции, то упорствующие подвергаются: аресту до 1 месяца или штрафу до 100 рублей. А если необходимо будет прекратить беспорядок силою, виновные подвергаются аресту до 3-х месяцев или штрафу до 80 рублей. 8-го февраля полиция обязана охранять тишину и спокойствие совершенно так же, как и во всякий другой день года. Если произойдет нарушение порядка, полиция обязана прекратить его во что бы то ни стало. Закон предписывает даже употребление силы для прекращения беспорядков. Последствия такого столкновения с полицией могут быть очень печальны. Виновные могут подвергнуться: аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы. Считаю необходимым предупредить об этом гг. студентов. Студенты должны исполнять законы, охраняя тем честь и достоинство университета»[3].

Столь бестактное внушение привело студентов в негодование, и, когда 8 февраля Сергиевич взошел на трибуну, они встретили его свистом и шиканьем, не смолкавшим двадцать минут. Затем под пение «Гаудеамуса» и «Марсельезы» они устремились на улицу. Студенты попытались пройти в центр города по Дворцовому мосту, но, увидав, что он блокирован полицией, двинулись к Николаевскому. Однако и здесь их ожидала полиция. И тогда в начавшейся свалке, по утверждению студентов, полицейские стали избивать их нагайками, по утверждениям же полицейских, — это студенты забросали их снежками и ледышками.

Следующие два дня шли возбужденные студенческие сходки, на которых было принято решение бастовать до тех пор, пока правительство не даст заверений, что полиция впредь будет уважать их права[4]. До этого времени требования студентов, носившие вполне определенный характер, еще можно было удовлетворить.

Но вскоре студенческое движение оказалось под влиянием радикалов из нелегальной «кассы взаимопомощи», увидевших возможность политизировать студенческое возмущение. В кассе заправляли социалисты, из которых многие впоследствии сыграли ведущую роль в революционном движении; среди них были и будущие террористы Борис Савинков и Иван Каляев, убивший в 1905 году московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича, и Г.С.Носарь (Хрусталев), в октябре 1905 года возглавивший Петербургский Совет рабочих депутатов[5].

Лидеры кассы поначалу отвергали идею забастовки, считая ее ребячеством, но как только убедились, что движение пользуется широкой поддержкой, поспешили его возглавить. Для руководства забастовкой они создали организационный комитет и в поисках поддержки рассылали своих эмиссаров по другим учебным заведениям. 15 февраля к забастовке присоединился Московский университет, 17 февраля — Киевский, а вскоре закрылись все крупнейшие высшие учебные заведения России. Занятия прекратили 25 тыс. студентов. Забастовщики требовали покончить с дисциплинарным произволом и полицейскими репрессиями, но пока еще никаких чисто политических требований не выдвигали. Власти ответили арестом лидеров забастовки. Более либеральные чиновники, однако, стремились убедить власти, что студенческий протест не имеет политических целей и всего лучше с ним справиться, удовлетворив законные жалобы студентов. И действительно, студенты считали себя выступившими в защиту закона, а не против существующего строя[6].

Для выяснения обстоятельств беспорядков была назначена комиссия во главе с бывшим военным министром, почтенным генералом с безупречной репутацией консерватора, П.С.Ванновским. Пока комиссия вела разбор дела, студенты стали возвращаться в аудитории, вопреки протестам организационного комитета. В Петербургском университете проголосовали за окончание забастовки 1 марта, а четыре дня спустя возобновились занятия в Московском университете[7].

Разочарованные таким оборотом событий, социалисты из организационного комитета выпустили 4 марта манифест от имени всего студенчества, в котором события 8 февраля рассматривались «как единичный факт господствующего в России строя, основанного на произволе, безгласности и полной необеспеченности, или даже отсутствии самых необходимых, скажем более, священных прав развития человеческой личности». Манифест призывал «все действительно; оппозиционные элементы и классы русского общества организоваться для предстоящей борьбы, которая окончится только тогда, когда главная ее цель — свержение самодержавия — будет достигнута»[8]. По оценке полицейского служащего, манифест показал, что описанные события были не студенческими волнениями, а «прелюдией русской революции»[9].

В только что описанном эпизоде как в микрокосме отразилась трагедия имперской России, проявив ту огромную роль в революции, которую подчас играли вовсе не тяжкие условия существования, а непримиримость занятых сторонами позиций. Правительство сочло безобидное проявление юношеского задора крамолой. В ответ радикальная интеллигенция раздула недовольство студентов неправомочным обращением с ними полиции до полного отрицания государственного строя. Разумеется, абсурдно полагать, что студенческие недовольства, вызвавшие забастовку, нельзя было удовлетворить, не опрокинув существующего государственного уклада: ведь простое восстановление Университетского устава 1863 года явилось бы крупным шагом навстречу студенческим чаяниям, на что уповали и сами студенты, немедленно вернувшиеся к занятиям, как только была создана комиссия Ванновского. Техника превращения конкретных

жалоб в глобальные политические требования стала привычным оружием русских либералов и радикалов. Она отвергала компромиссы и частичные реформы: нельзя, как утверждалось, ждать изменений к лучшему, пока существующий режим не поколеблен, а это означало, что революция есть непременное условие всякого улучшения жизни.

Вопреки ожиданиям, комиссия Ванновского взяла сторону студентов, возложив вину за февральские события на полицию. Комиссия пришла к выводу, что забастовка не была ни заговорщической по происхождению, ни политической по духу, но явилась стихийным проявлением протеста студентов против обращения с ними. Ванновский предлагал вернуться к Университетскому уставу 1863 года, а также провести ряд конкретных реформ, включая легализацию студенческих обществ и землячеств, а также сокращение часов, посвященных изучению латыни, и послабление требований к знанию греческого. Власти не вняли рекомендациям Ванновского, предпочтя обратиться к карательным мерам[10].

29 июля правительство издало «Временные правила», согласно которым студенты, повинные в политических выступлениях, теряли право на отсрочку от воинской службы. Когда эти правила только появились, было широко распространено мнение, что они призваны лишь напугать смутьянов и никогда не будут применены на деле. Однако их все-таки применили.

В ноябре 1900 года, после полуторагодового затишья, вновь вспыхнули студенческие волнения, на сей раз в Киеве в связи с исключением двух студентов. Во многих университетах страны прошли митинги в поддержку киевского студенчества. 11 января 1901 года Боголепов, воспользовавшись вышеупомянутыми правилами, распорядился отдать в солдаты 183 студента Киевского университета. Когда из солидарности выступил С.-Петербургский университет, такому же наказанию подверглось 27 его учащихся. Месяц спустя студент П.В.Карпович выстрелил в Боголепова и смертельно ранил его: министр стал первой жертвой новой волны террора, в следующие годы унесшего тысячи жизней. Современники считали, что меры Боголепова и его гибель ознаменовали начало новой революционной эры[11].

Забастовки вспыхивали в университетах Харькова, Москвы и Варшавы. Сотни студентов были исключены в административном порядке. В 1901 году правительство, желая разрядить обстановку, назначило Ванновского, которому тогда было уже семьдесят восемь лет, на место Боголепова. Ванновский ввел изменения в университетские правила, легализовав студенческие общества и ослабив требования к знанию древних языков. Однако эти уступки не успокоили студентов, и студенческие организации отвергли их на том основании, что они только обнажили слабость режима и не затрагивали политических требований[12]. Ванновский не справился со студенческим движением и получил отставку.

С той поры российские высшие учебные заведения стали опорой политической оппозиции. В.К.Плеве, крайне консервативный директор департамента полиции, считал, что «почти все цареубийцы и большое число замешанных в политических преступлениях» были студентами[13]. По мнению кн. Е.Н.Трубецкого, либерального ученого, университеты были теперь насквозь политизированы и студенты все менее заботились об академических правах и свободах, увлекаясь лишь политикой, что делало невозможным нормальное течение академической жизни. В 1906 году Трубецкой описывал университетские волнения 1899 года как начало «общего кризиса государства»[14].

* * *

Волнения в высших учебных заведениях протекали на фоне возрастающих оппозиционных настроений в учрежденных в 1864 году органах местного самоуправления — земствах. В 1890 году, в эпоху контрреформ, права земств были урезаны, что вызвало такое же недовольство среди земцев, какое Университетский устав 1884 года вызвал у студентов. В конце 90-х годов земцы стали устраивать полулегальные совещания с политическим оттенком[15].

На этой стадии правительство еще стояло на распутье: оно могло либо посредством различных уступок примирить оппозицию, пока еще не выходящую за рамки образованных слоев общества, либо обратиться к еще более суровым репрессивным мерам. Пойти путем уступок было бы, очевидно, более мудро, ибо оппозиция представляла собой слабо связанные разнородные элементы, наиболее умеренные из которых можно было примирить ценою сравнительно небольших уступок и тем самым отторгнуть от элементов революционных. Репрессии же, наоборот, заставляли эти разнородные элементы теснее сплотиться и радикализировали умеренных. Твердая приверженность Николая II абсолютизму проистекала отчасти из верности данной при коронации клятве сохранить вверенный ему отцом режим, отчасти — из глубоко коренящегося убеждения, что интеллигенция не способна править империей. Не отвергая в принципе возможности определенных уступок, способствующих воцарению порядка, Николай II никогда не мог проявить требуемого терпения и, если сделанные им уступки не приносили немедленно ожидаемого результата, сворачивал с этого пути и обращался к полицейским мерам.

Когда в апреле 1902 года студент-радикал убил министра внутренних дел Д.С.Сипягина, было принято решение предоставить полиции практически неограниченные права. Назначение В.К.Плеве на место Сипягина послужило сигналом к началу политики неуклонной конфронтации с обществом, объявлением войны всем, кто ставил под сомнение принцип самодержавия. В период двухлетнего владычества Плеве Россия чуть было не превратилась в настоящее полицейское государство в нынешнем «тоталитарном» смысле.

Для современников Плеве представлял загадку: неизвестны были даже место и дата его рождения. Только недавно исследования архивов помогли пролить свет на его прошлое[16]. Немец по происхождению, он вырос в Варшаве, обучался на юридическом факультете, после окончания которого некоторое время служил присяжным поверенным. Начало его серьезной бюрократической карьеры относится к 1888 году, когда он возглавил новообразованный департамент полиции, призванный бороться с крамолой. Чтобы быть более ко двору в министерстве, где царили сравнительно просвещенные взгляды, он, говорят, даже выказывал себя либералом[17]. С этого времени он жил и работал в скрытом от глаз непосвященных мире политического сыска. Пользуясь приемами внедрения и провокации, он достиг блестящих результатов: насаждая своих агентов в революционные организации, он разрушал их изнутри. Он прекрасно разбирался в вопросах, касающихся государственной безопасности, обладал завидной работоспособностью и умел очень искусно приспосабливаться к ветрам перемен в придворных настроениях. Живое воплощение бюрократического консерватизма, он не желал предоставлять обществу права голоса в государственных делах. Какие-либо перемены (необходимость которых он в принципе признавал) должны были, по его мнению, происходить только по инициативе сверху, с высоты монаршего трона. Говоря словами его биографа, он был «не столько против перемен, сколько против потери влияния»[18].

Нетерпимый к общественной инициативе, он вполне допускал, что правительство может взять на себя заботу о проведении необходимых изменений в существующем государственном устройстве. Функции полиции, считал он, не ограничиваются лишь пресечением крамолы, но подразумевают и позитивную деятельность, выражающуюся в управлении теми силами, которые сама жизнь вынесла на поверхность и которые, предоставленные сами себе, могут подорвать политическую монополию правительства. В таком незаурядном распространении полицейских функций таится зерно современного тоталитаризма. Отказываясь видеть различия между умеренной (лояльной) и радикальной оппозицией, он невольно сплотил единый фронт, который под именем освободительного движения в 1904—1905 годах вынудил правительство уступить свои самодержавные прерогативы.

Вступив в должность, Плеве попытался склонить на свою сторону наиболее консервативное крыло земства. Но в земских депутатах он видел только государственных служащих, а во всяком проявлении независимости с их стороны — неповиновение. В стремлении превратить земство в департамент министерства внутренних дел Плеве не только потерял симпатии консервативных земцев, но и вызвал полевение земцев-конституционалистов, и к 1903 году ему пришлось отказаться от своей единственной попытки примириться с обществом.

Еще один мощный удар его отношениям с общественностью нанес ужасающий еврейский погром в Кишиневе, случившийся на Пасху 4 апреля 1903 года. Во время погрома погибло около 50 евреев, многие были изувечены, а их имущество разграблено и уничтожено. Плеве не делал секрета из своей нелюбви к евреям, оправдание которой он находил в том, что возлагал на евреев вину за революционное брожение в стране (по его уверениям, среди революционеров не менее 40% были евреями). Хотя нет прямых свидетельств того, что Плеве непосредственно подстрекал к погрому, тем не менее его широко известные антисемитские чувства и терпимость по отношению к антисемитским выступлениям дали бессарабским властям повод надеяться, что он не будет препятствовать погрому. Поэтому и они ничего не предприняли для его предотвращения. Это бездействие властей, а также скорое освобождение задержанных погромщиков укрепили широко распространенное в обществе мнение о причастности Плеве. Еще более расстроила отношения Плеве с обществом его русификаторская политика в Финляндии и Армении.

Итогом правления Плеве явился уникальный эксперимент с опекаемыми полицией профсоюзами, известный как «зубатовщина» (по имени С.В.Зубатова, начальника Московского охранного отделения). Это была дерзкая затея, ставившая целью оградить рабочих от влияния революционеров, удовлетворяя их экономические требования. Брожения среди рабочих наблюдались уже в 80-х годах прошлого века. Недавно народившееся рабочее движение было аполитичным и сводилось к требованиям улучшения условий труда, повышения жалованья и другим чисто тред-юнионистским проблемам. Но поскольку в России в то время всякая организованная деятельность, идущая снизу, признавалась нелегальной, то самые безобидные действия рабочих (как, например, объединение в кружки с целью взаимного вспомоществования и просветительства) обретали крамольный смысл. Это обстоятельство использовала радикальная интеллигенция, которая в 90-е годы разработала «агитационную» тактику, суть которой состояла в том, чтобы подстрекать рабочих к экономическим забастовкам в расчете на то, что неминуемые полицейские репрессии толкнут их на политическую борьбу[19].

Зубатов, бывший революционер, переродился в ярого монархиста. Под руководством Плеве он выработал технику психологической «обработки» революционной молодежи, склоняя ее к сотрудничеству с властями. Прекрасно зная проблемы, беспокоившие рабочих, он пришел к выводу, что сами по себе они с политической точки зрения безобидны и обретают политический характер лишь оттого, что действующее законодательство ставит их вне закона. Он считал неразумным для правительства выдавать вполне законные экономические претензии рабочих за политические преступления. В 1898 году он подал начальнику петербургской полиции Д.Ф.Трепову памятную записку, в которой высказывал мнение, что для того, чтобы выбить почву из-под ног радикальных агитаторов, нужно предоставить самим рабочим законную возможность влиять на свою судьбу. Он доказывал, что радикальная интеллигенция не представляет серьезной угрозы режиму, пока она не получит доступа к массам, а это возможно предотвратить, легализовав

экономические и культурные чаяния рабочих[20]. Зубатов сумел привлечь на свою сторону Трепова и других влиятельных сановников, включая вел. кн. Сергея Александровича, ультрареакционного московского генерал-губернатора, и при их поддержке стал организовывать официальные профсоюзы[21]. Это нововведение встретило противодействие со стороны тех, кто опасался, что покровительствуемые полицией организации не только станут помехой для деловых кругов, но и в случае производственных конфликтов поставят правительство в весьма щекотливое положение, обязывая его поддерживать рабочих в борьбе с администрацией.

Плеве относился к этой инициативе с недоверием, но Зубатов пользовался мощной поддержкой лиц, приближенных к государю. От этого эксперимента ожидали многого. В августе 1902 года Зубатов был назначен главой «Особого отдела» департамента полиции, что передавало в его распоряжение все службы охранного отделения. Сеть охранки, существовавшую в трех городах (С.-Петербурге, Москве и Варшаве), он раскинул и на губернские города, присвоив ей функции, прежде исполнявшиеся другими отделениями полиции. Он требовал от служащих, занятых политическим сыском, досконального знания трудов ведущих теоретиков социализма, а также истории европейских социалистических партий[22].

Судя по готовности, с которой рабочие вступали в полицейские профсоюзы, можно было заключить, что усилия Зубатова не пропали даром. В феврале 1903 года москвичи стали свидетелями невероятного зрелища: по городу проследовала к памятнику Александру II 50-тысячная рабочая процессия во главе с вел. кн. Сергеем Александровичем. Еврейские рабочие в черте оседлости, испытывавшие двойные трудности при создании своих организаций, массами вступали в зубатовские профсоюзы.

Эксперимент, однако, чуть не провалился летом 1903 года с началом в Одессе всеобщей забастовки. Когда Плеве отдал приказ подавить стачку, местный покровительствуемый полицией профсоюз потерпел крах: поддерживая хозяев, он обнажил истинную сущность всего предприятия. Через месяц Плеве уволил Зубатова, хотя и сохранил некоторые из созданных им рабочих союзов и даже санкционировал образование нескольких новых*.

* По свидетельству С.Ю.Витге (Воспоминания. М., 1960. С. 218—219), в июле 1903 года Зубатов признался ему, что Россия находится в революционной ситуации, с которой не справиться полицейскими мерами. Зубатов, кроме того, предсказал убийство Плеве. Это было передано Плеве, который освободил Зубатова от должности и выслал его во Владимир. В марте 1917 года, узнав об отречении царя, Зубатов покончил с собой.

* * *

В январе 1904 года Россия оказалась вовлеченной в войну с Японией. История возникновения русско-японского конфликта была в свое время искажена с небеспристрастной подачи сравнительно либерального министра финансов и ярого врага Плеве графа Витте, который возложил вину за него отчасти на реакционеров, стремившихся отвлечь внимание от внутренних проблем («Нам нужна небольшая победоносная война, чтобы отвратить революцию» — такое высказывание он приписывал Плеве), а отчасти на авантюристов, приближенных ко двору. Но с тех пор давно уже стало известно, что Плеве не жаждал войны и что авантюристы играли значительно менее существенную роль, чем это хотел представить Витте. В действительности, сам Витте несет большую долю ответственности за этот конфликт[23]. Как главный архитектор индустриализации России, он стремился освоить иностранные рынки сбыта промышленных товаров. На его взгляд, самые многообещающие экспортные возможности открывались на Дальнем Востоке, а именно в Китае. Витте, кроме того, предполагал, что Россия сможет служить основным транзитным путем для пассажиров и грузов из Западной Европы к Тихому океану — роль, которую у нее отнял пуск Суэцкого канала в 1869 году. Во имя своих замыслов он убедил Александра III проложить железнодорожный путь по бескрайним просторам Сибири. В 1886 году началось строительство Транссибирской магистрали, которая должна была стать самой протяженной в мире. Николай II, которому была близка идея дальневосточной миссии России, поддержал и продолжил это начинание. Русские притязания на Дальнем Востоке приветствовал кайзер Вильгельм II, надеясь отвлечь Россию от Балкан, где Австрия, главный союзник Германии, преследовала свои интересы. (В 1897 году, во время морской прогулки по Балтике, он просигналил Николаю: «Адмирал Атлантики приветствует Адмирала Тихого океана».)

В воспоминаниях, написанных им после ухода с политической арены, Витте утверждал, что хотя он действительно поддерживал энергичную политику России на Дальнем Востоке, но подразумевал чисто экономическое проникновение, и что его планы были извращены безответственными генералами и политиками. Эти утверждения, однако, не выдерживают критики в свете архивных свидетельств. Планы Витте на экономическое проникновение были взлелеяны в духе современного ему империализма: они подразумевали мощное военное присутствие, которое рано или поздно должно было неизбежно нарушить суверенитет Китая и войти в конфликт с империалистическими амбициями Японии. Это стало очевидно в 1895 году, когда у Витте возникла идея сократить путь Транссибирской магистрали, проведя ее по территории Китайской Маньчжурии. Подкупив китайского государственного деятеля Ли Хун-чжана и пообещав заключить с Китаем оборонительный союз, он добился разрешения китайского правителя. Соглашение об этом было подписано в июне 1896 года во время пребывания Ли Хун-чжана в Москве в качестве представителя Китая на коронации Николая II. Обе стороны обязались оказывать взаимную помощь

в случае нападения Японии на одну из них или на Корею. Китай позволял России проложить железнодорожный путь к Владивостоку через Северную Маньчжурию, подразумевая уважение к его суверенитету в этой провинции.

Россия немедленно нарушила условия договора, введя в Маньчжурию многочисленные полицейские и военные соединения и основав в Харбине якобы независимую базу. Во время Восстания боксеров (1900), носившего антизападный характер, Россия послала в Китай дополнительные войска. В 1898 году на основе долгосрочной аренды Россия завладела военно-морской базой в Порт-Артуре.

Эти шаги, вопреки стремлению Николая II к установлению миролюбивых отношений и неодобрению некоторых министров, вели Россию к столкновению с Японией. В ноябре 1902 года высокопоставленные русские сановники собрали в Ялте тайное совещание, на котором рассматривались жалобы Китая на нарушение Россией условий договора и проблемы, вызванные нежеланием иностранцев вкладывать средства в российские дальневосточные предприятия. Участники совещания пришли к общему мнению, что Россия сможет добиться своих экономических целей в Маньчжурии только путем энергичной колонизации; и чтобы русским утвердиться там, правительству следует крепче взять в руки этот регион. Все совещавшиеся, включая и Витте, единодушно признали, что России надо аннексировать Маньчжурию или, на самый худой конец, установить строгий контроль над ней[24]. В последующие месяцы военный министр А.Н.Куропаткин призывал к агрессивным действиям для защиты Транссибирской магистрали: он утверждал, что, если Россия не готова аннексировать Маньчжурию, ей придется уйти оттуда. В феврале 1903 года царь дал согласие на аннексию[25].

Япония, имевшая собственные интересы в этом регионе, пыталась предотвратить конфликт, предлагая договоренность о разграничении сфер влияния: Япония признает интересы России в Маньчжурии в обмен на признание ее интересов в Корее. К соглашению на этих основаниях можно было бы прийти, если бы в августе 1903 года царь не уволил Витте с поста министра финансов: с того момента дальневосточная политика России понеслась без кормчего по воле волн*. И в этот момент сильно осложнили отношения с Японией занимающие высокое общественное положение дельцы, заинтересованные в освоении корейских лесных богатств. Убедившись, что Россия не идет на переговоры, Япония к концу 1903 года решила начать войну. Хотя военные приготовления Японии не были тайной, в ответ в России ничего не предпринимали, желая возложить на неприятеля всю тяжесть вины за начало враждебных действий. Русские вообще относились к японцам крайне пренебрежительно: Александр III называл их «обезьянами, изображающими европейцев», а обыватели похвалялись, что закидают «макак» шапками.

* Отставка Витте явилась следствием давней нелюбви к нему царя и интриг Плеве, однако непосредственной причиной стало внезапное мистическое прозрение. Царь сообщил Плеве, что во время церковной службы он услышал голос Господа, внушавший «не откладывать то, что я уже собирался сделать» (Gurko V.I. Features and Figures of the Past. Stanford, Calif., 1939. P. 225).

8 февраля 1904 года без объявления войны японцы атаковали и взяли в осаду Порт-Артур. Потопив несколько русских военных кораблей и заперев остальные, они получили главенство на море, что дало им возможность высадить войска на Корейском полуострове. Дальнейшие бои велись на маньчжурской земле, вдоль корейской границы, далеко от ее крупных населенных пунктов и промышленных центров, что создавало дополнительные сложности в снабжении русских войск. При этом и Транссибирская магистраль к началу войны еще не могла действовать в полную силу из-за незавершенного отрезка пути вокруг озера Байкал. В каждой схватке обнаруживалось превосходство японцев в командовании и разведке.

Боевая организация эсеров, направлявшая террористические операции партии, поставила Плеве первым в списке намеченных жертв. Министр предпринимал все мыслимые меры предосторожности, впрочем, абсолютно уверенный, что для террористов он неуязвим, поскольку ему удался, казалось бы, невероятный трюк: внедрить одного из своих агентов, Евно Азефа, в боевую организацию. Азеф выдал полиции готовящееся покушение на Плеве, что повлекло арест Г.А.Гершуни, террориста-фанатика, основавшего группу и руководившего ею. По требованию Гершуни Азеф был назван его преемником. В 1903 и 1904 годах предпринималось еще несколько попыток совершить покушение на Плеве, но все они по той или иной причине проваливались. К этому времени некоторые эсеры стали подозревать Азефа, и чтобы спасти свою репутацию, а может быть, и жизнь, он решил организовать убийство Плеве. Эта акция, которой руководил Борис Савинков, оказалась успешной: бомба, брошенная в экипаж, разнесла в куски тело несчастного*.

* Об Азефе см.: Николаевский Б. История одного предателя. Н.—И., 1980. После убийства Плеве репутация Азефа среди революционеров поднялась неимоверно, и он смог вести двойную игру вплоть до разоблачения В.Л.Бурцевым при содействии директора департамента полиции А.А.Лопухина в декабре 1908 года, после чего бежал в Германию и занялся коммерцией. Умер он в 1918 году.

К моменту гибели Плеве стал уже предметом всеобщей ненависти. Даже либералы клеймили позором за это убийство не террористов, а правительство. Петр Струве, издававший в то время в Германии главный орган либеральной печати журнал «Освобождение», в заметке, посвященной смерти Плеве, много внимания

уделил общественным настроениям:

«Трупы Боголепова, Сипягина, Богдановича, Бобрикова, Андреева и ф.-Плеве не мелодраматические капризы и не романтические случайности русской истории; этими трупами обозначается логическое развитие отжившего самодержавия. Русское самодержавие в лице двух последних императоров и их министров упорно отрезывало и отрезывает стране все пути к легальному и постепенному политическому развитию. <...>

Страшно для правительства не физическое устранение Сипягиных и ф.-Плеве, а та создаваемая этими носителями власти общественная атмосфера негодования и возмущения, которая рождает из рядов русского общества одного мстителя за другим. <...>

Он [Плеве] думал, что самодержавие, которое ввело полицию во все и вся: законодательство, управление, науку, церковь, школу и семью превращает в полицию, сможет предписывать великому народу законы его исторического развития. А полиция ф.-Плеве не сумела даже предотвратить бомбы. Какой он был жалкий безумец!»[26]

Струве и другим либералам еще пришлось раскаяться за столь неосторожные высказывания, ибо очень скоро стало очевидно, что для террористов террор был образом жизни и направлен он был не только против самодержавия, но и против «путей к легальному и постепенному политическому развитию». Но тогда, в той напряженной атмосфере, когда политика стала делом всякого наблюдателя, террористы вызывали широкое восхищение как борцы за свободу.

Смерть Плеве глубоко взволновала царя, и его эмоциональные дневниковые записи об этом событии резко контрастируют с холодным безразличием, которое он проявит семь лет спустя в связи с убийством Столыпина — государственного деятеля несравненно более крупного калибра, но исповедовавшего убеждение, что Россия больше не может управляться традиционным самодержавием. Бомбы террористов за два года унесли жизни двух его министров внутренних дел, и царь снова стоял перед выбором между примирением и репрессиями. Сам он всегда склонялся в сторону репрессий и мог бы подобрать еще одного твердокаменного консерватора, если бы с фронта одна за другой не приходили дурные вести. 17 августа 1904 года японцы атаковали превосходящие силы основных русских войск под Ляояном, вынудив их отступить к Мукдену.

Это произошло 24 августа, а на следующий же день царь предложил министерство внутренних дел князю П.Д.Святополку-Мирскому. В спектре бюрократических политиков Святополк-Мирский стоял на противоположном Плеве полюсе: он был человеком крайне независимых взглядов и либерального темперамента и верил, что эффективно управлять Россией можно лишь в условиях, когда государство и общество будут взаимно уважать и доверять друг другу. Излюбленным словом его политического словаря было «доверие». Офицер Генерального штаба, служивший губернатором в различных губерниях и товарищем министра внутренних дел — то есть начальником полиции, он являл собой тип просвещенного бюрократа, гораздо более распространенный в имперской России, чем это обычно представляется. Он в корне отвергал методы Сипягина и Плеве и, дабы не служить под их началом в министерстве внутренних дел, предпочел занять пост генерал-губернатора Вильно.

Святополка-Мирского вовсе не обрадовало предложение государя. В его сомнениях немалую роль сыграли опасения за свою безопасность: уходя в отставку полгода спустя, он благодарил судьбу, уберегшую его от смерти на столь опасном посту[27]. Но, кроме того, он считал, что человек, исповедующий его взгляды, не может сотрудничать с двором. Во избежание недоразумений он изложил царю свое политическое кредо: «Вы меня мало знаете, может быть, вы считаете меня единомышленником с двумя предшествующими министрами; но я, наоборот, совершенно противных воззрений; несмотря на мою дружбу с Сипягиным, я ведь должен был уходить из товарищей министра по несогласию с политикой Сипягина. Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией, необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих, и тогда что?»[28]

Он указывал царю на необходимость установления веротерпимости, необходимость расширить компетенцию органов самоуправления (самого себя Святополк-Мирский называл «земцем»), свести понятия политического преступления к актам террора и подстрекательства к террору, улучшить положение национальных меньшинств, ослабить цензуру и привлечь земских представителей к участию в государственных делах на совещательных началах. Царь, которому вежливость не позволяла открыто противоречить, казалось, согласился со всеми доводами Святополка-Мирского[29].

Назначение Святополка-Мирского на самый важный административный пост в России было принято весьма благожелательно. Опытный чиновник, пользующийся широкой популярностью, он казался идеальным человеком для разрешения политического кризиса. Главными его недостатками были мягкость характера и нерешительность, и в силу этих черт он внушал оппозиции преувеличенные надежды на то, что правительство готово пойти на гораздо большие уступки, чем это было на самом деле. Мирский стал быстро завоевывать общественное признание. Он отменил телесные наказания, ослабил цензуру и восстановил на своих местах многих выдающихся земцев, разогнанных Плеве. Он выражал кроме того намерение устранить ограничения для старообрядцев и облегчить судьбу евреев. Сильное впечатление произвело его обращение к чиновникам министерства внутренних дел, опубликованное в прессе, в котором он говорил, что на своем опыте убедился, «что плодотворность правительственного труда основана на искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще»[30].

Казалось, встает заря новой эры. Земцы усмотрели в высказываниях Мирского приглашение созвать всероссийский съезд. Один из таких съездов проводился в 1902 году, но негласно, нелегально. Идея открытого земского съезда возникла в конце августа 1904 года, вскоре после назначения Мирского, и быстро снискала поддержку и либерального (конституционалистского), и консервативного (славянофильского) крыла движения. Первоначально повестку дня планировалось ограничить земскими вопросами. Но высказывания Мирского внушили земцам мысль, что правительство желало бы узнать их взгляды по государственным вопросам, и круг предлагаемых к обсуждению на предстоящем совещании тем соответственно расширился. Земцы понимали, как важно закрепить законом недавние перемены в правительственной политике, ведь в конце концов и сам Мирский может оказаться орудием в руках «темных сил» — придворной камарильи в первую очередь — и будет устранен, как только исполнит свою роль миротворца. По словам Д.Н.Шипова, наиболее известного из земцев-консерваторов, многие из его товарищей понимали, «что доверие к обществу провозглашено пока только лицом, поставленным во главе министерства вн. дел, но необходимо, чтобы это чувство доверия отдельного члена правительства было усвоено всей государственной властью и облекалось в правовую норму, обставленную гарантиями, исключающими возможность такой случайности, как перемена лиц во главе государственного управления. Насущнейшею потребностью переживаемого времени, — указывалось далее, — является правильная постановка законодательной деятельности и предоставление участия в ней народному представительству»[31].

Такие настроения порождали мысли о конституции и законодательном парламенте. Некоторые консервативные земцы считали, что это слишком, но когда их уверили, что правительство хочет услышать весь спектр мнений, они согласились внести конституционные вопросы в повестку дня будущего съезда, назначенного на начало ноября.

Узнав о желании земцев созвать всероссийское совещание, Мирский не только одобрил их планы, но испросил и получил на то благословение царя. Он поступал так, искренне полагая, что собрание ограничится земскими проблемами, как первоначально и планировалось, и невольно ввел в заблуждение царя. Узнав же об изменении повестки дня, он потребовал от Шилова отложить совещание на несколько месяцев. Шипов считал, что сделать это уже невозможно. Тогда министр потребовал, чтобы собрание перенесли в Москву. Когда и в этом ему отказали, Мирский согласился с проведением съезда, но только под видом «частного совещания». Его вынужденное согласие создало ложное впечатление, будто правительство готово обсуждать идею конституционного и парламентского строя.

Предвидя, что Земский съезд выдвинет конституционный проект, Мирский попросил С.Е.Крыжановского, чиновника своего министерства, составить собственный проект. Он предполагал составить программу, которая будет включать максимум оппозиционных требований в разумно приемлемых для царя пределах[32].

В этой атмосфере больших ожиданий оппозиционные группировки почувствовали, что настало время объединить усилия. 17 сентября представители конституционалистского «Союза освобождения» тайно провели встречу в Париже с эсерами, а также с польскими и финскими националистами с целью создания единого фронта борьбы с самодержавием*.

* Galai Sh. The Liberation Movement in Russia, 1900—1905. Cambridge, Mass., 1973. P. 214—219; Пайпс Р. Струве: левый либерал, 1870—1905. М., 2001. С. 508—511. Социал-демократы, которые сами стремились стать во главе революции, не присутствовали, но Азеф был.

Парижское совещание стало прелюдией большого Земского съезда, состоявшегося в Петербурге 6—9 ноября 1904 года. Последнее событие по историческому значению можно сравнить с французскими Генеральными штатами 1789 года. Эта аналогия не ускользнула и от внимания некоторых современников[33].

Съезд проходил на частных квартирах, одной из которых была квартира ВД.Набокова (отца будущего писателя) на Большой Морской[34]. Приехавших в столицу делегатов к месту назначения направляла полиция.

На голосование был выставлен ряд предложений, из которых самое важное и вместе с тем самое спорное призывало к созданию выборного законодательного органа с правом голоса в обсуждении бюджета и правом контроля за законностью действий администрации. Консерваторы возражали на том основании, что политическая демократия чужда русской исторической традиции, и выступали за учреждение строго консультативного органа по образцу Московских земских соборов, который всеподданнейше сообщал бы государю императору свое мнение по подвластным ему вопросам, но не вмешивался в законодательство. Они потерпели поражение: резолюция в пользу законодательного народного представительства прошла 60 голосами против 38. Почти единодушно, впрочем, признавалось, что новый орган должен участвовать в обсуждении бюджета и контролировать бюрократию[35]. Впервые в истории современной России законно заседающее собрание — хотя и под видом «частного совещания» — приняло решение, призывающее к введению конституции и парламента — неважно, что в самой резолюции эти запрещенные слова не употреблялись.

В последующие несколько недель текст принятой Земским съездом платформы распространялся по многочисленным общественным и частным организациям, которые собирались для выработки своей позиции по государственным вопросам, и среди них Московский городской совет, различные деловые общества и студенты почти всех высших учебных заведений России[36]. Чтобы важные известия

распространились как можно более широко, «Союз освобождения» развернул кампанию банкетов — по французской модели 1848 года, — на которых поднимались тосты за свободу и конституцию[37]. Первый из таких банкетов состоялся в Петербурге 20 ноября, в сороковую годовщину судебной реформы; 676 литераторов и представителей интеллигенции поставили подписи под петицией с требованием демократической конституции и Учредительного собрания. В ноябре и декабре 1904 года подобные мероприятия прошли и по другим городам. Социалистическая интеллигенция, поначалу взиравшая пренебрежительно на эти «буржуазные» затеи, в конце концов стала принимать в них участие и радикализировала резолюции. Из 47 банкетов, сведения о которых дошли до нас, 36 вторили решениям Земского съезда, тогда как 11 пошли дальше, требуя Учредительного собрания[38]. Местные власти, сбитые с толку противоречивыми вестями из столицы, не вмешивались, хотя Мирский и рассылал секретные циркуляры с требованием не допускать подобных собраний и разгонять их в случае нарушения запретов правительства[39].

По окончании работы Земского съезда Шипов сообщил Мирскому о содержании его резолюций. В том же месяце кн. Сергей Трубецкой, ректор Московского университета, представил по просьбе Мирского проект реформ; Мирский передал проект Крыжановскому и директору департамента полиции Лопухину, чтобы они должным образом его подготовили для подачи царю[40].

Проект Трубецкого—Крыжановского—Лопухина, который Мирский представил царю в начале декабря 1904 года, был умело составлен в расчете на консервативные инстинкты царя[41]. Предлагаемым конституционным и парламентским уступкам авторы постарались придать вид не столько революционных нововведений, каковыми они были в действительности, сколько возврата к старинной практике. Реформы Александра II, писали они, покончили с вотчинным укладом в России, введя понятие общественного интереса. Они «знаменовали конец старого вотчинного уклада и вместе с ним персонифицированного представления о правлении. Россия перестала быть личным имуществом и вотчиной ее правителя <...> «общественный интерес» и «общественное мнение» предполагают появление обезличенного государства <...> со своей собственной политической организацией, независимой от личности правителя»[42]. «Законность» объявлялась вполне совместимой с самодержавием, потому что царь оставался единственным источником законов, которые он мог и отменять по своей воле. Предлагаемый представительный орган — чья роль сводилась к совещательным функциям — был представлен как возвращение ко дням «истинного самодержавия», когда цари прислушивались к голосу своего народа.

Проект Мирского обсуждался высшими сановниками во главе с царем 7 декабря. Наиболее спорным был пункт о введении в Государственный совет — в то время исключительно назначаемый сверху — представителей, избранных земством. Это была весьма скромная мера, однако она вносила выборное начало в политическую систему, в которой законодательство и управление были исключительной прерогативой монарха и назначаемых им чиновников. Отстаивая свой проект, Мирский пояснил, что эта мера «обеспечит более чем самые решительные полицейские меры, внутреннее успокоение»[43]. Как вспоминал Витте, совещание было очень эмоциональным, большинство министров поддержали Мирского. Главным противником выступил К.П.Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода и наиболее влиятельный из консерваторов, которому введение выборных представителей в государственные институты казалось фатальной ломкой традиционной политической системы России. Выслушав обе стороны, царь согласился со всеми предложениями Мирского. Присутствовавшие на совещании расходились с чувством, что были свидетелями важнейшего события русской истории[44].

По просьбе царя Витте подготовил соответствующий документ для подписания. Однако царь засомневался: он нуждался в новых заверениях в пользу принятого решения. Прежде чем придать реформам силу закона, он решил посовещаться с вел. кн. Сергеем Александровичем и Витте. Оба они советовали ему воздержаться от введения в Государственный совет выборных представителей: великий князь — в силу своих убеждений, Витте, всего вероятнее,— из карьерных соображений. Долго уговаривать царя не пришлось, и он с большим облегчением вычеркнул этот пункт. «Да, я никогда, ни в каком случае, — сказал он Витте, — не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа»[45].

Узнав о последней перемене монаршей воли в отношении ключевого пункта своего проекта, Мирский пал духом. Убежденный, что все потеряно, он решил просить отставку, но царь убедил его не уходить.

12 декабря 1904 года правительство обнародовало указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», который, вопреки названию, провозглашал самые разные перемены, но только не в политической сфере[46]. Целый ряд мер был направлен на улучшение положения крестьянства. Другие касались гражданских и судебных прав населения. Правительственные служащие объявлялись ответственными за нарушения. Сфера деятельности земств расширялась, и земские структуры вводились в низшие административные органы. Объявлялось государственное страхование рабочих, равенство всех перед законом, веротерпимость и ослабление цензуры. Должны были претерпеть изменения и чрезвычайные правила 1881 года об ограничении гражданских прав в областях, объявленных на особом положении усиленной или чрезвычайной охраны.

Все это можно было только приветствовать. Однако отсутствие каких бы то ни было политических уступок было воспринято как нежелание внять требованиям Земского съезда, прошедшего в ноябре 1904 года[47]. И по этой причине Указ от 12 декабря едва ли мог способствовать разрешению государственного

кризиса, носившего прежде всего политический характер.

Для разработки законных оснований к внедрению Указа от 12 декабря были назначены специальные комиссии, что, однако, не имело результатов, так как ни царь, ни двор не жаждали перемен и предпочитали тянуть время. Быть может, они уповали на чудо, ведь теперь, когда военный министр Куропаткин лично возглавил командование русскими войсками на Дальнем Востоке, возродились надежды на решительную победу над Японией. 2 октября русский Балтийский флот выступил на выручку Порт-Артура.

Но чуда не случилось. Напротив, 20 декабря 1904 (2 января 1905) года Порт-Артур был сдан врагу. Японцы взяли пленными 25 тыс. человек и захватили остатки Тихоокеанского флота России.

* * *

В 1904 году народные массы еще сохраняли спокойствие, революционные требования к правительству предъявляла только образованная элита — студенты и другая интеллигенция, а также помещики-земцы. Основные настроения были либеральными, то есть «буржуазными». И социалисты в этих событиях были лишь на второстепенных ролях агитаторов и террористов. Основная масса населения — крестьяне, а также и рабочие — наблюдала политические столкновения со стороны. Как писал 2 января 1905 года Струве, «революционного народа в России еще нет»[48]. Пассивность народных масс вдохновляла правительство, так сказать, не уступать своих позиций без боя, в уверенности, что, пока требования политических перемен исходят от «общества», их еще можно отклонить. Но 9 января, в день расстрела рабочей демонстрации в Петербурге, положение драматически переменилось. С этого дня, вошедшего в историю под именем «Кровавого воскресенья», революционное пламя разнеслось по всем слоям населения, превратив революцию в явление массовое; и если Земский съезд 1904 года был русскими Генеральными штатами, то «Кровавое воскресенье» стало Днем взятия Бастилии.

Однако при всем том было бы неверно относить начало революции 1905 года к 9 января, ибо к тому времени правительство уже более года выдерживало настоящую осаду. Ведь и самого «Кровавого воскресенья» не было бы, не будь той атмосферы политического кризиса, которую создали в стране Земский съезд и кампания торжественных обедов в его поддержку.

Следует вспомнить, что в 1903 году Плеве отстранил Зубатова, но не прекратил эксперимента с опекаемыми полицией профсоюзами. И ряд таких рабочих союзов организовал с позволения Плеве священник Георгий Гапон[49]. Выходец из малороссийских крестьян, рукоположенный в священники, он искренне сочувствовал тяготам рабочих и полностью разделял их взгляды. Его вдохновляло учение Льва Толстого, и он достаточно долго противился усилиям властей склонить его к сотрудничеству. С благословения столичного градоначальника И.А.Фулона он создал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» с целью нравственного и культурного воспитания рабочего класса. (Он считал религиозные вопросы важнее экономических и допускал в свое собрание только христиан.) В феврале 1904 года Плеве одобрил создание гапоновского союза. Собрание пользовалось большой популярностью и открывало отделения в различных районах города: утверждалось, что к концу 1904-го оно уже насчитывало 11 тыс. членов и 8 тыс. кандидатов[50], затмив санкт-петербургскую социал-демократическую организацию, весьма незначительную по численности и к тому же состоявшую в основном из студентов. Полиция наблюдала за деятельностью Гапона со смешанным чувством, ибо по мере роста его организаций он стал проявлять тревожащие признаки независимости, вплоть до попытки без соизволения сверху открыть отделения своего Союза в Москве и Киеве. Трудно сказать, что было на уме у Гапона, но его нельзя считать просто «агентом полиции» в привычном понимании этого термина, то есть человеком, предающим своих товарищей ради денег, — он несомненно искренне сочувствовал рабочим и разделял их требования. В отличие от обыкновенного полицейского провокатора он не скрывал своих связей с властями: градоначальник Фулон открыто участвовал в некоторых его начинаниях[51]. И, по правде говоря, к концу 1904 года было уже трудно определить, использует ли полиция Гапона или Гапон — полицию, ибо к этому времени он уже стал самым видным рабочим лидером в России.

Поначалу Гапон заботился лишь о духовном благосостоянии своей паствы. Но к концу 1904 года, под впечатлением от Земского съезда и сопровождавшей его общественной кампании поддержки, он пришел к убеждению, что рабочим следует вместе с другими сословиями углубиться в политику[52]. Он попытался установить связь с социал-демократами и социалистами-революционерами, но они оттолкнули его. В ноябре 1904 года Гапон вошел в сношения с петербургской организацией «Союза освобождения», которая не могла не воспользоваться счастливой возможностью вовлечь его в свою деятельность. Как вспоминал Гапон, «тем временем в ноябре состоялся Земский съезд, за которым последовала петиция российских адвокатов даровать закон и свободу. Я не мог не чувствовать, что день, когда свобода будет вырвана из рук наших вечных угнетателей, близок, однако в то же время ужасно боялся, что, не имея поддержки со стороны масс, попытка может потерпеть неудачу. Я встретился с несколькими либералами-интеллигентами и спросил, что, по их мнению, могут сделать рабочие, чтобы помочь освободительному движению. Они посоветовали мне тоже составить петицию и предъявить ее правительству. Но я не думал, что такая петиция может что-нибудь дать, если она не будет сопровождаться большой промышленной стачкой»*.

* Gapon G. The Story of My Life. N. Y., 1906. P. 144. «Либералы-интеллигенты», о которых упоминает Гапон, были

Екатерина Кускова, ее гражданский муж С.Н.Прокопович и В.Я.Богучарский (Яковлев).

Свидетельства Гапона не оставляют сомнения, что челобитная рабочих, приведшая к кровавой расправе, была задумана советчиками из «Союза освобождения» как часть кампании торжественных обедов и профессиональных съездов. В конце ноября Гапон согласился ознакомить свое Собрание с резолюциями Земского съезда и распространить среди его членов публикации «Союза освобождения»[53].

Случай объявить крупную забастовку представился 20 декабря 1904 года в связи с увольнением четырех рабочих Путиловского завода — членов Собрания. Поскольку на Путиловском заводе недавно создалась соперничающая рабочая организация, рабочие увидели в этом увольнении гонения на их Собрание и поддержали забастовку. К ним присоединились другие заводы. 7 января бастовало около 82 тыс. рабочих, а на следующий день их число возросло до 120 тыс. В Петербурге уже не действовало электричество и не выходили газеты, все общественные заведения закрылись[54].

По примеру земской кампании подачи петиций Георгий Гапон 6 января назначил на следующее воскресенье (то есть 9 января) выступление процессией к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю челобитную от рабочих. Как и все документы, составленные «Союзом освобождения» или при его участии, петиция обобщала и политизировала конкретные и вполне неполитические требования, провозглашая, что нельзя ждать улучшения положения рабочих без радикальных изменений во всей политической системе. Написанная выспренним слогом, имитирующая простонародную речь, петиция содержала требование Учредительного собрания и другие, заимствованные из программы «Союза освобождения»[55]. Копии челобитной Гапон разослал высшим сановникам. Подготовка к демонстрации разворачивалась вопреки сопротивлению социалистов.

Поскольку собрание было официально санкционировано, у рабочих не возникало и тени сомнения, что их демонстрация пройдет мирно и организованно. Но правительство забеспокоилось, что процессия из десятков тысяч рабочих может выйти из-под контроля и представит угрозу общественному порядку. В глазах властей Гапон был не столько агентом полиции, сколько «убежденным до фанатизма социалистом», пользующимся покровительством полиции для достижения своих собственных революционных целей. Опасались также и того, что беспорядками воспользуются социалисты для осуществления своих задач[56]. 7 января Фулон призвал рабочих воздержаться от выступления, пригрозив в случае необходимости применить силу. На следующий день был отдан приказ об аресте Гапона, но ему удалось скрыться.

В тот же вечер, 8 января, Мирский созвал экстренное совещание министров и высших чиновников, с которыми смог связаться, — собрание слишком случайное, чтобы разрешить ситуацию, чреватую глобальным кризисом. Было решено демонстрацию не запрещать, но поставить пределы, за которые она не должна выходить. Путь к Зимнему дворцу по этому плану должен был быть отрезан. Если не удастся остановить демонстрантов убеждениями, стоящим в оцеплении войскам следует открыть огонь. Однако все были уверены, что применять силу не придется. Царь отнесся к 120-тысячной рабочей стачке и намечавшейся демонстрации как к событию тривиальному; накануне страшной бойни он записал в дневнике: «Во главе союза какой-то священник-социалист Гапон». Уверенный, что ситуация контролируется, он уехал в Царское Село.

Фулон, ответственный за безопасность в столице, хотя и имел опыт службы в жандармерии, человеком был мягким, интеллигентным, по словам Витте, чуждым полицейским приемам, ему бы больше подошло заведовать петербургскими институтами[57]. Но согласно принятым накануне решениям он расставил вооруженные войска на ключевых позициях в городе.

Когда в воскресенье утром рабочие стали сходиться к шести сборным пунктам, стало очевидно, что столкновения не избежать. Демонстранты были охвачены религиозным подъемом и готовы принять мученическую смерть: накануне вечером некоторые из них написали прощальные письма. Колонны двигались крестным ходом — с иконами и пением. В центре города прохожие, завидев процессию, снимали шапки и крестились, некоторые вливались в ее ряды. Звучал благовест. Полиция не вмешивалась.

В конце концов демонстранты наталкивались на военное оцепление. В некоторых местах войска давали предупредительный залп в воздух, но толпа, теснимая задними рядами, напирала. Солдаты, не зная, как себя вести в подобной ситуации, реагировали единственным доступным им способом — палили без разбору в надвигающуюся массу. Самая ужасная свалка произошла у Нарвских ворот, в юго-западной части города, где во главе колонны шел Гапон. Войска дали залп, и демонстранты бросились на землю, было убито 40 человек. Гапон вскочил на ноги и закричал: «Нет у нас больше Бога, нет больше царя». Но и в других частях города шли расстрелы. Хотя журналисты говорили о 4600 убитых и раненых, по самым точным оценкам было убито 200 человек и ранено 800*. Немедленно беспорядки распространились по всему городу. К вечеру начались грабежи, особенно оружейных и винных магазинов[58].

* КЛ. 1922. № 2/3. С. 56 (см. также: Galai. Liberation Movement. P. 239). Официальные данные: 130 убитых и 299 раненых. См.: Панкратова А. М./ /Революция 1905 — 1907 гг. в России: Документы и материалы. Т. 4. Кн. 1. М., 1961. С. 103; 811, сн. 12.

«Кровавое воскресенье» вызвало волну возмущения, прокатившуюся по всей стране, и навсегда разрушило в глазах народных масс образ «доброго царя».

18 января получил отставку Мирский, не услышав на прощанье даже слова благодарности из царских уст: он был первым министром внутренних дел за весь столетний период с момента учреждения этого поста, ушедшим в отставку без почетного титула или хотя бы ордена[59]. Пришедший ему на смену бесцветный бюрократ АХ.Булыгин тоже изо всех сил, пока это допускали приличия, уклонялся от чести носить титул министра. Истинная власть перешла в руки Д.Ф.Трепова, который сменил Фулона на посту петербургского градоначальника. Бравый офицер, пользующийся безграничным доверием монарха, ценившего его искренность и бескорыстие, он в первые месяцы по вступлении в должность оказывал на своего господина весьма благотворное влияние, убедив его пойти на уступки, которых тот предпочел бы избежать*.

* Гапон бежал за границу и был там до амнистии, объявленной после Октябрьского манифеста. По возвращении в Россию был убит эсерами по распоряжению Азефа. После 9 января, несмотря на протесты рабочих, все созданные им союзы были закрыты.

Вслед за трагическими событиями по всей стране прошли митинги протеста: земства, городские советы, общественные организации в один голос в самых резких выражениях проклинали жестокость правительства. Рабочие ответили стачками. В январе 1905 года более 400 тыс. рабочих не вышли на работу — это была крупнейшая стачка в России[60]. Студенты университетов покинули аудитории, в некоторых местах беспорядки коснулись и низших учебных заведений. 18 марта 1905 года власти распорядились закрыть до конца учебного года все высшие учебные заведения. Праздные студенты пополняли ряды радикалов. Беспорядки были особенно острыми в приграничных регионах. 13 января во время всеобщей забастовки в Риге в столкновении с русскими войсками погибли 70 человек. На следующий день забастовка в Варшаве унесла жизнь 93 человек; еще 31 человек был убит там во время празднования 1 мая (18 апреля)[61]. Самые кровавые события происходили в Одессе в середине июля, когда к бастующим рабочим присоединились матросы мятежного броненосца «Потемкин». Здесь, как говорят, погибли 2 тыс. человек и были тяжело ранены 3 тыс.[62] Нередко ситуацией всеобщего беспорядка умело пользовались уголовные элементы. В Варшаве, например, еврейские налетчики под видом «анархо-коммунистов» врывались в зажиточные дома и «экспроприировали» деньги и все, что попадалось на глаза [63].

Россия стояла на краю пропасти. Казалось, наружу вырвались накипевшие и не находившие себе выхода под гнетом царившего прежде страха — злоба, зависть и ненависть всех мыслимых оттенков. Теперь, когда народ утратил уважение к правительству, ничто не удерживало общество от разложения: ни гражданское чувство, ни патриотизм. Но державой делала Россию государственная структура, а не наоборот. И для многих русских было тяжело наблюдать, как хрупки оказались скрепы, связывавшие империю в единое целое, и как сильны раздирающие ее силы.

Как обычно в таких случаях, первой реакцией правительства на внутренний кризис (которой часто все и кончалось) было назначение комиссии для выяснения причин недовольства рабочих. Комиссия под председательством сенатора Н.В.Шидловского предприняла беспрецедентный шаг, пригласив к участию в ней представителей рабочих. Во вторую неделю февраля 1905 года на петербургских заводах прошли выборы, в которых участвовало 145 тыс. рабочих; избранные ими делегаты, в свою очередь, выделили представителей в комиссию. Несмотря на столь многообещающее начало, комиссия окончилась ничем, потому что, в ответ на предъявленные рабочими, но неприемлемые с точки зрения властей требования, комиссия была распущена. И все же нельзя не видеть глубокого исторического значения этого события. Ведь это не только были «первые свободные рабочие выборы» в России [64], но и «впервые в российской истории это были выборные представители от большой рабочей организации <...> а не просто рабочие различных заводов»[65]. Признав рабочих самостоятельной социальной группой со своими собственными интересами, правительство заложило основу того, из чего позднее образовался Петербургский Совет рабочих депутатов.

* * *

Беспорядки, грозившие обернуться гражданской войной, смутили царя, отняли решимость. Он никак не мог понять, почему люди не довольствуются выпавшим на их долю жребием, как умел быть доволен он, хотя и ему, в конце концов, приходится смиряться с судьбой, возложившей на него столь тяжкие и порой весьма скучные обязанности. («Я придерживаюсь самодержавия не для своего удовольствия, — говорил он Святополку-Мирскому. — Я действую в этом духе только потому, что я убежден, что это мне нужно для России, а если бы для себя, я бы с удовольствием от всего этого отделался»[66].) Первые десять лет царствования он неукоснительно следовал по пути отца, с той лишь разницей, что Александру III не приходилось иметь дело с восставшей страной. Николай II был склонен подавлять беспорядки силой. Однако полиция была совершенно не способна выполнить такую задачу, основная же масса войск (более миллиона человек) была за тысячу верст отсюда, на маньчжурских полях сражения. По словам Витте, «Центральная и Восточная Россия были почти совсем оголены от войск»[67]. Итак, не оставалось ничего иного, как пойти на уступки, но как это сделать с минимальными потерями, никто не знал. Царь и его ближайшие советники разрывались между сознанием того, что дальше так продолжаться не может, и опасением, что всякая перемена может усугубить положение.

Некоторые государственные деятели убеждали царя развить обещания, данные Указом от 12 декабря.

Такого же мнения придерживались и промышленники, обеспокоенные падением производства. Среди обстоятельств, сломивших волю царя и его упрямое нежелание идти на дальнейшие уступки, была трагическая смерть его дяди, вел. кн. Сергея Александровича, ближайшего друга и конфидента, погибшего от рук террористов 4 февраля 1905 года.

17 января царь встретился с А.С.Ермоловым, министром земледелия и государственных имуществ, опытным и мудрым сановником. Совет, данный Ермоловым сперва изустно, а затем изложенный им в меморандуме, произвел на него сильное впечатление, и, похоже, именно эти рекомендации более всего вдохновили царя на важнейший законодательный акт, принятый 18 февраля[68]. Ермолов описывал Россию как страну, стоящую на пороге революции. И чтобы избежать катастрофы, необходимо без промедления принять две меры. Должен быт сформирован кабинет министров, чтобы придать правительству требуемое единство и способность координировать свои действия перед лицом оппозиции, что было невозможно при существующей системе*. И одновременно должен быть созван Земский собор (совещательный по природе) из представителей всех царских подданных без различия социального положения, вероисповедания и национальности. Лишь такой орган даст царю возможность установить прямой контакт с народом — ведь на традиционную опору монархии — дворян, главенствовавших на ноябрьском Земском съезде,— полагаться больше было нельзя. Ермолов убедил царя, что он может доверять своему народу.

* До 1905 года в России не было кабинета министров с премьером: министры докладывали непосредственно царю и от него получали инструкции. Подробнее об этой практике см. главу 2.

«Я знаю, — писал он, — что до вашего величества доходят и другие голоса даже из среды ближайших сотрудников ваших. Я знаю, что существует мнение об опасности созыва народных представителей, особенно в настоящую смутную годину, среди разыгравшихся страстей; существует опасение, что в собрании этих представителей могут подняться голоса о коренном изменении вековых устоев нашего государственного строя, об ограничении царской власти, о конституции; что земский собор может превратиться в учредительное собрание, что крестьянство может поднять вопрос о черном переделе*, что опасность может угрожать даже единству русской земли. Что подобные голоса в собрании могут раздаться — этого отрицать нельзя, но, с другой стороны, нельзя не быть уверенным и в том, что в таком собрании, где все классы населения будут иметь своих представителей, где взгляд народа и его дух будет иметь верное выражение, — эти единичные голоса будут заглушены огромным большинством, верным народным преданиям, коренным основам русского государственного строя. Ведь эти голоса раздаются и теперь, и теперь они более опасны, не находя себе отпора среди безмолвия масс. Нет, государь, таких явлений бояться нечего, и никакой действительной опасности они не представляют»[69].

* «Черный передел» был лозунгом крестьян и социалистов-революционеров, призывавших к упразднению права землепользования и распределению («переделу») всех частновладельческих земель между крестьянскими общинами. См. главу 3.

Ермолов, включая в политический процесс безмолвное большинство, намеревался изолировать интеллигенцию. В противном случае, по его мнению, Россию ждал невиданный со времен Пугачева крестьянский бунт.

Убежденный доводами Ермолова, царь на следующий же день сообщил Булыгину, что готов рассмотреть идею создания представительного органа, участвующего в обсуждении законодательных предложений.

18 февраля царь подписал три документа. Первый был манифестом, призывающим население помочь в восстановлении порядка. Второй представлял собой приглашение всем царским подданным подавать «предположения» «по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства». Последний документ был «рескриптом» Булыгину, ставящим его в известность, что царь решил «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предложений»[70].

Пока эксперты работали над проектом законосовещательного собрания, или Думы, по стране проходили сотни митингов, на которых составлялись петиции к царю. Ответ на приглашение правительства к участию в обсуждении государственных вопросов превзошел самые смелые его ожидания. «Газеты помещали сообщения о собраниях и тем самым обнародовали недовольства и требования, высказывавшиеся все растущим числом людей. Вместо того чтобы обуздать волнения, монарший указ оказался катализатором, мобилизовавшим массы населения, ранее не решавшиеся выражать свои мнения по политическим вопросам. Захваченная либералами и либеральными требованиями кампания петиций привела к возрождению, в более резкой форме, либерального наступления осени и зимы 1904/5 годов»[71].

Либералы воспользовались возможностью, предоставленной Указом от 18 февраля, чтобы внедрить свою программу, вновь развернув кампанию торжественных обедов — на сей раз под видом «кампании петиций». Стало возможно не только в частных собраниях, но и публично выдвигать требования конституции и законодательного парламента. В апреле 1905 года в Москве земство провело второй свой съезд, большинство делегатов которого уже не хотело довольствоваться ничем иным, кроме Учредительного

собрания. На собраниях разнообразных профессиональных союзов принимались резолюции в духе «Союза освобождения». Бюрократы, опасаясь влияния манифеста в деревне, пытались скрыть его от крестьян, но либералы обвели их вокруг пальца, воспользовавшись для распространения его в сотнях тысяч экземпляров земскими губернскими и уездными управами. В результате весной 1905 года в Петербург хлынул шестидесятитысячный поток крестьянских петиций[72]. (За исключением нескольких, они до сих пор не изучены и не опубликованы.) Кампания петиций неумышленно привела к политизации деревни, хотя в крестьянских челобитных в основном поднимался земельный вопрос и связанные с ним экономические проблемы*.

* Впервые внимание к этому важнейшему научному источнику привлек F.-X. Coquin//Coquin F.-X. & Gervais-Francelle C, eds. 1905: La Premiere Revolution Russe. Paris, 1986. P. 181—200. Официально предложение подавать петиции было отменено 6 августа 1905 года вслед за объявлением так называемой «Булыгинской конституции».

В ходе кампании по сбору мнений либералы создали свою третью и самую мощную всероссийскую организацию — «Союз союзов», которому суждено было сыграть решающую роль в критический момент революции 1905 года. «Союз союзов» был самой радикальной из всех либеральных организаций, он стоял на позициях более левых, чем Земский съезд и «Союз освобождения». Решение создать такую организацию было принято в октябре 1904 года на съезде «Союза освобождения»: его целью было донести либеральные веяния до массовых организаций, образованных по принципу профессиональной принадлежности, а также до мелких и средних чиновников, дабы вовлечь их в политическую борьбу. Профессиональные организации, созданные под покровительством «Союза», должны были служить вовсе не профессиональным интересам их членов, а вовлечению их в кампанию борьбы за политические свободы. В.А.Маклаков, видный либерал, вспоминал, что Адвокатский союз, членом которого он состоял, не отстаивал коллективных интересов его членов и не занимался проблемами правоведения, но использовал престиж своей профессии для придания веса требованиям о парламенте и конституции[73]. То же можно сказать и о других союзах. Движение за создание таких союзов значительно ускорилось после появления Указа 18 февраля. Помимо Адвокатского союза были созданы Союз медицинских работников, союзы инженеров и техников, профессоров, земледельцев, статистиков, фармацевтов, конторских служащих и бухгалтеров, журналистов и писателей, ветеринаров, правительственных, муниципальных и земских служащих, земских активистов, школьных учителей. Были еще организации, отстаивающие права евреев и женское равноправие[74]. «Союз союзов» кроме того создавал массовые сообщества и добился небывалого успеха, учредив Всероссийский союз железнодорожных служащих и рабочих — самую крупную рабочую организацию в стране. Впоследствии он сыграл существенную роль и в создании Крестьянского союза. Все эти сообщества придерживались минимальной программы, провозглашающей замену самодержавия конституционным строем и гарантию полных гражданских прав населения. По другим вопросам, как, например, Учредительное собрание, наблюдались значительные расхождения[75].

8 мая 1905 года съезд четырнадцати союзов, организованный «Союзом освобождения» в Москве, объединился в «Союз союзов» под председательством П.Н.Милюкова. Милюков был ведущей фигурой в либеральном движении, и в то время его можно было считать либералом лишь номинально, ибо во имя свержения существующего строя он не чурался никаких средств, вплоть до всеобщей забастовки. В последующие пять месяцев «Союз союзов» практически стал определять ход русской революции.

* * *

Новости, приходившие с Дальнего Востока, были все хуже и хуже. В феврале 1905 года японские войска атаковали Мукден, город в Маньчжурии, который Куропаткин поклялся никогда не сдавать. Это была жестокая битва, в которой с русской стороны участвовало 330 тыс. человек, а с японской — 270 тыс. Потеряв 89 тыс. бойцов (против 71 тыс. потерь в японских войсках), генерал Куропаткин принял решение оставить город.

Как будто было недостаточно позора этого поражения, в мае пришли известия о сокрушительнейшем поражении за всю историю военно-морского флота России. Балтийский флот отошел от восточного побережья Африки, когда командующий флотом адмирал З.П.Рожественский получил известие о сдаче Порт-Артура. Поскольку исполнить миссию, заключавшуюся в освобождении Порт-Артура, не представлялось возможным, адмирал попросил разрешения возвратиться на базу. Ему было отказано. Соединившись с Черноморским флотом, прошедшим по Суэцкому каналу, он достиг Китайского мори и взял курс на Владивосток через Цусимский пролив между Кореей и южным побережьем Японии. Здесь русские корабли поджидала японская эскадра под командованием адмирала Того. Русские корабли были лучше вооружены, но менее маневренны и подвижны. Кроме того, лучше действовала разведка адмирала Того. Битва 14 (27) мая 1905 года обернулась сокрушительной катастрофой для русского флота. Множество военных кораблей и вспомогательных судов было потоплено, а большинство уцелевших захвачено; лишь нескольким кораблям удалось уйти под покровом темноты. Адмирал Рожественский был взят в плен. Цусимское сражение положило конец всяким надеждам царского правительства на то, что славная военная победа поможет отвратить конституционные реформы.

Немедленной реакцией царя на Цусимское поражение было наделение управляющего министерством внутренних дел Трепова чрезвычайными полицейскими полномочиями, благодаря чему, по словам Витте, он сделался «негласным диктатором»[76]. Кроме того, Николай стал искать пути мирного урегулирования конфликта с Японией. Эта сложнейшая миссия была поручена Витте, который в июне отправился в США, в город Портсмут, где были назначены переговоры под покровительством президента Теодора Рузвельта.

Граф С.Ю.Витте — самый выдающийся политик уходящей России. Было бы натяжкой назвать его великим государственным мужем, ибо он не отличался особой политической дальновидностью. Но он обладал талантом (весьма редким в России, где и правительству и оппозиции было в равной мере свойственно замыкаться на своих принципиальных позициях) — вести политику как игру возможностей и, проводя или рекомендуя те или иные меры, довольствоваться выбором меньшего из двух зол. Как и многие преуспевающие политики, он умел соблюсти собственные интересы под видом служения общественному благу. Никто лучше него не мог бы провести Россию сквозь революционные бури: он обладал крайне обостренным политическим чутьем и завидной энергией. К несчастью для Витте, а возможно, и для России, Николай не любил его и не доверял ему. Царю, с его мягкими изысканными манерами, был невыносим грубоватый и властный тон министра, к тому же женившегося на разведенной женщине, жевавшего резинку и слывшего (ложно) масоном.

Витте происходил из обрусевших шведов. Карьера его началась в департаменте железных дорог министерства торговли. Ранние его политические взгляды были националистическими и промонархистскими: после убийства Александра II он вступил в правую организацию «Священное братство», ставившую целью повернуть оружие террористов против них же самих. По его мнению, России нужна была сильная и неограниченная монархия, потому что более трети ее населения составляли «инородцы»[77]. Но он стремился прийти к соглашению с оппозицией и репрессиям всегда предпочитал компромисс. Человек незаурядных административных дарований, он быстро продвигался по служебной лестнице: в 1889 году получил пост министра путей сообщения, а уже в 1892-м был назначен министром финансов. Он вынашивал и осуществлял смелые планы индустриального развития России и сыграл большую роль в получении заграничных займов, добрая часть которых пошла на постройку железных дорог и на выкуп частных железнодорожных концессий. Его политика усиленной индустриализации вызывала недовольство с разных сторон: и поместного дворянства, и, в особенности, чиновников министерства внутренних дел, которые считали, что он ниспровергает аграрные начала государства.

В 1903 году Витте был выведен в отставку с поста министра финансов и получил чисто почетную должность председателя Совета министров, но теперь о нем вспомнили и послали с дипломатической миссией в Соединенные Штаты. Наставления он получил самые туманные, но ни при каких обстоятельствах он не должен был соглашаться «на отдачу Японии хотя пяди исконно русской земли» или выплату контрибуций[78]. Во всем остальном он должен был действовать по своему усмотрению. Витте, прекрасно представлявший соотношение сил, понимал, что у России есть еще козырные карты, ибо и японская экономика испытывала в связи с войной сильное напряжение, и Япония не меньше России стремилась прийти к мирному соглашению. В Америке Витте сумел сыграть на антияпонских настроениях американцев и завоевал симпатии публики такими демократическими жестами, как обмен рукопожатиями с железнодорожными инженерами и позирование дамам с фотоаппаратами, что, как он признавался, давалось ему, непривычному к таким представлениям, с большим трудом.

В России известия о Цусимском поражении усугубили политическую напряженность. 2 мая Петербургская дума проголосовала за политические реформы, на следующий день то же произошло в Московской думе. Это были значительные сдвиги, поскольку до сих пор органы городского самоуправления оставались более сдержанными, чем земские, и стояли в стороне от освободительного движения. 24—25 мая земцы провели собрание совместно с представителями дворянства и городских дум[79]. Резолюция собрания призывала к созыву всероссийского представительного органа, избранного на основе тайного, равного, всеобщего и прямого голосования; среди подписавших ее были двадцать председателей городских дум[80]. Совещание избрало депутацию для встречи с царем, которую он принял 6 июня. Говоря от имени всей группы депутатов, князь Сергей Трубецкой просил царя допустить народных представителей к прямым переговорам с ним. Он говорил о том, что военные поражения возбуждают разговоры об «измене» в верхах. Не уточняя характера народного представительства — быть ему консультативным или законодательным, — Трубецкой предлагал проводить выборы в него не по сословному признаку, а на демократических основах. Ведь и сам русский царь, убеждал Трубецкой, «не Царь дворян, не Царь крестьян или купцов, не Царь сословий, — а Царь всея Руси». Царь заверил депутацию, что его воля созвать выборных от народа непреклонна[81]. Эта встреча явила исторический прецедент — впервые правитель России соизволил принять представителей либеральной оппозиции, ратующей за конституционные перемены.

О широте распространения мнения о необходимости таких перемен можно судить на основании того факта, что предводители дворянства на своем совещании, состоявшемся 12— 15 июня, пришли к заключению: «Россия — в преддверии анархии: осталась только тень правительства». Чтобы восстановить государственную власть, государю в делах правления следует опираться не только на чиновников, но и на «выборных от своей земли»[82].

Оппозиционным движением на данном этапе руководили либералы и либерал-консерваторы, видевшие в установлении конституционных и парламентских начал путь к укреплению государства и способ

отвратить революцию[83]. Революционеры по-прежнему играли лишь второстепенную роль и шли за либералами. Такая расстановка сил сохранялась вплоть до октября.

23 июня в газетах появились первые сообщения о ведущихся в правительстве обсуждениях касательно Думы, как суждено было именоваться новоявленному представительному органу. В июле просочилась дополнительная информация о секретном совещании в Петергофе. (Исходили эти сведения от профессора русской истории Московского университета В.О.Ключевского, участвовавшего в качестве консультанта в подготовке проекта[84].) Положения конституции, получившей название «Булыгинской», были официально опубликованы 6 августа[85]. Однако публика если и была разочарована, то, благодаря просочившимся слухам, не была удивлена. Все как обычно — слишком мало и слишком поздно. То, чего все жаждали шесть месяцев назад, теперь уже не могло удовлетворить никого: в то время как оппозиция требовала законодательного парламента и даже Учредительного собрания, правительство предлагало бессильный совещательный орган. Роль новой Государственной думы была сведена к обсуждению законодательных предложений, представленных на ее рассмотрение правительством, и передаче их в Государственный совет для окончательного решения. Правительство даже не обязано было совещаться с Думой: ведь в документе недвусмысленно заявлялось о незыблемости основного закона о «существе Самодержавной Власти». Как уступка либеральным чаяниям, система выборов должна была основываться не на сословном принципе, а на имущественном, и имущественный ценз был достаточно высок. Многие нерусские регионы империи были лишены права голоса; не участвовали в выборах и рабочие. В Санкт-Петербурге и Москве только 5—10% населения отвечало цензовой норме, а в губернских городах соотношение едва достигало 1%[86]. Система выборов была сознательно перекошена в пользу крестьян Великороссии. Согласно Витте, на обсуждении в Булыгинской комиссии было признано, что «единственное, на кого можно положиться при настоящем смутном и революционном состоянии России, есть крестьянство, что крестьяне представляют собой консервативный оплот государства, а поэтому и выборный закон должен быть основан главным образом на крестьянстве, т.е. чтобы Дума была по преимуществу крестьянской и выражала крестьянские взгляды»[87].

Эта концепция никогда не подвергалась серьезным испытаниям и оказалась в корне ошибочной, но прекрасно отвечала сложившемуся при дворе убеждению, что жаждой политических перемен страдают лишь города и нерусские этнические группы.

Хотя Булыгинская дума обещала мало, она все же знаменовала крупное отступление царизма, недооцененное современниками: «Самодержец и его правительство, заявлявшие себя лучшими и единственными судиями народных интересов, теперь хотя бы выразили желание советоваться с народом на постоянной и всеобъемлющей основе»[88] И, поступая так, царь признавал принцип народного представительства, о котором каких-нибудь восемь месяцев назад говорил, что «никогда» его не признает. Витте, понимавший, что предложенные правительством меры далеко не те, что требовались, все же был уверен, что Дума из совещательной скоро превратится в полноценную законодательную палату, ибо, по его выражению, «совещательный парламент — это поистине есть изобретение господ чиновников-скопцов»[89].

Либералы теперь оказались перед выбором: либо принять Булыгинскую думу как она есть и просить царя произвести нужные в ней изменения, либо воззвать к народу, чтобы вынудить правительство принять все их требования. На совместном съезде земских и городских собраний, состоявшемся в июле, когда уже была известна сущность правительственных мер, как раз и обсуждались эти возможности. Более консервативные участники съезда опасались, что прямое обращение к народу воспламенит крестьянство, уже проявлявшее признаки недовольства, но почти единодушно признавали бесполезность обращения с петициями к царю. Большинство пришло к решению призвать население помочь в достижении «мирного развития» — завуалированная формула призыва к гражданскому неповиновению[90].

Тем не менее в августе и сентябре 1905 года политическая напряженность в стране несколько спала: манифест 6 августа, обещавший Думу, и перспектива примирения с Японией произвели умиротворяющее действие. Царь, убежденный, что худшее уже позади, отдался привычным придворным заботам и не внимал предостережениям хорошо осведомленных чиновников, даже Трепова, что это затишье обманчивое.

* * *

Возвращение Витте в Россию было триумфальным: ему удалось достичь соглашения на гораздо лучших условиях, чем кто-либо смел надеяться. Согласно Портсмутскому мирному договору, заключенному 5 сентября (нов. ст.), Россия уступала Японии южную часть Сахалина и аренду Порт-Артура, а также признавала за ней право преобладающего влияния в Корее. Ни одна из названных территорий не была исконно русской. Не предусматривал договор и уплаты контрибуции. Учитывая тяжесть ответственности России за конфликт и позор военного поражения, цена за мир была невелика*.

* Поражение России в войне с Японией имело важные последствия для всей Европы, понизив престиж «белых» в глазах неевропейских народов, ибо впервые в новейшей истории азиатское государство разбивало наголову мощную европейскую державу. Один наблюдатель отмечал в 1909 году, что эта война «радикально перекроила» настроения на Востоке: «Не было ни одной азиатской страны, от Китая до Персии, которая не ощутила бы реакции на русско-японскую войну и у которой не пробудились бы новые амбиции. Обычно они находили выражение в желании добиться

независимости, в требовании равноправия с белыми народами и приводили в результате к снижению западного престижа на Востоке» (Millard T.F. America and the Far Eastern Question. N. Y., 1909. P. 1—2). В каком-то смысле русско-японская война знаменовала начало процесса колониального сопротивления и деколонизации, завершившегося полвека спустя.

Внешне благополучный исход не мог обмануть Витте. По возвращении из Америки он увидел, что правительство не только не смогло укрепить свою власть, но, напротив, вся страна была охвачена смутой и все прониклись убеждением, что «так дальше жить нельзя». Ему казалось, что вся Россия бастует[91].

* * *

И действительно, всероссийская стачка разворачивалась.

Идея обратиться к всеобщей забастовке, чтобы поставить правительство на колени, была на повестке дня «Союза союзов» вскоре после цусимской трагедии. В это время Центральное бюро «Союза» приняло по наущению наиболее радикальных своих ответвлений — Союза железнодорожных служащих и рабочих и Союза инженеров — резолюции об организации всеобщей политической забастовки. С этой целью был организован специальный комитет[92], который, впрочем, не успел сделать ничего особенного до начала октября, когда центр политического сопротивления вновь переместился в университеты.

К началу нового учебного года правительство неожиданно даровало университетам щедрые уступки. По инициативе Трепова 27 августа были изданы новые «Временные правила», предоставляющие профессуре право избирать ректоров, а студентам — свободу собраний. Чтобы избежать столкновений со студентами, Трепов распорядился удалить из университетов инспекторов, а ответственность за поддержание дисциплины возложить на профессорские советы[93]. Эти либеральные меры, конечно, во многом сняли недовольство, вызванное весьма непопулярными Университетскими правилами 1884 года. Однако они возымели противоположный неожиданный эффект: вместо того чтобы усмирить студентов, они предоставили радикальному меньшинству возможность превратить университеты в арену рабочей агитации.

В августе и начале сентября 1905 года студенты обсуждали проблему возобновления занятий. Подавляющее большинство высказывалось за открытие учебных заведений: голосование, проведенное в Петербургском университете, показало, что такое решение поддерживали 7 против I[94]. Однако, из-за свойственной юности чувствительности к упрекам в эгоизме, пришли к компромиссному решению. Всероссийская студенческая конференция представителей 23 высших учебных заведений, состоявшаяся в сентябре, отвергла предложение о бойкоте занятий. Однако согласилась, идя навстречу радикалам и в доказательство политической сознательности, предоставить университетские аудитории неучащимся для проведения совместной политической работы[95].

Эта тактика была сформулирована предыдущим летом меньшевиком Ф.И.Даном на страницах социал-демократической «Искры». Дан убеждал студентов вернуться в аудитории, но не для учебы, а чтобы делать революцию: «Систематическое и открытое нарушение всех правил полицейско-университетского «распорядка», изгнание инспекторов, надсмотрщиков и шпионов всякого рода, открытие дверей аудиторий всем гражданам, желающим войти в них, превращение университетов и высших учебных заведений в места народных собраний и политических митингов — вот цель, которую должно поставить себе и выполнить студенчество при возвращении в покинутые им залы. Превращение университетов и академий в достояние революционного народа, — так можно кратко формулировать задачу студенчества. <...> Такое превращение, конечно, сделает университет одним из пунктов концентрации и организации народных масс»[96]. И треповские меры невольно расчистили дорогу такой тактике.

Воинственное меньшинство немедленно воспользовалось возможностью, чтобы пригласить рабочих и вообще разнообразных лиц, не имеющих отношения к университету, на политические собрания, проводившиеся под его сводами. Академическая работа стала невозможной, высшие учебные заведения превратились в «политические клубы», а упрямо отдающие предпочтение науке профессора и студенты подвергались нападкам и угрозам[97]. Рабочие не спешили броситься в объятья воинственно настроенным студентам, но любопытство все же побеждало. Постепенно слух об уважительном отношении к ним студентов расползался все шире и все больше рабочих приходило на эти сходки. Поначалу рабочие только слушали, что говорили другие, но постепенно стали выступать и сами[98]. Подобное происходило во всех университетских городах, включая Москву. Наблюдалось нечто совершенно небывалое: радикальное студенчество призывало рабочих к стачке и мятежу, а полиция не вмешивалась. Надежды Трепова на то, что его послабления помогут «выпустить пар», совершенно не оправдались. По мнению Витте, указ об автономии университетов от 27 августа «был первой брешью, через которую революция, созревавшая в подполье, выступила наружу»[99].

В конце сентября по центральной России прокатилась новая волна забастовок. Экономические по замыслу, стачки были скоро политизированы благодаря усилиям «Союза союзов» и радикальных студентов, действовавших по его указаниям.

Забастовки, вылившиеся во всеобщую стачку в середине октября, начались 17 сентября с выступления московских печатников. Разногласия, носившие поначалу весьма миролюбивый характер, сводились исключительно к вопросу о заработной плате, но вскоре студенты придали им политическую

окраску. Произошли стычки забастовщиков с полицией и казаками. В забастовку протеста включились и другие рабочие. 3 октября началась забастовка солидарности петербургских печатников[100]. И до образования 13 октября Петербургского Совета университеты играли роль координационных центров забастовочного движения, потому что представляли собой единственные учреждения в России, где можно было проводить политические собрания без вмешательства полиции[101]. Тысячи людей стекались на политические сходки в учебные аудитории. С.Н.Трубецкой, ректор Московского университета, воспротивился превращению учебного заведения в арену политической борьбы и 22 сентября отдал распоряжение о закрытии университета. (Это было его последним деянием в жизни — неделю спустя он внезапно скончался, а его похороны в Москве послужили поводом для грандиозной политической демонстрации.) Но Петербургский университет и Петербургский технологический институт не были закрыты, и это давало им возможность играть ключевую роль в событиях, приведших к всеобщей стачке.

Рабочие беспорядки в Москве и Петербурге приняли всероссийский размах, когда к ним присоединились рабочие-путейцы. Выше уже отмечалось, что Всероссийский союз железнодорожных служащих и рабочих, входящий в «Союз союзов», уже с лета 1905 года рассматривал возможность всеобщей политической стачки. Выступления железнодорожников начались с мелкого инцидента. В конце сентября руководство созвало конференцию с участием представителей железнодорожников для обсуждения вопросов, связанных с пенсионным правом. 4—5 октября распространились ложные слухи о том, что рабочие, участвовавшие в работе этой конференции, арестованы. Союз железнодорожников воспользовался этим поводом для осуществления своих планов. 6 октября стала Московская дорога, изолировав город. Стачка перекинулась на другие города и вскоре охватила работников связи, фабричных рабочих и конторских служащих. Всякий раз «Союз союзов» и его ответвления давали ясно понять, что забастовщики выдвигают политические требования, призывая к созыву Учредительного собрания, избираемого по так называемой «четыреххвостке» (т.е. на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования). Отчасти стихийное, отчасти организованное движение неотвратимо шло к полному и повсеместному прекращению работы. 8 октября «Союз союзов» призвал своих членов поддержать путейцев и создать стачечные комитеты по всей стране. Итак, всероссийская стачка разворачивалась*.

* Galai. Liberation Movement. P. 262—263. В составе Союза железнодорожных, служащих и рабочих, крупнейшей рабочей организации России, насчитывавшей 700 тыс. членов, было только 130 тыс. квалифицированных рабочих, большинство же составляли разнорабочие, в основном из крестьян. См.: Anweiler O. The Soviets. New York, 1974. P. 269. Note 53.

* * *

6 октября, когда движение стало набирать силу, Витте попросил аудиенцию у царя, и три дня спустя был принят. Витте, прежде старавшийся говорить государю то, что тот хотел услышать, был на сей раз резко прямолинеен. Он заявил, что у царя остаются только две возможности: назначить военного диктатора или пойти на крупные политические уступки. Обоснование разумности последнего варианта было изложено в записке, тут же поданной*. Царь почти наверняка сообщил супруге о случившемся, ибо Витте попросили на следующий день, 10 октября, вернуться в Петергоф и изложить свои аргументы в ее присутствии. Во время этой встречи императрица не проронила ни слова.

* Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 11. См. также: Verner A.M. Nicolas II and the Role of the Autocrat during the First Russian Revolution, 1904—1907. Ph. D. diss. Columbia University, 1986. P. 370—376. Вернер утверждает, что Витте неверно указывает дату своей первой встречи с царем и что в действительности она имела место на день раньше (8 октября), но это маловероятно, в особенности учитывая свидетельство третьего лица, Д.М.Сельского (Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 25).

Анализируя записку Витте, можно увидеть, что он был знаком с программой «Союза освобождения» и, в частности, с публикациями Струве, его главного теоретика. Он предлагал принять платформу, которую Струве отстаивал на страницах «Освобождения», органа «Союза»: лозунг «свобода» должен стать лозунгом правительственной деятельности. Другого выхода для спасения государства нет*. Ситуация была критической. Страна радикализировалась, и массы, утратив доверие к правительству, могли обрушиться на самые основы государства: «Ход исторического прогресса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует если не путем реформы, то путем революции. Но в последнем случае она возродится из пепла ниспровергнутого тысячелетнего прошлого. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, все сметет, все повергнет в прах. Какою выйдет Россия из беспримерного испытания, — ум отказывается себе представить; ужасы русского бунта могут превзойти все то, что было в истории. Возможное чужестранное вмешательство разорвет страну на части. Попытки осуществить идеалы теоретического социализма, — они будут неудачны, но они будут несомненно, — разрушат семью, выражение религиозного культа, собственность, все основы права»[102].

* Записку Витте от 9 окт. 1905 года см.: КА. 1925. № 11/12. С. 51-56. Приведенный отрывок — на с. 55. Вот что

писал Струве за четыре месяца до того: «России нужно крепкое правительство, которое не убоится революции, потому что поставит себя во главе ее <...> Революция в России должна стать правительством». См.: Pipes R. Struve. Liberal on the Left, 1870—1905. Cambridge, Mass., 1970. P. 384. Программу Струве, из которой щедро заимствовал Витте, см. там же (P. 376—385). Эта концепция — отголосок Французской революции: когда в феврале 1791 года Людовик XVI потребовал от Национальной Ассамблеи продолжить дело реформ, лидер жирондистов Бриссо заявил: «Король теперь глава Революции» (Thompson J.M. The French Revolution. Oxford, 1947. P. 192).

Чтобы предотвратить такую катастрофу, Витте предлагал удовлетворить требования либералов и тем самым отделить последних от революционеров. Разорвав объединенный фронт оппозиции, можно будет умиротворить либералов и изолировать радикалов. Единственное реальное направление действия для правительства — которое следует принять безотлагательно, не теряя ни минуты, — это «смело и открыто стать во главе освободительного движения». Правительству надлежит признать конституционный принцип и демократизировать ограниченный избирательный закон, предусмотренный для совещательной Думы. Следует признать министров, избранных Думой и ответственных перед ней или по крайней мере пользующихся ее доверием. Ни конституция, ни парламент, уверял Витте, не ослабят власти царя, а, скорее, укрепят ее. Далее Витте предлагал, в качестве меры по усмирению социальных волнений, улучшить положение рабочих, крестьян и национальных меньшинств, а также гарантировать свободу слова, печати и собраний.

Это была революционная программа, порожденная отчаянием, ибо Витте понимал, что правительство не обладает военной силой, необходимой для водворения порядка*. И хотя 9—10 октября и в последующие дни он еще упоминал о репрессивной альтернативе, но делал это уже ради проформы, слишком хорошо понимая, что единственная реальная возможность — это уступить.

* Весь петербургский гарнизон в это время насчитывал лишь 2000 человек. См.: Ascher A. The Revolution of 1905. Stanford, Calif, 1988. P. 225. Ср.: Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. С. 9—10, 26—27.

Его предложения горячо обсуждались при дворе и в высших сановных кругах. Поскольку царь не мог решиться на коренные перемены, указанные Витте, он поначалу согласился лишь с чисто бюрократическими мерами, уже давно назревшими, а именно: учредить кабинет министров. 13 октября Витте получил телеграмму, в которой он назначался Председателем Совета министров «для объединения деятельности всех министров»[103]. Полагая, что тем самым его предложения реформ отвергнуты, Витте пожелал повидаться с царем. Он заявил царю, что не видит возможности служить на предложенном посту, если вся его программа не будет принята. Но 14 октября он получил приглашение прибыть на следующее утро в Петергоф с проектом манифеста.

* * *

Пока царь обдумывал предложения Витте, промышленность в стране остановилась. Клубок событий, последовавших за первым визитом Витте в Петергоф (10—17 октября, в критические дни русской истории), трудно распутать из-за противоречивых заявлений различных оппозиционных групп, проверить которые по доступным ныне материалам невозможно. С точки зрения хорошо информированных полицейских властей, всеобщая стачка и образование Петербургского Совета — дело рук «Союза союзов». Трепов безоговорочно возлагал на «Союз» ответственность за создание Петербургского Совета и приписывал ему роль «центральной организации»[104]. Такого же мнения был и начальник Петербургского охранного отделения генерал А.В.Герасимов, полагавший главным достижением «Союза» в октябре 1905 года то, что он дал разрозненным оппозиционным группам общую программу: «Главная инициатива и организационная работа в деле помянутых забастовок принадлежит «Союзу союзов»»[105]. Царь 10 ноября писал матери, императрице Марии Федоровне, о «знаменитом «Союзе союзов», который вел все беспорядки»[106].

Той же оценки придерживается в воспоминаниях и Милюков, впрочем, отдав предпочтения породившей его организации — «Союзу освобождения». Он утверждает, что первые собрания рабочих, приведшие к созданию Совета, происходили на квартирах членов «Союза освобождения» и клич к созыву Совета впервые прозвучал со страниц «союзной» прессы[107]. Меньшевики горячо оспаривали такой взгляд, приписывая роль создателей Совета себе, в чем получили поддержку со стороны новоявленных советских историков[108]. Существуют, правда, свидетельства, что 10 октября меньшевики, в основном студенты, обратились к петербургским рабочим с призывом избрать рабочий комитет для руководства забастовкой[109]. Однако есть и другие указания, что рабочие, воспользовавшись примером комиссии Шидловского, сами избрали своих представителей, которых называли старостами, причем некоторые из них уже участвовали в той самой комиссии Шидловского[110]. Всего вероятнее, что «Союз союзов» инициировал Совет, а меньшевистская молодежь помогла сплотить рабочих в его поддержку. К такому выводу пришел и генерал Герасимов[111].

10 октября начали забастовку работники связи и обслуга государственных и частных заведений Петербурга. На следующий день вечером более 30 тыс. человек, главным образом рабочие и другие, не имевшие отношения к университету лица, заполнили залы и аудитории университета. Собрание

проголосовало за присоединение к стачке железнодорожников[112]. 13 октября буквально вся железнодорожная сеть России стала, телеграф тоже молчал. Все больше и больше рабочих и конторских служащих вливалось в забастовку.

13 октября в Петербургском технологическом институте проходило первое заседание Совета. Присутствовали около сорока представителей интеллигенции и рабочих. Собрание было призвано создать центр руководства стачкой. Поначалу Совет ни на что большее не претендовал, что отразилось в его названиях первых четырех дней существования: Стачечный комитет, Общий рабочий совет и Рабочий комитет. Название «Совет рабочих депутатов» было принято только 17 октября*. В тот день были избраны 15 из присутствовавших рабочих представителей, остальные из вошедших в состав Совета уже в начале этого года были избраны для участия в работе комиссии Шидловского[113]. Первое заседание посвятили стачке. Было принято воззвание к рабочим продолжать забастовку, чтобы заставить правительство созвать Учредительное собрание и установить восьмичасовой рабочий день.

* Первый Совет появился в мае 1905 года в Иваново-Вознесенске для урегулирования экономических разногласий рабочих с руководством и не имел никакой политической программы. Anweiler O. The Soviets. New York, 1974. P. 40-42.

На втором заседании Совета, 14 октября, меньшевик Георгий Носарь (Хрусталев) был избран постоянным председательствующим. (В 1899 году он был одним из лидеров студенческой забастовки в Петербургском университете.) К этому времени общественная жизнь в Петербурге замерла. Невский проспект освещался прожекторами, закрепленными на шпиле Адмиралтейства.

14 октября Трепов объявил, что в случае продолжения беспорядков он вынужден будет прибегнуть к военной силе[114].

Он окружил войсками здание университета и с 15 октября запретил проведение в нем всяких сходок. Несколько дней спустя он вообще закрыл университет до конца учебного года. Реакционные элементы бросились избивать студентов, евреев и всех, кто, на их взгляд, выглядел подозрительно. Даже просто носить очки в эти дни было далеко не безопасно*. Это было началом разгула насилия, которое после объявления Октябрьского манифеста приняло массовый характер, унеся сотни, если не тысячи жизней и причинив значительный материальный ущерб.

* В революционные годы — и в 1905—1906-м, и в 1917-м — «очкарики» были предметом ненависти и для монархистов и для толп. См.: Parry A.// Volski A. [Machajski]. Умственный рабочий. N.Y.; Baltimore, 1968. P. 15—16, который, в свою очередь, ссылается на рассказ Константина Паустовского «Повесть о жизни» (М., 1962. Т. 2. С. 154).

На третьем заседании, 15 октября, Совет сформировался организационно. Присутствовало 226 делегатов от 96 промышленных предприятий. Набрали силу и социалисты, а среди них и большевики, изначально бойкотировавшие Совет, так как были против создания «органов самоуправления пролетариата до захвата власти»*.

* Геллер Л., Ровенская Н. Петербургский и Московский Советы рабочих депутатов 1905 г. (в документах). М.; Л., 1926. С. 17. Эта позиция покоилась на убеждении лидера большевиков Ленина, что, предоставленные сами себе и своим интересам, рабочие не будут делать революцию, а постараются приспособиться к капитализму. Поэтому-то революцию следует свершить для них, но не им самим.

Одна из организационных мер, принятых на заседании 15 октября, в то время прошла почти незамеченной, но впоследствии, в феврале 1917 года, когда Совет возродился к жизни, возымела серьезнейшие последствия. Был сформирован Исполнительный комитет (или просто для краткости Исполком) в составе 31 представителя: 14 от городских районов, 8 от профессиональных союзов и 9 (то есть 29%) от социалистических партий. Последние предоставили три места меньшевистской и большевистской фракциям социал-демократической партии и три социалистам-революционерам. То есть социалистическая интеллигенция была не избрана Советом, а назначена своими партиями. Хотя они обладали лишь совещательным голосом, их опыт и организационный талант обеспечивали им верховенство в Исполкоме, а через него и во всем Совете. В 1917 году Исполком Петроградского Совета состоял уже исключительно из интеллигенции, поставляемой социалистическими партиями[115]. Растущее влияние радикальной интеллигенции нашло выражение в выпущенном Советом 15 октября воззвании к рабочим, в котором откровенно прозвучала угроза физической расправы со штрейкбрехерами. «Кто не с нами, тот против нас, и к ним Совет депутатов постановил применить крайнее средство — силу». Воззвание призывало забастовщиков насильно закрывать лавки, не признающие забастовку, и препятствовать распространению правительственной прессы[116].

На заседании 17 октября Совет принял название «Совет рабочих депутатов» и расширил состав Исполкома до 50 человек, из которых социалистическим партиям предоставлялось по семь мест каждой, т.е. всего 21 место (что составляло уже 42%). Было принято решение выпускать официальный печатный орган Совета — «Известия».

Подобные Советы возникли приблизительно в пятидесяти городах России, а также в некоторых

сельских регионах и военных частях, но неоспоримое первенство с самого начала принадлежало Петербургскому Совету.

* * *

Вечером 14 октября Витте получил телеграмму с приглашением прибыть на следующее утро в Петергоф с проектом манифеста. Витте утверждает, что был не в состоянии работать над проектом, так как неважно себя чувствовал и поручил это члену Государственного совета А.Д.Оболенскому, который как раз был у него в этот вечер[117]. Поскольку невозможно предположить, что Витте не понимал важности искомого документа, и поскольку и до и после этого события он выглядел вполне здоровым, единственным правдоподобным объяснением того факта, что он не воспользовался уникальной возможностью своими руками «творить историю», может служить лишь боязнь нести ответственность за те меры, которые, как ему было хорошо известно, царь предпринял, подавляя в себе крайнее к ним отвращение. Если верить Витте, он впервые ознакомился с манифестом на следующее утро на борту парохода, который вез их с Оболенским в Петергоф (железные дороги бастовали)[118]*.

* В своих «Воспоминаниях» (Т. 3 С. 26—27, 33) Витте утверждает, что был против опубликования программы реформ в виде манифеста, поскольку такой документ, написанный в соответствующей сжатой форме, не мог донести до населения сути, но мог из-за этого вызвать волнения. Высочайший манифест оглашался в церквах во время службы.

В основу своего проекта Оболенский положил резолюции Земского съезда, проходившего в Москве 12—15 сентября. Земцы отвергли Булыгинскую думу, как совершенно не отвечающую требованиям времени, и предложили свою программу:

«1) Обеспечение прав личности, свобода слова и печати, свобода сходов, собраний, союзов.

2) Установление выборов на основе всеобщего избирательного права.

3) Решающий голос Думы в законодательстве и право действительного контроля над бюджетом и администрацией»[119].

В своем проекте Оболенский воспользовался не только содержанием, но и формой резолюций Земского сентябрьского съезда. В результате существеннейшая часть Октябрьского манифеста оказалась не более чем парафразом земских требований.

День 15 октября царь провел с Витте и другими сановниками в обсуждении и подготовке текста манифеста. Среди тех, с кем он советовался, был и Трепов, на чей суд и неколебимую преданность он по-прежнему безоговорочно полагался. Царь передал ему записку Витте и проект манифеста, прося откровенно высказать свое мнение. Даже уже решившись подписать манифест, царь все еще не оставлял мысли о репрессивных мерах, ибо спрашивал Трепова, сколько дней, по его мнению, потребуется, чтобы восстановить порядок в Петербурге без кровопролития, и возможно ли вообще восстановить авторитет власти без многочисленных жертв[120].

В своем ответе на следующий день (16 октября) Трепов согласился в общем с предложениями Витте, хотя и призывал к сдержанности, идя на уступки либералам. Что же касается вопроса о возможности водворения порядка в столице без кровопролития, он отвечал, что не может «ни теперь, ни в будущем дать в том гарантию; крамола так разрослась, что вряд ли без этого суждено обойтись. Одно упование на милость Божию»[121].

Все еще не до конца убежденный, царь просил вел. кн. Николая Николаевича принять диктаторские права. Великий князь, по словам барона Фредерикса, ответил, что сил для установления военного диктата недостаточно и что, если царь не подпишет манифест, он застрелится[122].

17 октября Витте представил царю доклад, в котором давалось обоснование объявленных манифестом мер и который был опубликован вместе с манифестом. Витте вновь выражал убеждение, что беспорядки, терзающие Россию, происходят не из-за каких-либо несовершенств в политической системе и не из-за эксцессов революционеров. Причину надо искать глубже, «в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни». Восстановление порядка, таким образом, требует коренных перемен. Царь начертал на полях: «Принять к руководству».

В тот же вечер государь император, перекрестясь, подписал манифест. Рабочая часть этого документа состояла из трех статей, параллельных трехчастной резолюции сентябрьского Земского съезда:

«На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей»*.

* Новый государственный строй России//Под ред. Г.Г.Савич. СПб., 1907. С. 24—25. Единственным требованием сентябрьского съезда земства, которое не вошло в Октябрьский манифест, было участие Думы в обсуждении государственного бюджета, но это право было даровано впоследствии Основными законами.

В тот вечер, отходя ко сну, царь записал в дневнике: «После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги мне, умири Россию».

Объявление высочайшего манифеста вместе с докладом Витте от 17 октября вызвало шумные демонстрации по всей стране: никто не ожидал таких уступок со стороны режима. В Москве толпа в 50 тыс. человек собралась перед Большим театром. Многотысячные толпы с пением и криками «ура» собирались стихийно и во многих других городах. 19 октября Петербургский Совет принял решение прекратить всеобщую забастовку[124]. Закончилась забастовка и в Москве и в других городах.

Два аспекта Октябрьского манифеста требуют разъяснений, без которых трудно понять политические события последнего десятилетия царского режима.

Во-первых, манифест был вырван у царя под давлением, чуть ли не под дулом пистолета. И поэтому Николай никогда не считал себя морально обязанным соблюдать его.

Во-вторых, в нем нет слова «конституция». Это было вовсе не случайное упущение. И хотя иногда утверждают, будто царь не понимал, что речь идет о конституции[125], современные источники не оставляют сомнения, что царь прекрасно разбирался в существе сделанных им уступок. Так, в письме матери 19 октября он писал, что дарование Думе законодательных прав «это, в сущности, и есть конституция»[126]. Однако при всем том он хотел избежать ненавистного слова, чтобы сохранить хотя бы иллюзию самодержавия. Проводники либеральных реформ убеждали его, что при конституционном строе он будет оставаться единственным источником законов и всегда сможет упразднить то, что соблаговолил даровать*. И он поддался этим уговорам, потому что они помогли ему примириться с совестью, терзаемой сомнениями, не нарушает ли он своей коронационной клятвы. Этот самообман — абсурдная концепция конституционного самодержавия — явился причиной бесконечных трений между двором и Думой в последующие годы.

* Это говорил царю Витте на аудиенции 9 октября. См.: Verner. Nicholas II. P. 373-374.

Но в момент, когда провозглашался Октябрьский манифест, эти проблемы ускользнули от внимания либералов и либерал-консерваторов, уверовавших, что встает заря новой эры. Ведь даже офицеры полиции говорили друг другу — и вовсе не ради красного словца, — что скоро им нечего будет делать[127].

* * *

Витте согласился принять пост Председателя Совета министров только при условии предоставления ему права действовать как истинный премьер-министр и подобрать свой кабинет. Как и Ермолов, Крыжановский, другие опытные сановники, он понимал, что спаянное, дисциплинированное министерство совершенно необходимо в условиях неизбежной конфронтации правительства с выборным законодательным органом[128]. Витте полагал, что такое министерство будет служить указанной цели вернее, если в его состав войдут некоторые всеми уважаемые общественные деятели.

19 октября он начал переговоры с Д.Н.Шиповым, известным промышленником А.И.Гучковым, князем Е.Н.Трубецким — профессором философии и братом недавно скончавшегося ректора Московского университета — и с некоторыми другими общественными деятелями[129]. Все лица, к которым Витте обращался с предложениями занять тот или иной пост в правительстве, были либерал-консерваторами, хорошо ладившими и с оппозицией, и с бюрократией. Сам факт подбора кабинета министров не имел примера (и можно добавить, и последствий) в русской истории: «Впервые в царской истории кто-то помимо царя собственноручно указывал кандидатуры большинства министров»[130].

Через неделю стало понятно, что из этого намерения Витте ничего не выйдет. Те, к кому он обращался с предложениями, отвергали их будто бы на том основании, что не могут работать вместе с Дурново, которому Витте предложил пост министра внутренних дел. Дурново в свое время был замешан в гнусной истории, где фигурировала его любовница и испанский посол. И вообще он не вызывал доверия из-за давней связи с полицией. Но страна была в хаосе, буквально в состоянии гражданской войны, и для восстановления порядка требовался опытный администратор. Дурново же обладал необходимым опытом и практическими навыками. Витте не уступил критикам Дурново, ибо понимал, что судьба реформ зиждется на его способности водворить спокойствие в стране как можно скорее. Но, судя по исходу последующих, столь же безрезультатных попыток вовлечь общественных деятелей в правительство, возникает вопрос, не явился ли Дурново не более чем предлогом. Лидеры даже умеренной, либерально-консервативной оппозиции боялись быть обвиненными в предательстве либералами и социалистами, для которых Октябрьский манифест был лишь одной из ступеней к установлению республиканского строя в России. Войдя в правительство, они рисковали оказаться изолированными от общества, не обретя при этом существенного влияния в политике, ибо у них не было никаких гарантий, что бюрократия не использует их для достижения своих целей. Сыграли роль и соображения личной безопасности: «Я был бы не искренен, — писал впоследствии Витте,

— если бы не высказал то, может быть, совершенно неосновательное впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власть имущих, и что это было одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души: "Лучше подальше от опасности"»[131].

Витте вел себя как европейский премьер-министр не только в подборе своего кабинета, но и требуя от губернаторов и военных властей, несших в России административную ответственность, ежедневных отчетов. Кроме того, он организовал пресс-бюро, чтобы создать благоприятную для себя прессу[132]. Эти шаги не были оценены двором, подозревавшим, что Витте воспользовался критической ситуацией, чтобы стяжать больше личной власти и сделаться «Великим визирем». Насколько шатким было положение Витте, видно из письма царя к матери, где он отзывается о своем премьер-министре, которому, чтобы получить займы для России, приходилось иметь дело с еврейскими банкирами за рубежом, как о «хамелеоне», которому не верит никто, кроме «заграничных жидов»[133].

Октябрьский манифест и последовавшая за ним политическая амнистия во многом способствовали прекращению забастовок и иных форм радикальных беспорядков в городах. В то же время он вызвал более жестокие бесчинства со стороны правых элементов, расправлявшихся с теми, кто, по их мнению, заставил царя признать нечто столь противоречащее русскому духу, как конституция. Поднялась и волна крестьянских беспорядков. Было бы нелепо искать в этом разгуле насилия, разбушевавшемся на целых два года, какую-либо логику. Это были всплески копившейся обиды, выпущенной на волю крушением власти, — без смысла и даже вопреки здравому смыслу, без какой бы то ни было программы, типичный пример русского бунта, который так хотел предотвратить Витте.

На следующий день после объявления высочайшего манифеста по всей стране вспыхнули еврейские погромы, переметнувшиеся и на студентов, на интеллигенцию. Черту оседлости и города вроде Москвы, где многие евреи жили на временных основаниях, охватили такая паника и ужас, которых не испытывали со средних веков. Евреев избивали и убивали, их имущество грабили и жгли. Одесса, которой принадлежит пальма первенства в насилии, была свидетелем самого жестокого погрома, в котором погибло около 500 евреев. Убийство же 30—40 евреев было «нормой» для небольших городов[134].

Пусть и подвергая евреев всевозможной дискриминации, правительство прежде все же не только не потворствовало погромам, но и сурово подавляло их, из опасения, что антиеврейские выступления выйдут из-под контроля и ударят по русским помещикам и чиновникам. Действительно, оба рода насилия имеют общую психологическую основу: хотя радикальная интеллигенция считала антиеврейские погромы «реакционными», а антипомещичьи «прогрессивными», сами погромщики не делали таких различий. Видя, как толпа избивает и грабит евреев под безучастными взорами полиции и казаков, крестьяне понимали это так, что власти поощряют выступления против необщинных владений и их хозяев. В 1905— 1906 годах в многих местностях крестьяне громили поместья вполне православных помещиков, вообразив, что царь, миривший с еврейскими погромами, не станет препятствовать погромам помещиков*. Таким образом, предотвращая насилие над евреями, власть имущие действовали в своих интересах.

* Обзор крестьянских волнений 1905—1906 годов включает отчет по центральному сельскохозяйственному региону, в котором утверждается, что «аграрное движение вызвано тем, что со всех концов России в известное время донеслись до сел слухи, что в городах безнаказанно бьют жидов и позволено грабить их имущество» (см.: Аграрное движение в России в 1905—1906 гг. СПб., 1908. Т. 1. С. 48). Сходные наблюдения были сделаны и в отношении аграрных волнений на Украине (там же. Т. 2. С. 290).

Но теперь, растерявшись в круговороте событий, монархисты утратили чувство реальности: они не только попустительствовали еврейским погромам, но и непосредственно к ним подстрекали. Войдя в должность, Витте выяснил, что департамент полиции, используя конфискованное у революционеров подпольное оборудование, тайно печатал и распространял прокламации, призывающие к еврейским погромам. Витте прекратил эту практику, но она уже унесла многие жизни[135]. Неспособные как-либо объяснить, что сталось с их идеализированной Россией, кроме как обвинив во всем ее врагов, среди которых евреи занимали почетное место, монархисты призывали к насилию. В пагубном заблуждении находился и царь, писавший матери 27 октября, что «девять десятых революционеров и социалистов жиды». Это объясняло и, по-видимому, оправдывало в его глазах народный гнев против евреев и других «нехороших элементов», в ряды которых он зачислял «русских агитаторов, инженеров, адвокатов»[136]*. В декабре 1905 года царю был вручен значок Союза русского народа, недавно созданной монархической организации, ставившей целью восстановление самодержавия и преследование евреев.

* Через две недели, объяснив еврейские погромы справедливым возмездием, царь, к своему ужасу, узнал, что они сопровождались разгромом имений русских помещиков (см.: КА. 1927. № 3/22. С. 174).

Однако главными виновниками беспорядков были теперь не евреи и не интеллигенты, а крестьяне. Крестьяне совершенно неверно представляли себе суть манифеста, понимая его на свой лад — как дарующий общинам право распоряжаться всей землей. Некоторые крестьянские волнения имели место весной 1905 года, еще больше летом, но настоящий взрыв их произошел только после 17 октября[137]. Слыша о

безнаказанности стачек и погромов в городах, крестьяне сделали свой собственный вывод. Начиная с 23 октября, когда широчайшие волнения вспыхнули в Черниговской губернии, волна аграрных беспорядков неуклонно возрастала до самой зимы и с еще большей силой вновь ударила весной 1906 года. Она окончательно стихла лишь в 1908 году, после принятия премьер-министром Столыпиным жесточайших репрессивных мер.

Аграрные беспорядки 1905—1906 годов повлекли на удивление мало жертв; существует лишь одно достоверное свидетельство убийства помещика, хотя и есть сведения об убийстве пятидесяти крестьян-единоличников, представлявших на селе основной объект ненависти[138]. В некоторых местностях разгром поместий сопровождался еврейским погромом. Основной целью «жакерии» было не причинение физического ущерба и даже не захват земли, но лишение помещиков и других землевладельцев-некрестьян возможности жить с земли, т.е. «выкуривание» их. По словам одного наблюдателя, крестьянское движение «направлялось исключительно против владений, а не против помещиков: помещики им совсем не нужны, а земля им нужна»[139]. Мысль была проста: заставить помещиков уйти с земли и продать свои земли по сходной цене. И с этой целью крестьяне вырубали помещичий лес, выгоняли свой скот на помещичьи пастбища, ломали машины и отказывались платить арендную плату. В некоторых местах поджигали усадьбы. Особенно сильные волнения наблюдались в центральных губерниях России и в Прибалтике, меньшие — в западных и юго-западных регионах, бывшей Польше. Участвовали в беспорядках прежде всего молодежь и вернувшиеся с Дальнего Востока солдаты, но всегда побудителем были города. Громя поместья, бунтовщики не делали разницы между «хорошими» и «плохими» барами — имения либеральных и революционно настроенных интеллигентов не щадили точно так же. Консерваторы, защищавшие себя, страдали меньше либералов, проникшихся сознанием вины[140]. Как мы увидим ниже, крестьянские методы выживания из деревни некрестьянских землевладельцев оказались весьма эффективными.

В попытке усмирить аграрные беспорядки правительство в начале ноября снизило выкупные платежи (установленные для бывших крепостных в 1861 году) и пообещало вообще упразднить их в январе 1907 года, но эти меры не произвели умиротворяющего действия в сельских регионах.

В 1905 и 1906 годах крестьяне чаще всего воздерживались от захвата земли из опасения, что им не удастся ее удержать. Они все еще надеялись на великий черный передел всех необщинных земель, но если раньше ждали его проведения от царя, то теперь все их надежды были устремлены к Думе. Чем быстрее они сгонят помещиков, полагали крестьяне, тем скорее начнется передел.

К разочарованию царя, Октябрьский манифест не умиротворил Россию. Тем более росло его недовольство премьер-министром: 10 ноября он жаловался, что Витте обещал после объявления манифеста больше не допустить беспорядков, на деле же они только усугубились[141].

И вновь правительству пришлось вступить в единоборство с оппозицией, на сей раз с крайне левыми. В этом столкновении уже не было места компромиссам, ибо социалистов могла удовлетворить лишь политическая и социальная революция — не больше не меньше.

Власти пока еще терпели Петербургский Совет, который продолжал заседать, хотя и не имел сколько-нибудь ясной цели. Но 26 ноября был отдан приказ арестовать его председателя Г.С.Носаря. Президиум Совета в составе трех человек (одним из них был Л.Д.Троцкий, взявший на себя обязанности председателя) принял решение ответить вооруженным восстанием. Первым актом, который, как надеялись, приведет режим к финансовому краху, было обращение к населению от 2 декабря (так называемый «Финансовый манифест»), призывавшее «отказаться от взноса выкупных и всех других казенных платежей» и требовать при всех сделках выплаты золотом. На следующий день Дурново арестовал Совет, упрятав за решетку около 260 депутатов (почти половину его состава)[142]. Вслед за этим под председательством А.Л.Гельфанда (Парвуса) собрался суррогатный Совет[143]. 6 декабря Петербургский Совет призвал начать через два дня всеобщую стачку. Однако на этот призыв не откликнулись, несмотря на благословение «Союза союзов»[144].

Значительно больших успехов достигли социалисты в Москве. Московский Совет, образованный только 21 ноября из интеллигенции, представлявшей три основные социалистические партии, решил вывести революцию из «буржуазной фазы». Они опирались на малоквалифицированных рабочих, в большинстве занятых в текстильном производстве, в профессиональном и культурном плане уступавших своим коллегам из столицы. Основной движущей силой был Московский комитет большевиков[145]. Московское восстание было первым случаем, когда во главе встали социалисты. 6 декабря Московский Совет вынес решение начать на следующий день вооруженное выступление с целью свержения царского правительства, созыва Учредительного собрания и провозглашения демократической республики*.

* Революция 1905—1907 гг. в России // Под ред. А.М.Панкратовой. Т. 4. Кн. 1. С. 650. Авторы этой программы, очевидно, заранее решили, что Учредительное собрание непременно сменит монархический строй на республиканский.

7 декабря жизнь в Москве была парализована; стачка была усилена агентами Совета, которые угрожали расправой всем, кто не пожелает их поддержать. Через два дня правительственные войска выступили против восставших, которые ответили партизанской тактикой. Прибытие Семеновского полка, обстрелявшего мятежников из пушек, решило исход дела. 18 декабря Исполком Московского Совета сдался. Погибло в эти дни более тысячи человек, и целые кварталы города лежали в руинах.

В последовавшем разгуле репрессий полиция срывала злость на студентах. Неизвестно, какое число

лиц, причастных или подозреваемых в причастности к восстанию, были казнены тут же. В губернии были посланы карательные экспедиции.

В середине апреля 1906 года Витте подал в отставку, главным образом потому, что царь перестал ему доверять. Перед уходом он сумел обеспечить России международный займ на сумму в 844 млн. рублей. Эта крупнейшая по тем временам сделка дала возможность стабилизировать российские финансы, подорванные войной и революцией, и, кроме того, на некоторое время вперед обеспечивала двору независимость от Думы, которая вскоре должна была начать работу[146]. Графа Витте заменил на его посту И.Л.Горемыкин, сановник, любимый при дворе за свое раболепие. Витте же, назначенный членом Государственного совета, представлявшего верхнюю палату новоявленного парламента, оставшиеся годы (он скончался в 1915 году) провел за писанием мемуаров, лелея неприязнь к преемнику Горемыкина, П.А.Столыпину.

* * *

1905 год знаменовал вершину русского либерализма — триумф его программы, стратегии и тактики. Ведь именно «Союз освобождения» и его филиалы, земское движение и «Союз союзов» вынудили монархию даровать России конституцию и парламентский строй. И несмотря на последующие утверждения социалистов и, в особенности, большевиков, они в этих событиях сыграли лишь второстепенную роль: единственная их самодеятельная акция — московское восстание — закончилась весьма плачевно.

Триумф либералов, однако, был весьма непрочным. Как покажут дальнейшие события, они представляли собой малую группу, оказавшуюся под перекрестным огнем консерваторов и крайних радикалов. Стремясь, как и консерваторы, предотвратить революцию, они тем не менее были многим обязаны радикалам, поскольку лишь угроза революции была тем рычагом, с помощью которого они могли добиться от монархии больших уступок. В конце концов именно это противоречие послужило причиной потери ими руководящей роли.

Революция 1905 года существенно изменила политическое устройство России, но не смогла изменить политических позиций. Монархия игнорировала положения Октябрьского манифеста и подчеркивала, что по существу ничего не изменилось. Ее сторонники справа и науськанные ими толпы жаждали отомстить тем, кто унизил царя. Социалистическая интеллигенция, со своей стороны, еще решительнее, чем прежде, стремилась воспользоваться проявленной правительством слабостью и развязать следующую, социалистическую фазу революции. Опыт 1905 года внушил им более, а не менее радикальные настроения. Плачевная хрупкость уз, скреплявших Россию, стала очевидна всем; но для правительства это было указанием на необходимость укрепления власти, радикалы же восприняли это как сигнал к разрушению существующего строя. Неудивительно поэтому, что и правительство, и оппозиция сходным образом усмотрели в Думе не возможность прийти к согласию, а арену борьбы, и на трезвые голоса, призывавшие к сотрудничеству, обрушивались критики и с той и с другой стороны.

Поэтому можно с полным основанием сказать, что революция 1905 года не только не устранила главной российской беды — отчуждения правителей и их подданных друг от друга, но и отяготила ее. И поскольку именно политические установки в большей степени, чем политические институты или «объективные» экономические и социальные причины, определяют ход политических событий, лишь безграничные оптимисты могли смотреть с уверенностью в будущее. В действительности Россия получила лишь краткую передышку.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УКЛАД РОССИИ

Все описанные события происходили в стране во многих отношениях уникальной. Будучи абсолютной монархией (до 1905 года), которой управляла всесильная бюрократия, эта страна, расслоенная на сословные касты, уподоблялась восточной деспотии. Однако международные амбиции, экономическая и культурная политика России придавали ей динамизм западного толка. Противоречие между статичным характером политического и социального уклада и динамизм экономической и культурной жизни приводило к состоянию неизбывной напряженности, привносило в страну ощущение неустойчивости, вечного ожидания. По словам французского путешественника, Россия оставляет впечатление какой-то «незавершенности»[1].

До Октябрьского манифеста Россия была страной самодержавной. Согласно Основным законам, ее властитель, Государь Император, был монархом неограниченным и самодержавным. Первое определение означало, что он не ограничен никакими конституционными рамками, а второе — что он не ограничен никакими учреждениями[2]. Первоначальное определение императорская власть получила в 1716 году в Военном Регламенте Петра Великого (гл. 3, ст. 20), сохранявшем силу и в 1900 году: «Его Величество есть самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои Государства и земли, яко Христианский Государь, по своей воли и благомнению управлять».

Государь был единственным законотворцем и автором распоряжений. Согласно статье 51 Основных законов, «никакое место или правительство в государстве не может само собою установить нового закона, и

никакой закон не может иметь своего совершения без утверждения Самодержавной Власти». На практике было невозможно осуществлять столь суровый абсолютизм в стране с 125-миллионным населением, занимающей пятое в мире место по объему экономики, и со временем все более официальный статус обретали дискреционные, самостоятельные органы власти. Тем не менее самодержавный принцип сохранялся неколебимо, и всякое сомнение в нем, проявленное словом или делом, влекло жесточайшие преследования.

На первый взгляд, русское самодержавие не отличалось от старорежимных монархий Европы, и именно так, как некий анахронизм, страну по большей части и воспринимали как в самой России, так и за ее пределами. Но при ближайшем рассмотрении, в контексте ее собственной истории, можно заметить некоторые особенности русского абсолютизма, отличающего его и от монархий Бурбонов, и от Стюартов и Гогенцоллернов. Европейские путешественники в XVI и XVII веках, когда абсолютизм ancien regime'a был в зените, поражались различием между тем, что они привыкли видеть, и тем, что открывалось их взору в России[3]. Особые черты русского абсолютизма в его ранней форме, просуществовавшей с XIV по конец XVIII века, заключались в отсутствии института частной собственности, который на Западе противостоял королевской власти, устанавливая ее реальные пределы. В России само понятие имущества (в римском смысле безраздельного владения вещью) отсутствовало до введения его Екатериной II, немкой по происхождению. Московская Русь управлялась словно частное владение, ее население, территории со всем содержимым считались имуществом трона.

Такой тип правления со времен Томаса Гоббса был известен как «патриархальный», или «вотчинный»*. Его отличительные черты: слияние принципа владычества с принципом владения; монарх считает себя и считается своими подданными одновременно и правителем царства и его владельцем. Вотчинное право в России покоилось на четырех опорах:

1) монополия политической власти;

2) монополия экономических ресурсов и оптовой торговли;

3) право правителя ожидать безграничной преданности служения от своих подданных; отсутствие как личных, так и групповых (сословных) прав;

4) монополия на информацию.

* Происхождению и развитию русского вотчинного уклада посвящена наша книга «Россия при старом режиме». М, «Захаров», 2004.

В начале XVIII века, пожелав обрести статус европейской державы, Россия должна была соответствовать своим западным соперникам и в военной мощи, и в хозяйственном, и в культурном развитии. И эти условия потребовали от монархии частичного отказа от вотчинных установлений, верно служивших ей, пока она оставалась по существу восточной державой, соревнующейся с восточными же державами. В середине XVIII века монархия признала права собственности на землю и другие формы собственности: само слово «собственность», построенное как калька с немецкого Eigentum, именно в это время входит в русский словарь. Одновременно трон стал выпускать из своих рук производство и торговлю. Хотя по западным меркам в 1900 году влияние государства в национальной экономике ощущалось весьма существенно, в стране к тому времени уже наладился процветающий свободный рынок и соответствующие капиталистические структуры. И, попирая права человека, царизм все же уважал право собственности. Правительство к тому же постепенно отказывалось от своего права требовать несения неограниченной служебной повинности, освободив от принудительной государственной службы сначала дворянство (1762 г.), а столетие спустя и крепостных (1861). По-прежнему государство сохраняло за собой право цензуры, однако осуществляло его не слишком строго или планомерно, так что на обмен идеями это не могло чувствительно повлиять, тем более что за границу можно было ездить почти беспрепятственно.

Так к 1900 году, за одним лишь исключением, вотчинные черты российского государства отошли в прошлое. Исключение же составляла политическая система. Давая «вольную» обществу в экономическом, социальном и культурном плане, престол упрямо не подпускал его к сфере законодательной и административной*. Монарший трон по-прежнему настаивал на том, что обладает исключительным правом на законодательную и исполнительную деятельность, что царь — есть монарх «неограниченный» и «самовластный» и что законы должны исходить от него. Несоответствие российского политического устройства ее экономическим, социальным, культурным и даже административным реальностям расценивалось наиболее образованными кругами России как аномалия. Ибо, действительно, как примирить высокий уровень промышленности и культуры с политической системой, почитающей своих граждан не способными к самоуправлению? Почему народ, давший Толстого и Чехова, Чайковского и Менделеева, должен управляться кастой профессиональных бюрократов, большинство из которых малообразованны, а многие не чисты в делах? Почему и сербы, и финны, и турки имеют конституцию и парламент, а русские нет?

* Земства и городские собрания — органы местного самоуправления, введенные в 1864—1870 годах, — исполняли важные культурные и экономические функции (образование, медицина и т.д.), но не имели никакой административной власти.

На первый взгляд эти вопросы представляются неразрешимыми, однако существуют и на них ответы, которые, в виду всего произошедшего после 1917 года, заслуживают нашего интереса.

Образованные и передовые в экономическом отношении слои российского общества, боровшиеся за свои политические права, представляли заметную, но малочисленную группу. Основной заботой царской администрации была 50-миллионная армия крестьян Великороссии, сосредоточенная в центральных губерниях, ибо именно от их спокойствия и верности зависела в конечном счете безопасность империи*. У крестьянина были причины для недовольства, но не политическим строем, ведь крестьянину так же трудно было представить себе иной образ правления, как, скажем, иные климатические условия. Существующий режим вполне его устраивал, потому что был ему понятен по опыту собственного домашнего уклада жизни, организованного по той же модели: «Власть господина безгранична — как власть отца. Такое самодержавие есть просто продолжение отеческой власти <...> От основания до вершины необъятная Северная империя, во всех ее уголках и среди всех сословий, представляется сооруженной по единому плану и в едином стиле; все камни как будто вышли из одной каменоломни, и все строение покоится на едином основании: патриархальной власти. И этой чертой Россия склоняется в сторону старых монархий Востока и решительно отворачивается от современных государств Запада, основывающихся на феодализме и индивидуализме»[4].

* В Российском многонациональном государстве господствующая нация, великороссы, по языковому признаку составляла к началу века 44,4% населения. Большинство же представляли другие православные славянские народы (украинцы — 17,8%, белорусы — 4,7 %); а также поляки (6,3%); магометане, в основном тюркоязычные и сунниты (11,1%); евреи (4,2%); различные балтийские, кавказские и сибирские народности. Общая численность населения Российской империи, согласно первой переписи, проводившейся в 1897 году, равнялась 125,7 млн. человек (не учитывая Финляндии, которая была отдельным Великим княжеством русского царя, и среднеазиатских протекторатов Хивы и Бухары). Из 55,7 млн. великороссов около 85% были крестьянами.

Крестьянин-великоросс, до мозга костей проникнутый крепостным сознанием, не только не помышлял о гражданских и политических правах, но и, как мы увидим далее, к таким идеям относился весьма презрительно. Правительство должно быть властным и сильным — то есть способным добиваться безоговорочного послушания. Ограниченное в своей власти правительство, поддающееся внешнему влиянию и спокойно сносящее поругание, казалось крестьянину противоречащим самому смыслу слова. По мнению чиновников, непосредственно занятых в управлении страной и знакомых с крестьянскими воззрениями, конституционный строй западного образца означал лишь одно — анархию. Крестьяне поймут конституцию единственным образом — в смысле свободы от всяких обязательств перед государством, которые они и исполняли-то только потому, что не имели иного выбора; тогда — долой все подати, долой рекрутчину и, прежде всего, долой частное землевладение. Даже сравнительно либеральные чиновники относились к русским крестьянам как к дикарям, которых можно держать в узде лишь потому, что они считают своих господ сделанными из другого теста[5]. Во многих отношениях бюрократия относилась к населению, как европейские державы относились к колониям: некоторые наблюдатели проводили параллель между российской администрацией и британской государственной службой в Индии[6]. Но даже самые консервативные бюрократы понимали, что нельзя вечно полагаться на покорность населения и что рано или поздно суждено прийти к конституционному строю, но все же предпочитали, чтобы эта задача выпала на долю следующих поколений.

Другим препятствием на пути к либерализации стала интеллигенция, обычно определяемая как категория образованных горожан, в основном высших и средних классов, выступающих в вечной оппозиции к царизму, требуя от трона и бюрократии, во имя народного блага, уступить им бразды правления. Но монархия и высшие сановники считали их не способными к управлению. И действительно, как показали последующие события, интеллигенция сильно недооценила трудности управления Россией: согласно интеллигентским воззрениям, демократия представляла собой не результат терпеливой эволюции устоев и учреждений, но естественное для человека состояние, благотворному влиянию которого не дает проявиться царский деспотизм. Не имея никакого опыта администрирования, они подменяли управление законотворчеством. По мнению бюрократов, эти профессора, юристы и журналисты, если их допустить к рычагам управления, не в состоянии будут их держать и скоро уступят дорогу анархии, выгодной единственно радикальным экстремистам. Такие убеждения разделяли при дворе и преданные двору чиновники. Среди интеллигенции были вполне здравомыслящие, практичные люди, сознающие сложности демократизации России и стремящиеся к сотрудничеству с власть имущими, но таких было немного и им приходилось выдерживать нападки либералов и социалистов, заправлявших общественным мнением.

Власть имущие в России в 1900 году считали, что «политика» — просто непозволительная роскошь для страны: при ее необъятных размерах, этнической разнородности и культурной отсталости нельзя позволять чьим-то отдельным суждениям и интересам играть определяющую роль. А политика должна оставаться в руках администрации, действующей под покровительством беспристрастного судии в лице абсолютного правителя.

* * *

Самодержавию нужен самодержец, и самодержец не только в смысле формальных прерогатив, ему присущих, но и самодержец по духу, по личным свойствам характера; на крайний случай необходим хотя бы парадный монарх, готовый восседать на троне, пока страной правит бюрократия. Роковым образом в России накануне двадцатого столетия в молодом царе воплотилось наихудшее сочетание этих качеств: при отсутствии знаний и воли, необходимых правителю, стремление исполнять роль самодержца.

На протяжении предыдущего столетия в России сильные правители чередовались со слабыми в правильном порядке: вслед за колеблющимся Александром I пришел поборник строгой дисциплины, «солдафон» Николай I, чей преемник Александр II был снова человеком мягким. Его сын Александр III был олицетворением самодержавия: крепко сложенный и физически сильный, голыми руками сминавший оловянные кружки, веселивший общество, врываясь в запертые двери, любивший цирк, игравший на трубе, он без колебаний прибегал к силе. Воспитываясь в тени отца, будущий Николай II с детских лет проявлял черты «мягкого» царя. Ему не импонировали ни власть, ни сопряженные с ней церемонии: самым большим удовольствием было для него проводить время в кругу семьи с женой и детьми или в прогулках. Хотя ему пришлось играть роль самодержца, он более всего подходил к роли парадного монарха. Он отличался великолепными манерами и умел очаровывать людей: Витте считал Николая II самым воспитанным человеком из всех, с кем ему приходилось встречаться[7]. В интеллектуальном отношении он был, однако, несколько ограничен. Самодержавие он понимал как священную обязанность, а себя считал попечителем вотчины, которую унаследовал от отца и был обязан передать в целости своему наследнику. Его не привлекали привилегии власти, и он признался как-то одному из своих министров, что если бы не боялся навредить России, то с удовольствием отделался бы от самодержавной власти[8]. И действительно, никогда он не был лично так счастлив, как в марте 1917-го, когда был вынужден отречься. Он рано научился скрывать истинные чувства за бесстрастной маской. Вообще довольно мнительный и даже порой мстительный, он был по существу человеком мягким, простых вкусов, тихим и скромным, ему претили тщеславие политиков, интриги сановников и общее падение нравов современного общества. Он не любил людей сильных и независимых и самых способных своих министров старался не приближать к себе, а в конце концов жертвовал ими ради почтительных в обращении и предупредительных ничтожеств.

Выросший в крайне замкнутой придворной атмосфере, он не имел возможности сформироваться эмоционально или интеллектуально. В возрасте двадцати двух лет он произвел на одного из высших сановников такое впечатление: «Это довольно миловидный офицерик; белая, отороченная мехом форма гвардейских гусар ему идет, но в общем вид у него такой заурядный, что его трудно заметить в толпе; лицо его невыразительно; держит он себя просто, но в манерах нет ни элегантности, ни изысканности»[9].

Даже когда ему было уже двадцать три года, по свидетельству того же сановника, его отец Александр III обращался с ним как с ребенком. Однажды за обедом цесаревич осмелился противоречить отцу, взяв сторону бюрократической оппозиции, и отец выразил свое недовольство, «яростно бомбардируя цесаревича хлебными шариками»[10]. Александр часто пренебрежительно отзывался о сыне как о мальчике с совсем детскими суждениями, совершенно не приспособленном к ожидающим его обязанностям[11].

Воспитанный таким образом, Николай был совершенно не готов восседать на престоле. После смерти отца он говорил одному из министров: «Я ничего не знаю. Покойный государь не предвидел своего конца и не посвятил меня ни во что»[12]*. Интуиция подсказывала ему: во всем надо неуклонно следовать по пути отца, в особенности в том, что касалось идеологии и учреждений абсолютизма вотчинного склада. Так он и делал, пока позволяли обстоятельства.

* Любопытно сравнить это высказывание с удивительно схожим замечанием Людовика XVI, узнавшего о смерти своего отца: «Какое бремя! Меня ничему не научили! Словно на меня валится весь мир» (Gaxotte P. The French Revolution. Lnd.; N. Y., 1932. P. 71).

В довершение беды злой рок преследовал будущего царя с самого рождения, пришедшегося, весьма знаменательно, на день Иова Многострадального. Все, за что он только ни брался, шло прахом, и вскоре он уже снискал репутацию «несчастливца». Он и сам поверил в это, впадая во все большую нерешительность, прерываемую вспышками упрямства.

Проявляя самостоятельность, Николай в 1890—1891 годах предпринял путешествие по Дальнему Востоку, который, кстати, некоторые дипломаты считали подходящей сферой влияния России; такого же взгляда придерживался и будущий монарх. Путешествие едва не закончилось трагедией — Николай подвергся нападению невменяемого японского террориста.

В день коронации в 1896 году разразилось новое несчастье: по столь торжественному случаю на Ходынском поле в Москве было устроено народное гуляние, на которое стеклось около 500 тыс. человек. В ужасной давке при раздаче подарков около 1400 человек были затоптаны и задавлены насмерть[13]. Игнорируя эту трагедию, царская чета спокойно отправилась на бал по случаю коронации. Оба этих события были восприняты как дурное предзнаменование.

И, быть может, наслышанное о суровом обращении с ним такого своевольного человека, каким был Александр III, общество при вступлении Николая II на престол в 1894 году приписало ему либеральные взгляды. Но весьма скоро обществу пришлось разочароваться в своих ожиданиях. В обращении к земской

депутации в январе 1895 года царь назвал толки о либерализации «бессмысленными мечтами» и торжественно обязался «охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно», как это делал его покойный отец[14]. На том и завершился его мимолетный политический медовый месяц. И хотя он редко высказывался по политическим вопросам, но не таил, что относится к России как к династической вотчине. Одним из примеров такого отношения может служить тот факт, что он повелел вручить в дар Черногорскому князю, по просьбе двух русских великих князей, женатых на княжеских дочерях, сумму в три миллиона рублей, полученную от Турции по условиям мирного договора. Лишь с большим трудом удалось убедить царя не распоряжаться с таким рыцарским великодушием деньгами, принадлежащими российской казне[15]. И это был не единственный случай проявления вотчинного духа его царствования.

По природе робкий и безразличный к власти, он, казалось, захочет примириться с оппозицией, но нельзя забывать о его царственной супруге, которой суждено было сыграть существеннейшую и весьма негативную роль в последние годы старого режима. Александра Федоровна (Алике) по материнской линии приходилась внучкой королеве Виктории, родилась в германском герцогстве Гессене, в России — и в обществе, и в народе — слыла «немкой»*. Надменная и холодная, она быстро настроила против себя петербургское общество, и чем глубже становилось ее отчуждение, тем более сужался круг общения, в конце концов ограничившийся самыми доверенными друзьями — Анной Вырубовой и Распутиным. Ее редко видели улыбающейся, а на фотографиях она обычно глядит в сторону от объектива. Страдая головными болями и, как она полагала, болезнью сердца, она пристрастилась к лекарствам. Очень склонна была к мистицизму. Французский посол Морис Палеолог оставил беглую характеристику императрицы: «Моральное беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смена возбуждения и уныния, постоянная мысль о невидимом и потустороннем, легковерие, суеверие...»[16] Уединившись во дворце в Царском Селе и не видя никого, кроме придворных, она создала себе культ мифического русского «народа», который, как она неколебимо верила, питает безграничную любовь к царской фамилии. Она никому не доверяла, включая и родственников Николая II, которых подозревала в желании свергнуть его с престола.

* В действительности и самого Николая II можно было лишь с большой натяжкой считать русским по крови: в результате перекрестных браков с датскими и немецкими династиями, начиная с XVIII века, русские монархи были русскими лишь номинально. Излюбленным приемом оппонентов было называть их «Готторп-Голштейнами», что в смысле генеалогии было не столь уж далеко от истины.

Все это было бы несущественно, не будь она убеждена, что обязана восполнить недостаток решимости своего царственного супруга, удерживая его от политических уступок и взяв непосредственно в свои руки назначение сановников: она частенько использовала влияние на мужа, настраивая его против людей, к которым, по тем или иным причинам, питала неприязнь. Обращаясь с мужем, как с благодушным ребенком (она любила изображать его младенцем на руках матери), она управляла им, играя на его чувстве долга и подозрительности. Хотя она родилась и воспитывалась в Европе, но очень скоро усвоила патриархальный уклад своей новой родины. Вновь и вновь напоминала она супругу о его священной обязанности, о том, что он хранитель священного наследия: «Ты и Россия — одно», — увещевала она[17]. Когда родился наследник, она положила своей жизненной миссией сохранить в неприкосновенности институт самодержавной монархии до того времени, когда он сможет взойти на престол. Своим поведением она все более расширяла пропасть между монархией и обществом, и вскоре этот разрыв стал непреодолимым: в 1916 году самые закоренелые монархисты, включая многих великих князей, отвернулись от нее и замышляли ее удаление от власти. И в этом смысле ее историческая судьба сходна с судьбой Марии Антуанетты.

Царственный супруг, угождая жене, обычно внимал ее советам, однако вовсе не рабски бездумно, и случалось, окончательные решения принимал вопреки ее желаниям. Они были очень любящей супружеской парой, всецело преданной друг другу и, как правило, разделяли общие взгляды. Они презирали так называемое общественное мнение, которое связывали исключительно с петербургским обществом и интеллигенцией и считали искусственным «средостением, воздвигнутым, чтобы отгородить их от обожающего народа»*. Говорили, что, когда Николай II произносил слово «интеллигенция», у него на лице была гримаса, словно он говорил «сифилис». Он считал, что это слово следует исключить из русского словаря[18].

* Mossolov A.A. At the Court of the Last Tsar. Lnd., 1935. P. 127—131. Витте вспоминает, что, когда он употребил выражение «общественное мнение» в присутствии царя, тот в сердцах ответил: «А мне какое дело до общественного мнения?» (см.: Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 328).

Несчастья, преследовавшие Николая II во всех его начинаниях, не обошли стороной и его семейную жизнь. Жена родила ему одну за другой четырех дочерей, но наследника все не было. В отчаянии она обращалась к различным шарлатанам, один из которых, французский врач Филипп, сумел внушить ей, что она беременна сыном. Александра Федоровна так поверила в это, что стала полнеть, пока на девятом месяце медики не установили, что беременность ложная[19]. В 1904 году наконец родился наследник, но оказалось, что он болен гемофилией, неизлечимой болезнью, носителем которой была она. Это потрясение углубило

мистицизм царицы, но одновременно придало решимости увидеть сына, нареченного Алексеем, царем Всея Руси.

Придворная обстановка, царедворцы, окружавшие Николая II, вдохновляли его придерживаться анахроничной политической практики. Огромное внимание при дворе уделялось внешнему убранству и соблюдению ритуальных форм. В результате многие в стране разделяли следующее мнение послереволюционного памфлетиста: «Круг приближенных состоял из тупых, невежественных последышей дворянских родов, лакеев аристократии, потерявших свободу мнений и убеждений, традиционные представления о сословной чести и достоинстве. Все эти Воейковы, Ниловы, Мосоловы, Апраксины, Федосеевы, Волковы — бесцветные, бездарные холопы, стояли у входов и выходов царского дворца и охраняли незыблемость самодержавной власти. Эту почетную обязанность делила с ними другая группа Фредериксов, Бенкендорфов, Корфов, Гроттенов, Гринвальдов — напыщенных, самодовольных немцев, которые пустили прочные корни при русском дворе и создали своеобразный колорит закулисного влияния. Глубокое презрение к русскому народу роднило всю эту высокопоставленную челядь. Многие из них не знали прошлого России, пребывали в каком-то тупом неведении о нуждах настоящего и равнодушно относились к будущему. Консерватизм мысли означал для большинства просто умственный застой и неподвижность. Для этой породы людей самодержавие потеряло смысл политической системы, ибо их кругозор бессилен был подняться до идей обобщающих. Жизнь протекала от одного эпизода к другому, от назначения к перемещению по лестнице чинов и отличий. Иногда череда событий прерывалась потрясением, бунтом, революционной вспышкой или покушением террористов. Эти зловещие симптомы пугали, даже устрашали, но никогда не внушали глубокого интереса и не привлекали к себе серьезного внимания. Все сводилось в конечном счете к надеждам на нового энергичного администратора или искусного охранника»[20].

* * *

Монархия правила Россией с помощью пяти институтов: гражданской службы, тайной полиции, дворянства, армии и православной церкви.

Российское чиновничество, восходя к средневековой княжеской челяди, холопам, в XX веке еще сохраняло явные черты своего происхождения. Оно сознавало себя прежде всего личными слугами монарха, а не слугами государства. И государство чиновничеством не воспринималось как нечто самостоятельное и стоящее выше государя и его чиновников[21].

Поступая на службу, чиновник в России приносил клятву верности не государству или народу, а непосредственно правителю. Он служил исключительно монарху и своим непосредственным начальникам. Старшему по чину чиновнику, чтобы уволить подчиненного, не требовалось предъявлять никаких оснований, а увольняемому не давалась возможность объясниться. «Устав о службе» лишал уволенного чиновника всех возможностей к восстановлению на службе: «Чиновников, кои по убеждению начальства неспособны к исправлению возложенных на них должностей, или почему-либо неблагонадежны, или сделали вину, известную начальству, но такую, которая не может быть доказана фактами, предоставляется начальникам, от коих в общем порядке зависит увольнение от должностей, сими чиновниками занимаемых, увольнять по своему усмотрению и без просьбы их. <...> Но те чиновники, кои по усмотрению начальства будут просто уволены от службы, без означения причин сего увольнения, на такое распоряжение не могут жаловаться, и все их жалобы, а также просьбы о возвращении к прежним должностям или предании суду не только должны быть оставляемы без всякого действия и движения, но ни в Правительствующем Сенате, ни в Канцелярии Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее Имя приносимых, не должны быть вовсе принимаемы»*.

* Российские служебные правила формализованы в томе 3 «Свода законов» (Устав о службе по определению от правительства: Изд. 1896 г.// Свод Законов Российской Империи. СПб., 1913). Все дальнейшие отсылки даются на это издание. В Российской империи термин «неблагонадежный» имел вполне официальное хождение и мог означать для удостоившегося такой характеристики увольнение из всякого государственного учреждения, включая университеты. Формальное определение этому понятию дал в 1881 году министр внутренних дел Н.П.Игнатьев (см.: Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964. С. 395).

Словно чтобы подчеркнуть происхождение государственных служащих от домашней челяди, чиновнику, независимо от ранга, не давалось права уйти в отставку без позволения. Еще в 1916 году министры, большинство из которых не одобряли и не хотели мириться с царской политикой, должны были подавать прошение об отставке на высочайшее имя, и во многих случаях царь отставку не принимал — ситуация просто не представимая в Европе.

В противоположность Западной Европе, где при приеме на государственную службу безусловно требовалось либо наличие диплома, либо прохождение экзамена, либо и то и другое вместе, в России требования к кандидату были весьма поверхностными. Чтобы стать канцелярским служителем, то есть занять начальную ступень чиновной лестницы, но еще без классного чина, соискатель должен был лишь проявить умение читать, правильно писать и знать арифметику. Для продвижения на следующую ступень он должен был пройти экзамен на знание предметов, преподаваемых в начальной школе. А уже получив чин

низшего класса, чиновник нередко более не обязан был доказывать свою подготовку и продвигался вверх в соответствии с законами старшинства и рекомендациями начальства. Это означает, что никакого четкого критерия назначения и повышения чиновников не было и на практике наиболее значимыми оказывались такие качества, как всецелая преданность монархии, слепая готовность исполнять приказания и безоговорочное приятие существующего порядка.

Как личные слуги царя чиновники стояли над законом. Чиновника можно было обвинить и привлечь к суду только с согласия его начальства[22]. Без такового судебные органы были в отношении государственного служащего бессильны. Позволение же судить чиновника давалось крайне неохотно по двум причинам. Во-первых, поскольку все назначения, во всяком случае теоретически, делались самим царем и должностное несоответствие чиновника невольно бросало тень на высочайшее решение. Во-вторых, всегда была опасность, что, представ пред судом, обвиняемый, выгораживая себя, даст показания, порочащие его начальство. И на деле виновные в том или ином проступке чиновники просто перемещались на другой пост или, если речь шла о высоком сановнике, получали солидную, но ничего не значащую должность в Сенате или Государственном совете[23]. И даже царь в этих вопросах не властен был нарушить традицию. После железнодорожного крушения, едва не стоившего ему жизни, Александр III пожелал предать суду министра путей сообщения. Но его отговорили на том основании, что публичный суд над министром, четырнадцать лет пребывавшим на этом посту, будет означать, что он «незаслуженно пользовался доверием монарха»[24], а значит, в свое время сам царь сделал неверный выбор. По мнению некоторых современников, тот факт, что российское чиновничество не несло ответственности перед законом или любым сторонним учреждением, составлял основное отличие государственной службы в России от европейской. В действительности это было всего лишь еще одним проявлением патриархального духа, все еще сильного в Российской империи. В рядах российского чиновничества, в особенности в последние годы существования монархии, состояли многие широко образованные и преданные делу работники. Особенно много таких людей было в министерствах и ведомствах Петербурга. Бернард Парес, английский историк, до 1917 года часто посещавший Россию, отмечал, что, сбросив мундир, чиновник часто оборачивался интеллигентом, которого волнуют те же идеи, что и все общество. Однако, облачившись в мундир, так сказать при исполнении обязанностей, он вновь становился надменным и наглым*. Условия службы, в особенности незащищенность перед начальством, воспитывали раболепие перед старшими по чину и грубость в отношении ко всем остальным. В отношении же ко внешнему миру чиновник должен был действовать с полным сознанием своей правоты: «За всем этим стояло извечное стремление выставить правительство неким мудрейшим, благоразумнейшим и непогрешимым собранием государственных служащих, самозабвенно трудящихся в согласии с монархом во имя благоденствия России»[25].

* Pares B. Russia and Reform. Lnd., 1907. P. 328. Согласно одному современному источнику, среди некоторых русских чиновников бытовало мнение, что дурным обращением со своими людьми они укрепляют представление о российской силе в глазах заграницы. В европейских державах, предоставлявших России займы, эта демонстрация силы, говорят, производила впечатление: «Чем более жестокие дела творились в России, тем выше вырастал ее престиж в Европе» (см.: Die Judenpogrome in Russland. Koln; Leipzig, 1910. Bd. l. P. 230). Есть, впрочем, весьма подходящая к случаю русская поговорка: «Бей своих, чтоб чужие боялись».

Существеннейшим фактором живучести такого представления о чиновничестве была секретность, позволявшая поддерживать иллюзию власти, не знающей ни разногласий, ни промахов. Нет большей опасности для бюрократии, чем гласное, открытое ведение государственных дел, и общественность добивалась этого с середины прошлого столетия.

С 1722 года, когда Петр Великий установил Табель о рангах, российское чиновничество было разбито по иерархии на классы, или чины, которых номинально было 14, но фактически только 12, ибо 11-й и 13-й классы постепенно слились с 12-м и 14-м. По мысли Петра, чиновники, с ростом возлагаемой на них ответственности, получали и чин, соответствующий занимаемой ими должности. Но вскоре петровский замысел извратился, и в результате в России установилась уникальная система чинов государственной службы. Чтобы заручиться поддержкой бюрократии в сомнительных притязаниях на трон, Екатерина II в 1760-е годы ввела принцип автоматического продвижения по службе: отныне носителя чина поднимали на следующую ступень в зависимости от старшинства, срока пребывания в прежнем чине и не сообразуясь с возлагаемыми на него обязанностями. В противоположность обычной практике, когда служащего поднимают от ступени к ступени, расширяя круг его обязанностей, в России возвышение чиновника совершалось более или менее автоматически, вне зависимости от его функций, и представляло собой продвижение не от должности к должности, а от чина к чину[26]. Это превращало государственных служащих в России в замкнутую касту: за редким исключением для занятия правительственной должности необходимо было иметь соответствующий чин[27]. Частные лица, как бы высока ни была их квалификация, к участию в административной жизни государства не допускались за редчайшим исключением непосредственного высочайшего назначения. Лишь тот, кто хотел и мог сделать чиновничью карьеру целью всей своей жизни, достигал правительственных высот. Другие были отстранены от государственной службы, а тем самым и от возможности обретения административного опыта.

Четырех высших классов чиновничьей лестницы (насчитывавших в 1903 году 3765 человек)[28] нельзя

было достичь путем простого продвижения по службе: поскольку они принадлежали потомственному дворянству, такие назначения делал лично царь. Чины же от 14-го по 5-й были доступны в результате обычного продвижения, процедура коего была описана до мельчайших подробностей. В большинстве случаев проявивший способности юноша из разночинцев начинал карьеру канцелярским служителем в одном из правительственных учреждений. Эта должность еще не давала классного чина, но ему предстояло оставаться в ней от одного до двенадцати лет (в зависимости от социального статуса и уровня образования), прежде чем он мог получить чин 14-го класса: потомственные дворяне, получившие среднее образование, служили только год, тогда как юноши, например, уволенные после ломки голоса из императорского хора, служили все двенадцать лет. Вступив на служебную лестницу, чиновник взбирался по ней последовательно по каждой ступеньке. «Устав о службе» определял, как долго чиновник должен был служить в том или ином чине (по три года в низших, по четыре — в высших), однако продвижение могло быть ускорено за выдающиеся заслуги. Теоретически требовалось двадцать четыре года от первого производства в чин до достижения чина высшего, 5-го класса.

Для поступления на государственную службу надо было либо иметь соответствующее социальное положение, либо получить необходимое образование. Дети дворян и личных дворян единственные могли получить чин 14-го класса независимо от уровня образованности. Другие — лишь благодаря полученному образованию. Теоретически карьера государственного служащего была открыта для всякого, без различия национальности или вероисповедания; исключение делалось лишь для евреев, которые принимались на службу только при наличии высшего образования, что на практике означало врачебную карьеру. Определенные квоты были установлены для католиков. А лютеране весьма ценились, и большие число чиновников в петербургских канцеляриях были из балтийских немцев. Не допускались к службе, не имея необходимого аттестата (университетского или об окончании средней школы с отличием), мещане, крестьяне и получившие среднее образование за границей.

На службе все, имеющие чин (включая и университетских профессоров), должны были носить мундиры, покрою и цвету которых было посвящено пятьдесят две статьи «Устава о службе». Обращаться к ним надлежало тоже по особой форме соответственно чину; система титулования была построена по немецкому образцу. Каждому чину были присущи свои привилегии и детально разработанный порядок старшинства.

Вознаграждение за службу чиновник получал в виде жалованья, оплаты служебных и иных расходов и квартиры или соответствующей суммы на ее содержание; чиновник 1-го класса получал в тридцать раз больше чиновника 14-го класса. Очень немногие чиновники имели поместья или другие независимые источники дохода: в 1902 году даже среди чиновников первых четырех классов лишь каждый третий имел поместье[29]. Уходя на покой, высшие сановники, как преданные слуги, обычно получали денежное вознаграждение от царя; так, министр внутренних дел Н.М.Маклаков получил при отставке сумму в 20 тыс. руб., а П.Н.Дурново — 50 тыс., дворцовый фаворит премьер-министр И.Л.Горемыкин — 100 тыс.[30]. За хорошую службу предусматривались и другие награды — всевозможные ордена согласно строгой градации по значимости и старшинству, одно описание которых занимает не более не менее как восемьсот шестьдесят девять параграфов «Устава о службе».

Итак, как мы видим, государственные служащие составляли замкнутую, отгороженную от остального общества касту, доступ в которую и продвижение внутри были строго регламентированы сообразно социальному происхождению, образованию и старшинству и которая составляла в 1900 году более 225 тыс. человек, включая служащих полиции и жандармерии.

* * *

Наследие вотчинного уклада не менее выпукло проявлялось и в структуре и деятельности основных исполнительных органов — министерств.

В средневековых княжествах северной России, политическая власть в которых принадлежала правителю в силу владения данной территорией, администрирование было разбито по отдельным областям хозяйства («путям») и организовано скорее по географическому (территориальному) принципу, а не функциональному, служа в первую очередь экономическим целям. Ответственность за определенную хозяйственную область возлагалась на княжеских слуг, которые не сотрудничали друг с другом и не представляли единого учреждения. Такая практика сохранилась в российской административной структуре и после учреждения министерств в 1802 году. Российская администрация XIX века строилась по вертикали, почти не имея боковых, горизонтальных связей, и все командные нити ее сходились в вершине, в руках монарха. Такое устройство препятствовало сотрудничеству между министерствами и тем самым установлению единой связной национальной политики, но имело то преимущество, что не позволяло чиновничеству действовать согласованно и посягать на царские самодержавные прерогативы.

За единственным исключением — министерство внутренних дел — российские министерства по структуре и деятельности весьма напоминали соответствующие учреждения на Западе. Но в отличие от Запада в России не было кабинета министров и института премьер-министра. Существовал так называемый Совет министров, куда также входили главы отдельных учреждений и назначался от случая к случаю председательствующий, однако этот орган не обладал никакой властью. Попытки ввести в России постоянно

действующий кабинет, предпринимавшиеся в 60-х, а затем, снова, в 80-х годах, не увенчались успехом, поскольку двор опасался, что такой орган ослабит его власть. Сама идея кабинета или даже министерских совещаний считалась порочной. «В противоположность другим абсолютным монархиям, — писал французский наблюдатель в 80-х годах, — у русского императора никогда не было премьер-министра. Невольно или преднамеренно, чтобы сберечь и на словах и на деле неприкосновенной свою власть, они все сами себе были премьер-министрами... Тем не менее в России ощущалась нужда в однородном кабинете как средстве достижения того единства направления действия, которого так недоставало правительству... Такой совет, с официальным институтом премьерства или без него, мог бы изменить все отношения между государем и министрами, поскольку его члены, коллективно ответственные, были бы обречены неизбежно занять по отношению к императору более независимую позицию. Постепенно они стали бы себя ощущать ответственными перед обществом и общественным мнением не менее, чем перед государем, который тем самым снизошел бы до роли конституционного монарха, не ограниченный при этом официально ни конституцией, ни парламентом. В действительности такая реформа, по-видимому невозможная, была почти равносильна революции...»[31]

Это, мы видели, как раз то, что произошло в 1905 году, когда вынужденная создать единый фронт против новоявленной Думы монархия пошла на создание Совета министров во главе с председателем, который по сути во всем, кроме титула, был настоящим премьер-министром. Но и вынужденная под давлением обстоятельств пойти на такую уступку, монархия никогда не смогла примириться с этим устройством и по прошествии нескольких лет обратилась к прежней практике.

До 1905 года министры отчитывались непосредственно перед царем и от него же получали все указания: никакой выработанной единой политики не было. Это неизбежно приводило к сумятице, и царь часто отдавал несогласованные, а порой и прямо противоречивые распоряжения. При таком устройстве каждый министр старался донести до царя свои заботы и нужды, не заботясь об интересах коллег. Внешнюю политику делали по крайней мере три министерства (иностранных дел, финансов и военное), а честь отвечать за внутренние дела вечно оспаривали два министерства: внутренних дел и финансов. По сути, каждое министерство действовало по своему усмотрению, ища одобрения монарха. «Неся ответственность только перед императором, и ответственность только личную, министры в действительности были простыми секретарями, чуть ли не личными слугами царя»[32].

Русские министры и их помощники (товарищи) сами были даже еще более низкого мнения о своем статусе. В их дневниках и приватных разговорах часто звучали жалобы на средневековый уклад государства, на то, что страна почитается личной вотчиной царя, а они его слугами. Обращение с ними и не допускающий возражений тон царских распоряжений были для них оскорбительны, а отсутствие практики регулярных министерских совещаний вызывало возмущение. П.А.Валуев, министр внутренних дел при Александре И, назвал русских министров «les grands domestiques», а не «les grands serviteurs de l'etat», отношение которого (то есть государства) к ним было «азиатским, полурабским, или первобытно патриархальным»[33]. Именно эту ситуацию подразумевал крупный русский чиновник, говоря, что в России «есть ведомства, но нет правительства»[34]. Такова была расплата за роскошь сохранять вотчинный уклад в новейшие времена.

В пределах своих учреждений министры пользовались огромной властью: кн. П.В.Долгоруков сравнил их с османскими пашами, правящими в своих пашалыках[35]. В губерниях у каждого из них была своя сеть сотрудников, ответственных исключительно перед министром, а не перед губернатором[36]. Принимать или увольнять служащих министры могли по своему усмотрению и пользовались большой свободой в распоряжении деньгами, отпущенными бюджетом их министерствам.

Управление Россией столь наглядно находилось в руках бюрократии, что степень бюрократизированности государства нередко представляется преувеличенной. Институт государственной службы был неестественно перекошен: верхушка была раздута и в Петербурге располагалось непропорционально большое число чиновников, в то время как во всей остальной империи служащих было сравнительно мало[37].

Такое небрежение губернской администрацией обусловливалось финансовыми затруднениями: Россия была просто не в состоянии терпеть расходы, необходимые на содержание администрации, какая требовалась для столь обширной страны при столь несовершенных средствах сообщения. Завоевав Ливонию, Петр I выяснил, что прежние хозяева, шведы, тратили на управление этой небольшой областью столько же, сколько его правительство могло положить на администрацию всей империи, а значит, надежды на то, чтобы перенять шведскую административную модель, следовало оставить[38]. В 1763 году в Пруссии пропорционально площади ее территории было в сто раз больше чиновников, чем в России[39]. К 1900 году соотношение административных служащих к численности населения России составляло всего лишь треть такового во Фракции и половину — в Германии[40]. За неимением средств в России была принята самая примитивная административная модель. В губерниях назначались губернаторы, наделенные широкими полномочиями и достаточной самостоятельностью в принятии решений, а помогать им поддерживать порядок были предназначены военные гарнизоны, рассеянные по всей территории государства. Были кроме того на местах незначительные полицейские и жандармские силы и чиновники таких учреждений, как министерство финансов, юстиции и военное министерство. Но по сути деревня управлялась самостоятельно посредством сельских общин, несущих коллективную ответственность за сбор податей и призыв рекрутов, и

волостей, исполнявших простейшие судебные и административные функции. И все это не требовало от казны никаких затрат.

Это, однако, означало, что власть имперского правительства распространялась на практике лишь на 89 губернских городов, где располагались губернаторы со своим штатом: за этой чертой зиял административный вакуум. Ни в уездах, на которые дробились губернии, ни в волостях, основных сельских административных единицах, не было постоянных представителей центрального правительства, они появлялись лишь эпизодически, наездами, с какой-либо определенной миссией — чаще всего для сбора недоимок, — исполнив которую, вновь исчезали. Волость же представляла собой не территориальную, а социальную общность, поскольку объединяла в себе только крестьян, а не представителей других сословий, проживающих на этой территории. Некоторые интеллигенты и чиновники, сознавая ненормальность такого устройства, требовали от правительства учреждения в качестве первичной административной единицы всесословной волости, но к их советам не прислушивались, так как правительство предпочитало сохранить крестьянскую обособленность и самоуправление.

По словам одного весьма искушенного чиновника, в России не было «общей объединяющей власти, сравнимой с немецким ландратом или французскими супрефектурами, способными координировать политику в интересах центральной власти». «Аппарата управления на местах не существовало, а были только чиновники разных центральных ведомств — финансового, судебного, лесного, почтового и проч., ничем между собою не спаянные, или исполнительные органы разного рода самоуправлений, зависимые более от избирателей, чем от правительства, — общей объединяющей власти не было»[41].

Отсутствие представителей правительства в маленьких городах и в деревне весьма болезненно проявилось после 1905 года, когда, пытаясь завоевать большинство в новом парламенте, монархия обнаружила, что не имеет механизма мобилизации своих потенциальных сторонников на борьбу против вездесущей либеральной и радикальной интеллигенции.

* * *

С точки зрения позиции и программы бюрократию Российской империи можно разделить на три группы.

Большинство чиновников, в особенности служивших в провинции, были попросту откровенными карьеристами, вступившими на эту стезю ради престижа и привилегий, которые сулила государственная служба. Еще в 1916 году монархисты, они в большинстве своем уже в 1917-м предложили услуги Временному правительству, а вскоре и большевикам. Как правило, они не брезгали пополнять свои жалкие доходы взятками и чаевыми*. Трудно говорить об их идеологии или воззрениях, кроме разве что сознания ответственности за охрану государства от «общества»**.

* H.-J. Torke сделал любопытнейшее предположение, что пресловутые алчность и мздоимство русских чиновников объясняются, по крайней мере отчасти, тем, что последние не делали различий между собой и государством, а потому трудно разграничить в России частное имущество и общественное (см.: Jahrbucher. S. 227).

** Следует, однако, отметить, что в низших слоях чиновничества нередко встречались люди, которым претил существующий порядок и чьи симпатии были на стороне оппозиции.

Между провинциальным чиновничеством и чиновниками, занявшими теплые места в петербургских министерствах и ведомствах, пролегала глубочайшая пропасть. Историк замечает, что «люди, начавшие служить в губерниях, редко перебирались в центр. В губерниях в середине века сколько-нибудь значительную группу служащих, начавших служить в центре, можно было встретить лишь в высших сферах»[42]. Такая ситуация не изменилась и в последние десятилетия существования старого режима.

Лишь в среде петербургского чиновничества высших классов можно было встретить что-то, напоминающее идеологию. До революции это вообще не представлялось предметом, достойным внимания, ибо интеллигенция считала само собой разумеющимся, что русская бюрократия — это стадо тщеславных и алчных тупиц. Однако последующие события продемонстрировали ошибочность интеллигентских представлений, ведь, придя к власти в феврале 1917 года, они за каких-нибудь два, от силы четыре месяца дали распасться государству и обществу — тому самому государству и тому самому обществу, цельность которых бюрократы все же худо-бедно сохраняли на протяжении веков. Ясно: они умели нечто такое, чего интеллигенция не умела. Меньшевик Ф.И.Дан имел смелость признать впоследствии, что «крайние реакционеры царской бюрократии гораздо раньше и лучше поняли движущие силы и социальное содержание этой грядущей революции, чем все русские «профессиональные революционеры» и, в частности, русские марксисты-социал-демократы»[43].

Т.Тарановский различает в высших сферах российской бюрократии конца XIX века две основные группы: одну, которой был по сердцу идеал полицейского государства (Polizeistaat), и другую, которая стремилась к правовому государству (Rechtsstaat)[44]. И те и другие разделяли мнение, что России нужна сильная самодержавная власть, но при этом первые склонялись к репрессивным мерам, тогда как вторые предпочитали установить некоторое ограниченное участие общества в управлении. Различие этих программ

проистекало из различия взглядов на население: правые консерваторы видели в нем дикую толпу, а либерал-консерваторы считали должным воспитывать в нем гражданское сознание. Чиновники, настроенные более либерально, были по преимуществу более образованными, нередко с высшим юридическим или иным специальным образованием. Консерваторы, как правило, были руководителями вообще, так сказать широкого профиля, и не могли похвастаться профессиональными знаниями или высокой образованностью.

Защитники полицейского государства видели постоянную угрозу России со стороны ее обитателей, готовых в любой момент растерзать страну в клочья при малейшем проявлении правительством слабости. И чтобы предотвратить это, Россией должно управлять железной рукой. Их не задевали упреки в произволе: ведь именно в том, что их противники называли произволом, они видели единственно верное средство управления столь обширной и непокорной страной. Право, законы были для них не высшим принципом, обязательным равно и для правителей, и для подданных, а скорее административными инструментами в духе шефа жандармов Бенкендорфа при Николае I, который, в ответ на жалобы на незаконные действия своих агентов, заявил: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства»[45]! И во всякой критике чиновничества обществом они усматривали лишь замаскированные политические амбиции критиков.

Полицейское государство, в их понимании, было конструкцией образца XVIII века, управляемой профессионалами и почти не оставлявшей места свободному развитию политических, общественных и экономических сил. Они выступали против всякого учреждения или процедуры, нарушавших административное единство и накатанный ход субординационного механизма, вроде таких, например, как независимые суды и органы местного самоуправления. И если все же таким учреждениям суждено существовать, то только под управлением бюрократического аппарата. Они выступали против гласности на том основании, что обнажение несогласия в правительстве или признание возможности ошибок с его стороны подрывает самое драгоценное его качество — престиж. На их взгляд, «при всех своих недостатках, централизованная система оставалась единственной возможной, пока не поднимется культурный уровень населения, пока в провинции не образуется достаточное количество настоящих общественных деятелей, пока в обществе не разовьется вдумчивое отношение к вопросам национальной жизни»[46]. Однако каким именно образом под их неусыпным руководством у населения «разовьется вдумчивое отношение к вопросам национальной жизни», не указывалось. Они желали сохранить существующую сословную, кастовую общественную систему, отводя ведущую роль поместному дворянству и изолируя крестьянство. Их оплотом было министерство внутренних дел. Важное место в системе взглядов консервативного чиновничества и их единомышленников из крайне правого крыла общества занимал антисемитизм. И хотя родиной современного антисемитизма следует считать Францию и Германию, но именно в России он впервые внедрился в официальную идеологию. С точки зрения консерваторов, евреи представляли самую большую угрозу политической и социальной стабильности, сохранение которой они считали главной заботой государственной политики. Евреи расшатывали Россию сверху и снизу: как капиталисты и как революционеры. Полицейские власти были убеждены, что именно евреи составляют основной элемент революционных партий: Николай II лишь повторял их слова, утверждая, что девять десятых революционеров и социалистов в России — евреи[47]. Но евреи, кроме того, нарушали и социоэкономическое равновесие России путем внедрения свободного рынка. Очевидное противоречие, заключавшееся в утверждении, что члены одной религиозной группы одновременно являются и проводниками, и смертельными врагами капитализма, разрешалось в так называемых «Протоколах Сионских мудрецов» — грубой фальшивке, состряпанной в конце XIX века царской полицией с целью внушить, что евреи, во исполнение своей главной исторической миссии — уничтожения христианства и господства над миром, — пойдут на любые ухищрения, вплоть до организации еврейских погромов. Для монархистов, «за неимением монарха, воплощающего самодержавный принцип твердо и с убеждающей уверенностью, смысл этого ускользающего от них и их понимания мира стал составлять антисемитизм и представление о мировом зле, носителями которого выступали евреи»[48]. Позорное дело Бейлиса, рассматривавшееся в суде в 1913 году, по обвинению темного киевского еврея в ритуальном убийстве украинского мальчика, стало кульминацией этого отчаянного поиска виновника всех зол*. Хотя (за редким исключением) имперское правительство не поощряло и тем более не подстрекало к еврейским погромам, но его открытая дискриминационная по отношению к евреям политика и терпимость к антисемитской пропаганде создавали впечатление благоволения к погромщикам.

* См. об этом: Samuel M. Blood Accusation. N.Y., 1966. Однако то, что, несмотря на мощное давление со стороны бюрократии и церкви, суд оправдал Бейлиса, служит свидетельством независимости российского правосудия. О роли антисемитизма в политике царского режима см.: Loewe H.-D. Antisemitismus und reaktionare Utopie. Hamburg, 1978 (где подробно анализируется отождествление евреев с международным капиталом); Rogger H. Jewish Policies and Right-wing Politics in Imperial Russia. Berkeley, Calif., 1986.

Чиновники либерал-консерваторы отвергали существующую систему как безнадежно устаревшую. По их оценке, страна столь сложная и динамичная, как современная им Россия, не может управляться по чиновничьей прихоти, без уважения к закону и без участия населения. Либерально-консервативные настроения впервые проявились в чиновничестве в 60-х годах, в эпоху Великих реформ, особенно в 1861-м — с отменой крепостничества, лишившей монархию помощи 100 тыс. помещиков-крепостников, прежде

осуществлявших по своему почину, а не по долгу службы множество административных функций в деревне. П.А.Валуев так оценивал положение того времени: «Уже теперь в обиходе административных дел государь самодержавен только по имени... Есть только проблески самовластия... При усложнившемся механизме управления важнейшие государственные вопросы ускользают и должны по необходимости ускользать от непосредственного направления государя»[49]. А это означало, что огромная масса административных дел требовала более широкого распределения власти.

Либерал-консерваторы соглашались, что единственным законодателем должен оставаться царь, но настаивали на том, что, будучи приняты, законы становятся обязательны для всех должностных лиц, которые подпадают под их действие. Это и было отличительной чертой правового государства. Либерал-консерваторы придерживались гораздо более высокого мнения о способности России к самоуправлению и предполагали участие в управлении на совещательных началах образованных кругов населения. Они отвергали сословный уклад как анахронизм и желали установления в стране общего и равноправного гражданства. Важное значение они придавали постепенному упразднению особого статуса и изоляции крестьянства. Цитаделями либерал-консерватизма служили Государственный совет (оформлявший законы), сенат (высший апелляционный суд) и министерства финансов и юстиции[50].

Ход исторического развития благоприятствовал устремлениям либерального чиновничества. Интенсивный рост российской экономики во второй половине XIX века уже сам по себе ставил под сомнение возможность дальше управлять Россией патриархальным способом. Естественно было К.П.Победоносцеву, главному защитнику вотчинного консерватизма, утверждать, что в России «не может быть отдельных властей, независимых от центральной власти государственной»[51]. Этот принцип, вероятно, можно было соблюдать в недвижном, аграрном государстве, но в капиталистическом хозяйстве, которое развилось в России в конце XIX века при активной поддержке правительства, всякая корпорация, всякий делец, всякий банк принимали самостоятельно решения, затрагивавшие интересы государства и общества, и таким образом они действовали как «независимые власти» даже при самодержавном режиме. Консерваторы инстинктивно это понимали и пытались сопротивляться экономическому развитию, но это было заведомо безнадежно, поскольку международное положение России и ее экономическая стабильность все более зависели от роста индустрии, транспорта и банковского дела.

Возможно, монархия и пошла бы решительно по пути, который указывали либералы, если бы не революционное движение. Террор, захлестнувший Россию в 1879—1881 и вновь в 1902 году, не знал себе равных в мире ни тогда, ни впоследствии. И каждая террористическая акция играла на руку сторонникам репрессивных мер. В августе 1881 года Александр III ввел ряд чрезвычайных мер, позволявших должностным лицам в беспокойных регионах вводить законы военного времени и вообще вести себя так, словно они находятся на захваченной вражеской территории. Эти меры, сохранившиеся в Своде законов до самого падения монархии, предвосхитили самые дурные черты современного полицейского государства[52]. Они укоренили произвол правых бюрократов, отбрасывая страну назад от рубежей, достигнутых либералами благодаря прогрессу в экономике и образовании.

На примере судебных учреждений можно увидеть, какими противоречивыми устремлениями было раздираемо царское правительство. В 1864 году Александр II даровал России первую независимую систему правосудия — с судом присяжных и несменяемостью судей. На взгляд консерваторов, это была особенно зловредная реформа, ведь она создавала некоторый независимый от монарха и его чиновного аппарата оазис судебной власти. Победоносцев обвинил новые суды в нарушении принципа единства власти: в России несменяемость судей представляется «аномалией»[53]. В смысле начал самовластия он был безусловно прав. Консерваторы сумели вывести политические преступления из-под юрисдикции гражданских судов и передали их в ведение судов административных, но они не смогли зачеркнуть судебную реформу, слишком укоренившуюся в российской жизни, да и никакой реалистической альтернативы предложить не могли.

Трения между двумя лагерями чиновничества ярче всего проявились в соперничестве двух министерств: внутренних дел и финансов.

Министерство внутренних дел было учреждением sui generis, буквально государством в государстве, напоминая не столько отрасль исполнительной власти, сколько самостоятельную систему внутри правительственного механизма[54]. Если у других министерств были четко определенные и тем самым ограниченные функции, то перед министерством внутренних дел стояла общая задача управления страной. В 1802 году, когда оно только возникло, на него возлагались лишь ответственность за экономическое развитие и надзор за транспортом и связью. Сфера компетенции министерства необъятно расширилась в 60-е годы, отчасти в результате отмены крепостного права, лишившей помещиков административных прав, а отчасти в ответ на революционные волнения. К началу XX века министр внутренних дел был чем-то вроде верховного управляющего империи. И амбиции чиновников, занимавших этот пост, не знали границ. В 1881 году, в начале кампании террора, увенчавшейся убийством Александра II, министр внутренних дел Н.П.Игнатьев с целью искоренения крамолы не только в обществе, но и в правительстве, по его мнению, переполненном подрывными элементами, предложил вручить его министерству полномочия «административно-полицейской опеки над всеми другими ведомствами», по характеристике историка ПА-Зайончковского[55]. Сходное по духу предложение касательно губернаторов выдвинул двадцать лет спустя министр внутренних дел В.К.Плеве[56]. Оба предложения были отвергнуты, но то, что их вообще осмелились выдвинуть, весьма показательно с точки зрения объема власти, присущей министерству. И вполне логично, что после 1905 года,

когда был учрежден равнозначный пост премьер-министра, занимавшим его сановникам вручался также и портфель министра внутренних дел.

Министр внутренних дел осуществлял управление страной благодаря праву назначать и контролировать главных административных служащих государства — губернаторов. В губернаторы попадали, по обыкновению, из наименее образованных и наиболее консервативных кругов бюрократии: в 1900 году половина их не имела высшего образования. Губернаторы возглавляли губернские правления и многочисленные комитеты, из которых важнейшими были те, что занимались промышленными, военными и сельскохозяйственными вопросами губернии. Возлагалась на них ответственность и за крестьянство: из числа наиболее благонадежных помещиков они назначали земских начальников, которые исполняли функции председателей волостной администрации и пользовались широкими полномочиями над крестьянами. Губернаторы надзирали также и земства. При возникновении массовых беспорядков губернаторы могли обратиться к министру внутренних дел с просьбой объявить в губернии «усиленное» или «чрезвычайное» положение, что означало приостановление действия всех гражданских прав и подчинение указам. За исключением судов и ведомств налогового контроля, губернаторы не встречали препятствий своей власти. При посредстве губернаторов министр внутренних дел управлял всей империей*.

* Ему не подчинялись только генерал-губернаторы особых областей, ответственные непосредственно перед царем. В 1900 году было семь таких генерал-губернаторств: одно в Москве, три в беспокойных западных губерниях (Варшава, Вильно и Киев) и три в отдаленной Сибири (Иркутское, Степное и Приамурское). Сочетая в себе гражданскую и военную власть, генерал-губернаторы напоминали наместников.

В круг обязанностей министра внутренних дел входил и надзор за сектантами и подданными неправославного исповедания, включая евреев; в его ведении были цензура, тюрьмы и каторги.

Но мощнейшим источником власти министра внутренних дел послужило то обстоятельство, что после 1880 года в его подчинение перешли и все полицейские установления: департамент полиции, жандармский корпус, а также полицейские учреждения по поддержанию общественного порядка. По словам Витте, «министр внутренних дел есть министр и полиции всей империи и империи полицейской par excellence»*. Департамент полиции был уникальным российским явлением — только в России было два рода полиции: одна — для охраны интересов государства, другая — для поддержания закона и порядка среди граждан. Департамент полиции отвечал исключительно за преступления против государства. Он являл собой, по сути, личную службу безопасности вотчинного властителя, чьи интересы явно не совпадали с интересами подданных.

* См: Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 107. В 1905 году Витте отказался принять пост министра внутренних дел, так как не хотел быть полицейским.

Полицейские силы, следящие за соблюдением правопорядка, были в основном в городах. «Вне городов в распоряжении центральных властей было всего 1582 пристава и 6874 городовых на 90 млн. сельского населения»[57]. В каждом уезде был представитель министерства внутренних дел в лице начальника полиции — исправника. Исправники пользовались широкими правами, включая выдачу паспортов, без которых представители низших сословий не могли удаляться далее чем на 30 км от своего места жительства. Но, судя по их количеству, легко понять, что они едва ли могли обеспечить исполнение закона порядок в деревне.

Согласно порядку, установленному в 1880 году, полицейская служба безопасности состояла из трех элементов, подчиненных министерству внутренних дел: департамент полиции в Петербурге, охранное отделение, с филиалами в нескольких городах, и жандармский корпус, части которого были распределены по всей территории. И немало административных мероприятий в России проводилось посредством секретных циркуляров министерства чиновникам службы безопасности.

Эти три службы во многих сферах дублировали друг друга, поскольку все в равной мере отвечали за предотвращение антиправительственной деятельности, к которой были отнесены и рабочие забастовки и несанкционированные властями собрания. Охранное отделение, поначалу учрежденное только в Петербурге, Москве и Варшаве, но затем и в других городах, занималось главным образом политическим сыском, тогда как жандармерия вела в основном формальное следствие по делам лиц, подозреваемых в противозаконной деятельности. В составе жандармерии были военизированные части для охраны железных дорог и подавления городских беспорядков. Во всей империи в рядах жандармерии состояло 10—15 тыс. человек. Свой жандармский чин в пресловутом «лазоревом» мундире был в каждом городе, и в его обязанности входил сбор сведений обо всем, что касалось внутренней безопасности. Жандармские силы были крайне рассредоточены, поэтому в случае массовых волнений правительство вынуждено было прибегать к помощи регулярной армии — к своей последней защите. (И когда войска были сконцентрированы на театре военных действий, как это случилось в 1904— 1905 и, вновь, в 1917 году, режим был не в состоянии справиться с беспорядками.)

Служба безопасности со временем превратилась в весьма эффективную систему политического сыска, пользующуюся в борьбе с революционерами широким спектром полицейских приемов, включая сеть

осведомителей, филеров и агентов-провокаторов, внедряемых в подрывные революционные организации. Полиция перехватывала и перлюстрировала частную переписку, использовала в качестве осведомителей дворников. Полиция имела отделения и за границей (например, постоянное агентство в Париже) и для выслеживания русских революционеров входила в сношения с полицейскими службами других стран. В годы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне, благодаря серии арестов и путем внедрения в революционную среду, полиции удалось значительно ослабить вечную угрозу, которую представляли для режима революционные партии: достаточно сказать, что и глава эсеровской террористической организации, и один из главных представителей Ленина в России получали деньги от полиции. Служба безопасности была наиболее осведомленным и политически зрелым ведомством имперской России: накануне революции она составляла удивительно проницательные аналитические отчеты и прогнозы о внутреннем положении России.

Полицейское ведомство менее всех иных сфер служения российской бюрократии руководствовалось в своей деятельности идеей соблюдения законности. Операции, затрагивавшие судьбы миллионов людей, проводились без всякого контроля извне, если не считать министра внутренних дел и директора департамента полиции. Согласно правилам, установленным в 1881 году, полицейские органы не обладали судебными правами. Однако в регионах, на которые распространялось положение от августа 1881 года о «чрезвычайной охране», высшие жандармские чины могли задерживать подозреваемого на срок до двух недель, а с санкции губернатора этот срок продлевался еще на две недели. Через месяц подозреваемого либо отпускали, либо дело передавали для доследования непосредственно министерству внутренних дел. По окончании следствия, при наличии соответствующих доказательств виновности, обвиняемого судил либо обычный суд (иногда Сенат), либо особое административное присутствие министерства внутренних дел, состоявшее из двух представителей вышеозначенного министерства и одного представителя министерства юстиции и представлявшее собой бюрократический орган, наделенный правом судопроизводства[58]. Такая судебная процедура могла присудить человека к административной ссылке до пяти лет. Никакой защиты от органов безопасности у населения не было, в особенности в регионах, находящихся под «усиленной и чрезвычайной охраной», где полиция могла действовать совершенно безнаказанно.

Власть министерства внутренних дел усиливалась еще и потому, что полиция и жандармерия, были единственными средствами проведения в жизнь распоряжений других министерств. Если министерство финансов опасалось бунта налогоплательщиков или в военном министерстве возникали сложности с призывом рекрутов, они вынуждены были обращаться к помощи министерства внутренних дел. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «Выдающееся положение Министерства внутренних дел среди других министерств обусловливается не только многочисленностью, разнообразием и важностью его функций, но и тем обстоятельством, что оно ведает прежде всего полицию, а принудительное осуществление всех вообще распоряжений правительства, к какому бы министерству оно ни относилось, совершается, по общему правилу, полицией»[59].

В последние десятилетия XIX века министерство внутренних дел поддерживало и проводило множество «контрреформ», направленных на ослабление либеральных реформ 60-х годов. Здесь можно назвать ограничения земского самоуправления, введение института земских начальников, выселение евреев из областей, где им было запрещено законом проживать, репрессии против непокорного студенчества. Будь их воля, они заморозили бы не только политическую, но и экономическую и социальную жизнь в России.

* * *

То обстоятельство, что министрам внутренних дел все же не удавалось в полной мере воплотить свою программу, говорит о тех ограничениях вотчинного самодержавия, которые выставляла жизнь. Ратуя за интересы государственной безопасности, защитники древнего уклада выступали против любых мер, призванных модернизировать российскую экономику. Они противились проведению денежной реформы, установлению золотого стандарта, расширению сети железных дорог. Они выступали против иностранных займов. Более того, они вообще выступали против индустриализации на том основании, что она подрывает кустарные промыслы, без которых-де крестьяне не смогут сводить концы с концами, приводит к чреватому опасными последствиями сосредоточению промышленных рабочих и открывает доступ к российским богатствам инородцам, в особенности евреям и их капиталу.

Однако были весьма веские государственные соображения, чтобы пренебречь открытым сопротивлением индустриализации, — у России просто не было иного выбора. Министр финансов С.Ю.Витте, главный проводник индустриализации, обосновывал свои цели главным образом политическими и военными мотивами, понимая, что они прозвучат для Николая II убедительней. В записке, поданной царю в феврале 1900 года, он объясняет, сознательно или бессознательно повторяя идеи немецкого политического экономиста прошлого века Фридриха Листа, что «без своей собственной промышленности она [Россия] не может достигнуть настоящей экономической независимости, а опыт всех народов наглядно показывает, что только хозяйственно самостоятельные народы оказываются в силе проявлять в полной мере и свое политическое могущество»*. В доказательство Витте указывает на пример Китая, Индии, Турции и Латинской Америки.

* ИМ. 1935. № 2/3. С. 133. Von Laue ссылается на Витте: современное государство не может быть великим без хорошо развитой промышленности (см.: Von Laue T.H. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. N.Y.; Lnd., 1963. P. 262).

Как бы ни были убедительны доводы Витте, финансовые соображения выглядели еще внушительней: Россия остро нуждалась в капитале, чтобы сбалансировать бюджет, расширить доходы казны и облегчить налоговые обязательства крестьянства. В противном случае страну ждал финансовый крах и, весьма вероятно, широкие аграрные волнения. Таким образом, финансовые соображения явно перевешивали интересы государственной безопасности, толкая Россию на путь «капитализма» со всеми вытекающими отсюда социальными и политическими последствиями.

Страна испытывала хронический бюджетный дефицит уже с середины XIX столетия. Огромных затрат потребовало освобождение крестьян, ибо для его проведения правительство вынуждено было выплатить помещикам авансом 80% стоимости земли, переданной бывшим крепостным, — эта сумма должна была быть возмещена крестьянами в течение 49 лет, но вскоре по выкупным платежам стали накапливаться задолженности. Большие расходы повлекла война с Турцией 1877—1878 годов, которая вызвала падение курса русского рубля на международном рынке на 60%. Дорого обходилось правительству и участие в железнодорожном строительстве*.

* Bertrand G. Histoire Economique et Sociale de la Russie. P., 1949. P. 163— 165. Как утверждал Geoffrey Drage (Russian Affairs. N.Y.; Lnd., 1904. P. 287), в 1900 году 60,5% российской сети железных дорог принадлежало государству.

У России не хватало капитала, чтобы справиться с такими расходами. Доходы ее покоились на весьма шаткой основе. Прямые налоги в 1900 году дали 7,9% государственных доходов — малая доля того, что черпали из этого источника индустриальные страны. Наибольшая часть доходов шла от налога с потребления: налог с продажи и таможенные сборы (27,2%), выручка от винокуренной монополии (26%) и доходы с железнодорожных операций (24%). Это покрывало обычные расходы казны, но не могло покрыть чрезвычайные военные затраты и расходы на железнодорожное строительство. Отчасти Россия восполняла бюджетный дефицит за счет продажи зерна за границей: в 1891—1895 годах в среднем в год экспортировалось 7 млн. тонн хлеба, а в 1902 году 9,3 млн. тонн[60]. Большинство доходов, косвенно и прямо, приносило крестьянство, выплачивавшее земельные налоги, а также налоги на предметы первой необходимости (соль, спички, керосин) и водку. В 70-х и 80-х годах министерство финансов получало суммы, необходимые для стабилизации бюджета, главным образом путем повышения налогов на предметы потребления, что заставляло крестьян продавать больше зерна, которое правительство и экспортировало.

Однако голод 1891—1892 годов сделал очевидной невозможность продолжения такой практики: платежеспособность крестьянства, как выяснилось, иссякла. Возникло опасение, что продолжение политики выжимания денег из крестьян может привести к хроническому голоду в деревне.

В 1892 году, возглавив министерство финансов, Витте стал применять иную политику: вместо того, чтобы выжимать доходы из деревни, он старался получить займы за границей и увеличить национальное богатство путем индустриализации. Он был убежден, что развитие сферы производства поднимет жизненный уровень и в то же время увеличит доходы правительства[61]. Поначалу он считал, что Россия сможет собрать капитал, нужный для индустриализации, своими силами, но вскоре убедился в недостаточности собственных ресурсов[62] — не только потому, что не хватало самого капитала, но и потому, что имущие люди в России предпочитали помещать свои капиталы в недвижимость и правительственные облигации. Нужда в иностранных займах особенно остро ощутилась после недорода 1891 и 1892 годов, вызвавшего временное ограничение экспорта зерна и приведшего к финансовому кризису*. Заграничные займы, совершавшиеся прежде (до 1891 года) в весьма скромных размерах, теперь стали весьма внушительными.

* В сентябре—ноябре 1891 года, когда известия о неурожае распространились за границей, цена 4%-ных российских облигаций упала с 97,5 до 87, а прибыль возросла с 4,1 % до 4,6% (см.: Girault R. Emprunts Russes et Investissements Francais en Russie, 1887—1914. P., 1973. P. 197).

Чтобы создать впечатление финансовой состоятельности, правительство время от времени подтасовывало бюджетные статьи, но основным приемом, служившим этой цели, была уникальная, нигде больше не встречающаяся практика подразделения государственного бюджета. Расходы, проходившие под рубрикой «обычных», вполне покрывались местными доходами. Те же расходы, которые были вызваны содержанием армии и ведением войны, а также строительством железных дорог, не считались «текущими» и классифицировались как «чрезвычайные». Эту часть бюджета восполняли иностранными займами.

Для привлечения иностранных кредитов России нужна была конвертируемая валюта.

Поддерживая на протяжении 80-х годов прибыльную торговлю за рубежом, в основном за счет экспорта зерна, и ведя интенсивную добычу золота, Россия сумела скопить золотой запас, достаточный для того, чтобы принять в 1897 году золотой стандарт. Эта мера, проведенная Витте, невзирая на сильнейшее сопротивление, сделала бумажный рубль обратимым в золото. Она привлекла мощный приток иностранных

вложений в государственные облигации и ценные бумаги. Строгие правила выпуска банкнот и добросовестное отношение к долговым обязательствам снискали России высокое доверие, что дало ей возможность сделать займы на выгодных для себя условиях, лишь слегка превышающих те, что были предложены Германии (как правило, 4 или 4,5%). Основная масса иностранных денег — 80% в государственных облигациях — была предоставлена Францией, остальные — английскими, немецкими и бельгийскими инвесторами. В 1914 году общий долг российского правительства составлял 8,8 млрд. рублей, из которых приблизительно 48%, или 4,2 млрд. (2,1 млрд. долларов или 3360 тонн золота), — по иностранным займам; в то время это было самой крупной иностранной задолженностью в мире[63]. Кроме того, в 1914 году иностранцы держали 870 млн. рублей в гарантированных государством ценных бумагах и 422 млн. руб. в муниципальных акциях.

Финансовые проблемы вынуждали правительство поддерживать развитие промышленности для расширения налоговой базы. Сюда также хлынул поток иностранного капитала, ибо европейские инвесторы верили, что России, с ее высокой численностью населения и неисчерпаемыми ресурсами, нужен только капитал и технологии, чтобы стать новыми Соединенными Штатами[64]. В 1892—1914 годы иностранцы поместили в российские предприятия 2,2 млрд. руб. (1,1 млрд. долларов), что составило почти половину всех капиталовложений в эти предприятия в названный период[65]. Около трети этих капиталов были вложены в нефте- и угледобывающую промышленность, но не были обойдены и металлообрабатывающая, электротехническая и химическая отрасли, а также недвижимость. Французский капитал составил 32,6% этих денег, английский — 22,6%, германский — 19,7% и бельгийский — 14,3%[66]. В 1900 году Витте подсчитал, что приблизительно половина всего российского промышленного и торгового капитала была иностранного происхождения*.

* ИМ. 1935. № 2/3. С. 135. John P. McKay (Pioneers for Profit. Chicago, 1970. P.37) считает, что в 1914 году «иностранцы держали по крайней мере две пятых всего номинального капитала корпораций, действовавших в России».

Столь существенное участие иностранцев в российской экономике навлекло на Витте со стороны консервативных и одновременно радикальных его оппонентов обвинение в том, что он превратил Россию в «колонию Европы». Обвинение было незаслуженным. Как указывал Витте, иностранный капитал шел исключительно на нужды производства* — то есть развивал российскую промышленность, а значит, и преумножал ее богатства. И в значительной мере именно рост неаграрного сектора экономики, ставший возможным благодаря вливаниям иностранного капитала, более чем удвоил доходы казны в период с 1892 по 1903 год (с 970 млн. до 2 млрд. руб.)[67]. Указывалось и на то, что иностранные инвесторы не просто «доили» российскую экономику, используя доходы у себя на родине, но вкладывали их заново в российские предприятия, что давало благотворный кумулятивный эффект**. В этой связи часто забывается, что и экономическое развитие Соединенных Штатов также во многом зависело от иностранных капиталовложений. Европейские вложения в Соединенные Штаты в середине 1914 года составляли 6,7 млрд. долларов***, то есть в два раза превышали то, что европейцы вложили в Россию. «В значительной мере средства для национальной экспансии и развития [Соединенных Штатов], — писал специалист по экономической истории, — были получены из-за границы»[68]. И все же роль иностранного капитала редко упоминается в американской истории и никогда не служит поводом для обвинений в превращении Соединенных Штатов в «колонию Европы».

* Витте С.Ю. Воспоминания. Т.2. С. 501. В общих чертах верное, это утверждение все же несколько преувеличенно, ибо чрезвычайный бюджет, опирающийся на иностранные займы, составлял существенную долю в оборонных расходах. Использовался он и на выплату задолженностей.

** McKay. Pioneers. P. 383—386. McKay подчеркивает, что помимо помещения капитала большой вклад внесли иностранцы во внедрение в России прогрессивной технологии (там же. P. 382—383).

*** Kirkland E.G. A History of American Economic Life. N.Y., 1951. P. 541. По оценкам других историков, в 1914 году европейцы владели облигациями Соединенных Штатов на сумму от 4,5 до 5,5 млрд. долларов (см.: Shulz W.J., Caine MR. Financial Development of the United States. N.Y., 1937. P. 502).

Начальная фаза индустриальной революции развернулась где-то около 1890 года и сопровождалась резким скачком промышленного производства. Некоторые западноевропейские экономисты считают: в 1890-х годах промышленное производство России возросло на 126%, что вдвое превосходило те же показатели в Германии и трижды в Америке[69]. Даже учитывая то, что Россия стартовала с более низкого уровня, прирост был весьма внушительный, как это видно из приведенных ниже данных:

Рост промышленного производства России[70]

Сферы производства	**1890**	**1900**	**Прирост**
Чугун, *т*	927 100	2 933 700	216%

Нефть, *т*	1 883 700	10 335 800	449%
Жел. дороги, *км*	30 596	53 234	71%

В период между 1890 и 1900 годами объем промышленной продукции России в денежном выражении более чем удвоился (с 1,5 млрд. до 3,4 млрд. руб.)*.

* Pasvolsky L., Moulton H.G. Russian Debts and Russian Reconstruction. N.Y., 1924. P. 112. К этой цифре следует прибавить ценность товаров, произведенных кустарной промышленностью, которую Пасвольский считает равной 50% приведенной выше цифры (см. там же. P. 113).

В 1900 году Россия была величайшим в мире производителем нефти: ее ежегодный объем добычи был выше, чем во всех других нефтедобывающих странах вместе взятых. Специалисты по экономической истории сходятся во мнении, что накануне первой мировой войны, когда промышленная продукция в России оценивалась уже в 5,7 млрд. рублей, страна занимала пятое место в мире по развитию экономики — картина весьма впечатляющая, даже если принять во внимание, что в соотношении к численности населения промышленное производство и доходы оставались невысокими. Так, в 1910 году потребление угля на душу населения в России составляло 4% от американского, а стали — 6,25%*.

* Согласно статистике, приведенной в кн.: Notzold J. Wirtschaftpolitische Alternativen der Entwiclung Russlands in der Ara Witte und Stolypin. Berlin, 1966. P. 110.

Как того и опасались консерваторы, зависимость России от иностранного капитала имела политические последствия, которые выразились в усилении давления на правительство с целью принудить его к поиску соглашения с обществом — то есть к либерализации. Вкладчиков капитала не привлекают политическая нестабильность и гражданские волнения, и если возникает такая угроза, они предпочитают либо свернуть дело, либо получить вознаграждение за риск. Каждый внутренний кризис, тем более сопровождавшийся народными волнениями, приводил к падению курса российских государственных облигаций, вынуждая правительство платить большие проценты. В результате революции 1905 года российские облигации, обращавшиеся в Европе, в последующие два года претерпели существенную уценку. Для иностранных вкладчиков было бы предпочтительней, чтобы правительство Российской империи действовало исходя из правовых норм и при поддержке общества, воплощенной в институте парламента. Таким образом, обратившись к странам парламентской демократии в поисках финансовой помощи, Россия оказалась в силовом поле парламентской формы правления. Вполне естественно, что министерство финансов, ключевое звено финансовых операций, стало провозвестником либеральных идеалов. Министерство финансов еще не решалось выдвигать лозунг принятия конституции и создания парламента, но выступало за укрощение бюрократического и полицейского произвола, уважение закона, равноправие национальных меньшинств, в особенности евреев, игравших существеннейшую роль в международном банковском деле.

Так нужды царской казны тянули Россию в направлении, противоположном тому, к которому тяготела идеология вотчинного самодержавия и стремилось консервативное чиновничество. Правительству, философия и практика коего покоились на началах вотчинного абсолютизма, не оставалось ничего другого, как стать на путь экономической политики, подрывавшей его же основы.

* * *

Российская армия прежде всего обеспечивала статус России как великой державы. Вот что об этом говорил Витте: «Действительно, чем в сущности держалась Российская империя? Не только преимущественно, но исключительно своей армией. Кто создал Российскую империю, обратив московское полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? Только сила штыка армии. Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой...»[71]

Военные в еще большей степени, чем чиновники, были слугами самодержца, хотя бы в силу личной привязанности царя к военным и предпочтения, отдаваемого им перед чиновничеством, чье вмешательство и назойливость часто досаждали двору[72]. Все атрибуты и военные символы, начиная с присяги, принимаемой солдатами и офицерами, были проникнуты вотчинным духом. В военной клятве, которую следовало приносить наново каждый раз после смерти монарха, поскольку она приносилась в верности лично [правителю], император фигурирует исключительно как самодержец без упоминания отечества. Миссией военных было охранять «все к высокому Его Императорского Величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества». Присягающий клялся охранять как уже имеющиеся преимущества, так и те, которые будут приобретены или даже только ожидаемые — то есть «узаконенные и впредь узаконяемые». [В клятве] государство описывается просто как императорская сфера власти [Machtbereich]: оно упоминается только однажды рядом с императором, и к тому же в контексте, предполагающем

тождественность их интересов»[73].

При регулярной армии численностью в 1,4 млн. человек в России был величайший в мире военный штат: действующие армии Германии и Австро-Венгрии — 700 тыс. и 400 тыс. соответственно. Гигантский размер армии может объясняться двумя факторами.

Первым из них была медлительность мобилизации. Большие расстояния, к тому же трудно преодолеваемые из-за плохого железнодорожного сообщения, означали, что в случае войны России требовалось для приведения войск в полную боевую готовность гораздо больше времени, чем ее потенциальным врагам — Германии и Австро-Венгрии: в начале века, как предполагалось, на мобилизацию в России должно было уйти в семь раз больше времени, чем в Германии*.

* См. ниже, гл. шестая.

Другое, не менее существенное соображение касалось проблемы внутренней безопасности. Уже с начала XVIII века русская армия регулярно использовалась для подавления народных волнений. Кадровым офицерам претило такое, на их взгляд, унизительное занятие, но у режима не было иного выбора, поскольку ни полиция, ни жандармерия не были в состоянии справиться с этой задачей. В периоды широких гражданских беспорядков армия использовалась регулярно: в 1903 году треть пехоты и две трети кавалерии, расквартированных в европейской части России, участвовали в репрессивных акциях*. Более того, правительство часто назначало высших офицеров генерал-губернаторами областей, склонных к бунту. Правительство охотно принимало отставных офицеров на гражданскую службу, предлагая равнозначный чин и отдавая им преимущество перед обычными чиновниками. И если полицейская служба безопасности занималась пресечением подрывной деятельности, армия была главным репрессивным орудием монархии.

* Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX— XX столетий. М., 1973. С. 34. Зайончковский приводит таблицу, демонстрирующую участие российской армии в подавлении беспорядков в период с 1883-го по 1903 год (там же. С. 35). См. также: Fuller W.C. Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881 — 1914. Princeton, N.J., 1985.

Для укрепления благонадежности вооруженных сил власти так распределяли призывников неславянского происхождения, чтобы в каждой военной части было по крайней мере 75% «русских» — то есть великороссов, украинцев и белорусов. В офицерском корпусе восточнославянские кадры составляли 80—85%[74].

Офицерский корпус, насчитывавший в 1900 году 42 тыс. человек, представлял собой группу профессионалов, во многих отношениях изолированную от остального общества[75]. Это не означает, что каста офицеров была «феодальной» или аристократической, как часто описывается. Военные реформы, проводившиеся после Крымской войны, имели одной из целей сделать доступными ряды офицерства для юношей незнатного происхождения, и поэтому образованию при продвижении по службе придавалось такое же значение, как социальному происхождению. К концу XIX века лишь половина офицеров действительной службы принадлежала к потомственному дворянству[76], и большое число было из среды офицерства и чиновничества. И все же между офицерами высокого социального ранга, часто служившими в элитных гвардейских полках, и остальными существовало определенное различие — и это различие сыграло немаловажную роль в революции и гражданской войне.

Для получения офицерского чина требовалось пройти обучение в военном училище. Училища были двух видов. Наиболее престижные принимали выпускников средних школ (обычно кадетских корпусов), намеревавшихся стать профессиональными военными. Преподавали в них гражданские учителя по гуманитарной программе, следуя модели так называемого реального училища. Пройдя курс обучения, выпускники получали офицерский чин. В юнкерские училища, не имевшие ничего общего с одноименным понятием (юнкера), бытовавшим в Пруссии, зачислялись в основном учащиеся низшего социального происхождения, которые, как правило, не закончили средней школы — либо из-за недостатка средств, либо из-за неспособности справиться с классической программой российских гимназий. Сюда допускались учащиеся всех сословий и вероисповеданий, кроме евреев*. Обучение в этих училищах было более краткосрочным (два года), и выпускникам, прежде чем получить офицерский чин, предстояло еще пройти испытательный срок. Большинство офицеров действительной службы в 1900 году (две трети — по одним оценкам и три четверти — по другим) были выпускниками юнкерских училищ; в октябре 1917 года они явили себя самыми верными защитниками демократии. Высшие военные ранги, однако, отводились выпускникам военных академий.

* В 1886 году в русской армии служило самое большее 12 офицеров-евреев. См.: Зайончковский. Самодержавие и русская армия. С. 201—202.

Военный мундир в России не сулил особых благ и почета. Жалованье военных было слишком низким, чтобы позволить офицерам, не имевшим независимых источников дохода, вести беззаботную жизнь: ежемесячный оклад пехотного поручика в размере 41,25 рубля не многим превышал заработок

квалифицированного рабочего. Штабс-офицерские чины едва сводили концы с концами, подчас им не хватало даже на пропитание[77]. Иностранцев потрясало отсутствие «чувства чести» у русских офицеров и спокойствие, с каким они переносили оскорбления старших по чину.

Самой престижной военная служба считалась в гвардейских полках, зачисление в которые требовало высокого социального происхождения и материальной независимости[78]. Почти все гвардейские офицеры были потомственными дворянами, и система приема в гвардию защищала ее ряды от нежелательных претендентов. Гвардейские офицеры расселялись в роскошных кварталах Петербурга, Москвы и Варшавы и пользовались целым рядом привилегий, среди которых было и ускоренное производство в высший чин. Все эти преимущества, однако, постепенно урезались и ко времени первой мировой войны были уже окончательно упразднены.

Элиту российской армии составляли выпускники Военной академии Генерального штаба, готовившей специалистов на высшие командные должности. В академию зачислялись только офицеры, имевшие трехлетний стаж действительной службы и с отличием прошедшие соответствующее испытание: конкурс составлял тридцать человек на место. Здесь социальное происхождение не имело значения: «Сын бывшего крепостного крестьянина служил наравне с членом императорской фамилии»*. Всех воспитанников академии — генштабистов (а в 1904 году на действительной службе их состояло 1232 человека) сплачивал мощнейший корпоративный дух — дух взаимовыручки и неприятия в свою среду посторонних. Самых способных из них зачисляли на службу в Генеральный штаб, разрабатывавший военную стратегию. Остальные занимали различные командные должности. Перевес их в командном составе был нешуточным: составляя всего лишь от 5 до 10% офицеров действительной службы, они в 1912 году командовали 62% армейских корпусов, 68% пехотных дивизий, 77% кавалерийских дивизий и 25% полков. Все семь последних военных министров были питомцами Академии Генерального штаба[79].

* Mayzel Matitiahu // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1975. N 3/4. P. 300—301. Согласно Зайончковскому (Самодержавие и русская армия. С. 320—321, сн.), число дворян, обучавшихся в Академии в начале века, было очень невелико.

Генерал А.И.Деникин, в 1918 году возглавивший командование Добровольческой армией, утверждал, что отношения между офицерами и призывниками в российской армии были такими же (если не лучше), как в армиях Германии и Австро-Венгрии, а обращение с солдатами — менее суровым[80]. Свидетельства современников, однако, не подтверждают такого взгляда. Русское командование настаивало на строгом соблюдении субординации, а с солдатами обращались порой так, что невольно приходила на ум мысль о рабстве. Офицеры к солдатам обращались на «ты», жалованья солдаты получали 3—4 рубля в год (в сто раз меньше большинства младших офицеров), а в некоторых округах подвергались особым унижениям, вроде предписания ходить лишь по теневой стороне улицы или ездить в трамваях только на открытых площадках[81]. И обиды, скопившиеся за годы унижений, были одной из главных причин бунта Петроградского гарнизона в феврале 1917 года.

Для историка революции самый важный аспект рассмотрения армии Российской империи — царившие в ней политические настроения. Большинство исследователей согласны с тем, что русские офицеры в массе своей были аполитичны и не только не вмешивались в политику, но и не проявляли к ней никакого интереса*. В офицерских клубах «политические» разговоры считались дурным тоном. Офицеры взирали на гражданских («шпаков», как они их называли) вообще весьма презрительно, а на политиков — вдвойне. Приученные считать верность властям высочайшей добродетелью, они особенно болезненно воспринимали конфликты, возникшие в 1917 году. И пока битва за власть еще не решилась окончательно в ту или иную пользу, они стояли в стороне. Когда же большевики взяли верх, многие пошли к ним на службу, ибо теперь большевики были «властью», которой они были приучены повиноваться. Призрак русского бонапартизма, так пугавший революционеров, был лишь плодом их воображения, воспитанного на истории Французской революции.

* Прямо противоположная ситуация была в японской армии, где придавалось большое значение идеологическому воспитанию (см.: Gluck C. Japan's Modern Myths. Princeton, N.J., 1985). Русские солдаты никакого идеологического воспитания не получали (см.: Деникин А.И. Старая армия. Париж, 1929. С. 50-51).

После 1905 года в армии появилась группа патриотически настроенных офицеров, чьи чувства простирались дальше трона. Как и либеральное чиновничество, они считали себя не столько слугами императорского престола, сколько слугами нации. На них смотрели с большим подозрением.

* * *

Другая опора царской власти — дворянство — была сильно подточена*.

* Согласно переписи 1897 года, в Российской империи было 1 млн. 220 тыс. потомственных дворян (обоего пола), из них 641 500, чьим родным языком был русский, то есть русские, украинцы и белорусы (см.: Трои-ницкий Н.А. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: Общий свод. Т. 2. СПб., 1905. С. 374). Дворяне, таким

образом, составляли около 1% населения.

Как и бюрократия, русское дворянство происходило из средневекового служилого класса, исполнявшего для князя разнообразные обязанности, в основном военную повинность[82]. Служба их была пожизненной и вознаграждалась доходами от поместий, обрабатываемых крепостными и юридически остающимися княжеской собственностью. Они не были благородным сословием в точном смысле слова, так как не обладали сословными правами: все свои блага они получали в виде вознаграждения за службу. Дворяне обрели привилегированное положение в конце XVIII века, когда монархия, стремясь отвлечь их от политики, приняла их в долю. В обмен на признание за царем полного господства в сфере высокой политики дворянам были предоставлены во владение их поместья и фактическое владение крепостными (в то время составлявшими около половины населения), дарованы сословные права, включающие освобождение от обязанности нести государственную службу. Золотой век дворян пришелся на период с 1730 по 1825 год. И даже тогда подавляющее большинство дворян пребывало в нищете: лишь треть из них имели земельные угодья с крепостными и лишь у меньшинства земли и крепостных было достаточно, чтобы вести жизнь на широкую ногу[83]. Многих сельских помещиков было трудно отличить от их крестьян.

Падение русского дворянства началось в 1825 году — как следствие декабрьского восстания, когда отпрыски славнейших дворянских фамилий с оружием в руках выступили против монархии во имя конституционных и республиканских идеалов. Уязвленный их «изменой», Николай I стал все более полагаться на профессиональное чиновничество. В экономическом плане смертный час дворянства пробил в 1861 году, когда монархия, преодолевая сопротивление помещиков, освободила крестьян. И хотя не так уж много дворян имело крепостных и в большинстве случаев крепостных душ было недостаточно, чтобы жить исключительно за счет доходов с их труда, но монополия на владение крестьянами была самым существенным преимуществом этого класса. После 1861 года дворянство еще сохраняло за собой некоторые весьма существенные блага (например, заведомое право поступать на гражданскую и военную службу), но статус привилегированного сословия оно уже начало терять.

С точки зрения большинства русских консерваторов, это был весьма плачевный факт, потому что, на их взгляд, существование России было непосредственно связано с прочной монархией при поддержке привилегированного и благоденствующего поместного дворянства. В последние три десятилетия XIX века об этом много писалось[84]. Эта литература — последний вздох дворянского консерватизма, обреченная на провал попытка возродить эпоху Екатерины Великой — утверждала, что поместное дворянство есть основной носитель культуры в деревне. И чиновничество не может его заменить в этом качестве, ибо не имеет настоящих корней в деревне — оно живет там «на постое». На самом деле радикализация чиновничества была следствием предпочтения, оказываемого правительством именно образованности служащих перед высокородным происхождением. Падение дворянства неизбежно прокладывало путь победе радикальной интеллигенции, которая в деревне, на ролях сельских учителей и земских служащих, не столько просвещала крестьянство, сколько подстрекала его к неповиновению. Консерваторы критиковали реформы Александра II за то, что они стерли социальные различия. Они уповали на восстановление традиционного сотрудничества престола и дворянства.

Эти доводы возымели действие, в особенности благодаря политической поддержке со стороны близких ко двору организованных групп землевладельцев[85]. Последним удалось отклонить законодательные акты в социальной сфере, ущемляющие их интересы; однако и в этом случае жизнь диктовала свои законы, и было бы неверно приписывать сколь-либо значительное влияние консервативному дворянству в царствование Николая II. Консерваторы мечтали о восстановлении сотрудничества трона с дворянством, но Россия неуклонно, хоть и неровно, двигалась в направлении социального равенства и всеобщего гражданства.

Все большее число дворян отворачивалось от консервативной идеологии, проникаясь конституционными и даже демократическими идеалами. В рядах земского движения, давшего мощный толчок революции 1905 года, была очень высокая доля дворян, потомков старейших и известнейших фамилий. Согласно Витте, на переломе столетий по крайней мере половина губернского земства, в котором дворяне играли ведущую роль, выступала за предоставление им права голоса в законотворчестве[86]. Не сообразуясь с новыми реальностями, монархия продолжала относиться к дворянству как к послушной опоре абсолютизма. В 1904—1905 годах, когда необходимость даровать стране представительный орган уже нельзя было игнорировать, некоторые советовали предоставить дворянству в нем превосходящее число мест. И одному великому князю пришлось напомнить царю, что в происходящих беспорядках именно дворяне играют заглавную роль[87].

Не менее важно было и то, что дворяне постепенно теряли свои позиции в государственной службе и землевладении.

Заинтересованность в профессионально пригодном административном персонале вынуждала правительство отдавать предпочтение образованию перед происхождением. В результате доля участия дворян в бюрократических структурах постепенно сокращалась[88].

Вытеснялось дворянство и из деревни: в 1914 году только от 20 до 40 % русских дворян еще жили в поместьях, остальные переселились в города[89]. В результате крестьянской реформы 1861 года дворянство сохранило около половины своих землевладений, за другую половину, которую они вынуждены были

уступить освобожденным крестьянам, они получили щедрое вознаграждение. Однако дворяне не умели приспособиться к новой ситуации: некоторые специалисты вообще считали, что в Великороссии невозможно вести выгодное сельское хозяйство, используя наемный, а не подневольный труд. Как бы то ни было, помещичьи землевладения переходили в руки крестьян и иных землевладельцев в объеме приблизительно 1 % в год. К началу XX века помещики владели лишь 60 % земли, принадлежавшей им в 1861 году. В период с 1875 по 1900 год доля всей частновладельческой (то есть необщинной) земли, находящейся в руках помещиков, снизилась с 73,6% до 53,1%[90]. В январе 1915 года дворянство (включая и военных, и чиновников) владело в европейской части России 39 млн. десятин пригодных земель (пашни, леса и пастбищ) из общего объема в 98 млн. — чуть больше того, что имели в частном владении крестьяне[91]. Поместное дворянство стало вымирающей кастой, вытесняемой с насиженных мест под напором экономических факторов и враждебности крестьян.

* * *

Из разнообразных институтов, служащих Российской монархии, Православная Церковь пользовалась наибольшей народной поддержкой — Церковь была основным культурным звеном, объединяющим 80 млн. верующих великороссов, украинцев и белорусов. Монархия придавала большое значение Церкви, наделив ее статусом господствующей и даровав привилегии, коими ни одна христианская церковь не пользовалась.

Религиозность великороссов — вопрос спорный. Некоторые утверждают, что крестьянство было глубоко верующим, другие считают их суеверными агностиками, соблюдающими христианские обряды исключительно в страхе перед загробными муками. Есть еще мнение, что в религиозном сознании великороссов переплелись христианские и дохристианские элементы. Однако не вызывает сомнений, что в массе своей православное население — огромное большинство русских, украинцев и белорусов — благочестиво соблюдало церковные обряды. Храмы, монастыри, иконы, религиозные процессии, церковное пение и колокольный благовест — этими зримыми и ощутимыми символами христианства была насквозь проникнута вся жизнь России до революции.

Связь между государством и церковью покоилась на убеждении, что православие есть национальная вера России и что только православноверующие суть настоящие русские. Поляк или еврей, сколь бы ассимилированы и патриотично настроены они ни были, оставались в глазах властей, да и всего православного населения, инородцами. Приобщенный к православной церкви оставался ее пожизненным членом и не мог покинуть ее лоно произвольно: «Каждый волен сохранять верность религии отцов, но запрещено приобщать к ней новичков. Эта привилегия предоставлена исключительно Православной Церкви; это прямо выражено в тексте закона. Каждый может войти в лоно Церкви, но никто не может его покинуть. Двери русского православия открываются лишь в одну сторону. Церковным законам отведено несколько глав X, XIV и XV томов многотомного собрания, называемого «Сводом законов». Каждый, родившийся от православных родителей, — становился заведомо православным; то же и в отношении смешанных браков. В действительности, только на таких условиях подобный брак и есть возможен... Одна из статей «Свода» запрещает православным менять религию; другая определяет наказания, которые влечет за собой такой проступок. «Паршивая овца» сначала отечески изгоняется приходским священником как первой инстанцией, затем дело перепоручается консистории, а потом передается в Синод. Может быть назначен срок отбывания наказания в монастыре. Отступник теряет все гражданские права; он не может легально ничем владеть и ничего наследовать. Его родня может завладеть его имуществом или вступить в права причитавшегося ему наследства... Преступно склонять кого-либо отречься от православия; преступно отговаривать кого-либо от обращения в православие»[92].

Правительство не вмешивалось в религиозные обряды других конфессий, но, словно подчеркивая неразрывную связь между православием и «русскостью», все остальные вероисповедания считались «иноверческими».

Царский режим не был «цезаре-папизмом» в смысле сочетания мирской и духовной власти, ибо царь не был авторитетом ни в догматических, ни в ритуальных вопросах и его влияние не выходило за рамки церковной администрации. Тем не менее очевидно, что со времен Петра Великого Русская Православная Церковь весьма существенно зависела от государства. Упразднив патриаршество и секуляризировав имущество церкви (завершила эту задачу уже Екатерина II), Петр поставил церковь не только в административную, но и в финансовую зависимость от монархии. Высшим органом управления церкви стал Святейший Синод, который с петровских времен возглавлялся гражданским лицом, часто генералом в отставке, фактически действовавшим на правах министра вероисповеданий. Административная структура церкви повторяла структуру гражданской администрации, и даже границы епархий совпадали с границами губерний. Так же, как и чиновники, священники продвигались по иерархической лестнице (в данном случае от епископа до архиепископа и далее до митрополита) без учета объема возлагаемых обязанностей, и церковный сан воспринимался как бюрократический чин, то есть как знак отличия, а не атрибут должности[93]. Священники обязаны были докладывать полиции все, что им станет известно о злоумышлениях против императора или правительства, включая и услышанное на исповеди. Им надлежало также сообщать о всех подозрительных лицах, появившихся в их приходе.

Православная Церковь находилась в финансовой зависимости от правительства в том, что касалось

субсидий и жалованья, но большую часть своего дохода добывала самостоятельно[94]. Все архиереи и высшие церковные иерархи получали щедрое жалованье и пенсионы, которые они пополняли доходами церкви и монастырских владений. Приходское духовенство тоже состояло на государственном жалованье. В 1900 году государственные дотации церкви составили 23 млн. рублей. Эта сумма равнялась приблизительно пятой части церковных доходов — вклад весьма значительный, но едва ли он может служить объяснением того обстоятельства, что духовенство в революцию 1905 года стояло на стороне монархии[95].

Основная политическая задача церкви заключалась в идеологическом воспитании. Царское правительство избегало в народном образовании и в армии всего, хоть сколько-нибудь напоминающего национальную или идеологическую пропаганду, из опасения, что аргументы в защиту существующего порядка повлекут за собой контраргументы. И то, что Россия была государством многонациональным, не позволяло прибегать к национальной пропаганде. Правительство предпочитало действовать так, словно существующее политическое и социальное устройство есть сама собой разумеющаяся данность. Допускалось лишь религиозное воспитание, и в этом состояла роль православного духовенства, в особенности в учебных заведениях.

Впервые Православная Церковь стала серьезно участвовать в народном образовании в 80-е годы прошлого века, пришедшие на смену десятилетию революционных волнений. Чтобы ослабить влияние как радикальных пропагандистов, так и сельских учителей на крестьянство, правительство обязало церковь создать сеть начальных школ. В первые десятилетия XX века чуть более половины всех начальных школ России, охватывавших приблизительно треть учащихся, были на попечении церкви[96]. Особое внимание в воспитании отводилось этике, а также изучению языков (церковнославянского и русского). Однако низкий уровень преподавания в этих школах, вызванный нищенским в сравнении с мирскими школами жалованьем учителям, приводил к потере учащихся, которых больше привлекали именно светские учебные заведения.

Учащиеся православного исповедания во всех начальных и средних учебных заведениях должны были пройти курс религиозного обучения, как правило, преподаваемый священниками. (Учащиеся иных вероисповеданий могли изучать религию у своих учителей.) Религиозное воспитание, помимо нравственных правил, внушало лояльность и уважение к царю; и это все, что могло предложить правительство в области политического воспитания.

В периоды беспорядков церковь и с амвона и в печати выступала на стороне закона. В церковном сознании царь был наместником Бога, а значит, неповиновение ему греховно. Нередко при этом церковь доходила до прямых антисемитских проявлений. Самая непримиримая к евреям из всех христианских церквей, Русская Церковь до раздела Польши в XVIII веке принимала заметное участие в вытеснении евреев из России, а после — в установлении границ их проживания на бывших польских территориях («черта оседлости»). Духовенство, возлагавшее на еврейский народ вину за распятие Христа, хотя и не одобряло открыто погромов, но и не считало своим долгом выступить с осуждением. В 1914 году Синод благословил воздвижение часовни в память о жертве «ритуального убийства», будто бы совершенного Бейлисом[97]. В 1905 году и впоследствии православная пресса взваливала на евреев ответственность за революционное брожение, обвиняя их в стремлении погубить христианский мир и установить господство над ним.

В последнее десятилетие существования царского режима в церкви наметились тенденции, с точки зрения правительства весьма угрожающие.

Исключительный авторитет господствующей церкви в вопросах ритуальных и догматических уже давно оспаривался, с одной стороны, старообрядцами, а с другой — разнообразными сектантскими движениями. Старообрядцы, как они называли себя, или раскольники, как их именовала официальная церковь, — были духовными продолжателями тех православно-верующих, которые в XVII веке не приняли обрядовых нововведений патриарха Никона. Преследуемые и всячески притесняемые, они не только не отказывались от своей веры, но весьма успешно обращали в раскол все новых приверженцев. Поддерживаемые мощным духом братского единства, как это часто бывает с преследуемыми меньшинствами, старообрядцы выказывали и незаурядные хозяйские качества. Что касается сектантских течений, то их было множество, и если некоторые из них можно уподобить протестантским сектам, то другие в своих исканиях обратились к дохристианским обычаям, сопряженным с половой распущенностью. По официальной переписи (1897) общее число староверов и приверженцев различных сект составляло 2 млн. и из них на долю первых приходится около половины, но истинное число определенно выше, поскольку правительство, расценивая их вероотступниками и отщепенцами, не гнушалось подтасовывать цифры в пользу официальной церкви. По некоторым оценкам, число сектантов в широком понимании достигало 20 млн. Если это так, то в начале века приблизительно каждый четвертый русский, украинец или белорус не принадлежал господствующей Православной Церкви. Неудивительно поэтому, что церковь первая выступала за преследование раскольников и сектантов, понимая, сколь серьезную угрозу ее целостности они в себе таят.

Но и в самой церкви, в особенности среди приходского духовенства, наблюдались весьма опасные оппозиционные течения. Просвещенное духовенство выступало за изменение статуса церкви: обеспокоенные слишком тесной близостью церкви с монархией, они требовали большей независимости. И после 1905 года правительство с возрастающим беспокойством наблюдало, как некоторые представители духовенства, избранные в Думу, занимали места рядом с либералами и даже радикалами и присоединяли свои голоса к критике режима.

Но церковная иерархия оставалась непреклонно консервативной, это особенно зримо наблюдалось всякий раз, когда миряне пытались высказать мысль, что добрые дела важнее церковной обрядности. В 1901 году Синод отлучил от церкви Льва Толстого, крупнейшего религиозного мыслителя, выступавшего против социального неравенства и отрицавшего патриотизм.

Благоприятная для церкви близость с государством имела и оборотную сторону. Предоставляя духовенству самые разнообразные привилегии, она в то же время накрепко связывала судьбу церкви с судьбой монархии. В 1916—1917 годах, когда над троном нависла смертельная опасность, церковь оказалась бессильна помочь ей, а когда монархия пала, она увлекла за собой и церковь.

* * *

На взгляд иностранного наблюдателя, Россия 1900 года была скопищем противоречий. Так, французский историк сравнивал ее с «одним из тех замков, которые воздвигались на протяжении различных эпох и в которых самые несогласующиеся друг с другом стили соседствуют бок о бок, или же с такими зданиями, которые строились постепенно, урывками, в которых нет единства и удобства обиталищ, построенных по единому плану и единым порывом»[98]. Революция 1905 года была взрывом этих самых противоречий. Основной вопрос, вставший перед правительством после объявления Октябрьского манифеста, заключался в том, достаточно ли будет предложенных монархией уступок для усмирения страстей и решения социальных и политических конфликтов. Чтобы понять, почему перспективы такого компромисса были весьма сомнительны, следует понимать условия жизни и воззрения двух основных действующих лиц — крестьянства и интеллигенции.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СЕЛЬСКАЯ РОССИЯ

В начале 900-х годов Россия была страной сугубо аграрной. Крестьяне составляли четыре пятых ее населения — согласно официальному статусу, и три четверти — по роду своих занятий: то есть соотношение было таким же, как во Франции накануне революции. Земледелие служило величайшим источником национального дохода. Экспорт России составляли главным образом продукты сельского хозяйства. Немногочисленный рабочий класс составляли вчерашние сельские жители, сохранившие теснейшие связи с деревней. Таким образом, императорская Россия по экономическому и социальному устройству была сравнима скорее с государством азиатским (скажем, с Китаем), чем с западноевропейским, хотя и числила себя частью Европы, в политике которой играла значительную роль.

Российское сельское население жило в несравненно более обособленном мире, чем селяне на Западе. Характер его отношений с чиновничеством и интеллигенцией можно уподобить, во всех смыслах, кроме расового, отношениям между коренными жителями Африки и их колониальными властями. Крестьянство оставалось глухо к влиянию Запада, лепившего из элиты нации европейцев, и сохраняло верность культурным традициям Московской Руси. Русские крестьяне говорили на своем диалекте, придерживались своей логики, преследовали свои интересы и на бар смотрели как на чужаков, которым приходится платить налоги и поставлять рекрутов, но с которыми у них не может быть ничего общего. Русский крестьянин был предан только своей деревне, родной волости, в лучшем случае смутное чувство патриотизма простиралось на губернию. А в национальном масштабе патриотизм сводился к верноподданничеству царю и подозрительности к инородцам.

Наступление европеизированной интеллигенции заставило монархию увидеть в крестьянине носителя «истинной» русскости и предпринять немалые усилия, чтобы оградить крестьянскую массу от развращающего влияния города. Государство позаботилось о культурной изоляции крестьянства, связав его общинными узами и введя систему особых налогов и законов. Крестьянин имел весьма ограниченные возможности получить образование, а немногочисленные учебные заведения, в которых могли обучаться крестьяне, монархия предпочла отдать в руки духовенства. Она препятствовала поселению в деревне посторонних, запрещала жить там евреям, и на переломе столетия именно в союзе самодержавия и крестьянства консервативные силы видели оплот нерушимости державы. Как показали последующие события, это было глубочайшим заблуждением. При всем очевидном консерватизме мужика его мировоззрение, его интересы и система ценностей были достаточно переменчивы. И если сам он не был способен возглавить революцию, то всегда с готовностью откликался на волнения в городах.

* * *

Жизнь русского крестьянина вращалась вокруг трех основных институтов: двора, деревни (или села) и общины (или мира). Все эти три социальных института отличались непостоянством, аморфной структурой, слаборазвитой иерархией и преобладанием личностных отношений над деловыми. С этой точки зрения условия жизни в русской деревне резко отличались от тех, что сложились в Западной Европе и в некоторых восточных странах (особенно в Японии), — факт весьма важный для русского политического

развития.

Основным элементом уклада сельской жизни России был крестьянский двор. В 1900 году в Российской империи насчитывалось 22 млн. таких дворов, причем 12 млн. из них — в европейской части. Типичный крестьянский двор составляло большое и разветвленное семейство, где родители жили под одной крышей с неженатыми и женатыми сыновьями, с их семьями и незамужними дочерьми. Такой семейный уклад лучше всего отвечал климатическим условиям России, ибо краткость периода полевых работ (от 4 до 6 месяцев) требовала напряженных совместных усилий как можно большего числа рук. Статистика говорит, что чем крупнее был двор, тем более он преуспевал и богател: более многолюдный двор мог возделывать больше земли, содержать больше скота и зарабатывать больше денег на душу. Небольшие дворы с одним-двумя взрослыми работниками либо соединялись с другими, либо распадались[1]. К концу XIX века в 40,2% сельских дворов России было от шести до десяти домочадцев[2]. Но, несмотря на явное экономическое преуспеяние, число больших дворов неуклонно сокращалось: во избежание раздоров, как правило, возникающих в больших семействах, молодые пары предпочитали отделяться и заводить собственное хозяйство. В XX веке по экономическим причинам, о которых мы поведем речь в свое время, ускорился распад больших дворов.

Хотя типичное хозяйство основывалось на родственных отношениях и все его члены были связаны кровными или брачными узами, основной критерий был все же экономический — то есть труд. Спаянность хозяйства зиждилась именно на совместном труде под руководством хозяина. Сын, оставивший деревню ради самостоятельной жизни, переставал быть членом хозяйства и лишался права на долю имущества. В свою очередь, чужеродцы (например, зять, пасынок, приемные дети), ставшие в хозяйстве постоянными работниками, получали права членов семьи[3]. Иногда на этом свободном основании создавались дворы из крестьян, не связанных между собой ни кровными, ни брачными узами.

Уклад русского крестьянского двора воспроизводил простую авторитарную модель, при которой все права над людьми и их имуществом принадлежали одному человеку — «большаку», или хозяину. Главой семьи был, как правило, отец, но его полномочия с общего согласия могли быть отданы и другому взрослому члену семейства. У главы были разнообразные обязанности: он распределял все полевые и домашние работы, имущество, разбирал семейные раздоры и представлял двор и имущество в сношениях с внешним миром. Крестьянский обычай наделял его непререкаемой властью над двором: в некоторых отношениях он был преемником власти, присущей владельцу крепостных — помещику. После манифеста 1861 года об освобождении крестьян правительство вменяло большаку в обязанность передавать в руки административной власти своих домочадцев для отбытия наказания. Он был главой семейства в самом архаическом смысле слова, чем-то вроде царя в миниатюре.

Политические и экономические устои русского крестьянства складывались в первые пять веков минувшего тысячелетия, когда никакая власть не могла воспрепятствовать их распространению по евразийским просторам, где не было недостатка в земле. Коллективная память об этом периоде коренится в крестьянском примитивном анархизме. Это же определило практику наследования, которой русские крестьяне придерживались и в новейшее время. Замечено, что в тех регионах мира, где ощущается недостаток обрабатываемой земли, среди землевладельцев, будь то крестьяне или дворяне, устанавливается, как правило, практика наследования по признаку первородства, то есть основная часть имущества переходит по наследству старшему сыну. Там, где земли вдоволь, наблюдается тенденция к «долевому» наследованию, то есть земля и иное имущество распределяются поровну между наследниками*. Даже когда стала ощущаться нехватка земли, русские крестьяне остались верны традиции. Вплоть до 1917— 1918 годов, когда наследование земли было запрещено законом, русские помещики и крестьяне делили свое имущество на равные части между наследниками мужского пола. Этот обычай имел глубокие корни: попытка Петра I сохранить целостность имений высшего класса, вручая их неприкосновенными единственному наследнику, не увенчалась успехом.

* Goody J. Family and Inheritance. Cambridge, 1976. P. 117. Другим фактором, влиявшим на практику наследования, была близость городов. См.: Abel W. Agrarpolitik. Bd. 2. Gottingen, 1958. S. 154.

Большую часть мужицкой земли составлял общинный надел, на который у него не было прав собственности: когда двор вымирал или снимался с места, надел возвращался общине. Но землю, находившуюся в личном владении крестьянина, а также всю его движимость (деньги, орудия труда, скот, запасы зерна и т.д.) обычай позволял наследникам делить между собой.

Практика долевого наследования имела глубокое влияние на сельскую жизнь в России и даже на многие иные, казалось бы, совершенно не связанные с этим стороны русской жизни. Ибо, как было отмечено, «переход mortis causa (то есть по причине смерти) есть не только средство воспроизведения социальной системы, но и путь, по которому складываются межличностные отношения»[4]. После смерти главы все хозяйство делилось между сыновьями, и те отселялись, чтобы жить собственными домами. В результате двор существовал не более срока, отпущенного на земле его хозяину, что делало этот основополагающий элемент русской деревни установлением крайне ненадежным. В течение жизни одного поколения — то есть три, четыре раза за столетие — дворы в России успевали распасться и разделиться подобно одноклеточным. Сельская жизнь России протекала в процессе непрерывного дробления,

препятствовавшего развитию более высоких, более сложных форм социального и экономического устройства. Один двор порождал другие дворы, а те размножались сходным образом — подобное рождало подобное, и не было дано возможности появиться ничему новому или отличному.

Последствия описанного уклада станут очевидны в сравнении с обществами, где практиковалась нераздельность имущества. Принцип первородства обеспечивал большую устойчивость деревни и давал государству надежную опору в сельских установлениях. Вот какое сравнение проводит японский социолог между положением в китайской и индийской деревне, где не был известен принцип первородства, и положением в своей стране, где этот принцип превалировал: «Благодаря принципу наследования по праву первородства, распространенному в Японии, правящая прослойка деревни обретала сравнительную устойчивость из поколения в поколение. Такой устойчивости не было в Китае и в Индии... Китайское правило разделения наследства поровну препятствовало поддержанию устойчивого положения семьи, изменявшегося от поколения к поколению. В результате центр власти в деревне все время перемещался, авторитет главы падал и в пределах деревни не устанавливалось какого-либо превосходства или субординации... В Японии наследование по прямой линии пронизывало всю структуру деревни: дом главы, или родительский дом, свободно сохранял свою неприкосновенность благодаря системе наследования и тем самым накапливал традиционный авторитет. Семья, клан и деревня действуют сообща и укрепляют неделимость собственности. Так в сельском обществе Японии отношения между семьей — продолжательницей прямой линии и семьями по боковым линиям, отношения родителей и детей, хозяина и слуги повлияли в определенной степени на все стороны социальной жизни села»[5].

Наблюдения, сделанные над Китаем, применимы и к России: и в том и в другом случае сельские установления были недоразвитыми и недолговечными.

Следует отметить некоторые черты крестьянского двора. Крестьянское хозяйство не оставляло места для проявления индивидуальности: в первую очередь это был коллектив, подчинявший интересы личности интересам группы. Во-вторых, воля большака была законом, а его распоряжения непререкаемы: жизнь двора приучала крестьянина к авторитарной власти и отсутствию норм (законов), регулирующих личные отношения. В-третьих, хозяйство двора не допускало частной собственности: все имущество было обобщено. Мужчины получали право владения движимым имуществом двора только в момент его разделения, то есть когда оно снова должно было превратиться в коллективное имущество нового двора. Наконец, не было преемственности дворов и, следовательно, не было ни понятия родовитости, ни особого статуса семьи в деревне, характерных для западноевропейского и японского деревенского общества. В общем, крестьянину-великороссу в таких условиях трудно было обрести чувство собственной значимости, уважение к закону и собственности или социальный статус в деревне — качества, необходимые для развития более высоких форм экономического и политического устройства. Просвещенные русские политические деятели в начале XX века прекрасно сознавали это и предпринимали попытки вывести крестьянство на более широкие социальные просторы. Однако время было безвозвратно упущено. Русские крестьяне жили в деревнях — название это, производное от слова «дерево», отражает основной строительный материал, в них применяемый. Большие деревни назывались селами. Обособленные хозяйства (хутора), расположенные на деревенских землевладениях, почти не встречались в центральной России: они были распространены в основном в западных и южных губерниях, находившихся до XVIII века под польским владычеством. Число дворов в деревнях в разных регионах было разным и зависело от природных условий, среди которых самым существенным была близость воды. На севере, изобилующем пригодными водоемами, деревни, как правило, были небольшими, но по мере удаления к югу они становились все крупнее. В центральных индустриальных областях Европейской России деревни в среднем насчитывали 34,8 двора, а в центральной черноземной полосе — 103,5[6]. Если в частном хозяйстве его обширность говорит о благосостоянии, то применительно к деревне верным оказывается обратное: небольшим деревням жилось лучше. Объяснение нужно искать в бытовавшей практике землевладения. По причинам, которые мы подробнее рассмотрим ниже, общинные земли нарезались на узкие наделы — полосы, разбросанные по деревенским угодьям в разных местах. В больших деревнях крестьянам приходилось затрачивать немало времени, чтобы со всеми своими земледельческими орудиями перебираться с одной полосы на другую, подчас находящуюся в нескольких километрах, что было особенно затруднительно в страду. Когда деревни становились слишком густонаселенными для успешного земледелия, часть жителей либо отселялась на новые земли и основывала новую деревню, либо обращалась к иному промыслу.

К концу XIX века в центральной России были десятки тысяч таких деревень, как правило, на расстоянии пяти-десяти километров друг от друга.

В сравнении с сельскими поселениями в других странах структура русских деревень была весьма аморфной и изменчивой, так как не имелось достаточных установлений для обеспечения ее прочности. Кирпичиком русской сельской жизни был двор, а не деревня. Основным официальным должностным лицом в деревне был староста, избиравшийся, часто против своей воли, по указанию чиновников, желавших иметь в деревне дело с ее представителем. Но так как сместить его с этой должности было во власти того же чиновничества, он представлял не столько жителей деревни, сколько власть[7].

Мужицкое собрание — сельский сход — было связано больше с общиной, чем с деревней, что, как мы увидим далее, не одно и то же. Сход, состоявший из глав семейств, собирался время от времени для решения вопросов, представлявших интерес для всей общины. У него не было иных обязанностей и никакого

постоянного учреждения. Отсутствие в деревнях учрежденческих образований — достаточно важный факт, ибо объясняет явное отсутствие политического опыта у русских крестьян. Русская деревня могла проявить высокую степень сплоченности под угрозой извне, но в своих пределах не могла создать органов самоуправления, способных дать крестьянам политический опыт, иными словами, научить их переносить усвоенные в стенах дома обычаи на более формальные социальные связи.

Причиной отсутствия в России достаточно устойчивого и эффективного деревенского устройства, причиной нестабильности деревни была, как и в случае двора, традиция наследования не по признаку первородства. Русская деревня по сравнению с английской или японской скорее напоминала поселение кочевников: служившая крестьянину жилищем изба возводилась за несколько дней и, подверженная пожарам, была едва ли долговечней и прочней шатра.

Община — третье деревенское установление, границы которого, как правило, совпадали с границами деревни, хотя деревня и община не одно и то же. Если деревня была некой физической общностью — совокупностью соседствующих домов, то община была легальным учреждением, связанным коллективным соглашением о распределении среди ее членов земли и налогов. Проживание в данной деревне не означало обязательного и непременного членства в общине: крестьяне, не имевшие земельных наделов, а также лица, не занимавшиеся земледелием (например, священники, учителя), не принадлежали к общине и не могли участвовать в ее решениях. Кроме того, хотя в подавляющем большинстве русские общины представляли собой, так сказать, «односложный тип», то есть охватывали одну деревню, это вовсе не было обязательным правилом. На севере, с его небольшими деревнями, община иногда состояла из нескольких деревень; в центральных районах, а еще чаще на юге большие деревни разбивались на две, а то и три общины.

Община была сообществом крестьян, совместно владеющих общинной землей. Эта земля, поделенная на полосы, время от времени перераспределялась между членами общины. Земельные переделы, производившиеся примерно каждые десять-двенадцать лет в зависимости от местных обычаев, имели целью привести земельные наделы в соответствие с теми изменениями, которые произошли во дворах по причине смертей, рождений или ухода домочадцев. В этом заключалась основная функция общины и ее отличительная характеристика. Община делила свои угодья на полосы так, чтобы наделить каждого члена участком, равным по качеству и удаленности от деревни. К 1900 году около одной трети общин, в основном по западным и южным окраинам, отказались от практики передела земли, хотя формально они считались именно «передельными». В Великороссии практика земельных переделов была фактически повсеместной.

Сельский сход (мир) решал вопросы, представлявшие интерес для членов общины, включая календарь полевых работ, распределение податей и иные фискальные обязанности (ответственность за которые для его членов представляла собой круговую поруку). Сход мог изгонять бунтарей и даже высылать их в Сибирь, обладал правом выдачи паспортов, без которых крестьяне не могли покидать деревню, мог даже принять решение о переходе всей общины в раскольную секту. Решения сход принимал при шумном одобрении большинства: он не терпел никакого несогласия с волей большинства, видя в этом проявление антиобщественного поведения*.

* Неприязнь к инакомыслию наблюдалась у крестьян повсеместно: Роберт Редфилд замечает, что «деревни не любят раскола» (Little Community. Uppsala; Stockholm, 1955. P. 44).

Общины существовали главным образом в центральной России. На окраинах империи — там, где некогда было Польское государство, на Украине, в казачьих областях — было распространено индивидуальное землевладение, получившее название подворного. Здесь каждый двор имел в частном владении или брал в аренду участок земли, который возделывал по своему усмотрению. На севере и в центральной России, наоборот, вся крестьянская земля была нарезана на полосы и обрабатывалась по установленному общиной порядку. Крестьяне тут не владели единолично землей, права на которую были в руках общины в целом. В начале XX столетия 77,2% сельских дворов в 50 губерниях европейской части России были охвачены общинным земледелием; в 30 или около того губерниях Великороссии общинное земледелие достигало 97— 100%[8]. Принадлежность к общине и право на общинный надел не препятствовали крестьянину приобретать землю у помещика или иного землевладельца в частную собственность. В наиболее процветающих регионах нередкой была практика, когда крестьянин трудился и на общинной и на своей собственной земле. В 1910 году крестьяне европейской части России владели на общинных основаниях 151 млн. гектаров земли, а в индивидуальном владении имели 14 млн. гектаров*.

* Вычисления произведены на основе данных «Ежегодника России, 1910 г.» (СПб., 1911. С. 258—263). Большинство частных владений землей находилось в руках сообществ и целых деревень, а не отдельных хозяйств.

Вопрос о происхождении русских общин — туманный и спорный. Некоторые видят в общине стихийное выражение приписываемого русским острого чувства социальной справедливости, тогда как другие усматривают в ней следствие государственной политики навязывания коллективной ответственности перед верховной властью и помещиком за исполнение крестьянами своих обязанностей. Новейшие исследования показали, что общинный передел земли, впервые встречающийся в конце XV века, в XVI веке стал явлением привычным, а в XVII веке распространился повсеместно. Исполняя разнообразные задачи,

община служила как государственным чиновникам и помещикам, так и крестьянам. Первым она обеспечивала, благодаря институту коллективной ответственности, сбор податей и рекрутские наборы; вторым — возможность выступать сообща, всем миром в сношениях с внешней властью[9]. Принцип проведения земельных переделов через равные промежутки времени должен был создать (по крайней мере в теории) условия, при которых каждый крестьянин мог бы прокормить свою семью и в то же время выполнить обязательства перед помещиком и государством. Подобные соображения заставили правительство в период освобождения крестьян сохранить общинный уклад и распространить его на области где прежде он не был известен. Предполагалось, что, когда деревни высвободят свои земельные угодья, выплатив государству деньги, которые пойдут в виде компенсации помещикам, общины распадутся и крестьяне смогут вступить в права пользования своими наделами. Однако при консервативном правительстве Александра III были приняты законы, делавшие практически невозможным выход крестьян из общины. Эта политика вдохновлялась убеждением, что община в деревне — некая стабилизирующая сила, укрепляющая авторитет большака, препятствующая крестьянскому анархизму и образованию политически неблагонадежного безземельного пролетариата.

К 1900 году в России уже очень многие не питали иллюзий относительно общины. Правительственные чиновники и либералы отмечали, что общины, не предотвращая образования безземельного пролетариата, сковывают крестьянскую предприимчивость. Социал-демократы предрекали скорый их распад под воздействием все усиливающегося «классового расслоения» на бедняков, середняков и богатых крестьян. Государственная конференция по сельским проблемам, созванная в 1902 году по следам недавних крестьянских волнений, пришла к выводу, что основную причину отсталости русского сельского хозяйства нужно видеть в общине*.

* Кофод А.А. Русское землеустройство. СПб., 1914. С. 23. Леруа-Болье говорит, что уже в 80-х годах прошлого века сталкивался с разочарованием общинным укладом (Leroy-Beaulieu. The Empire of the Tsars and the Russians. V. 2. N.Y.; Lnd., 1898. P. 45-46).

Но сами крестьяне упорно придерживались общинного земледелия: оно обещало справедливое и удачное распределение пахотной земли и способствовало укреплению сплоченности крестьянского хозяйства. К 1900 году земельные наделы значительно сократились, но крестьяне надеялись, что рано или поздно вся земля, находящаяся в частном владении, будет отчуждена и передана общинам для передела.

Три сельских института — двор, деревня и община — в совокупности составляли среду, формировавшую мужицкие социальные воззрения. Эти институты были приспособлены к суровым природным условиям, в которых приходилось трудиться российскому хлебопашцу. Но почти все, чему русский крестьянин мог обучиться в своем непосредственном окружении, было бесполезно, а подчас и вредно в приложении к иным сферам деятельности. Живя в маленьких общинах, русский крестьянин оказался неприспособленным для перехода к более сложному общественному устройству, где действовали уже не дворы, а отдельные индивидуумы, руководствуясь неличностными отношениями, и куда ему суждено было быть ввергнутым политическими потрясениями XX века.

* * *

Широко распространено мнение, что до 1917 года Россия была феодальным государством, где царский двор, церковь и ничтожная группа зажиточного дворянства владели всей землей, а крестьяне либо обрабатывали крошечные клочки своей земли, либо батрачили на богатых хозяев. Действительность была очень далека от этих представлений, которые возникли под впечатлением обстоятельств, сложившихся во Франции в 1789 году, где, действительно, огромное количество крестьян трудилось на чужой земле. А в таких западных странах, как Англия, Ирландия, Испания и Италия, которым посчастливилось обойтись без революционных преобразований, землевладение было сосредоточено в руках имущих, подчас в пропорциях весьма внушительных. (В Англии, например, в 1873 году четыре пятых сельскохозяйственных угодий находилось во владении менее чем 7 тыс. человек; в 1895 году лишь 14% обрабатываемой земли Великобритании, не включая сюда Ирландию, возделывалось непосредственными владельцами, остальные земли обрабатывались на условиях аренды.) Россия же, напротив, была классическим примером страны малых крестьянских хозяйств. Латифундии первоначально существовали в приграничных областях, регионах, отвоеванных у Польши и Швеции. В период освобождения крестьян бывшие крепостные получили около половины ранее обрабатываемой ими земли. В последующие годы с помощью Земельного банка, предоставлявшего ссуды на весьма выгодных условиях, крестьяне смогли приобрести дополнительные наделы — главным образом у помещиков. К 1905 году крестьяне владели общинно или единолично 61,8% всей состоящей в частном владении земли в России[10]. Как мы увидим ниже, после революции 1905 года ускорился уход землевладельцев-некрестьян из деревень, и к 1916 году, в канун революции, крестьяне европейской части России владели 9/10 пахотной земли.

Каковы бы ни были цели и устремления общин, в 1900 году они уже не способны были оделить всех своих членов равноценными участками: постепенно большая часть земель сконцентрировалась в руках наиболее крепких хозяев, к ним же отошло и большинство земель, выкупленных крестьянами в частное

владение. В 1893 году 7,3% общинных дворов не имело земли[11]. Эти безземельные крестьяне, именуемые батраками, составляли одну из четырех категорий, которые можно было бы выделить в русском крестьянстве. К другим категориям относились крестьяне, земельные наделы которых были целиком общинными (таких было большинство), либо состояли как из общинных, так и из собственных земель, либо, наконец, те крестьяне (очень небольшое число), которые возделывали только свою собственную землю*. Крестьяне двух последних категорий иногда именовались «кулаками». Термин этот, облюбованный радикальной интеллигенцией, не таил в себе определенного экономического смысла для самих крестьян, которые относили его как к зажиточным хозяевам, использовавшим наемный труд и занимавшимся торговлей и ростовщичеством, так и просто к рачительным, трудолюбивым и рассудительным земледельцам[12].

* Согласно одному из положений, включенных в акт об освобождении крестьян, крестьянин, не желавший платить выкуп, мог получить в пользование дробный надел земли, именовавшийся «отрезком».

Распределение земли в деревне крайне осложнялось, с одной стороны, общинной практикой, а с другой — крепостным правом. До 1861 года русское имение не представляло собой некую нераздельную плантацию. По обыкновению помещик делил всю пахотную землю на две части: одну крепостные возделывали в его пользу, на другой — трудились для себя. Как правило, эти участки перемежались. При крепостном праве угодья русской деревни представляли собой мозаику из длинных узких полос земли. Это устройство, известное под названием «чересполосица», сохранилось и после отмены крепостного права. Нередко земля, оставшаяся за помещиком и обрабатываемая уже не крепостными, а наемными работниками, оказывалась в тесном кольце общинных земель. И земли, выкупленные крестьянами, тоже располагались в непосредственной близости с общинными владениями, что, конечно, не могло не раздражать членов общины, называвших эти соседские участки «вавилонами» и мечтавших об отчуждении их в пользу своих общин[13].

Наследие крепостного права проявилось и в другом, неблагоприятном для крестьян обстоятельстве. Щедро наделяя свободных крестьян большими участками земли (около пяти гектаров на взрослого мужчину), Положение 1861 года сохранило пастбища и леса за помещиком. При крепостном укладе крестьянин мог пользоваться выгонами для выпаса скота и лесом для заготовки дров и строительных материалов. Этого права он лишился, когда были строго установлены границы владений. Некоторые помещики стали требовать с крестьян плату за пользование пастбищами, другие собирали дань за позволение крестьянскому стаду заходить в границы их владений. В конце века громче всего звучали жалобы крестьян на недостаток пастбищ. Для выпаса скота крестьянам требовались соответствующие участки — в идеале в соотношении одного гектара пастбищ к двум гектарам пашни; соотношение же, не удовлетворяющее минимуму — то есть соответственно одного к пяти гектарам, — делало невозможным содержание скота и лошадей[14]. Отсутствие леса оборачивалось большой бедой. В 1905 году наиболее распространенной формой бунта стала порубка помещичьего леса.

Широко было распространено представление, что Россия испытывала острый недостаток сельскохозяйственных угодий. На первый взгляд может показаться удивительным, что такая огромная страна, как Российская империя, могла испытывать недостаток в земле (или, что то же, страдать от перенаселенности сельских регионов). И действительно, России было далеко до плотности населения Западной Европы. При 130 млн. населения и 22 млн. квадратных километров территории средняя плотность населения Российской империи в 1900 году составляла 6 человек на кв. км. Даже в такой молодой в то время стране, как Соединенные Штаты, плотность населения была выше (8 человек на кв. км). И при этом Соединенные Штаты, столкнувшись с проблемой нехватки рабочих рук, открыли границы миллионам иммигрантов из Европы, а Россия задыхалась от перенаселенности деревни.

Объясняется этот кажущийся парадокс тем, что в аграрных странах плотность населения приобретает смысл только в сопоставлении числа жителей с площадью земли, пригодной для хлебопашества. И с этой точки зрения Россию едва ли можно считать страной необъятных просторов. Из 15 млн. кв. км европейской части России и Сибири только 2 млн. были пригодны под пашню и 1 млн. — под пастбища. Иными словами, в Великороссии пригодным для успешного ведения сельского хозяйства был только один квадратный километр из пяти. Если принять во внимание это обстоятельство, сведения о плотности населения в России приобретают иной смысл. В Сибири средняя плотность населения составляла в 1900 году 0,5 человека на кв. км — цифра ничтожная. В 50 губерниях европейской части России этот показатель возрастает до 23,7 человека на кв. км, что слегка превышает оптимальное соотношение, установленное специалистами в области экономической географии*. Но и эти цифры дают несколько искаженное представление из-за того, что в них включены малонаселенные районы севера России. Наибольший же интерес, благодаря тому, что в них сосредоточивалась основная масса крестьянства, представляют именно центральные губернии, плотность населения в которых составляла от 50 до 80 человек на кв. км. Такое соотношение соизмеримо с ситуацией во Франции и превышает соотношения, наблюдавшиеся в Ирландии и Шотландии. Таким образом, если брать Россию без Сибири и северных губерний, то плотность населения в ней вполне соответствовала западноевропейской.

* Ratzel F. Anthropogeographie. B. 2. Stuttgart, 1891. S. 257—265. Если воспользоваться вычислениями Ратцела, то страна с такими климатическими условиями, как в России, должна была бы иметь плотность населения, равную 23 жителям на кв. км.

Такой уровень плотности населения был бы вполне приемлем, не будь в дореволюционной России столь необычайно высок уровень прироста населения. При ежегодном перевесе рождаемости над смертностью, который составлял 15 человек на тысячу, Россия имела самый высокий в Европе уровень естественного прироста населения*. С помощью статистических данных можно продемонстрировать влияние такого роста населения на сельское хозяйство. В 1900 году в Российской империи земледелием было занято три четверти населения. Указанный уровень прироста в пересчете на 130 млн. населения России давал ежегодно 1 950000 новых граждан. Принимая во внимание очень высокий уровень детской смертности, можно говорить о миллионе (или близкой к тому цифре) дополнительных ртов, забота о прокорме которых падала на село. Учитывая, что среднее крестьянское хозяйство в Великороссии состояло из пяти человек и обрабатывало участок в десять гектаров, приходим к выводу, что России требовалось ежегодно 2 млн. гектаров дополнительной площади обрабатываемой земли**.

* Современные исследования говорят о том, что рост населения в дореволюционной России был, возможно, даже выше, чем считалось в то время. Некоторые расчеты перевеса рождаемости над смертностью дают на 1900 год цифру 16,5 на тысячу человек и выше. В европейской части России эта цифра равна 18,4 (1897—1916), а на Нижней Волге достигала 20. Х.Дж.Хаббакук считает, что долевое («равнозначное») наследование, подталкивая молодых людей на скорейшее обзаведение своей семьей, вызывает рост численности населения (Journal of Economic History. 1955. N 15. P. 5-6).

** По расчетам правительства, в период с 1861-го по 1901 год сельское население Российской империи возросло с 52 до 86,6 млн., а ежегодный прирост сельского населения в последние годы XIX столетия достиг 1,5 млн. (Kornilov A.//Melnik J. Russen iiber Russland. Frankfurt, 1906. S. 404). Этими данными пользовался Столыпин в 1907 году (см гл. 5). Однако коэффициент неточности российской статистики весьма велик, и вышеприведенные данные не учитывают ни жителей деревень из некрестьян, ни высокого уровня детской смертности.

В Западной Европе проблемы, вызванные несколько меньшим, но все же достаточно быстрым ростом населения, начавшимся в середине XVIII столетия, решались отчасти эмиграцией в заморские страны, а отчасти индустриализацией. В XIX и начале XX века аграрные страны Европы (например Италия, Ирландия, Австро-Венгрия) избавлялись от избытка сельского населения благодаря эмиграции в Америку. Отток эмигрантов из Западной Европы в период между 1870— 1904 годами исчисляли 25 млн. человек, что составляло приблизительно половину избыточного сельского населения. Большинство же из оставшихся находили себе применение в промышленности. Индустриализация допускала необычайно высокую плотность населения. Например Германия, которая в первой половине XIX века была основным поставщиком заокеанской эмиграции, во второй половине века благодаря росту промышленности не только перестала посылать своих людей за море, но и вынуждена была прибегнуть к импорту рабочей силы. В некоторых индустриальных странах плотность населения достигала потрясающего уровня: в Англии и Нидерландах она составляла до 250—270 человек на кв. км — то есть была в несколько раз выше, чем в самых густонаселенных регионах центральной России. И при этом названные страны не испытывали проблем перенаселенности. Не приходится сомневаться, что именно возможность решать проблему перенаселенности благодаря высокому уровню миграции и индустриализации во многом помогла западным странам избежать социальных революций.

В России не было такой спасительной отдушины: россияне искали счастья не в чужих странах, а осваивали собственные земли. Единственную значительную группу покидавших пределы страны составляли нерусские из западных губерний — из 3026 тыс. российских подданных, эмигрировавших в период с 1897 по 1916 год, 70% были евреями и поляками[15]. Но так как евреи редко занимались хлебопашеством, а поляки возделывали свои исконные земли, их отток никак не решал проблемы русской деревни. Почему в России была такая слабая эмиграция, не совсем понятно, однако некоторые соображения напрашиваются. Возможно, одна из основных причин заключалась в том, что в России была распространена практика совместного возделывания земли, то есть сообща с соседями или всей общиной. Русский крестьянин не привык самостоятельно, в одиночку налаживать свой быт. И хотя крестьяне постоянно находились в поисках целинных земель, они обычно не снимались с места и не отправлялись в путь обособленно, только своим семейством (что было обычным делом для американского запада), но предпочитали осваивать новые земли всем миром, группой, достаточной для основания новой общины, — как правило, целой деревней или частью деревни[16]. Во-вторых, в самообеспеченном крестьянском хозяйстве почти не было в обращении денег, и поэтому крестьяне просто не имели средств на дорожные расходы. В-третьих, они пребывали в убеждении, что в России вот-вот начнется большое перераспределение земли, и боялись упустить такой счастливый случай. И, наконец, русскому крестьянину, живущему «во Святой Руси», в замкнутом, маловосприимчивом к чужим культурам мире, среди родственных ему по вере и происхождению славянских народов, дикой и нелепой казалась жизнь среди «басурман».

Промышленность России также была неспособна поглотить существенную часть избыточного

населения деревни. В 80-е и, еще более, в 90-е годы быстрый рост промышленности потребовал привлечения большого числа рабочих рук: в 1860-е годы в российской промышленности было занято 565 тыс., а в 1900 году — 2,2 млн. человек (из которых около половины составляли фабричные рабочие)[17]. Прибегая к уже использовавшимся нами соотношениям по крестьянским хозяйствам, можно сказать, что в последние четыре десятилетия прошлого века число незанятых в сельском хозяйстве возросло с 3 до чуть ли не 12 млн. Но при ежегодном пополнении сельского населения на 1 млн. это означает, что промышленность поглощала в лучшем случае только треть прироста сельского населения*.

* Существовало еще 7—8 млн. человек, занятых в кустарном производстве, снабжавшем крестьян потребительскими товарами долговременного пользования (см.: Хромов П.А. Экономика России периода промышленного капитализма. М., 1963. С. 105). Большинство кустарей занимались своим промыслом в свободное от полевых работ время, и основным источником дохода для них по-прежнему служило земледелие.

Рост населения при незначительном расширении площадей пахотной земли или несущественном потоке эмиграции означал, что объем распределяемой земли в общинах резко сокращался: средний надел на одну душу мужского пола в 1861 году составлял 5,24 га, а в 1900 году снизился до каких-нибудь 2,84 га*. Нехватку земли компенсировали участками, взятыми в наем. К 1900 году крестьянами арендовалось более трети помещичьей земли[18]. И при всем том многие крестьяне не имели ни земли, ни постоянного заработка.

* Надежность этих данных, однако, подвергалась сомнению на том основании, что в них не учитываются крестьяне, которые ушли из деревень в города и индустриальные центры, хотя и продолжали числиться членами общины (Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. СПб., 1906. С. 62).

Часто безземельные или малоземельные крестьяне шли батрачить: зиму они проводили дома, а в посевную или уборочную страду нанимались к богатым крестьянам или помещикам, зачастую далеко от родного гнезда. Эти работники составляли существеннейшую часть рабочей силы помещичьих или частных крестьянских хозяйств. Другие искали случайных заработков в промышленности, не обрывая окончательно связей с деревней. Безземельные крестьяне в деревнях теряли всякий социальный статус и, отторгнутые от общины, вели неупорядоченный образ жизни.

Порой крестьяне, которых не могла принять община, уходили в города на поиски временной работы. Подсчитано, что в начале нашего столетия ежегодно около 300 тыс. крестьян, в основном мужчин, наводняли города в поисках какой-нибудь работы. Они торговали мелкими кустарными товарами или просто слонялись за неимением лучшего. Их присутствие заметно изменяло облик городов. Перепись населения 1897 года показала, что 38,8% городского населения Российской империи составляют крестьяне и что это наиболее быстро растущая категория городских жителей[19]. В больших городах эта пропорция была еще внушительней. В канун XX столетия в Санкт-Петербурге и Москве соответственно 63,3% и 67,2% населения (хотя и не зарегистрированного законно) составляли крестьяне[20]. Особенно привлекательными для них были города в процветающих аграрных регионах, где земледелие велось не общинным, а хуторским способом: казачьи станицы на Дону и Тереке и в юго-западной Сибири[21]. Здесь скапливалось множество батраков, жадно взиравших на зажиточные хутора и ждущих только сигнала к началу великого земельного передела.

В отличие от Западной Европы, в российских городах пришельцы не становились подлинными городскими жителями: говорили, что единственное отличие между крестьянами в деревнях и их собратьями в городах состоит в том, что первые носят рубаху навыпуск, а вторые заправляют ее в брюки[22]. Крестьяне, наводнявшие города, не охваченные никакой официальной городской структурой, не имевшие постоянной работы, оставившие свои семьи, представляли собой неподатливую и взрывоопасную массу.

Такова была суть «земельного вопроса», глубоко волновавшего и правительственные и неправительственные круги России: многие были убеждены, что если не будет предпринято нечто радикальное, причем предпринято немедленно, то деревня взорвется. Среди крестьян и интеллигенции, исповедующей либеральные и социалистические убеждения, считалось непреложной истиной, что краеугольный камень вопроса заключается в нехватке земли и что проблема может быть разрешена лишь посредством экспроприации всех частных (необщинных) землевладений. Либералам такая экспроприация рисовалась с соблюдением процедуры выплаты справедливой компенсации владельцам, а социалисты предпочитали либо «социализацию» земли, т.е. передачу всей земли в руки землевладельцев, либо «национализацию» — в пользу государства.

Однако историки и специалисты по аграрным вопросам не согласны с утверждением о будто бы переживаемом страной глубоком земельном кризисе и не считают предлагавшиеся средства выхода из него единственно верными.

Один из главных доводов тех, кто считает, что русская деревня была в состоянии тяжелого и все углубляющегося кризиса, заключается в том, что деревня, согласно Положению 1861 года, становилась вечным должником правительства за содействие в приобретении земли. В недавнее время стал вопрос, действительно ли эта задолженность указывала на обеднение деревни[23]. Похоже, крестьянские расходы на потребительские товары неуклонно увеличивались, что видно по росту доходов правительства от налогов с торговли, которые выросли более чем вдвое за десятилетие с 1890-го по 1900 год. На этом основании

американский историк делает следующее заключение: «Если крестьяне были основным источником косвенного налога, они же должны были быть и главным потребителем товара, этим налогом облагаемого, то есть сахара, спичек и т.д. Но если крестьяне были способны приобретать несельскохозяйственные продукты, едва ли есть основание говорить, что сельскохозяйственный сектор был разорен грабительской налоговой системой <...> Крестьяне становились должниками не потому, что не могли заплатить, а потому, что не желали платить»[24]. Это наблюдение подтверждается свидетельством о возрастании денежных сбережений крестьян и о росте заработков на селе. И это заставляет усомниться в справедливости утверждения либералов и социалистов, будто деревня терпела крайнюю нужду*.

* Иван Озеров в кн.: Melnik. Russen... P. 211—212. Статистические данные, представленные в книге А.С.Нифонтова «Зерновое производство России во второй половине XIX века» (М., 1974. С. 310), позволяют сделать вывод, что, даже учитывая растущий экспорт зерна, количество зерна на душу населения в 90-е годы прошлого столетия было большим, чем за двадцать лет до того; иными словами, производство продуктов питания превышало рост численности населения (ср.: Simms J.Y.//SR. V. 36. N 3. 1977. P. 310).

Хорошо знакомые с ситуацией современники, признавая, что страна столкнулась с серьезными аграрными проблемами, задавались вопросом, может ли передача частных, некрестьянских землевладений в руки крестьян существенно улучшить положение. Один из таких специалистов по крестьянскому вопросу, А.С.Ермолов, некоторое время занимавший пост министра земледелия, сформулировал убедительный довод в пользу обратного, и справедливость его аргументации полностью подтвердили дальнейшие события[25]. Ермолов считал, что нельзя сводить все российские аграрные проблемы к недостаточности крестьянских наделов; проблема, по его мнению, была гораздо более сложна, и заключалась она в способе обработки земли. Крестьяне пребывали в заблуждении, в которое еще глубже их ввергала интеллигенция, что овладение помещичьим имуществом существенно улучшит их экономическое положение. В действительности весь объем частного землевладения был невелик: даже если бы распределить всю частную пахотную землю среди крестьян, «прирезка», которая, согласно расчетам Ермолова, составила бы 0,8 гектара, не внесла бы значительных изменений. Кроме того, даже если и были бы найдены необходимые земельные ресурсы, их распределение привело бы к обратным результатам, потому что способствовало бы сохранению несовременных и малоэффективных приемов земледелия. Российский земельный вопрос заключался не в нехватке земли, а в устаревших способах землепользования — наследии тех времен, когда земельные площади были неограниченны: «Очевидно, что дело в огромном большинстве случаев не в абсолютном малоземелье, а в недостаче земли для сохранения стародавних форм экстенсивного хозяйства». Крестьянам следовало отказаться от экстенсивных методов и усвоить более интенсивные: ведь если бы крестьянин мог собирать хотя бы на одно зерно больше, чем посеял, Россия была бы затоплена хлебом*.

* Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. СПб., 1906. С. 2, 5. Россия в действительности далеко отставала от западных стран по урожаям. «Интенсивное» земледелие предполагает помимо прочего разведение таких технических культур, как конопля и лен, приносящих дополнительные доходы.

В доказательство Ермолов обращает внимание на парадоксальный факт: процветание крестьянского хозяйства в России обратно пропорционально качеству и размеру надела земли. Это положение Ермолов объясняет тем, что малоземельные крестьяне вынуждены прибегать к более интенсивным формам сельского хозяйства. В центральной России, во всяком случае, он не наблюдал прямого соответствия между размером общинной земли и благосостоянием крестьян. Более того, уничтожение поместий лишит крестьян важного источника дополнительного дохода от работ на помещика. Ермолов заключает, что «национализация» или «социализация» земли, не побуждая крестьян к поиску новых форм земледелия, обернется бедой и вскоре заставит Россию ввозить хлеб. Автор предлагал целый ряд мероприятий, сходных с теми, что в 1906—1911 годах проводил Столыпин.

Интеллигенция, однако, осталась глуха к голосам искушенных в аграрных вопросах специалистов, предпочтя упрощенные решения, подыгрывающие мужицким представлениям.

* * *

В начале XX века промышленные рабочие в России представляли собой, за небольшим исключением, не столько определенно выраженную социальную группу, сколько разновидность крестьянства. В долгий зимний период не занятые полевыми работами крестьяне могли посвящать свое время разнообразным кустарным промыслам. Крестьяне производили домашнюю и кухонную утварь, скобяные изделия, текстиль. Обычай совмещать сельскохозяйственные работы с различными промыслами стирал грань между этими двумя родами деятельности. Из массы знакомых с промыслами крестьян российская промышленность могла бесконечно черпать плохо обученную рабочую силу. Изобилием рабочей силы на селе, которая при необходимости могла вернуться к своим исконным занятиям, объясняется, почему наибольшая часть (70%) всех российских рабочих приходилась на промышленные предприятия, расположенные в сельских регионах[26]. Этим же объясняется и отсутствие у российских рабочих до самого позднего времени того

профессионального сознания, каким отличались их собратья на Западе, многие из которых происходили из среды городских ремесленников.

Первыми полноценными промышленными рабочими России можно считать тех крепостных, которых Петр I закрепил на государственных мануфактурах и рудниках. К этой группе, известной как «посессионные крестьяне», постепенно подвёрстывались все те, кто не вписывался в государственную схему: жены и дети рекрутов, каторжники, военнопленные, проститутки.

Немецкий экономист Шульц-Геверниц разделил 2,4 млн. занятых к концу XIX века в России в промышленном производстве на четыре группы[27]:

1) крестьяне, временно занятые на местных промышленных предприятиях, обыкновенно в период, свободный от полевых работ. Они ночевали летом под открытым небом, а зимой в мастерских — рядом с машинами;

2) рабочие, объединенные в артели и распределяющие весь заработок между их членами. Они жили в бараках, предоставляемых работодателями, и, как правило, имели семьи, оставшиеся в деревнях. Поскольку они не могли вести нормальную семейную жизнь, свою деятельность на предприятии они рассматривали как временную и обычно в страдную пору возвращались в родные места. На крупнейших российских предприятиях — текстильных мануфактурах — эта категория рабочих составляла существеннейшую часть.

Две вышеобозначенные категории составляли большинство тех, кто по переписи 1897 года был отнесен к разряду промышленных рабочих. В большинстве своем это были крестьяне. Следующие две категории включают тех, кто порвал связи с деревней:

3) рабочие, живущие в своих семьях. Так как заработки были низкими, жены тоже стремились наняться на работу. Часто они жили на квартирах, предоставляемых владельцем предприятия, — больших, разгороженных занавесками помещениях с общей для нескольких семей кухней. Иногда владелец организовывал фабричные школы, лавки. К такому обустройству прибегло и советское правительство в 30-е годы в период индустриализации;

4) высококвалифицированные рабочие, зависимые от хозяев предприятия только в вопросе заработной платы. Они самостоятельно снимали квартиры и сами обеспечивали себя продуктами. Потеряв место в городе, в деревню они уже вернуться не могли. Только у этой категории рабочих отношения с хозяином перестают напоминать крепостную зависимость. Рабочие этой категории встречались в основном на хорошо технически оснащенных предприятиях — например на машиностроительных заводах, сосредоточенных в Петербурге.

Как видно из этой классификации, работа на промышленных предприятиях сама по себе не означала урбанизации работающих. В большинстве промышленные рабочие продолжали жить в деревнях, где и располагались в основном фабрики, и сохраняли прочные связи с деревней. Поэтому не вызывает удивления то, что они разделяли вполне «мужицкие взгляды». Шульц-Геверниц приходит к выводу, что основное различие между русскими и западноевропейскими рабочими проистекает именно из того, что первые не порвали связи с землей[28]. Единственное существенное отклонение от общей схемы наблюдается среди квалифицированных рабочих (четвертая группа), которые уже в 80-е годы прошлого столетия стали проявлять «пролетарские» взгляды. Именно они испытывали потребность в объединении для взаимовыручки в профессиональные союзы по иностранному образцу, а также в системе школьного образования. Созданный в Петербурге группой квалифицированных рабочих в 1898 году «Центральный рабочий кружок» был первым зачаточным профсоюзом в России. И самыми ранними проявлениями нового духа явились стачки рабочих текстильных мануфактур в 1896— 1897 годах, требовавших улучшения условий труда[29].

Несмотря на деревенские корни и деревенское мировоззрение большинства промышленных рабочих, правительство относилось к ним с подозрительностью, опасаясь, что из-за скученности и близости к городам они воспримут дух бунтарства. И действительно, основания для опасений были. В начале 900-х годов 80—90% рабочих Петербурга и Москвы были грамотными и потому оказались верной добычей радикальной пропаганды и агитации, к которой сельские жители оставались совершенно невосприимчивы.

* * *

Что сложнее всего понять в сельской России — так это мужицкое сознание. И здесь, увы, не помогут ученые труды. Ибо существует множество исследований экономических условий жизни дореволюционной деревни, фольклора и обычаев крестьянства, но нет научного труда, объясняющего, во что мужик верил и что он думал[30]. Создается впечатление, что русская интеллигенция смотрела на мужицкое сознание как на некий образец незрелой прогрессивной мысли (в сравнении с их собственным сознанием), не заслуживающей серьезного внимания. Чтобы попытаться понять феномен «мужицкого сознания», следует обратиться к иным, не научным, а главным образом литературным источникам[31]. Свидетельства, предоставляемые нам художественной литературой, можно дополнить материалами, собранными исследователями обычного крестьянского права. Они позволяют косвенно проанализировать, как в крестьянском сознании преломлялись повседневные проблемы, в особенности имущественные тяжбы[32]. Знакомство с этими материалами не оставляет сомнения, что русская крестьянская культура, как и культура крестьянства других стран, являет собой вовсе не низшую, слаборазвитую ступень цивилизации, а скорее,

собственную цивилизацию.

Как мы уже отмечали, мир русской деревни был весьма замкнут и самодостаточен. И не случайно в русском языке одним и тем же словом «мир» обозначается и община, и вселенная, и собственно мир, то есть спокойствие и согласие. Крестьянские интересы не простирались дальше жизни своей деревни, да еще, может быть, нескольких близлежащих. Проводившиеся в 20-х годах XX века социологические исследования настроений крестьян показывают, что, даже пережив десятилетие, на которое выпали и мировая война, и революция, и гражданская война, втянувшие крестьянство в водоворот событий, судьбоносных и для страны, и для всего мира, мужики по-прежнему не распространили свои интересы за пределы круга обитания. Более всего им хотелось, чтобы человечество жило само по себе, как ему вздумается, лишь бы оставило их в покое[33]. Дореволюционная литература говорит об отсутствии у крестьян чувства причастности к судьбам страны или нации, их отгороженности от внешних влияний и ущербности национального самосознания. Толстой решительно отказывает крестьянам в чувстве патриотизма: «Я никогда не слыхал от народа выражений чувств патриотизма, но, напротив, беспрестанно от самых серьезных, почтенных людей народа слышал выражения совершенного равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма»[34].

Справедливость этого наблюдения подтвердили события первой мировой войны, когда русские солдаты из крестьян, демонстрируя чудеса мужества и выносливости в сложнейших условиях (нехватка амуниции, оружия), не могли при этом понять, зачем вообще они воюют, если враг не угрожает непосредственно их родному дому. Солдат сражался только в силу привычки повиноваться: «Прикажут — пойдем»[35]. И неизбежно, едва слабел голос начальства, солдат-крестьянин переставал подчиняться приказам и дезертировал. Не уступая западному солдату в физических качествах, он не имел свойственного тому гражданского чувства, чувства принадлежности к более широкому сообществу. Генерал Деникин, которому пришлось вплотную столкнуться с этим феноменом, видел его причину в полном отсутствии в армии патриотического воспитания[36]. Однако трудно сказать, много ли дало бы такое воспитание национального чувства само по себе. Опыт западных стран учит: для того, чтобы преодолеть изолированность крестьян, необходимо вовлечь их в политическую, экономическую и культурную жизнь страны, другими словами — превратить в полноправных граждан государства.

Большинство граждан Франции и Германии были в начале XX века либо крестьянами, либо городскими жителями, отделенными от сельской жизни одним, от силы двумя поколениями. До недавнего времени западноевропейский крестьянин не имел культурного превосходства над русским мужиком. Говоря о Франции XIX века, историк Эжен Вебер рисует картину, хорошо знакомую исследователям России: огромные просторы полей, населенные «дикарями», обитающими в хижинах, отгородившимися от остальных людей, грубыми и ненавидящими чужаков*. Не менее безрадостную картину можно было наблюдать и в других сельских регионах стран Западной Европы. И если к началу XX века европейский крестьянин столь радикально изменился, то произошло это благодаря тому, что на протяжении XIX столетия создавались институты, которые вывели его из сельской обособленности.

* Peasants into Frenchmen. Stanford, Calif., 1982. P. 3, 5, 48, 155—156. «"La patrie", — приводит автор слова французского священника, — прекрасное слово <...> заставляющее волноваться всякого человека, кроме крестьянина» (там же. С. 100). См. об этом также: Zeldin T. France, 1848—1945. Oxford, 1977. V. 2. P. 3.

Воспользовавшись норвежской моделью, можно обозначить следующие институты: церковь, школа, политические партии, рынок, поместье*. К этому следует добавить и частную собственность — для западных ученых явление настолько самоочевидное, что они забывают о его огромной социализирующей роли. Все вышеперечисленные институты были весьма слабо развиты в имперской России.

* В работе об «окультуривании» французского крестьянства Вебер, в качестве «проводников перемен», перечисляет дороги, участие в политических процессах («политизацию»), миграцию, военную службу, школу и церковь.

Ученые, занимающиеся дореволюционной Россией, сходятся во мнении, что церковь, представленная в деревне приходским священником, весьма слабо в культурном отношении влияла на прихожан. Первейшей заботой у священника были требы и литургия, а сутью его призвания — открытие своей пастве пути к вечной жизни. А.С.Ермолов, обсуждая с Николаем II революционные волнения, пытался рассеять заблуждение царя, будто можно полагаться на миротворческую роль духовенства в деревне: «Вам известно, что духовенство у нас никакого влияния на население не имеет»[37]. Культурная роль церкви на селе сводилась к начальному образованию, подразумевавшему обучение чтению и письму с элементами религиозной дидактики. Лучшие культурные ценности — богословие, этика, философия — были привилегией монашествующего, или «черного», духовенства, которому единственному был открыт путь на вершину церковной иерархии, но которое не принимало участия в приходской жизни. Поскольку русское приходское духовенство, в отличие от западного, не получало или получало в мизерных размерах материальную поддержку от церкви и не могло мечтать о достижении высших ступеней церковной иерархии — что было уделом неженатого, монашествующего духовенства, — эта стезя не привлекала слишком выдающиеся личности. Крестьянство относилось к священникам «не как к духовным пастырям и руководителям, а как к

торгашам, оптом и в розницу торгующим таинствами»[38].

До 1917 года в России не было системы обязательного образования даже на уровне начальной школы, какая была внедрена во Франции в 1833 году и которую к 70-м годам прошлого века восприняло большинство западноевропейских стран. Необходимость создания такой системы часто обсуждалась в правительственных кругах, но дальше разговоров дело не продвинулось отчасти ввиду больших расходов, которые потребовало бы осуществление этих планов, отчасти же из опасения пагубного влияния, какое мирские учителя — по преимуществу придерживавшиеся левых взглядов — могли оказать на сельскую молодежь. (Консерваторы жаловались, что школы внушают учащимся неуважение к родителям и старшим и зарождают в них мечты о «молочных реках с кисельными берегами»[39].) В 1901 году в России было 84 544 начальные школы, в которых числилось 4,5 млн. учащихся; руководство этими школами делили между собой министерство народного образования (52%) и Святейший синод (48%). Этого, конечно, было совершенно недостаточно для страны, где насчитывалось 23 млн. детей школьного возраста (от 7 до 14 лет). По числу учащихся в школах перевес был явно на стороне министерства (63% и 35,1% соответственно)[40]. Ликвидация безграмотности, которой занимались и земства и добровольные общественные комитеты, шла полным ходом, в особенности среди лиц мужского пола, так как рекрутам, имевшим аттестат об окончании начальной школы, был сокращен срок службы (четыре года вместо шести). В 1913 году почти 68% рекрутов числились знающими грамоту, однако сомнительно, что многие из них умели что-либо большее, чем ставить свою подпись. И только приблизительно один из пяти рекрутов имел аттестат, дающий ему право служить более короткий срок[41]. Ни школа, ни общественные комитеты, призванные распространять грамотность, не взращивали национального самосознания, ибо в глазах правительства национализм, во главу всего ставящий «нацию» или «народ», таил в себе угрозу самодержавию[42].

До 1905 года в России не существовало легальных политических институтов вне бюрократической структуры. Политические партии были запрещены. Крестьяне, правда, могли принимать участие в голосовании при выборе земства, но и в этом случае их выбор был резко ограничен бюрократами и правительственными чиновниками. Во всяком случае, эти органы самоуправления занимались местными, а не общенациональными проблемами. Крестьяне не могли даже мечтать о продвижении по гражданской службе, ибо на практике этот путь был для них закрыт. Другими словами, крестьяне более, чем представители иных неблагородных сословий, были отстранены от политической жизни государства.

Нельзя сказать, что русские крестьяне совсем не участвовали в рыночной торговле, но она играла в их жизни весьма скромную роль. Прежде всего, они неохотно питались продуктами, которые не могли произвести сами[43]. Они приобретали очень мало, в основном домашнюю и хозяйственную утварь, зачастую просто у своих соседей. Не много было у крестьян и товара на продажу: наибольшая доля попадавшего на рынок зерна поставлялась либо помещичьими имениями, либо богатыми купцами. Рост и падение цен на внутреннем и внешнем рынке, непосредственно отражавшиеся на благосостоянии американских, аргентинских или английских фермеров, почти не затрагивали интересов российского крестьянина.

Консерваторам помещичья усадьба представлялась форпостом культуры в деревне, и многие специалисты по земельным вопросам из самых благих побуждений выступали против раздачи крестьянам помещичьих землевладений, видя в этом угрозу культурной жизни. Эти опасения вполне оправданны, принимая во внимание экономический аспект понятия «культура»: на помещичьих угодьях земледелие велось эффективней, и урожаи с них собирались большие — согласно официальной статистике, на 12—18%, но в действительности перевес мог достигать и 50%*. Однако культурное влияние господских имений в духовном и интеллектуальном смысле было незначительным. Во-первых, в деревнях дворяне жили крайне редко (как мы отмечали, из 10 дворян семь жили постоянно в городе). Во-вторых, оба сословия разделяла непреодолимая психологическая пропасть: крестьяне упорно воспринимали помещиков чем-то чуждым их природе и не считали возможным чему бы то ни было учиться у них. В рассказе Льва Толстого «Утро помещика» и в деревенских рассказах Чехова усадьба и изба говорят друг с другом будто на разных языках, словно играют в «чепуху»,— а где нет общего языка, не может быть и обмена идеями или культурными ценностями. Французский путешественник, посетивший Россию в 80-х годах прошлого века, увидел следующую картину: помещик живет «уединенно в окружении бывших крепостных, вдали от общины, вдали даже от волости, где он обычно проживает: крепостные связи распались, и ничто теперь не связывает его с бывшими подданными»[44].

* Ермолов. Земельный вопрос. С. 25. Расхождения вызваны тем, что официальная статистика учитывала в качестве помещичьих землевладения, сданные в аренду крестьянам.

Частная собственность, по-видимому, самый существенный институт социальной и политической интеграции. Владение имуществом рождает уважение к политическому укладу и законопорядку, ибо последние обеспечивают права собственности, т.е. владение имуществом превращает каждого гражданина в равноправного хозяина.

Частная собственность, таким образом, укореняет в сознании народных масс уважение к закону и заинтересованность в сохранении существующего порядка. И история подтверждает, что общества, где широко распространен институт частной собственности, а именно на землю и жилище, наиболее стабильны и консервативны, а значит, и наименее подвержены разного рода возмущениям. Так, французское

крестьянство, в XVIII веке источник постоянных беспорядков, в XIX веке благодаря завоеваниям Французской революции становится оплотом консерватизма.

С этой точки зрения обстановка в России оставляла желать много лучшего. В период крепостничества у крестьян, говоря языком закона, не было никаких имущественных прав: земля принадлежала помещикам и даже крестьянская движимость, хотя и признавалась обычаем, законом не защищалась. Манифест доверил крестьянский надел общине. И хотя после 1861 года крестьяне стали жадно накапливать землевладения, они не могли четко отделить свою собственную землю от общинной, которая предоставлялась им лишь во временное пользование. В крестьянском сознании владение землей — основная форма богатства — было нерасторжимо связано с самостоятельным ее возделыванием, и поэтому крестьянин не мог уважать имущественных прав на землю некрестьян, прав, удостоверяемых простой бумажкой. В отличие от крестьянства Западной Европы, у русского мужика не были развиты чувство собственности и представление о праве, что, конечно, тормозило формирование гражданского сознания.

Как мы видим, существовало не так много нитей, связывавших русскую деревню с внешним миром. Чиновничество, дворянство, средние сословия, интеллигенция жили своей жизнью, крестьяне — своей, и соседство тех и других не означало слияния идей, обмена мыслями.

Появление в 1910 году книги Бунина «Деревня», запечатлевшей картины почти средневекового мрака, произвело, по словам современного критика, «впечатление потрясающее»: «Русская литература знает много неприкрашенных изображений русской деревни, но никогда еще русская читающая публика не имела перед собой такого огромного полотна, на котором с подобной беспощадной правдивостью была бы показана самая изнанка крестьянского и близкого к крестьянскому быта во всей его *духовной* неприглядности и беспомощности. Потрясало в «Деревне» русского читателя не изображение материального, культурного, правового убожества — к этому был уже привычен русский читатель, воспитанный на произведениях тех из русских народников, которые были подлинными художниками, — потрясало сознание именно *духовного* убожества русской крестьянской действительности и, более того, — сознание безысходности этого убожества. Вместо чуть не святого лика русского крестьянина, у которого нужно учиться житейской мудрости, со страниц бунинской «Деревни» на читателя взглянуло существо жалкое и дикое, неспособное преодолеть свою дикость ни в порядке материального преуспеяния... ни в порядке приобщения к образованию... Максимум, чего успевает достичь показанный Буниным русский крестьянин даже в лице тех, кто поднимается над «нормальным» уровнем крестьянской дикости, — это только сознания этой своей безысходной дикости, сознания своей обреченности...»[45].

Крестьянин, прекрасно умевший в самых тяжелых условиях бороться за существование в своем родном крае, совершенно терялся в отрыве от него. Едва он покидал свою деревню, свой насиженный угол, где жизнь текла послушно обычаям и покорно природе, и уходил в город, где все подчинено воле людей и их явно произвольным законам, он сразу ощущал себя потерянным. Глеб Успенский, идеализировавший русскую деревню, так описывал происходящее с оторванным от корней мужиком: «...огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива, и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли,* покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* ослушания ее *повелений,* покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование... наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть... пока он весь... проникнут и освещен теплом и светом, веющим на него от матери сырой земли... Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота — «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди куда хошь»...»[46].

* * *

Особенность крестьянского сознания, сложившегося в суровых природных условиях России, проистекает из крестьянского упования на милость природы. Природа для мужика не рациональная абстракция философов и ученых, но своенравная сила, готовая обернуться паводком или засухой, нестерпимой жарой или стужей, набегом прожорливых вредителей... Своевольная стихия была, разумеется, недоступна человеческому разуму и человеческим силам. Такой взгляд воспитал в крестьянине смирение и покорность судьбе: его религия выражалась в магических заклинаниях, призванных умилостивить стихию. Представления о высшем порядке, пронизывающем одинаково и царство природы и царство закона, были чужды крестьянину. Он мыслил, скорее, категориями гомеровскими, эпическими, когда судьбу людей решают капризы богов.

Хотя у крестьянина не было никаких представлений о естественном праве, у него было представление о правопорядке, укорененном в обычае. Некоторые ученые, занимавшиеся этой проблемой, считают, что в русской деревне была своя система правовых норм, вполне соответствовавшая сформулированной официальной юриспруденцией[47]. Другие утверждают, что крестьянское обычное право не обладало качествами, необходимыми настоящей правовой системе, такими, как связанность и единообразие

приложимости[48]. Последнее утверждение представляется более убедительным. Русские крестьяне знали закон (lex), но не справедливость (jus). В этом нет ничего удивительного. Замкнутым и достаточно изолированным общинам не было необходимости проводить различие между законом и обычаем. Это различие впервые остро ощутилось в III веке до Р.Х. в связи с завоеваниями Македонии, когда впервые в единую державу были объединены рассеянные сообщества с самыми различными правовыми укладами. В ответ на эту ситуацию философы-стоики сформулировали законы природы как универсальный свод ценностей, связывающих все человечество. Поскольку русские деревенские общины продолжали вести обособленное существование, у них не было нужды во всеобъемлющей системе правовых норм и они вполне обходились своеобразной смесью здравого смысла и прецедентного права, улаживая все разногласия неформальными способами, по-семейному.

Об этом же говорит и широкий разброс решений, принятых на деревенских разбирательствах взаимных тяжб. Один исследователь пришел к выводу, что крестьяне относились к закону скорее субъективно, чем объективно, а это означает, что в действительности закон им был просто неведом[49]. Другие исследователи, придерживаясь той же мысли, утверждают, что крестьяне знали только «живое право», рассуждая каждое дело по его конкретным обстоятельствам и сообразуясь с совестью как с основным критерием[50]. Не вдаваясь в выяснение, считать ли подобную практику вполне отвечающей понятию закона, можно, во всяком случае, утверждать, что крестьяне относились к издаваемым правительством указам не как к закону, а как к единовременному распоряжению, а это вынуждало власти по нескольку раз повторять одни и те же указы, без чего крестьяне просто не принимали их в расчет: «Без нового приказа никто исполнять не станет, все думают, приказано было только на «тот раз». Вышел приказ не рубить березок на «май». Куда приказ дошел... там и не рубили тот год. На следующий год нет приказа — везде май ставят. Пришел «строгий» приказ насадить по улицам березки — насадили. Березки посохли. Нет на следующий год приказа, — никто не подсаживает новых, да и начальство волостное само о приказе забыло. Притом же волостной староста, сотский,., тоже по-мужицки думают, что распоряжение на этот раз только и сделано... Подати теперь платить. Каждому бы можно из опыта знать, что подати нужно платить в срок, что их не простят, а все-таки без особенного, да еще строгого приказа никто, ни один «богач» платить не станет. Може, и так обойдется, може, и не потребуют»[51].

Отношение к закону как к указаниям, издаваемым по ничем не объяснимым причинам и исполняемым только принудительно, препятствовало развитию у крестьян основных качеств гражданина.

Излюбленная идея славянофилов и народников, что у мужика своя система законов, более того, система, покоящаяся на высших нравственных принципах, не находила отклика у юристов и правоведов. Вот любопытные наблюдения адвоката, которому до революции приходилось часто сталкиваться с крестьянским правосудием:

«Либеральные умы в России заражены были романтизмом и в обычном праве усматривали какую-то особенность русской жизни, которая, будто бы, выгодно отличала Россию от других стран... Масса людей собирали материалы обычного права; появились опыты разработки его, делались некоторые, хотя и слабые попытки научного изложения норм обычного права.

Все эти попытки окончились ничем, и по простой причине: обычного права у нас так же не существовало, как не существовало вообще права для крестьян. Тут надо сказать не только «что город, то норов», но и что ни волость и что ни волостной суд, то свое обычное право... Мне доводилось впоследствии, как владельцу имения, приходить в тесное соприкосновение с крестьянским населением, которое обращалось ко мне как к специалисту для разрешения всяких споров и недоразумений в области землевладения и вообще в области имущественных прав. Обычным явлением было обращение ко мне по делам о семейных разделах. В моих руках было много решений волостных судов, и, несмотря на привычку делать юридические обобщения, я никогда не мог усмотреть наличия какой-либо общей формулы, которая применялась бы даже данным волостным судом по отношению к определенным, часто повторяющимся вопросам. Все было основано на произволе, и притом произволе не состава суда, состоящего из крестьян, а волостного писаря, писавшего те или другие решения по своему усмотрению, хотя под ним подписывались члены волостного суда. Никакой веры в суд у народа не было. Решение волостного суда считалось всегда результатом давления с чьей-то стороны либо угощения одним или двумя штофами водки... А когда дело доходило до высших инстанций, то есть съезда, а потом до губернского присутствия,., те немногие юридические знания, которыми обладали члены высших инстанций, были бессильны бороться против произвола, так как ссылка на обычное право освящала всякое бесправие. Если этого обычного права не могли уловить специалисты, научно подготовленные и ставившие себе задачей вывести общие нормы из практики обычного права, то есть из практики волостных судов, то можно себе представить, какое неведение прав и обязанностей существовало у самого населения во всех его имущественных делах и в тех столкновениях, которые неминуемо должны были возникнуть и возникали ежечасно.

Стомиллионное крестьянское население в повседневной жизни жило без закона»[52].

Одним из последствий слаборазвитого правового сознания было отсутствие представлений о правах человека. Нет никаких свидетельств, что крестьяне считали крепостное право, столь ужасавшее интеллигентов, нестерпимой несправедливостью, ведь постоянное присловье «Мы твои, но земля наша» говорит, скорее, об обратном. Крестьяне ни во что ставили пресловутую «волю». Крепостные не только не считали себя в чем-то хуже вольных, но и гордились своей принадлежностью к господам, к их славе.

Славянофил Юрий Самарин отмечал, что крепостные крестьяне относились к вольным с презрением и жалостью, как к людям бесшабашным, «без царя в голове», и беззащитным. Некоторые из них даже восприняли манифест об освобождении как отказ господ от своих людей[53].

При столь неразвитом правовом сознании вообще, у русского крестьянина тем более не было представления об имущественном праве в римском смысле абсолютного превосходства права над вещью. Согласно одному компетентному мнению, у русских крестьян не было даже слова для обозначения земельной собственности: говорили они лишь о владении, что в их сознании было нерасторжимо связано с крестьянским трудом. Действительно, крестьяне не способны были четко отличить землю, на которую у них были законные права согласно купчей, от общинных наделов и земли арендованной — и то, и другое, и третье они называли «наша земля». «Выражение «наша земля» в устах крестьянина подразумевает всю без различия землю, какую он занимает в настоящий момент: и ту, что находится в его частном владении, и ту, которой владеет сообща вся община (то есть находится лишь во временном владении отдельных дворов), и ту, которую община арендует у соседних помещиков»[54].

Мужицкое отношение к земельной собственности заложено в коллективной памяти о тех временах кочевого земледелия, когда земли было что воды в море и была она доступна всем. Метод освоения новых пахотных земель посредством вырубки и выжигания девственных лесов вышел из употребления в большей части России в конце средних веков, но воспоминания об этих временах были еще живы в крестьянской памяти. Труд и только труд превращал «res nullius» во владение, а поскольку целина не была затронута трудом, ею нельзя было владеть, то есть она оставалась ничьей землей. В крестьянском сознании присвоение бревен было преступлением, поскольку на них был затрачен труд, в то время как порубка леса преступлением не представлялась.

Сходным образом крестьяне полагали, что «кто срубит бортяное дерево, тот вор, — он украл человеческий труд; кто рубит лес, никем не посеянный, тот пользуется даром Божьим, таким же даром, как вода, воздух»[55]. Такой взгляд, конечно, не имеет ничего общего со сводом имущественных прав, которым руководствовались в судах России. Неудивительно поэтому, что большая доля уголовных дел, по которым привлекались крестьяне, касалась незаконной порубки леса. Такие преступления вовсе не определялись классовым антагонизмом, ибо часто совершались в отношении земель и лесов таких же крестьян. Убеждением, что лишь ручной труд оправдывает богатство, лежавшим в основе крестьянских представлений, объясняется презрение, с каким крестьяне относились к помещикам, чиновникам, фабричным рабочим, священникам и интеллигентам, видя в них «лодырей»[56]. Радикалы, играя на этих чувствах крестьян, стремились еще больше настроить их против чиновников и предпринимателей.

Эти воззрения лежали в основе всеобщей веры русского пореформенного крестьянства в скорое наступление вожделенного земельного передела, когда все частновладельческие земли перейдут в руки крестьян. В 1861 году получившие свободу крестьяне не могли понять, почему почти половина тех земель, которые они прежде обрабатывали, осталась у помещиков. Поначалу они отказывались верить в подлинность этого нелепого закона. Позднее, смирившись с таким порядком вещей, стали считать его временным, на смену которому придет другой, передающий в общинное пользование все частновладельческие земли, включая даже крестьянские. Вечным мотивом народных легенд было предрекание неминуемого прихода «спасителя», который превратит Россию в общинную страну[57].

«Мужики понимают так, — писал А.Н.Энгельгардт, проживший в деревне долгие годы и оставивший, быть может, лучшее описание крестьянских обычаев и образа мыслей, — что через известные сроки, при ревизиях, будут общие *равнения всей земли* по всей России, подобно тому как теперь в каждой *общине,* в частности, через известные сроки бывает передел земли между членами общины, причем каждому нарезается столько земли, сколько он может осилить. Это совершенно своеобразное мужицкое представление прямо вытекает из всех мужицких аграрных отношений. В общинах производится через известный срок передел земли, *равнение* между членами общины; при общем переделе будет производиться передел всей земли, *равнение* между общинами. Тут дело идет вовсе не об отобрании земли у помещиков, как пишут корреспонденты, а об равнении *всей земли,* как помещичьей, так и крестьянской. Крестьяне, купившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти «законным порядком за ними укрепленные земли» могут быть у «законных владельцев» взяты и отданы другим»[58]. Верность этих наблюдений подтвердили события 1917—1918 годов.

Крестьяне ожидали всеобщего передела земли со дня на день и надеялись, что в результате получат значительные «прирезки»: пять, десять и даже сорок гектаров на двор. Эта надежда держала деревню центральной России в постоянном напряжении. После турецкой войны «ожидали, что в 1879 году выйдет «новое Положение» насчет земли. Тогда каждое мельчайшее обстоятельство давало повод к толкам о «новом Положении». Приносил ли сотский барину бумагу, требующую каких-нибудь статистических сведений насчет земли, скота, построек и т.п., в деревне тотчас собиралась сходка, на которой толковали о том, что вот-де к барину пришла бумага насчет земли, что скоро выйдет «новое Положение», что весной приедут землемеры землю нарезать. Запрещала ли полиция помещику, у которого имение заложено, рубить лес на продажу, толковали, что запрещение наложено потому, что лес скоро отберут в казну и будут тогда для всех леса вольные: заплатил рубль и руби, сколько тебе на твою потребу нужно. Закладывал ли кто имение в банк — говорили, что вот-де господа уже прочухали, что землю будут равнять, а потому и спешат имения под

казну отдавать, деньги выхватывают»[59].

При подобных настроениях понятно, почему русская деревня всегда была готова ринуться на захват частных (необщинных) владений, и удерживал ее от этого только страх. Это создавало крайне нездоровую атмосферу. Революционное напряжение ни на минуту не ослабевало, несмотря на антиреволюционные, монархические настроения крестьянства. Но при этом крестьянский радикализм не вдохновлялся ни политической, ни даже классовой ненавистью. (Когда возникал вопрос, что станется с помещиками, согнанными со своей земли в результате «черного передела», некоторые крестьяне считали, что их следует поставить на правительственное жалованье[60].) Толстой после манифеста 1861 года указывал на сущность земельного вопроса: «Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам»[61].

В конце XIX века крестьяне верили, что всеобщий земельный передел будет произведен по указу царя, а в крестьянских легендах того времени «спасителем», «великим освободителем» был всегда «истинный царь». Эта вера укрепляла инстинктивный монархизм крестьянства. Привычные к власти большака в хозяйстве, крестьяне переносили эти отношения и на царя, которого воспринимали как большака и хозяина всей страны. Они «видели в царе настоящего владельца и отца России, который непосредственно управляет своим огромным хозяйством»[62] — примитивная версия патримониальных отношений, лежавших в основе российской политической культуры. Столь твердая уверенность крестьян, что царь рано или поздно назначит всеобщий земельный передел, была объяснима: на крестьянский взгляд, царю было выгодно, чтобы вся земля была распределена справедливо и как следует возделывалась[63].

Описанные взгляды составляли основу крестьянской политической философии, которая при всей ее противоречивости имела определенную логику. Для крестьянина правительство было силой, которая принуждала к повиновению: основная задача правительства — заставлять людей делать то, что, предоставленные сами себе, они бы никогда делать не стали, то есть платить налоги, служить в армии, уважать частное право на землю. Согласно этому принципу, слабое правительство правительством не считалось. Эпитет «Грозный», прибавляемый к нравственно неуравновешенному, жестокому царю Ивану IV, в действительности означает «внушающий трепетный ужас» и не таит в себе осуждения. Лица, облеченные властью и не внушающие такой трепет, не заслуживают уважения. Соблюдение законов, с точки зрения крестьян, всегда представляло подчинение воле того, кто сильней, а вовсе не признание общепринятых принципов или интересов. «Сегодня, как и во дни крепостного права, — писал Самарин, — крестьянин не знает иного ручательства царской воли, кроме силы оружия: ружейный залп для него все еще единственное подлинное подтверждение царского указа»[64]. При таком мировоззрении моральная оценка правительства или его поступков столь же бессмысленна, как осуждение или одобрение капризов природы. Правительство не может быть плохим или хорошим, оно может быть только сильным или слабым, причем сильное предпочтительнее. (Точно так же крепостные предпочитали жестокого, но преуспевающего хозяина мягкому, но неудачливому[65].) При слабом правлении создавались предпосылки возврата к примитивной воле, понимаемой как право делать что вздумается, без оглядки на установленные человечеством запреты. Русское правительство учитывало эти настроения и делало все возможное, чтобы внушить массам представление о своей безграничной власти. Опытные государственные деятели выступали против свободы печати и парламентарных форм управления по большей части из опасения, что существование открытой, узаконенной оппозиции будет воспринято крестьянами как признак слабости и сигнал к восстанию.

Таким образом, крестьянские настроения весьма пагубно сказывались на политической эволюции России, потворствуя консервативным склонностям монархии и препятствуя демократизации, которой требовало экономическое и культурное развитие. В то же время это давало возможность демагогам, подогревающим в крестьянах чувство обиды и несбыточные надежды, разжигать крестьянскую революцию.

* * *

К концу века становятся заметны некоторые сдвиги в крестьянских воззрениях, в особенности у молодого поколения. Эти перемены выражались в не столь строгой набожности, в меньшем преклонении перед традициями и властью, в большей беспокойности и недовольстве не только землей, но и самой жизнью.

Особенно встревожены были власти поведением тех, кто перебрался в города и промышленные центры. Такие крестьяне уже не испытывали трепета перед мундиром представителя власти и вели себя «вызывающе». Возвращаясь в деревню окончательно или на время страды, они распространяли вирус недовольства. Министерство внутренних дел, наблюдая за этим процессом, из соображений безопасности выступало против индустриализации и излишней подвижности сельского населения, но, по причинам, указанным выше, на своем настоять не могло.

Одной из причин перемены настроений крестьянства явилось, по-видимому, распространение грамотности, столь активно проводившееся властями. Перепись 1897 года вскрыла очень низкий уровень грамотности для Российской империи в целом: лишь каждый пятый (21%) умел читать и писать. Но по отдельным показателям картина была значительно лучше. В результате совместных усилий сельских школ и общественных комитетов резко поднялся уровень грамотности молодежи, в особенности юношей: в 1897 году 45% мужского населения Российской империи в возрасте от десяти до двадцати одного года были

записаны грамотными*.

* Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: Общий свод, 1. СПб., 1905. Уровень грамотности женщин той же группы не достигает и 21%.

Грамотные крестьяне и рабочие читали в первую очередь духовную литературу (Евангелие и Жития святых), вслед за душеспасительной шла дешевая развлекательная литература — русский эквивалент «грошовых ужасов», популярных в Англии за полвека до того[66]. Жажду печатного слова взялась утолять желтая пресса. Однако доступность печатного слова не приблизила массового читателя к городской культуре: «Огромное большинство читателей из низших классов в деревнях и городах в своих культурных переживаниях и повседневной жизни оставалось чуждо интеллигентским кругам и интеллектуальному миру современного творчества»[67].

Все возрастающая грамотность населения, не сопровождавшаяся соответствующим расширением поля применения благоприобретенных знаний, только усиливала беспокойство низших классов. Замечено, что и в других регионах мира школы и грамотность часто вносят разлад в безмятежную жизнь населения. Так, у обучавшихся в миссионерских школах аборигенов Африки складывается отличное от других мировоззрение, выражающееся в нежелании исполнять однообразную работу и в забвении понятий чести и правдивости[68]. Сходные черты можно было наблюдать и у молодых русских крестьян, испытавших на себе влияние города, — они теряли охоту к повседневному крестьянскому труду и пребывали во власти притягательной, хотя и туманной мечты о неведомых мирах, которую заронили в их души книги[69].

Все это вызывало беспокойство многих мыслящих русских людей. Граф С.Ю.Витте, близко познакомившийся с положением в деревне, возглавляя специальный комитет по изучению нужд крестьян, был глубоко озабочен будущим страны. «Россия, — писал он в 1905 году, — составляет в одном отношении исключение из всех стран мира... Исключение это состоит в том, что систематически, в течение двух поколений, народ воспитывается в отсутствии понятия о собственности и законности. Какие исторические события являются результатом этого, затрудняюсь сейчас сказать, но чую, что последствия будут очень серьезные... Наука говорит, что право собственности на общинную землю принадлежит сельской общине, как юридическому лицу. Но в глазах крестьян... собственник земли — государство, которое и дает им, крестьянам-общинникам, землю во временное использование. Правоотношения эти нормируются не точным писанным правом, а часто «никому неведомым» обычаем... При таких условиях для меня является огромный вопросительный знак: что может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятия о праве земельной собственности, ни понятия о твердости права вообще?»[70]

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

«Самое незатруднительное — усовершенствование воображаемого».

Ипполит Тэн

Какой выход найдут накапливаемые в обществе недовольства и противоречия, будет ли это мирный исход или революционный переворот, определяют главным образом два фактора: наличие демократических институтов, способных удовлетворить нужды населения законодательным путем, и способность интеллигенции раздуть пламя социального недовольства с целью захвата власти. Ибо именно интеллигенция доводит конкретные и вполне разрешимые противоречия до полного отрицания существующего порядка. Мятежи — случаются, революции — совершаются: «Сначала мятеж бездумен — он нутряной, непосредственный. Революция же подразумевает доктрину, проект, программу... В революции действуют в том или ином виде интеллектуальные силы, которых нет в мятеже. Более того, революция стремится институировать себя... Превращение мятежа в революцию характеризуется стремлением учредить новый порядок (в отсутствии общества!), и это... подразумевает наличие... «делателей» революции»[1].

По словам Йозефа Шумпетера, для того, чтобы произвести революцию, одного социального недовольства недостаточно: «Ни наступление удобного момента для начала, ни реальные или воображаемые обиды сами по себе, как бы много они ни значили, недостаточны для того, чтобы вызвать активную неприязнь к общественному порядку. Для создания такой атмосферы необходимо, чтобы была некая группа, в чьих интересах раздуть и организовать недовольство, взлелеять его, стать его рупором и возглавить»[2].

Группы этих «делателей» революции и представляет интеллигенция, которую можно определить как рвущихся к власти интеллектуалов.

В начале XX века в России не было предпосылок, неумолимо толкавших страну к революции, если не считать наличия необычайного множества профессиональных и фанатичных революционеров. Именно они в

1917 году хорошо организованными агитационными кампаниями сумели раздуть огонь волнений Петроградского военного гарнизона в пожарище, охватившее всю страну. Именно они, всегда выступающие в оппозиции, неприемлющие реформы и компромиссы, убежденные, что для того, чтобы изменить хоть что-то, следует изменить все, — стали катализатором русской революции.

Для нарождения интеллигенции требуется наличие двух условий:

1. Идеология, основанная на убеждении, что человек не исключительное создание, наделенное бессмертной душой, а податливый материал, всецело формируемый окружением. Из этой предпосылки следует, что, переорганизовывая социальное, экономическое и политическое окружение человека на «рациональных» началах, можно создать новую расу абсолютно рациональных человеческих существ. Эти убеждения возносят интеллектуалов, носителей рационального начала, в разряд социальных инженеров и как бы оправдывают их посягательства на место правящей элиты.

2. Предпосылки, дающие возможность интеллектуалам занять определенное социальное и профессиональное положение для достижения интересов своей группы, то есть размывание сословных и кастовых границ и появление либеральных профессий, делающих их независимыми от правящих кругов, — в связи с развитием правоведения, журналистики, высших светских учебных заведений, промышленных предприятий, нуждающихся в специалистах, и наличием образованной читательской аудитории.

Эти предпосылки в сочетании со свободой слова и собраний давали возможность интеллектуалам формировать общественное мнение.

* * *

Слово «интеллигенция» в английский язык пришло в 20-е годы XX века из русского. Русский язык, в свою очередь, заимствовал его из Франции и Германии, где термины «intelligence» и «Intelligenz» получили хождение в 1830—1840-е годы для обозначения образованных, «прогрессивных» граждан*. В Европе термин вскоре вышел из употребления, в России же, напротив, приобрел популярность во второй половине XIX века не столько для обозначения образованной элиты, сколько для определения тех, кто выступает от имени немого большинства — в противовес традиционно правящему слою (чиновничество, полиция, военные, дворяне, духовенство). В стране, где «общество» не имело выхода на политическую арену, появление описанной группы было неизбежно.

* Об истории этого термина в Западной Европе и России см.: Muller O.W. Intelligencija: Untersuchungen zur Geschichte eines politisches Schlagwortes. Frankfurt, 1971. Согласно автору (S. 98, прим.), слово «intelligent» применялось во Франции к специалистам различных областей уже в XV веке.

Понятие «интеллигенция» никогда не имело точного значения, и дореволюционная литература часто вела спор о том, к кому оно применимо и что означает. Хотя большинство тех, кого числили интеллигентами, имели среднее или высшее образование, ученость сама по себе критерием не являлась: так, дельца или чиновника с университетским дипломом интеллигентами не считали, потому что первый работал только на себя, а второй — служил царю. К интеллигенции причислялись только те, кто подчинял свои интересы общественному благу, даже если это были полуграмотные крестьяне или рабочие. На практике речь шла о тех, кого обобщенно можно было бы назвать литераторами, — журналисты, ученые, писатели — и о профессиональных революционерах. Приобщаясь к интеллигенции, человек должен был исповедовать определенные взгляды на человека и общество, исходя из доктрин материализма, утилитаризма и позитивизма. Популярность термина «интеллигенция» объяснялась тем, что он позволял отличить социально активных от пассивных «интеллектуалов».

Возложившая на себя обязанность выступать от имени всех, кто не принадлежит к правящему классу, то есть от более чем девяти десятых населения, русская интеллигенция воспринимала себя и воспринималась ее противниками как главная угроза существующему порядку. Линия фронта в последние десятилетия XIX века в России пролегала между официальными кругами и интеллигенцией, и было совершенно очевидно, что победа последней будет означать уничтожение первых. Конфликт настолько обострился, что всякий, кто предлагал примирение или компромисс, оказывался между двух огней. Если правящий класс полагался главным образом на свой аппарат подавления, чтобы держать интеллигенцию в узде, последняя, как рычагом, пользовалась народным недовольством, усиливая его всеми доступными средствами, в основном постоянной дискредитацией царизма и его сторонников.

Хотя в силу сложившихся обстоятельств интеллигенция играла особенно важную роль в России, это явление отнюдь не было уникальным. Тённьес, определяя основополагающее различие между «общинами» и «обществами», допускал, что помимо сообществ, связанных территориальной близостью и узами крови, существовали «сообщества по мысли», сплоченные единством суждений[3]. Вильфредо Парето дает определение «неправящей элиты», весьма схожей с русской интеллигенцией[4]. Поскольку это явление интернациональное, нам в настоящий момент следует отвлечься от русской истории, ведь ни нарождение русской интеллигенции, ни влияние русской революции на остальной мир не могут быть должным образом оценены, пока не осмыслены интеллектуальные корни современного радикализма.

Интеллектуалы, как некая отчетливая группа, появились в Европе в XVI веке в связи с нарождением

секулярного общества и достижениями науки. Это были свободные мыслители, часто люди материально независимые, имевшие свой взгляд на традиционные вопросы философии, не совпадающий со взглядами официального богословия и господствующей церкви, прежде пользовавшихся исключительным правом касаться таких тем. Классическим представителем этого типа мыслителей, которых в начале XVII века называли «интеллектуалистами», был Монтень. Его воззрения на жизнь и человеческую природу не допускали возможности каких-либо перемен. Для гуманиста его склада человек и мир, в котором он обитал, представлялись данностью. Назначением же философии было помочь человеку обрести мудрость в примирении с непреложной реальностью. Высшая мудрость заключалась в том, чтобы оставаться верным своей природе и так смирять желания, чтобы уберечься от превратностей судьбы, в особенности перед лицом неминуемой смерти, или, говоря словами Сенеки, «иметь слабости человека и божественную невозмутимость» («habere imbecillitatem hominis, securitatem dei»). Назначением философии, как утверждает заглавие книги мыслителя VI века Боэция, было «утешение». В своих крайних проявлениях, таких, как китайский даоизм, философия учила полной безучастности: «Не делай ничего, и все будет сделано». Вплоть до XVII века неизменность человеческого бытия была и на Востоке и на Западе непреложным постулатом философской мысли. Думать иначе считалось признаком сумасшествия.

В начале XVII века европейская мысль принимает новое направление, к которому подталкивали ошеломляющие открытия астрономии и других наук. Сознание того, что можно приоткрыть завесу тайн природы и использовать эти знания, чтобы заставить природу служить человеку, неизбежно отразилось на взгляде человека на самого себя. Переворот, произведенный Коперником, сместил человека и его мир из центра вселенной. С одной стороны, это роняло человека в собственных глазах, с другой — возвышало на недосягаемую высоту. Познание законов, управляющих движением небесных тел, возвышало человека в ранг созданий, способных проникать в глубочайшие тайны природы: те самые научные знания, которые вытолкнули его из центра мироздания, позволяли ему стать властелином природы. Фрэнсис Бэкон был первым мыслителем, который осознал, что несет в себе научный метод, и воспринял знания — знания, обретенные научными наблюдениями и прозрениями, — не только как путь к пониманию мира, но и как средство воздействия на него. В трактате «Новый Органон» он утверждает, что принципы естественных наук приложимы к человеческим делам. Бэкон верил, что, разрабатывая новые методы, которыми достигается истинное знание, то есть заменив классические и схоластические модели эмпирической и индуктивной методологией, применяемой в естественных науках, он закладывает основы господства человека над природой и самим собой: он «воплотил безграничную жажду господствовать над природой и пользоваться ее дарами, предоставленными Богом в распоряжение человека»[5]. Подзаголовок его трактата о научной методологии — «De Regno Hominis» («О господстве человека») — показывает: Бэкон сознавал, что заключено в развиваемой им теории.

Хотя научная методология неуклонно завоевывала западную мысль, человеку требовалось время, чтобы научиться глядеть на себя как на объект научного интереса. Мировоззрение XVII века придерживалось унаследованного от античности и средних веков взгляда, что человек состоит из двух отдельных частей — тела (soma) и души (psyche), первая часть — материальная и бренная, вторая — метафизическая и бессмертная и тем самым недосягаемая для эмпирических исследований». Эта концепция, выраженная в платоновском «Федоне» Сократом, чтобы объяснить безмятежность перед лицом надвигающейся смерти, влилась в сознание Запада через писания Блаженного Августина. С нею связана была теория познания, основанная на концепции «врожденных идей», то есть идей, заложенных в человеке от рождения, включая представления о Боге, о добре и зле, чувство времени и пространства, начала логики. Теория «врожденных идей» господствовала в европейской мысли в XVI и XVII веках[6]. Политическое содержание этой теории носило отчетливо консервативный характер: неизменность человеческой природы обусловливала неизменность человеческого поведения и постоянство политических и социальных установлений.

Уже Бэкон поставил теорию «врожденных идей» под сомнение, так как она не согласовывалась с эмпирической методологией, и утверждал, что знания обретаются через ощущения. Но принципиальной критике теорию «врожденных идей» подверг в 1690 году Джон Локк в своем «Опыте о человеческом разуме». Локк целиком отверг предпосылки этой теории и утверждал, что все без исключения идеи рождаются из чувственного опыта. Человеческий разум он уподобил темной комнате, свет в которую проникает единственно через восприятие — органы зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Перерабатывая эти ощущения, разум порождает идеи. Согласно Локку, мышление совершенно непроизвольный процесс: человеку так же невозможно отвергнуть или изменить мысли, порожденные в его рассудке ощущениями, как зеркалу «не отразить, или изменить, или стереть образы или идеи, которые предметы, перед ним расположенные, в нем вызывают». Отрицание свободной воли, вытекающее из теории познания Локка, было основной ее притягательной силой, ибо лишь таким путем можно превратить человека в предмет научного исследования.

Влияние «Опыта» Локка несколько десятилетий после его появления не выходило за пределы научных кругов. И лишь французский философ Клод Гельвеций в опубликованной анонимно работе «Об уме» (1758) первым извлек политические выводы из теории познания Локка, последствия чего до сих пор не были по достоинству оценены. Известно, что Гельвеций внимательно изучал философские работы Локка, произведшие на него большое впечатление[7]. Он воспринял как непреложную истину убеждения Локка, что

все идеи — производные от ощущений, и все знания — производные от человеческой способности, воспринимая сообщения чувств, улавливать сходства и отличия, как основу мысли. Он столь же категорично, как и Локк, отрицал способность человека направлять свои мысли или действия, мыслью порожденные: для Гельвеция, по словам его биографа, «философский трактат о свободе суть трактат о следствии без причины»[8]. Нравственные представления происходят исключительно из человеческого ощущения боли и наслаждения. Люди, тем самым, не «плохи» или «хороши» — они просто действуют непроизвольно и механически, преследуя свои интересы, продиктованные стремлением избежать боли и вкусить наслаждений.

В этих рассуждениях мы не встречаем ничего, что не было бы уже сказано Локком и его французскими последователями. Но тут Гельвеций делает поразительный скачок от философии к политике. Из предпосылки, что все знания и все ценности есть производное чувственного опыта человека, он приходит к умозаключению, что, контролируя сообщения, которыми наше восприятие питает наш рассудок, то есть соответствующим образом изменяя окружение человека, можно управлять образом его мыслей и поведением. Поскольку, согласно Локку, мысль складывается совершенно непроизвольно и всецело определяется физическими ощущениями, можно предположить, что, если человек находится под воздействием благотворных впечатлений, он сам становится добродетельным, не напрягая собственной воли[9].

Здесь ключ к сотворению совершенного добродетельного человека — для этого требовались лишь соответствующие внешние влияния. Гельвеций назвал процесс облагораживания человека «l'education», под которым он понимал гораздо большее, чем школьное обучение. Когда он писал «l'education peut tout» («воспитание может сделать все»), он имел в виду под «воспитанием» все, что окружает человека и задевает его рассудок, все, что питает его разум ощущениями и порождает идеи. В первую голову это относится к законодательству: «Только благими законами можно создать добродетельного человека»[10]. Из чего следует, что нравственность и законодательство — «одна и та же наука»[11]. В заключительной главе трактата «Об уме» Гельвеций говорит о желательности реформировать общество через законодательство с тем, чтобы сделать людей «добродетельными»*.

* Представление о том, что задачей политики является воспитание добродетели, что добродетель достигается законами и образованием, так же старо, как вообще политическая теория, и восходит еще к Платону. Новация Гельвеция состоит в том, что для него политика путем создания благоприятной обстановки не только дает возможность человеку поступать добродетельно, но и вынуждает его к этому, совершенствуя его личность.

Это одна из самых революционных идей в истории политической мысли: экстраполяцией эзотерической теории познания была создана новая политическая теория, имевшая самые знаменательные практические последствия. Согласно ее центральному тезису, задача политики — сделать человека «добродетельным», а средства достижения этого состоят в переделке социального и политического окружения человека главным образом путем законодательным, то есть государственным. Гельвеций возвел законодателя в ранг верховного нравоучителя. Он хорошо понимал, что несет в себе его теория, ибо говорил об «искусстве создания человека», тесно связанном с «образом правления». Человек уже не творение Божье: он продукт собственного производства. Общество тоже «продукт», а не «данность»[12]. Хорошие правительства не только обеспечивают «величайшее счастье для наибольшего числа» (формула, по всей видимости, изобретенная Гельвецием), но буквально преобразуют людей. Логика идей Гельвеция неизбежно приводит к выводу, что в ходе изучения человеческой природы человек «обретает неограниченную власть преобразовывать и переделывать человека»[13]. Это беспримерное предположение составляет предпосылки и либеральной и радикальной идеологии новейшего времени и дает теоретическое оправдание применению политических методов в создании «нового порядка».

Подобные идеи в их чистом или разбавленном виде таят неотразимую привлекательность для интеллигенции. Ведь если действительно человеческое существование во всех его проявлениях подчиняется механическим законам, которые разум может обнажить и направить в нужное русло, то интеллектуалы, как хранители рациональных знаний, становятся естественными руководителями человечества. Прогресс состоит либо в мгновенном, либо в постепенном подчинении жизни «разуму», или, как говорили в России, в замене «стихийности» жизни «сознательным» вмешательством в ее течение. «Стихийное» бытие, складывавшееся тысячелетиями и воплощенное в традициях, обычаях и исторических установлениях, согласно этой концепции, «нерационально».

Жизнь, подчиненная «разуму», — это жизнь, подчиненная интеллектуалам, поэтому нет ничего удивительного в том, что интеллектуалы стремились изменить мир согласно требованиям «рациональности»*. Рыночная экономика с ее разорительным соперничеством, колебаниями от перепроизводства к дефициту — нерациональна и потому не одобряется интеллигенцией, которая предпочитает ей социализм, или, иными словами, рационализацию экономической деятельности. Демократия, конечно, обязательна, но предпочтительно, чтобы она понималась как «рациональная», а не действительная воля народа: «общая воля» Руссо взамен воли, проявленной на выборах или референдумах.

* Фрэнсис Дж. Уилсон отметил, что и на заре новейшего времени, еще прежде, чем стало в полной мере

ощущаться влияние науки, интеллектуалы выражали предпочтение централизованной власти и сильному государству: American Political Science Review. 1954. V. XLVIII. № 2. P. 325, 335-338.

Теории Локка и Гельвеция позволяли интеллектуалам претендовать на статус «наставников» человечества в самом широком смысле слова. Они — кладезь разума, который, по их убеждению, всегда выше опыта. Пока человечество блуждает в потемках, они, «просвещенные», знают дорогу к добродетели и, через добродетель, к счастью. Эта концепция ставит интеллигентов в конфликтное положение по отношению к остальному человечеству. Обыкновенные люди, добывая средства к существованию, постигают определенные, необходимые им знания в определенных условиях жизни. Их мыслительная деятельность выражается в умении справляться с задачами, с которыми им непосредственно приходится сталкиваться, или, говоря словами Уильяма Джемса, в приходе «к некоторому определенному умозаключению... или в удовлетворении своего любопытства... которое в этот момент занимает размышляющего». Земледелец разбирается в климатических и различных иных условиях, могущих влиять на успех его деятельности, — знания, которые могут оказаться мало полезными в других условиях и совершенно бесполезными при другом роде занятий. Торговец недвижимостью разбирается в ценах на имущество в своем регионе. Политический деятель должен иметь представление о чаяниях и нуждах тех, чьи интересы он защищает. Общества живут благодаря необъятному разнообразию конкретных форм знания, накопленных опытом отдельных личностей и групп, их составляющих. Но интеллектуалы, и только интеллектуалы, претендуют на знание «всеобщего» порядка вещей. Создавая «науки» о человеческих отношениях — научную экономику, политологию, социологию, — они устанавливают принципы, которые будто бы указаны самой «природой» вещей. Эти знания дают им право требовать, чтобы существующий порядок был предан забвению и существующие институты уничтожены. Понадобился гений Эдмунда Бёрка, чтобы уловить предпосылки и последствия такого рода мышления, каковое было выражено в лозунгах Французской революции, и, учитывая такой исторический опыт, утверждать, что во всем касающемся человеческих отношений не бывает ничего «вообще», а только в частности («Все хорошо лишь в меру и в соответствии»)[14] и что нет хуже руководства, чем абстрактное мышление.

* * *

Приложение теории Гельвеция может быть двояким. Можно интерпретировать ее так: все перемены в политическом и социальном окружении человека должны производиться мирными средствами и постепенно, путем реформ действующих институтов и просвещения. Но можно сделать и иной вывод: к той же цели прямее всего ведет насильственное разрушение существующего порядка.

По какому пути пойдет развитие — эволюционному или революционному, определяется, по-видимому, главным образом существующей политической системой в данной стране и тем, какие возможности предоставляет она интеллигенции для участия в общественной жизни.

В обществах, где благодаря демократическим институтам и свободе слова открыта возможность влиять на политическую жизнь, интеллигенция склоняется к более умеренному выбору. В XVIII и XIX веках в Англии и Соединенных Штатах интеллигенция принимала активнейшее участие в политической жизни. Те, кто создавал Американскую республику, и те, кто вел викторианскую Англию по пути реформ, были деловыми людьми с глубокими интеллектуальными запросами: о многих из них трудно было сказать с определенностью, кто они — философы, увлеченные государственной деятельностью, или государственные деятели, чье истинное призвание — философия. Даже самые прагматичные из них не были глухи к современным идеям. Такое взаимодействие политики и философской мысли придало политической жизни в англо-саксонских странах известный компромиссный характер. Там интеллигенции не потребовалось отъединяться в обособленную касту: интеллектуалы воздействовали на общественное мнение, а оно, через демократические институты, рано или поздно оказывало влияние на законодательство.

В Англии — а через Англию и в Соединенных Штатах — идеи Гельвеция стали популярны в основном благодаря работам Иеремии Бентама и утилитаристов. Именно Гельвецию обязан Бентам идеями, что нравственность и законодательство — «одна и та же наука», что человек может обрести добродетель только через «благие законы» и что, следовательно, законодательство играет «педагогическую» роль[15]. На этих основаниях Бентам создал теорию философского радикализма, сильно повлиявшую на движение за парламентские реформы и либеральную экономику. Современная сосредоточенность англо-саксонских стран на законодательстве как инструменте для исправления человека восходит непосредственно к Бентаму, а через него — к Гельвецию. В размышлениях Бентама и английских либералов не было места насилию — преобразование человека и общества предполагалось производить исключительно законами и просвещением. Но даже такая реформистская теория исходит из молчаливой предпосылки, что человека можно и должно переделать. На этой предпосылке сходятся либерализм и радикализм, и этим можно объяснить, почему, при всем неприятии насильственных методов, которыми пользуются революционеры, либералы, поставленные перед необходимостью выбора между революционерами и их консервативными противниками, почти наверняка отдадут предпочтение первым. Ибо либералов от крайне левых отделяет несогласие с их методами, в то время как с правыми они расходятся в основополагающих представлениях о том, что есть человек и каким должно быть общество.

* * *

В странах, где интеллигенция отстранена от участия в политической жизни — ярчайшими примерами чему могут служить старорежимная Франция и Россия, — она, интеллигенция, стремится объединиться в касту, исповедующую идеологию крайнего толка. Это отметил еще Алексис Токвиль: «В Англии пишущие о теории управления и те, кто действительно управляет, взаимодействуют друг с другом: первые — развивая свои теории, вторые — совершенствуя их или подчиняя практическим требованиям. Однако во Франции теория и практика стояли обособленно и находились в руках двух совершенно обособленных групп. Одна из этих групп осуществляла действительное управление, тогда как другая развивала абстрактные принципы, на которые хорошее управление, как они утверждали, должно опираться; одна группа предпринимала меры, отвечающие требованиям времени, другая выдвигала общие законы, не задумываясь об их практическом применении; одна группа формировала ход общественных дел, другая — общественное мнение. Так наряду с традиционной и путаной, если не сказать хаотичной, общественной системой в людском сознании постепенно выстраивалось идеальное воображаемое общество, в котором все просто, единообразно, складно, справедливо и рационально в самом широком смысле слова»[16].

Подыскивать исторические аналоги в объяснение исторических событий всегда рискованно: пример Французской революции, к которому прибегли русские радикалы, не принес ничего хорошего ни им самим, ни всем другим. Однако в одном отношении французский пример XVIII века все же применим к царской России — а именно в области идей, которые менее подвержены воздействию конкретных исторических условий, чем политическая и социальная обстановка. Интеллектуальная атмосфера царской России крайне схожа с атмосферой, сложившейся в «старорежимной» Франции в канун революции, и кружки «философов» предвосхитили кружки российской интеллигенции. Эта аналогия позволяет нам увидеть, насколько самопорождающими могут быть интеллигентские движения, и убеждает в мысли, что на русскую интеллигенцию гораздо большее впечатление производили предвзятые теории, чем собственная российская действительность.

Блестящий, но, увы, малоизвестный французский историк Огюстен Кошен первым обрисовал ту особую губительную интеллектуальную обстановку, которая воцарилась во Франции в последние десятилетия перед революцией. Свое исследование он начал с изучения якобинства*. Поиск якобинской родословной привел его к общественным и культурным кружкам, образовавшимся во Франции в 60-е и 70-е годы XVIII столетия с целью проповедования «передовых» идей. Эти кружки, которые Кошен назвал «societes de pensee», сложились из масонских лож, академий, сообществ литераторов, а также разнообразных «патриотических» и культурных клубов. «Societes de pensee» проникли в общество, когда там полным ходом шло разрушение традиционных сословных уз. Приобщающемуся к этим кружкам следовало порвать все связи со своей социальной группой, растворив свою сословную принадлежность в сообществе, скрепляемом исключительно приверженностью к некой общей идее. Якобинство явилось естественным результатом этого феномена: во Франции, в противоположность Англии, стремление к переменам исходило не из парламентских институтов, а из литературных и философских клубов.

* Кошен погиб на фронте в 1916 году. Основные его труды «La Crise de l'Histoire Revolutionnaire» (P., 1909) и опубликованный посмертно «Les Societes de Pensee et la Democratic» (P., 1921). Изложение его идей можно найти у Франсуа Фуре «Penser la Revolution Francaise» (P., 1983).

Эти кружки, в которых исследователь России может увидеть много общего с объединениями русской интеллигенции столетие спустя, свое главное назначение видели в установлении единомыслия. Единства они добивались не тем, что разделяли общие заботы, а тем, что разделяли общие идеи, которые жестко навязывали своим членам, подвергая яростным нападкам всех, кто мыслил иначе: «Кровавому террору 93-го года предшествовал «бескровный» террор 1765—1780 годов в «литературной республике», где Энциклопедия играла роль Комитета общественного спасения, а Д'Аламбер был Робеспьером. Она рубила добрые имена, как тот другой рубил головы: ее гильотиной была клевета...»[17]

Интеллектуалам такого склада жизнь не представлялась критерием истины: они создавали собственную реальность, или, скорее, «сюрреальность», подлинность которой определялась лишь соответствием мнениям, ими одобряемым. Свидетельства обратного не учитывались: всякий, кто проявлял к ним интерес, безжалостно изгонялся. Подобный образ мыслей вел ко все большему отстранению от жизни. Атмосфера во французских «societes de pensee», описанная Кошеном, очень походит на атмосферу, царившую в кругах русской интеллигенции столетие спустя: «Если в реальном мире судией всякой мысли выступает доказательство, а целью — производимый ею результат, то в этом мире судьей выступает мнение о ней других, а целью — ее признание... Всякая мысль, всякая интеллектуальная деятельность возможна здесь, лишь если находится в согласии с их мыслью. Здесь суждения определяют существование. Реально то, что они видят, правда то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Так поставлен с ног на голову естественный порядок вещей: мнение здесь есть причина, а не следствие, как в реальной жизни. Вместо быть, говорить, делать, здесь — казаться, мниться. И цель... этой пассивной работы — разрушение. Вся она сводится в конечном итоге к уничтожению, умалению. Мысль, которая подчиняется этим правилам, сначала

теряет интерес к реальному, а затем постепенно — и чувство реальности. И именно этой потере она обязана своей свободой. Но и свобода, и порядок, и ясность обретаются лишь потерей ее истинного содержания, ее власти над всем сущим»[18].

Без такого анализа невозможно разобраться в очевидных парадоксах интеллигенции вообще и, в особенности, ее крайнего представителя — интеллигенции русской. Теории и программы, вынашивавшиеся интеллигентами бессонными ночами, действительно, оценивались не сообразно реальной жизни, а по отношению к другим теориям и программам: критериями их ценности были логичность и согласованность. Реальность жизни воспринималась как искажение, как карикатура «истинной» реальности, которая, как считалось, скрывается за внешней оболочкой и ждет от революции своего высвобождения. Такая позиция позволяла интеллигенции утверждения, которые совершенно не согласовывались с реальными фактами, да и вообще противоречили здравому смыслу, выдавать за истинные. Так, например, утверждалось, что жизненный уровень европейских рабочих в XIX веке неуклонно падал, что русские крестьяне в 1900 году были на грани голодной смерти, что вполне законно было во имя демократии распустить в январе 1918 года демократически избранное Учредительное собрание и что свобода вообще означает подчинение необходимости. Чтобы понять поведение интеллигенции, необходимо помнить ее намеренную оторванность от реальности, ибо, при том, что революционеры были безжалостно прагматичны, используя в своих интересах, из соображений тактических, народное недовольство, их представления о чаяниях народа были чисто умозрительными. Неудивительно, что, едва придя к власти, революционная интеллигенция немедленно берет под контроль средства информации и устанавливает жесткую цензуру: ведь только подавляя свободу слова, можно навязать свою «сюрреальность», свою «действительность» простым людям, воочию наблюдающим осязаемые свидетельства обратного*.

* Эрик Хоффер видит в невосприимчивости к реальности характерную черту всякого фанатизма: «Правота учения определяется не его глубиной, тонкостью или достоверностью заключенных в нем истин, но тем, сколь успешно отрывает она человека от самого себя и всего мира, как он есть» (The True Believer. N. Y., 1951. P. 79).

В силу привычки они создали особый язык, посредством которого посвященные могли общаться друг с другом, а придя к власти, навязывать свои фантазии широким кругам. Этот язык со своим словарем, своей фразеологией и даже синтаксисом, достигший апогея в бессмысленном жаргоне сталинской эры, «описывает не реальность, но идеальное представление о ней». Он жестко ритуализирован и огражден лексическими запретами[19]. Но и задолго до 1917 года русские революционеры вели свои дискуссии именно на таком языке. Нигде стремление к созданию собственной «реальности» так ярко — и пагубно — не проявилось, как в концепции «народа». Радикалы заявляли, что говорят от имени народа, иногда именуемого «народными массами», и действуют в его интересах против своекорыстной правящей элиты, пользующейся народными богатствами. С точки зрения радикалов, созидание свободного и справедливого общества требует разрушения существующего порядка. Но при тесном общении с людьми, теми самыми «народными массами», сразу становится понятным, что лишь немногие согласны на разрушение их привычного мира до основания: единственное, чего они хотят, это удовлетворения каких-то определенных своих нужд, то есть частичной реформы, не затрагивающей целого.

Замечено, что стихийные бунты возникают не из революционных, а, скорее, из консервативных побуждений, и бунтовщики, как правило, требуют восстановления в прежних правах, которых, как они считают, их в свое время несправедливо лишили: взгляд их, таким образом, устремлен не вперед, а назад[20]. Поэтому для достижения своих идеалов — всеобъемлющих перемен — интеллигенция должна создать некую абстракцию, именуемую «народом», которую она может наделить своими собственными чаяниями. По мнению Кошена, якобинство заключается не в терроре, а в стремлении интеллектуальной элиты установить диктаторскую власть над народом от имени народа, чему оправданием служит почерпнутая у Руссо концепция «общей воли». В соответствии с этой концепцией волей народа объявляется то, что провозглашается просвещенным мнением: «Для проповедников [французского революционного] режима, «философов» и политиков — от Руссо и Мабли до Бриссо и Робеспьера — настоящий народ был неким идеальным созданием. Общая воля, воля гражданина превыше подлинной воли, воли большинства, точно так же, как в христианстве благодать превыше естества. Вот что сказал Руссо: общая воля не является волей многих и имеет над ней преимущество; свобода гражданина не есть независимость отдельной личности и подчиняет ее себе. В 1789 году истинный народ существовал лишь потенциально, в сознании или воображении «свободных людей», или «патриотов», как их называли <...> то есть небольшого числа посвященных, завербованных в юности, без устали воспитывавшихся и всю свою жизнь проведших в обществе «философов» и вышколенных... в дисциплине свободы»[21]. Лишь видя в живом человеке исключительно голую идею, можно презреть во имя демократии мнение большинства и установить диктаторский режим во имя свободы.

И вся эта идеология, и обусловленное ею поведение — смесь из идей Гельвеция и Руссо — были новыми историческими феноменами, порожденными Французской революцией. Эта идеология узаконивала самые невероятные социальные эксперименты. Хотя по личным мотивам Робеспьер презирал Гельвеция (он считал, что Гельвеций преследовал его идола Руссо, перед которым Робеспьер безгранично преклонялся), все его идеи претерпели сильнейшее влияние Гельвеция. Для Робеспьера миссия политика состояла в

созидании «царства добродетели», общество делилось на «хороших и плохих» граждан, а отсюда следовало, что «все, кто думает не так, как мы, должны быть удалены из города»[22].

Токвиль был потрясен, столкнувшись с этим феноменом, когда в конце жизни обратился к изучению истории Французской революции. За год до смерти он признавался другу: «В болезни Французской революции есть нечто такое, что я ощущаю, но не в силах ни описать, ни проанализировать причины. Это «вирус» нового и неизвестного вида. Мир знал ужасные революций, но столь безмерного, яростного, радикального, отчаянного, смелого, почти безумного, но при этом сильного и деятельного характера, который проявили революционеры, на мой взгляд, не встречалось еще в великих социальных потрясениях прошлого. Откуда явилась эта новая раса? Кто сотворил ее? Кто обеспечил ее успех? Кто дал им такую живучесть? Ведь и сегодня, хотя обстоятельства переменились, все те же люди встают перед нами и по всему цивилизованному миру рассеяны их отпрыски. Дух мой сникает от бессилия представить ясную картину этого феномена и найти средства точно ее описать. При всем том, что понято нами во Французской революции, в ее духе и делах есть нечто, остающееся необъяснимым. Я чувствую, где таится неизвестное, но как бы я ни старался, мне не поднять завесу, его скрывающую. Я чувствую его сквозь некоторую странную непроницаемую субстанцию, мешающую мне коснуться или увидеть его»[23].

Доживи Токвиль до XX столетия, ему было бы легче определить этот «вирус», потому что дикая смесь идей и групповых интересов стала с тех пор обычным явлением.

* * *

Интеллектуалы могут приобрести влияние только в равноправном и открытом обществе, в котором рухнули сословные барьеры и политика формирует мнения. В таком обществе они берут на себя роль созидателей этих мнений, для чего используют печатное слово, другие средства информации, а также систему образования. Интеллигенция любит представлять себя бескорыстным борцом за народное благо, то есть не столько социальной группой, сколько моральной силой, но тот факт, что каждый из ее среды в отдельности не чурается мирских благ и целей, неизбежно приводит к выводу: интеллигенция в целом не чужда земных интересов — интересов, готовых вступить в противоречие с проповедуемыми идеалами. Интеллигенции тяжело признать это. Глубокая неприязнь интеллигенции к социологическому самоанализу — так контрастирующая с ее склонностью подвергать анализу другие социальные группы и классы, в особенности класс, представляющий основное препятствие на ее пути к власти, то есть «буржуазию», — обернулась удивительной скудостью литературы по этому вопросу. Редкие работы, посвященные интеллигенции как социальному и историческому феномену, совершенно не соответствуют его значению[24].

Интеллигенция может процветать только в обществах, освободившихся от сословных привилегий, с равноправным гражданством, таких, как образовавшиеся в новейшее время на Западе, но именно эти общества ставят интеллигентов в двусмысленное положение. Пользуясь огромным влиянием на общественное мнение, социально они стоят на обочине, не обладая ни богатством, ни политической властью. Добрая часть их составляет интеллектуальный пролетариат, который едва сводит концы с концами: даже самые удачливые из них не имеют веса в экономическом и политическом смысле и часто вынуждены играть роль наемных ораторов правящей элиты. В таком унизительном положении вдвойне обидно находиться тем, кто считает себя заслуживающими всех прерогатив власти более, чем те, кто ими пользуется в действительности — по праву рождения или богатства.

Капитализм создает весьма благоприятные условия для интеллигенции, все время повышая спрос на ее услуги и давая возможность ее представителям осуществлять свое призвание выразителей общественного мнения: «Дешевые книги, грошовые газеты и брошюры, вместе со все растущим кругом читателей, отчасти производным от этого, а отчасти представляющим собой независимый феномен, обязанный своим возникновением обретенным промышленной буржуазией весу и значению, а также характерному росту политического значения безличного общественного мнения, — все эти блага, вместе со все возрастающей свободой от ограничений, есть побочные продукты капиталистического механизма»[25].

«Все общества прошлого, — писал Раймон Арон, — имели своих писарей, своих художников или литераторов... и своих знатоков... Ни одну из этих категорий нельзя в строгом смысле причислить к нашей современной цивилизации, однако последняя тем не менее имеет собственные особые характеристики, влияющие на численность и статус интеллигенции. Распределение рабочей силы по различным профессиям изменяется в процессе экономического развития: число занятых в промышленности растет, число же занятых в земледелии падает, в то время как объем так называемого «терцианского сектора», куда входит множество профессий различного уровня престижности — от мелкого служащего в своей канцелярии до исследователя в его лаборатории, — безмерно раздувается. Современные индустриальные общества охватывают большее число работников неручного труда — абсолютно и относительно, чем какое бы то, ни было общество в прошлом... Три категории работников неручного труда — писари, специалисты и литераторы — развивались одновременно, если не равночисленно. Бюрократические структуры предоставляют отдушину писарям низшей квалификации, организация труда и управление производством требуют все новых и новых специалистов; школы, университеты и различные культурно-развлекательные учреждения или средства информации занимают в своей сфере литераторов, художников или просто ремесленников на литературном поприще, дешевых поденщиков и популяризаторов. Хотя это и не всегда

вполне признается, но расширение круга занятий остается решающим фактом»[26].

Заполняя ряды «терцианского сектора» современного общества, интеллигенты превращаются в социальную группу со своими интересами, в первую очередь заботясь об увеличении численности и престиже «белых воротничков» — цель, достижению которой более всего способствуют централизация и бюрократизация. Следующее, в чем заинтересована интеллигенция, — это неограниченная свобода слова. И даже способствуя установлению режимов, подавляющих свободу, интеллигенция всегда и всюду выступает против ограничения свободы самовыражения, тем самым часто становясь первой жертвой собственных побед.

Как это ни парадоксально, но капитализм и демократия, возвышая роль интеллигенции, одновременно усугубляют ее недовольство. Статус интеллигентов в капиталистическом обществе много ниже статуса политиков и бизнесменов, к которым, однако, первые относятся с презрением профессионалов к дилетантам в искусстве социального управления. Они завидуют их богатству, власти и престижу. В каком-то смысле интеллигенции было проще приспособиться к прежнему обществу, где ее социальный статус был прочно закреплен традицией и законом, чем к изменчивому миру капитала и демократии новейших времен, где, за неимением денег и общественного положения, они ощущают свою униженность. Людвиг фон Мисес считал, что интеллигенция тяготеет к антикапиталистической философии, «чтобы заглушить внутренний голос, говорящий ей, что она одна виновата в своем неблагополучии»[27].

Как мы уже говорили, интеллигенция может избавиться от униженности и взобраться на вершину только при одном условии: если общество «рационализируется», то есть «интеллектуализируется» — и «разум» заместит собой место свободной экономики и политической борьбы. Это означает социализм. Основным врагом социалистов и в их мирном («утопическом»), и в непримиримом («революционном») обличье всегда была «стихийность», под которой понималась политическая и экономическая свобода действий. Призыв к упразднению частной собственности на средства производства в пользу «общества», общий для всех социалистских программ, теоретически дает возможность рационализировать производство товаров и уравнять их распределение. Случается, что те, кто заявляют, будто знают, что «рационально», то есть интеллигенты, занимают командные позиции. Как и в движениях других классов, их собственные интересы и идеологические призывы совпадают: подобно тому, как буржуазия, требуя снять ограничения на производство и торговлю ради повышения благосостояния народа, преследует свои интересы, так и радикальная интеллигенция, призывая к национализации производства и торговли для пользы масс, действует в свою пользу.

Лидер анархистов, современник Маркса Михаил Бакунин первым указал на такое слияние личных интересов и идеологических принципов, утверждая, что за стремлением интеллигенции к социализму стоят обычные классовые интересы. Он оспаривал теорию Маркса о социалистическом государстве, утверждая, что она должна неизбежно вылиться в господство коммунистов над массами: «По теории г-на Маркса, народ не только не должен его [государство] разрушать, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии, словом, г. Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать их по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения; создадут единый государственный банк, сосредоточивающий в своих руках все торгово-промышленное, земледельческое и даже научное производство, а массу народа разделят на две армии: промышленную и землепашественную под непосредственною командою государственных инженеров, которые составят новое привилегированное науко-политическое сословие»[28].

Другой теоретик анархизма, поляк Ян Махайский, описывал социализм как идеологию, сообразующуюся с интересами интеллигенции, — «нового молодого правящего класса», чей капитал — высшее образование. В социалистическом государстве она станет господствовать, заменив в качестве руководителей и специалистов старый класс капиталистов. «Провидение научных социалистов... рабам буржуазного общества... сулит счастье после их смерти; оно гарантирует социалистический рай их потомкам»*.

* Вольский А. (Махайский Я.). Умственный рабочий. Н.-Й.; Балтимор, 1968. С. 328. (Первое изд.: 1904—1905). В предисловии к этому изданию Альберт Перри (С. 14) отмечает, что книга встретила «яростный отпор» буквально всей революционной интеллигенции того времени: «Они тотчас мобилизовали весь корпус своих публицистов-теоретиков, ораторов и агитаторов. Весь пропагандистский аппарат социалистического движения, будь то большевики, меньшевики или эсеры, объединился против этого нового врага. Ядовитость их нападок была совершенно необыкновенной». Работы Махайского были внесены в советский «список запрещенных книг».

Такие взгляды едва ли могли найти отклик у интеллигентов. И не случайно поэтому Маркс разбил теорию Бакунина и изгнал его из Первого Интернационала, и в современном мире анархизм лишь слабая тень социализма. Исторический опыт показывает, что всякое движение, которое затрагивает идеологию и интересы интеллигенции, обречено на поражение и всякий интеллигент, бросивший вызов своему классу, приговаривает себя к забвению.

* * *

Социализм обычно понимается как теория, направленная на лучшее распределение богатства с конечной целью создания свободного и справедливого общества. Такова, бесспорно, официальная программа социалистов. Однако и за этой программой скрывается гораздо более тщеславная цель — создание нового человека. Предпосылкой к тому служит идея Гельвеция, что, формируя окружение, при котором социальное поведение становится естественным инстинктом человека, социализм позволяет личности полнее воплотить свои скрытые возможности. А это, в свою очередь, позволит в конечном итоге избавиться от государства и насилия как основного неотъемлемого атрибута государства. Все социалистические учения, от самых умеренных до самых крайних, предполагают, что человек — материал весьма податливый, поскольку его личность есть производное от экономических условий: изменение этих условий должно, таким образом, привести к изменению и человека и его поведения.

Маркс занимался философией в основном в молодости. Двадцатишестилетним эмигрантом в Париже он уловил политическое содержание идей Гельвеция и его французских современников. В «Святом семействе» (1844—1845), книге, в которой обозначен разрыв Маркса и Энгельса с идеалистическим радикализмом, философские и психологические установки почерпнуты непосредственно у Локка и Гельвеция. «Если человек черпает, — писал Маркс, — все свои знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека»[29].

Это — locus classicus марксистской философии, оправдывающее тотальную перемену в ходе устройства общества, то есть революцию. Согласно такому ходу мысли, неумолимо вытекающей из философских предпосылок, сформулированных Локком и Гельвецием, человек и общество обретают существование не естественным путем, но «рукотворным». Этот «радикальный бихевиоризм», как он именовался, вдохновил Маркса в 1845 году на один из самых известных его афоризмов: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его»[30]. Разумеется, в тот момент, когда мыслитель начинает видеть свое назначение не «только» в созерцании мира и приспособлении к нему, но в его изменении, он перестает быть философом и превращается в политика, вынашивающего личные политические планы и интересы.

Мир, конечно, можно постепенно «изменить» — мерами образовательными и законодательными. И если бы исключительной заботой интеллигенции было улучшение условий жизни человека, то едва ли такое постепенное изменение встретило бы возражения, ибо эволюция методом проб и ошибок указывает единственный испытанный путь к прогрессу. Но многие из тех, кто хочет изменить мир, извлекают из человеческих нужд не то, что требует исправления, а то, что можно использовать в своих интересах. Использование в своих интересах людских нужд (а не удовлетворение их) было в центре политики социалистов уже с 40-х годов XIX века, и это же отличало мнимых «научных» социалистов от их предшественников «утопистов». Такое отношение породило то, что Анатоль Леруа-Болье в 1902 году в своем на редкость проницательном труде назвал «политикой ненависти». «Социализм, — отмечал он, — возводит ненависть в принцип», сходясь со своими смертельными врагами — национализмом и антисемитизмом — в убеждении о необходимости «хирургически» вырезать и уничтожить воображаемого врага[31]. Убежденные радикалы опасались реформ потому, что те лишали их мощного оружия и укрепляли власть правящей элиты: радикалы предпочитали самые дикие репрессии. Лозунг русских революционеров «чем хуже, тем лучше» обнажал подобный образ мыслей.

Существует, разумеется, множество разновидностей социалистов — от самых демократичных и гуманных до самых деспотичных и жестоких, — но все их расхождения заключены в средствах, а не в целях. И их несостоятельность хорошо прослеживается в отношении русских и иностранных социалистов к жестоким экспериментам большевиков: отвращение к большевистской жестокости не отменяет восхищения перед непреклонной преданностью общему делу и сочувствия им, едва над большевиками нависает серьезная опасность. Как мы покажем ниже, большевики не смогли бы ни взять власть, ни удержать ее, если бы не получали поддержки, и активной и пассивной, со стороны демократически настроенных и умеренных социалистов.

Утверждение, что архитекторам октябрьского переворота 1917 года требовалось нечто большее, чем простое устранение противоречий капитализма, прекрасно подтверждается заявлениями Л.Д.Троцкого. В начале 20-х годов, заглядывая в будущее, он предсказывал: «Коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным».

Отрицая всю предыдущую историю человечества до октября 1917 года, как эпоху «застоя», Троцкий описывает быт человека, который будет создан новым режимом: «Человек примется, наконец, всерьез гармонизировать себя самого... Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением — и, в необходимых пределах, подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет — под собственными пальцами — объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки... Человек поставит себе цель овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, создать более высокий

общественно-биологический тип, если угодно — сверх-человека... Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше; его тело — гармоничнее, движения ритмичнее, голос музыкальнее. Формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины»[32].

Эти размышления, принадлежащие не какому-то мечтательному юноше, а организатору большевистских побед октября 1917 года и гражданской войны, дают нам возможность заглянуть в глубины психологии тех, кто совершил величайшую в наше время революцию. Они и их последователи мечтали не более и не менее как о том, чтобы по-своему разыграть шестой день Творения и усовершенствовать духовдохновенный плод этого дня: человек должен сам, «своими руками» пересоздать себя. Теперь нам становится понятно, что Чернышевский, оказавший сильное влияние на Ленина, имел в виду, определяя свой «антропоморфический принцип» как «Homo homini deus» — «Человек человеку — бог».

* * *

Русская интеллигенция появилась в 60-х годах XIX века в связи с великими реформами Александра II. После позорного поражения в Крымской войне царское правительство решило активизировать русское общество и вовлечь его в общественную жизнь. Но оказалось, что расшевелить общество не так просто: «Страна, терпеливо приученная к бездействию, потеряла всякую волю к собственным начинаниям и, поняв, что от нее ждут самостоятельных действий, самостоятельного решения местных вопросов, не умела откликнуться на этот призыв, потеряв, в особенности в губерниях, всякий навык, всякий интерес к общественной жизни»[33]. Это бездействие дало возможность русской интеллигенции выступить вперед от имени общества, которое все равно не имело возможности самовыражения через выборы.

Разнообразные политические программы, разрабатывавшиеся правительством в то время, создавали благоприятные условия для расцвета интеллигенции. Цензурные путы ослабли. До этого, в царствование Николая I, цензура доходила до бессмысленной строгости и общение посредством печатного слова было крайне затруднительным. В новом царствовании предварительная цензура была упразднена и правила публикации ослаблены настолько, что не препятствовали распространению наиболее радикальных идей посредством эзопова языка. Периодическая печать стала основным каналом влияния властителей дум Петербурга и Москвы на провинциальную мысль. Русская пресса второй половины XIX века отличалась поразительной широтой, позволявшей критиковать правительство: к 1905 году большинство газет и журналов придерживалось оппозиционных взглядов.

В 1863 году обрели самостоятельность университеты, что предоставляло профессорскому составу право самоуправления. Открылся доступ в высшие учебные заведения для тех, кто при Николае I об этом не мог и мечтать. Университеты быстро превратились в очаги политических брожений. Большое число русских интеллигентов прониклось радикальными идеями именно в студенческие годы.

Введение в 1864—1870 годах органов самоуправления — земств и городских управ — дало интеллигенции возможность профессионально выступить на общественном поприще. Вместе с сельскими учителями, агрономами, врачами, статистиками и другими специалистами, нанимаемыми на службу земствами и именовавшимися «третьим элементом», они образовывали некий активный общественный слой с радикальным, чтобы не сказать революционным, уклоном, вызывавшим беспокойство царского правительства[34]. Профессиональные революционеры презирали такой род занятий, говоря, что он служит лишь укреплению существующего строя. Избранные же земские представители придерживались либеральных или либерально-консервативных взглядов.

И, наконец, рост российской промышленности требовал профессиональных специалистов всех сортов: правоведов, инженеров, ученых, управляющих. Независимые от правительства, эти специалисты образовывали профессиональные союзы, которые были в разной степени проникнуты антисамодержавием, западническим духом. Как мы видели, в 1900— 1905 годах эти союзы сыграли важную роль в разжигании революционных беспорядков.

Так в 1860—1900 годах, в заключительное сорокалетие XIX века, создалось одно из необходимых условий нарождения интеллигенции: стала возможной экономическая независимость от правительства и одновременно возник способ распространения нетрадиционных идей. В столь благоприятных условиях не пришлось долго ждать нарождения идеологии, которая объединила бы всю интеллигенцию в некую сплоченную группу.

Русская интеллигенция была склонна к самым неожиданным поворотам мысли, бесконечным спорам и перебранкам по пустякам, но эти споры не могли затемнить того факта, что все представители интеллигенции придерживались некоего общего свода философских идей. И идеи эти были далеко не оригинальны — почти все они заимствованы у философов Просвещения и лишь приспособлены к современным научным знаниям. У французских материалистов XVIII века и их немецких последователей XIX века русская интеллигенция почерпнула «монистическую» концепцию человека как существа, сотворенного исключительно из материальных субстанций, где нет места «душе». Идеи, не отвечавшие материалистическим критериям, начиная с идеи Бога, считались не более чем плодами воображения. Прилагая утилитарные принципы, обычное следствие материализма, они отвергали все обычаи и институты, которые не удовлетворяли критерию принесения «наибольшего счастья наибольшему числу». Самыми

первыми выразителями этой идеологии в России были так называемые нигилисты (этот термин часто неверно истолковывают, понимая под ним людей, ни во что не верящих; в действительности они верили, но верили в другое, и для них не было ничего святого, кроме универсальных ценностей материализма и утилитаризма).

Позитивизм, учение Огюста Конта, повлиял на русскую интеллигенцию двояко. Прежде всего как методология для исследования человеческого общества (для чего Конт придумал слово «социология») он укреплял материализм и утилитаризм учением о том, что человеческое поведение подчиняется законам, которые, будучи научно проанализированы, полностью его предопределяют. Человечеством можно управлять научно с помощью той самой «социологии», которая играет для общества ту же роль, что и физика для мертвой материи и энергии, а биология — для живых организмов. Это положение уже в 1860-е годы стало аксиомой в кругах русской интеллигенции. Кроме того, позитивизм сыграл свою роль, хотя и более кратковременную, как теория прогресса в смысле победы просвещения, выразившейся в постепенном замещении «теологического» и «метафизического» мировоззрения научным, или «позитивным».

Материализм, утилитаризм и позитивизм образовали идеологию русской интеллигенции, и приверженность этой идеологии была определенным критерием причастности к интеллигенции. Ни один верующий в Бога и бессмертие души, как бы ни был он «просвещен» и «прогрессивен» в остальном, не мог претендовать на звание «интеллигента». Не было места среди интеллигенции и тем, кто придавал существенное значение роли случая в человеческих делах, либо верил в неизменность «человеческой природы», либо в высшие нравственные принципы. История российской интеллигенции изобилует примерами «интеллигентов», которые, усомнившись в том или ином положении этой идеологии, были исторгнуты из интеллигентской среды. Тот «бескровный террор», который Кошен увидел в дореволюционной Франции, ярко проявился и в дореволюционной России: здесь тоже очернение отступников и людей, не принадлежащих к кругу интеллигенции, служило сплочению ее рядов. Поскольку существование интеллигенции зависело от идеологического единомыслия ее представителей, это единомыслие безжалостно навязывалось, что лишало интеллигенцию возможности приспособиться к меняющейся реальности и дало основание Петру Струве охарактеризовать русских интеллигентов как «едва ли не самую консервативную породу людей в мире»[35].

У интеллигенции, как мы ее определили выше, были весьма натянутые отношения с творческими кругами — писателями, поэтами, художниками, которым не могло не претить желание политиков навязать им определенные каноны творчества. Эти ограничения представлялись гораздо более тягостными, чем официальная цензура, ибо если правительство осуществляло негативную цензуру, запрещая касаться тех или иных тем, то интеллигенция оказывала позитивное давление, требуя, чтобы литература и искусство служили социальному прогрессу, как они его понимали. Противостояние этих двух групп еще более усугубилось в последнее десятилетие прошлого века, когда русская культура подпала под влияние модернизма с его девизом «искусство ради искусства». Давление, которое радикальная интеллигенция стремилась оказывать на культуру, чтобы заставить ее служить не эстетическим, а утилитарным целям, оказывалось бессильным при столкновении с истинным талантом: ни один выдающийся русский писатель или художник не покорился такого рода тирании, и последствия этого раздора выразились в отрыве интеллигенции от живительных источников современной культуры. Время от времени это тлевшее недовольство вырывалось наружу, как, например, в признании, которое в одном из личных писем в непривычно резких выражениях сделал Чехов: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр»*.

* Письмо Алексею Суворину//Чехов А.П. Письма. Т. 5. М., 1915. С. 352. Бернар де Вото в книге «The Literary Fallacy» (Boston, 1944) очень похоже высказывается об американских писателях в период между двумя мировыми войнами. Это означает, что проблема интеллигенции была интернациональной .

* * *

Недовольство в России впервые прорвалось наружу и стремительно распространилось в университетах. Хотя Положения 1863 года предоставляли университетам значительную самостоятельность, но выпадала она в основном на долю профессорского состава, студенты же по-прежнему считались несовершеннолетними, от которых требовалось лишь соблюдение строгой дисциплины. Студенческая масса под гнетом этой дисциплины вскипала и время от времени давала выход своему возмущению в организованных протестах. Предлоги зачастую были совершенно незначительны и, как правило, не носили политического характера. Проявив некоторую терпимость, можно было дать рассосаться этим недовольствам. Но российские власти знали только один ответ на «неповиновение» — репрессии. Студентов, вся провинность которых состояла лишь в буйной выходке или нарушении устава учебного заведения, отчисляли, нередко навсегда. Такая строгость укореняла в студентах радикальные настроения и способствовала превращению высших учебных заведений в средоточия оппозиции.

Во второй половине 60-х годов прошлого века студенты собирались в кружки, где обсуждали общественные проблемы и свою роль в обществе. Поначалу эти кружки не проявляли никаких

политических, не то что революционных, наклонностей. Под влиянием французского позитивизма они отождествляли прогресс с развитием наук и просвещением и свою миссию видели в проповеди идей материализма и утилитаризма. В эту пору тысячи юношей, не имевших ни интереса, ни таланта к наукам, поступали на естественные факультеты, уверенные, что, глядя в микроскоп или расчленяя лягушку, они приближают эру благоденствия всего человечества.

Такая наивная вера в науку вскоре иссякла сама собой: французский путешественник подметил быстрое охлаждение после первого восторга, характерное для русской интеллигенции, которая легко очаровывается новыми идеями и столь же легко начинает ими тяготиться[36]. Свежие идеи, проникшие в университеты, уже в начале 1870-х получили действенное, а в российской обстановке того времени — революционное содержание. Освобождение крепостных превратило двадцать миллионов русских из рабов в свободных граждан. Перед студентами открылась новая миссия: нести свет позитивизма и материализма в крестьянские массы. Весной 1874 года сотни студентов покинули аудитории и разъехались по стране. Большинство из них были последователями Петра Лаврова, «пропагандистами», взявшими на себя задачу просветить крестьян насчет несправедливости существующего строя в надежде, что обретенное знание побудит крестьянство к действию. Меньшую часть составляли «агитаторы», последователи Бакунина, считавшие, что крестьяне по натуре своей бунтари и что в них немедленно возгорится мятежный дух, едва они поймут, что выступают не в одиночестве. По большей части эти «социалисты-революционеры», участники первого «хождения в народ», все еще надеялись достичь перемен путем просвещения. Но преследования, которым их подвергло правительство, опасавшееся крестьянских волнений, толкнули многих из них на стезю профессиональных революционеров. В 1876 году, когда началось второе «хождение в народ», в России было уже несколько сотен испытанных активистов радикального толка. В университетах и в обществе в целом их поддерживали тысячи симпатизирующих.

Встреча лицом к лицу с «народом» обернулась неожиданным потрясением для радикальной молодежи. «Мужик» оказался не тем, кого они ожидали увидеть, совсем не эдаким «благородным дикарем», погруженным в общинную жизнь, сторонником равноправия и прирожденным анархистом, которого остается только благословить на бунт против царя, помещиков и капиталистов. Это недоумение радикалов отражено в воспоминаниях «пропагандиста» 1870-х годов, который приводит высказывания крестьян: «Насчет земли и у нас-то мало. Курицу некуда выгнать. Да царь даст. Непременно. Никак нельзя без земли. Кому же подати платить-то? Кто казну наполнит? А без казны как державу вести? Земля отойдет к нам! Непре-менно! Вот увидите!» Автор с ужасом отмечает, как крестьяне восприняли радикальную пропаганду: «Как своеобразно преломились наши речи, наши понятия в головах мужиков! Их выводы и сопоставления прямо-таки поразили меня. «У нас за царем куда лучше». Что-то ударило меня в голову, словно гвоздь загнали туда... Вот тебе раз! Плоды пропаганды! Не разрушаем иллюзий, а утверждаем их. Укрепляем старую веру народа в царя»[37].

Это разочарование народом подтолкнуло наиболее решительно настроенных радикалов к терроризму. Если множество утративших иллюзии социалистов-революционеров порвали с движением, а горсточка обратилась к учению немецких социал-демократов, то наиболее стойкое меньшинство решилось действовать иными средствами. В конце 1879 года это меньшинство образовало тайную организацию, назвав ее «Народная воля». Свою миссию тридцать ее полноправных членов, входящих в Исполнительный комитет, видели в борьбе с царским режимом средствами систематического террора: при своем основании «народовольцы» вынесли смертный приговор Александру II. Это была первая политическая террористическая организация в истории, ставшая моделью для всех последующих организаций такого толка не только в России, но и в других странах.

Обращение к терроризму было признанием своей отчужденности. Как впоследствии признавал один из лидеров «Народной воли», для терроризма «нет нужды ни в поддержке, ни в сочувствии страны. Достаточно своего убеждения, своего отчаяния, своей решимости погибнуть. Чем меньше страна хочет революции, тем натуральнее должны прийти к террору те, кто хочет во что бы то ни стало оставаться на революционной почве, при своем культе революционного разрушения»[38].

Своей миссией «Народная воля» объявляла убийство правительственных чиновников с двоякой целью: деморализовать правительство и преодолеть тот священный страх, с каким народ относится к царю. Прокламация Исполнительного комитета гласит: «Террористическая деятельность <...> имеет своей целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные к бою силы»[39].

Конечной целью «Народной воли» был созыв Национального собрания, через которое весь народ мог бы выразить свою волю. «Народная воля» была организацией в высшей степени централизованной: решения Исполнительного комитета считались обязательными для всех ее членов, которые именовались «вассалами». «Вассалы» должны были целиком и без остатка посвятить себя революционному делу и, если потребуется, пожертвовать имуществом и даже жизнью.

Образование «Народной воли» обозначило водораздел в истории русского революционного движения. Прежде всего, насилие признавалось вполне законным оружием политики, тогда как просвещение и убеждение были отброшены как средства негодные и даже пагубные. Но важнее всего другое: революционная интеллигенция присвоила себе право решать, что есть благо для народа. Даже само название

«Народная воля» — обманчивое самонаречение, поскольку вышепоименованный «народ» никогда не только не уполномочивал тридцать интеллигентов говорить от своего имени, но и достаточно ясно дал понять, что ему не по пути с теми, кто выступает против царя. Когда террористы в качестве одной из своих целей выдвигали «поднятие революционного духа народа», они прекрасно представляли, что настоящий народ, то есть те, кто возделывает землю и трудится на фабриках, никаким революционным духом, который следует поднимать, вовсе и не пронизан. Такая позиция революционной интеллигенции несла в себе одну весьма характерную для последующих событий черту: с той поры все русские революционеры — сторонники ли терроризма или противники его, принадлежащие ли к социал-революционной или к социал-демократической партии, — присваивали себе право выступать от имени «народа», то есть некой абстракции, не имеющей ничего общего с реальной жизнью.

Террористическая кампания, развернутая «Народной волей» против правительства, совершенно к этому не подготовленного (в штате Третьего отделения, отвечающего за безопасность государства, насчитывалось столько же сотрудников, сколько было членов Исполнительного комитета), достигла своей ближайшей цели: 1 марта 1881 года жертвой брошенной террористами бомбы пал царь Александр II. Но никакого политического капитала народовольцам это не принесло. Публика в ужасе отшатнулась от злодеев, и радикальное дело потеряло значительную долю сочувствия общества. Правительство отреагировало репрессивными мерами и агентурными операциями, направленными против интеллигенции, что сильно затруднило революционную деятельность. А «народ» так и не поднялся, неколебимый в своей вере, что долгожданную землю даст ему новый царь.

В революционной деятельности наступило десятилетие затишья. Интеллигенты, желавшие служить общему благу, обратились к теории «малых дел», то есть к полезной и незаметной деятельности, нацеленной на поднятие культурного и материального уровня населения через земские учреждения и частные благотворительные общества.

Вновь поднял голову радикализм в начале 1890 года в связи с резким всплеском в развитии российской промышленности и поразившим страну жестоким голодом. Социалисты-революционеры 70-х годов верили, что Россия, где нет необходимых для расцвета капитализма внутреннего и внешнего рынков, пойдет по своему, отличному от Запада пути экономического развития. Русское крестьянство — нищее и в большой мере опирающееся на прибыль от кустарных промыслов (составлявшую одну треть всего крестьянского дохода) — неизбежно разорится и, не в силах противостоять высокомеханизированному фабричному производству, потеряет и ту малую покупательную способность, каковой еще обладает. Что же касается внешних рынков, то ими уже всецело завладели развитые западные страны*. России следует совмещать общинное землевладение с кустарным промыслом. Из этих предпосылок социалисты-революционеры создали учение о «собственном пути», согласно которому Россия перейдет от «феодализма» непосредственно к «социализму», минуя фазу капитализма.

* Эта теория сравнительно недавно получила новое развитие в работах немецкого ученого, утверждающего, что из-за бедности крестьянского населения в дореволюционной России не было условий для развития промышленной экономики, базирующейся на рыночных отношениях: Notzold J. Wirtschaftspolitische Alternativen der Entwicklung Russlands in derAra Witte und Stolypin. Berlin, 1966. S. 193, 204.

Этот тезис получил развитие с помощью аргументов, почерпнутых из работ Маркса и Энгельса. Поначалу Маркс и Энгельс не признавали такого толкования своего учения, но постепенно уступили, признав, что возможны различные пути экономического развития. В 1877 году, в ходе полемики с русскими публицистами, Маркс отказался от утверждения, что каждой стране предстоит повторить экономический опыт Западной Европы. Если Россия вступит на путь капиталистического развития, писал он, тогда, действительно, ничто не спасет ее от «неумолимых законов», но это не означает, что Россия не может избежать этого пути и всех несчастий, которые ее на нем поджидают[40]. Еще несколько лет спустя Маркс написал Вере Засулич, что «историческая неизбежность» капитализма имеет силу для стран Западной Европы и что, поскольку Россия сумела сохранить крестьянскую общину в эпоху капитализма, эта община вполне может стать «точкой опоры социального возрождения России»*. Маркс и Энгельс восхищались террористами из «Народной воли», и, как исключение из их общей теории, Энгельс допускал, что в России революцию может сделать «горстка людей»[41].

Таким образом, прежде чем в России возникло «марксистское», или социал-демократическое, движение, теории его основателей были, с их благословения, истолкованы в применении к самодержавному строю в аграрной стране в том смысле, что революция может совершиться не как неизбежное социальное следствие зрелого капитализма, а посредством террора и государственного переворота.

Небольшая группа, которую возглавил Г.В.Плеханов, не могла согласиться с такой версией марксизма. Эти люди порвали с «Народной волей*, перебрались в Швейцарию, где углубленное изучение литературы немецких социал-демократов привело их к выводу, что у России нет иного выбора, как пройти через стадию зрелого капитализма. Они отвергали терроризм и государственный переворот и даже если допускали маловероятную возможность, что насильственными мерами удастся свергнуть царский режим, то считали: это приведет вовсе не к социализму, для которого у отсталой России нет ни культурных, ни экономических предпосылок, а к «возрожденному царизму на коммунистической основе».

* К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 443—444. По словам Н.Валентинова (The Early Years of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1969. P. 183), это письмо многие годы содержалось в тайне, по всей видимости из-за того, что противоречило взглядам правящей социал-демократии.

Идеи, воспринятые русскими социал-демократами, влекли за собой определенные политические следствия. Развитие капитализма означало рост буржуазии, которая ратовала за либерализацию из соображений экономического характера. Кроме того, это означало и развитие промышленного «пролетариата», подталкиваемого к социализму ухудшающимся экономическим положением и способного поставлять социалистическому движению революционные кадры. Однако то, что русский капитализм развивается в стране с докапиталистической политической системой, требовало особой революционной стратегии. Социализм не мог взрасти в стране, зажатой в железные тиски полицейско-бюрократического режима: ему нужна была свобода слова для пропаганды своих идей и свобода собраний для организации своих сторонников. Иными словами, в отличие от немецких социал-демократов, которые с 1890 года могли действовать в открытую и участвовать во всеобщих выборах, перед русскими социал-демократами вставала первоочередная задача — свержение самодержавия.

Теория двуступенчатой революции, в формулировке соратника Плеханова Павла Аксельрода, предполагала сотрудничество «пролетариата [читай: интеллигентов-социалистов] с буржуазией ради достижения общей цели: установления в России "буржуазной демократии"». Когда же эта ближайшая цель будет достигнута, социалисты сплотят рабочий класс, чтобы приступить ко второй, социалистической фазе революции. В свете этой теории все, что способствовало развитию капитализма в России и служило интересам буржуазии, было — на данном этапе — прогрессивным и благоприятствовало социалистическому движению.

Последнее десятилетие XIX века протекало в яростных спорах между представителями двух лагерей радикализма относительно экономического (за которым подразумевалось политическое) будущего России. Одна группа, в 1902 году образовавшая партию социалистов-революционеров (эсеров), придерживалась традиционной теории «особого пути» и «прямой» борьбы, то есть терроризма. Их противники, социал-демократы, верили в неизбежность наступления капитализма и в политическую либерализацию России. Обе эти группы имели множество расхождений по стратегическим и тактическим вопросам, которые мы опишем ниже, но их объединяла одинаковая приверженность революционной цели. В начале 1900-х годов каждая из этих партий насчитывала в своих рядах несколько тысяч сторонников, практически все они были представителями интеллигенции — в большинстве студенты университетов или исключенные в свое время из учебных заведений. Они и составляли кадры профессиональных революционеров, то есть людей, единственным занятием которых в жизни была революционная деятельность. Они прилежно изучали социальные и экономические условия, благоприятствующие или препятствующие достижению их целей, и из-за рубежа и даже из тюрем и ссылок вели непрерывную полемику со своими политическими противниками.

Описание профессиональных революционеров, сделанное французским публицистом Жаком Эллюлем, вполне подходит и к российскому воплощению этого типа людей, которые «проводят свои дни за изучением и формулированием теории революции, а случается, и за агитацией. Они живут революцией не только интеллектуально, но и материально... Маркс был типичным представителем таких профессиональных революционеров, людей вполне праздных, настоящих «рантье от революции». Они проводят большую часть жизни в библиотеках и клубах. Они не готовят непосредственно революцию. Они анализируют распад общества, классифицируют благоприятные для революции условия. Но когда революция разражается, тогда их теоретическая подготовка позволяет им играть в ней решающую роль, тогда они превращаются в ее руководителей, организаторов. Это не те люди, которые вызывают смуту, они любят порядок: едва переполох стихает, реорганизуют структуры, к чему они интеллектуально подготовлены, но самое главное, они известны публике как специалисты по революциям. Поэтому, совершенно естественно, они приходят к власти».*

* Ellul J. Autopsie de la Revolution. P., 1969. P. 69. Эллюль признает, что Ленин представляет новый тип революционного деятеля.

* * *

Российские политические партии стали формироваться на переломе веков.

Партия социалистов-революционеров, образовавшаяся в 1902 году, была и на словах и на деле самой радикальной из всех, с уклоном к анархизму и синдикализму и с неизменным пристрастием к терроризму[42]. Социал-демократы основали свою партию на подпольном съезде в Минске в 1898 году. Однако тогда полиции стало известно об их собрании и его участники были арестованы. Настоящий отсчет деятельности Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) надо вести со II съезда, состоявшегося пять лет спустя, в Бельгии и Англии.

Либералы основали свою собственную, Конституционно-демократическую партию, известную также

как Партия народной свободы, в октябре 1905 года.

Во главе всех этих партий стояли интеллигенты, и хотя социалисты называли либералов «буржуями», а большевики клеймили своих социалистических противников «мелкобуржуазностью», никаких четких различий в социальной принадлежности лидеров этих трех основных оппозиционных партий не было. Боролись они в основном за один и тот же круг сторонников, и пусть либералы стремились избежать революции, которую готовили социалисты, в своей стратегии и тактике они не гнушались революционных методов и пользовались плодами террористической активности социалистов.

В российском либерализме господствовали интеллигенты с ярко выраженной левой ориентацией: это движение носило радикально-либеральный оттенок. Конституционные демократы (кадеты), хранили верность традиционным либеральным ценностям: демократические выборы, парламентское управление, свобода и равенство всех граждан, уважение к закону. Но действуя в стране, где подавляющее большинство населения не имело ни малейшего представления об этих заморских благах и где социалисты постоянно подстрекали к революции, они сочли необходимым занять более радикальную позицию.

Партия социалистов-революционеров была старшей из двух социалистических партий, ибо вела происхождение от «Народной воли». Платформа эсеров содержала три основных пункта: антикапитализм, терроризм и социализация земли. Как и социалисты-революционеры 1870—1880-х, эсеры придерживались теории, «особого пути». Они не могли совершенно игнорировать весьма наглядный рост капитализма в России после 1890 года, в его индустриальном и финансовом проявлениях, но утверждали, что это феномен искусственный и преходящий, что самим своим успехом капитализм подрывает свои основы, ибо, разоряя деревню, лишает себя основного рынка. Они отводили буржуазии определенную роль в революционном процессе, хотя вообще считали ее служанкой самодержавия. Освобождение России, утверждали они, будет достигнуто вооруженным действием масс в городах и селах.

Так как социалисты-революционеры не могли рассчитывать, что буржуазия возглавит политическую борьбу или даже примкнет к ней, эта задача возлагалась на интеллигенцию. Свою миссию интеллигенция могла исполнить наилучшим образом посредством актов политического терроризма, цель которого та же, что была сформулирована «Народной волей», — то есть подрыв престижа правительства в глазах населения и подстрекательство к бунту. Терроризм был центральным пунктом программы эсеров. Для эсеров это было не просто политической тактикой, но и некоторым духовным актом, почти религиозным ритуалом, в котором террорист, отнимая чужую жизнь, жертвует своей. Эсеровская литература содержит удивительно варварские восхваления «святого дела», «творческого порыва» и «вершин человеческого духа», достигаемых, как они утверждали, в их кровавом деле[43]. Террористическими акциями непосредственно руководила подпольная «Боевая организация», которая «приговаривала к казни» деятелей правительства. Но эсеровские ячейки на местах и отдельные члены организации шли на политические убийства и по личной инициативе. Первой акцией политического террора, которую организовали эсеры, стало убийство в 1902 году министра внутренних дел Д.С.Сипягина. В дальнейшем, до самого своего разгрома, последовавшего в 1908—1909 годах, Боевая эсеровская организация осуществила тысячи политических убийств.

Дерзкие террористические подвиги эсеров, часто кончавшиеся гибелью террориста, снискали им восхищение в оппозиционных кругах, включая и те, что формально были против терроризма. А социал-демократы, отвергавшие такую тактику, несли чувствительные потери, когда, увлеченные образом «истинных революционеров», их приверженцы переходили в чужой стан[44].

Социальная программа эсеров сосредоточивалась на «социализации» земли, что требовало отмены частной собственности на землю и передачи заведования ею местным органам самоуправления: то есть обеспечения каждому гражданину, способному и желающему возделывать землю, права на получение пригодного надела. Эсеры переняли крестьянский лозунг «черного передела» об экспроприации и распределении между общинами всех частновладельческих земель. Эта программа, отражавшая чаяния сельского населения православной России, обеспечила эсерам поддержку чуть ли не всего крестьянства. А социал-демократы, с их значительно более скромными требованиями в пользу крестьянства и общим презрением к мужику, приверженцев в деревне не находили.

Хотя основную опору эсеры имели в деревне, они не отворачивались и от промышленных рабочих: в своей программе они описывали пролетариат как существенный элемент революции и допускали переходный период «пролетарской революционной диктатуры»[45]. В отличие от социал-демократов эсеры не считали рабочих и крестьян разобщенными и враждебными друг другу классами. Теоретики эсеров, из которых самым выдающимся был Виктор Чернов, определяли классы не по отношению к средствам производства, а по отношению к источникам дохода. Согласно этим меркам, общество составляют два класса: эксплуатируемые, или «труженики», — то есть те, кто зарабатывает на жизнь своим трудом, и эксплуататоры — те, кто живет за счет чужого труда. Ко второй категории они относили помещиков, капиталистов, чиновничество и духовенство, к первой — крестьян, рабочих и самих себя — интеллигенцию. Крестьянин, работающий на себя, был для них «тружеником» и естественным союзником рабочего. Не совсем ясно они представляли себе, как быть с промышленными предприятиями в послереволюционном обществе, и им трудно было привлечь на свою сторону рабочих.

Партия эсеров, исповедовавшая достаточно крайние настроения, имела еще более экстремистское крыло — так называемых максималистов. Эта немногочисленная группа хотела дополнить политический терроризм «экономическим», направленным против помещиков, заводчиков и фабрикантов. На практике их

деятельность сводилась к бессмысленному «бомбометанию», как это было, например, в случае покушения на премьер-министра Столыпина в 1906 году, когда во время взрыва на даче погибли десятки неповинных людей. Для финансирования своих операций максималисты прибегали к ограблению банков, уклончиво называя это «экспроприацией», приносившей им, впрочем, миллионные трофеи. (В этих «эксах», как мы увидим, участвовали иногда и большевики.) Из брошюры И.Павлова «Очистка человечества», легально опубликованной в 1907 году в Москве, очевидно, что в этом движении максималистов было что-то маниакальное. Павлов утверждает: «эксплуататоры» не просто социальный класс, но «раса вырожденцев», которая «морально отличается от наших животных предков в худшую сторону; в ней гнусные свойства гориллы и оранга прогрессировали и развились до неведомых в животном мире размеров». А так как эта «раса» передает пагубные черты и своим потомкам, все ее представители, включая женщин и детей, подлежат истреблению[46]. Эсеровская партия формально не одобряла позиций максималистов и Союза социалистов-революционеров максималистов, основанного в 1906 году, но на практике сумела примириться с их крайностями.

Эсеры были довольно слабо организованы, во многом из-за того, что полиция, первоочередной задачей которой было предотвращение террористических актов, научилась мастерски проникать в партийные ряды и опустошать их. (По свидетельству основателя эсеровского террористического аппарата ГА.Гершуни, за выдачу члена Боевой организации охранка платила вознаграждение в размере 1000 руб., за эсера из интеллигентов — 100 руб., за эсера из рабочих — 25 руб., тогда как за социал-демократа — не больше трешки[47].) Партийные ячейки заполняли студенты: в Москве они составляли не менее 75% эсеровских активистов[48]. В деревне самыми верными сторонниками эсеров были сельские учителя. Пропаганда и агитация, выражавшаяся главным образом в распространении брошюр и листовок, похоже, не много преуспела в разжигании антиправительственных настроений, так как, по крайней мере до 1905 года, крестьяне продолжали верить, что землю, о которой они столько мечтали, им дарует царь.

О социал-демократической партии мы поговорим подробнее позже. Здесь будет достаточным отметить лишь некоторые черты этой партии, повлекшие важные политические последствия в первые годы нового века. В отличие от эсеров, которые делили общество на «эксплуататоров» и на «эксплуатируемых», социал-демократы определяли классы по отношению к средствам производства и рассматривали рабочий класс («пролетариат») как единственный истинно революционный класс. Крестьянство, за исключением батраков, они считали классом «мелкобуржуазным», а значит, реакционным. С другой стороны, буржуазия была для социал-демократов временным союзником в совместной борьбе против самодержавия. Капитализм, с их точки зрения, был неизбежен и прогрессивен. Терроризм социал-демократы отвергали на том основании, что он отвлекает от первоочередной задачи социалистов — организации рабочих, хотя плодами террора охотно пользовались.

Социальная принадлежность лидеров (так же, как и рядового состава) этих двух социалистических партий не обнажает существенных различий[49]. И там и тут руководители вышли из дворян или среднего сословия (мелкая буржуазия, служащие) — то есть из той же социальной среды, что и руководители либеральной партии. В высшем руководстве эсеровской партии было на удивление много деятелей из семей миллионеров, например В.М.Зензинов, Абрам Гоц, И.И.Фондаминский[50]. При всех заверениях в любви к крестьянству эсеры не допускали их в высшее руководство, а у социал-демократов, назвавших себя партией рабочего класса, в высших эшелонах было всего несколько представителей рабочих[51]. В беспокойные периоды (1905—1906 и 1917 годы) обе партии полагались главным образом на обретающихся в городах, утративших корни и набравшихся городских манер бывших крестьян. Психологически и экономически беззащитные, некоторые из них примыкали к социалистам, тогда как другие пополняли ряды «черной сотни», громившей студентов и евреев. По словам социал-демократа П.П.Маслова, «по существу деятельность местных групп партии с.-ров мало отличалась от деятельности социал-демократов. Организации той и другой партии состояли обыкновенно из небольшой группы интеллигентов, составлявших комитет, мало связанных с массами и смотревших на массу главным образом как на материал для политической агитации»[52].

* * *

Российских либералов лишь отчасти можно причислить к интеллигенции. Они не разделяли основной философской предпосылки радикалов, то есть веру в возможность усовершенствования человека и общества. И их цели не отличались от целей западных либералов. Однако по своей тактике и стратегии русские либералы были очень близки к радикалам: как любил хвастаться Павел Милюков, их политическая программа «наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы»[53]. Иван Петрункевич, другой видный кадет, считал, что российские «либералы, радикалы и революционеры» различались не политическими целями, а темпераментом»[54].

Эти левацкие настроения либералов были продиктованы двумя соображениями. Либералы, адресуясь к избирательским массам, вынуждены были соперничать с радикальными партиями, которые тоже стояли на более левых позициях, чем их европейские собратья, давая самые беззастенчивые и утопические обещания своим избирателям. Либералам пришлось принять этот вызов. Чтобы лишить социалистов их козырей, либералы разработали радикальную социальную программу, в которую входило требование об

экспроприации многоземельных имений (с компенсацией «по справедливости», а не по рыночной стоимости), а также церковных и государственных владений для распределения крестьянам*. Их платформа включала также создание обширной программы социального обеспечения. Они оставались глухи к призывам умерить свои требования, боясь скомпрометировать себя в глазах народных масс и проиграть социалистам.

* Ингеборг Флайшхауер (Cahiers du Monde Russe et Sovietique. XX. No. 2. 1979. P. 173—201) обращает внимание на большое сходство аграрных программ кадетов и немецких социал-демократов.

Но еще более серьезными были соображения тактического характера. Чтобы вырвать у самодержавия сначала конституцию и законодательный парламент, а затем парламентскую демократию, либералам нужен был мощный рычаг. И такой рычаг ими был найден — угроза революции. В 1905— 1907 и, снова, в 1915— 1917 годах они убедили монархию пойти на политические уступки — в попытке избежать еще больших неприятностей. Партия хранила скромное молчание относительно эсеровского террора, который, согласно их либеральным принципам, им бы следовало открыто осудить.

Таким образом, политическая тактика кадетов была довольно суетливой и двусмысленной — страх перед революцией и использование этого страха, как оказалось, таили в себе грубейшую ошибку: игра на революционной угрозе в немалой степени способствовала подготовке именно того, чего либералы более всего желали избежать. Но осознали они это, когда уже было поздно что-либо изменить.

Хотя либералы были умеренней социалистов, правительству они доставляли больше хлопот, в силу того, что в их рядах состояли весьма заметные в обществе фигуры, которые могли свободно заниматься политикой под маркой своей легальной профессиональной деятельности. Для полиции верной и легкой добычей были студенты-социалисты. Но кто осмелился бы хоть пальцем тронуть, скажем, князя Шаховского или князя Долгорукова, даже если они занимались организацией подрывной партии? И как можно было вмешаться в собрания врачей или юристов, даже если было широко известно, что там обсуждаются запрещенные темы? Это отличие в социальном положении объясняет, почему руководящие органы либералов могли действовать непосредственно в России, практически не испытывая полицейского давления, тогда как эсерам и социал-демократам приходилось руководить деятельностью своих партий из-за рубежа. Это же объясняет и то, почему и в 1905 ив 1917 годах либералы первыми вступали на политическую сцену, опережая на несколько недель своих соперников-социалистов.

Русское либеральное движение имело две основные точки опоры: земства и интеллигенцию.

Земства избирались на основании выборных правил, обеспечивавших солидное представительство поместного дворянства, считавшегося тогда твердой опорой монархии. Земства действовали на уездном и губернском уровне, но правительство не позволяло им формировать общенациональную организацию, опасаясь, что в результате к ним перейдут квазипарламентские функции. Избранные в земское правление представители тяготели либо к либерально-конституционным взглядам, либо к славянофильско-консервативным, но и в том и в другом случае они не симпатизировали самодержавию и бюрократическому управлению, а в равной мере и не принимали революционную идею. Состоящие на земской службе агрономы, врачи, учителя и т.д. (так называемый «третий элемент») были настроены более радикально, но тоже не поддерживали революцию.

При должном подходе земства могли бы помочь укреплению монархии. Однако консерваторы в бюрократических структурах, в особенности в министерстве внутренних дел, с нескрываемым раздражением относились к земской деятельности, видя в ней назойливое вмешательство в чужие, дела и помеху губернской администрации. Под влиянием консерваторов Александр III в 1890 году ограничил права земств, предоставив губернаторам широкие полномочия по надзору за земскими штатами и деятельностью.

Обеспокоенные давлением со стороны властей, земские лидеры в 1890-х годах провели неофициальные всероссийские съезды, выдавая их за профессиональные и научные конференции. В 1899 году они пошли еще дальше, учредив в Москве кружок под названием «Беседа». Участники кружка занимали достаточно высокое социальное и служебное положение, что вынуждало полицию смотреть сквозь пальцы на их собрания, проходившие в московском особняке князей Долгоруковых[55].

В июне 1900 года правительство ввело новые ограничения на компетенцию земств — на сей раз в налоговой сфере. Правительство потребовало также отстранить от службы тех земских деятелей, которые особенно активно выступали за конституционные реформы. В ответ на это «Беседа», до сей поры посвящавшая свои дискуссии исключительно земским делам, обратилась к широким политическим проблемам. Многих земцев гонения со стороны правительства поставили перед проблемой: имеет ли смысл продолжать «конструктивную», аполитичную работу при строе, в котором главенствуют бюрократия и полиция, готовые задушить всякое проявление инициативы снизу. Эти сомнения еще более усугубились после опубликования в 1903 году в Германии конфиденциальной записки Витте, в которой автор доказывал, что земства несовместимы с самодержавием.

В 1901 году ряды земцев-конституционалистов пополнились небольшой, но влиятельной группой интеллигенции, порвавшей с социал-демократами из-за их невыносимой политической партизанщины и догматизма. Самой заметной фигурой в этой группе был П.Б.Струве, автор основного манифеста социал-демократической партии и один из выдающихся ее теоретиков. Струве и его друзья предложили сплотиться

в национальный фронт всем партиям — от крайне левых до умеренно правых — под лозунгом «Долой самодержавие». Эмигрировав в Германию, Струве при поддержке друзей-земцев основал там в 1902 году журнал «Освобождение». В этом журнале печаталась информация, не дозволенная цензурой на родине, — включая секретные правительственные документы, предоставляемые симпатизирующими из чиновных кругов. Переправленные в Россию, эти издания способствовали созданию организации «освобожденцев», из которой впоследствии образовалась партия кадетов. В 1903 году был основан «Союз освобождения», выступавший за установление конституционного строя и гражданские права. Его ответвления в разных городах привлекали к себе и умеренных, и социалистов, в особенности социалистов-революционеров. (Социал-демократы, настаивавшие на своей «гегемонии» в борьбе против режима, от сотрудничества отказывались.) Все эти кружки, действовавшие полулегально, внесли немалый вклад в создание атмосферы недовольства существующим строем[56].

Рядовой состав либерального движения был очень разношерстен. Партия кадетов, которая в 1906 году насчитывала 100 тыс. членов — в несколько раз больше, чем все социалистические партии, вместе взятые, — опиралась на гораздо более широкие круги общества, чем их соперники слева, привлекая в свои ряды многих творческих людей, мелкое чиновничество, купечество. Либеральную интеллигенцию представляли главным образом профессионалы: университетские преподаватели, юристы, врачи, журналисты, но не студенты, пополнявшие ряды социалистов[57].

* * *

В начале XX века очень многие в России жаждали глубоких перемен. Добрую их долю составляли «профессиональные революционеры» — новая порода людей, посвятивших жизнь подготовке политического насилия. Они и их приверженцы могли бесконечно спорить, расходясь друг с другом в вопросах тактики. Но в главном они были единодушны: нет и не может быть никакого примирения и компромисса с существующим общественным, экономическим и политическим строем — он должен быть свергнут и разрушен до основания, и не только в России, но и во всем мире. Влияние этих экстремистов было так велико, что их чары испытали на себе даже российские либералы. И конечно, ограниченные политические уступки, провозглашенные Октябрьским манифестом, удовлетворить их не могли ни в коей мере.

Такие настроения интеллигенции создавали серьезную угрозу возникновения перманентной революции. Ведь для революционера революция — что для адвоката судебное разбирательство или для бюрократа — бумажная волокита. Во всяком случае, в интересах самой профессии — создавать ситуации, требующие вмешательства профессионала. И то, что интеллигенция отвергла путь примирения с официальными кругами, что она обостряла недовольство и противилась реформам, делало маловероятным мирный исход российских противоречий.

ГЛАВА ПЯТАЯ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Октябрьский манифест открывал путь к ослаблению возникшей в отношениях между государством и обществом в России напряженности. Однако цели своей он не достиг. Ведь конституционный строй может успешно существовать лишь при условии, что и правительство, и оппозиция принимают правила игры, в России же к этому не были готовы ни монархия, ни интеллигенция. И та и другая отнеслись к новому порядку как к помехе или отклонению от верного пути, который первая видела в самодержавии, а вторая — в демократической республике. В результате конституционный эксперимент, хотя и имел определенные положительные последствия, в целом провалился.

Подписывая манифест, Николай II смутно сознавал: документ таит в себе «конституцию». Но ни сам он, ни его советники ни умом ни сердцем не были готовы признать, что конституция означает ограничение самодержавия. Хотя отныне, объявлялось в манифесте, ни один закон не будет принят без одобрения избранного народом законодательного органа, двор, как видно, не понимал, что такое обещание подразумевает принятие конституции. По свидетельству Витте, лишь два месяца спустя Трепов поставил вопрос о необходимости такого документа[1]. Даже в тексте изданной в апреле 1906 года конституции составители тщательно избегали самого слова «конституция», воспользовавшись традиционным названием «Основные законы», как прежде называлась первая часть общего Свода законов.

Николай II не считал ни Октябрьский манифест, ни Основные законы чем-то ущемляющим его самодержавные прерогативы. В его представлении Дума была органом консультативным, а не законодательным («Я создал Думу не для того, чтобы она мной управляла, а чтобы она мне советовала», — говорил он военному министру)[2]. Более того, он полагал, что, «даровав» Думу и Основные законы по своей воле, никак не может быть связан ими и, коль скоро не присягал новому порядку, вправе и отменить его по своему желанию[3]. Очевидное противоречие между сущностью конституционного строя и упорным нежеланием двора признать перемены приводило к поразительным ситуациям. Так, даже П.А.Столыпин, более всех в России достойный называться истинным парламентским премьер-министром, утверждал в

частной беседе, что в России нет конституции, ибо такой документ должен явиться результатом соглашения между правителями и подданными, тогда как Основные законы царем были попросту дарованы. На его взгляд, российское правительство было не «конституционным», а «представительным», и единственными ограничениями царской власти могли быть лишь те, что сочтет нужным на себя наложить сам царь[4]. А что можно сказать о В.Н.Коковцове, преемнике Столыпина на посту председателя Совета министров, который, обращаясь к Думе, заявил: «У нас, слава Богу, нет еще парламента»[5].

Англичанин Морис Бэринг по личным впечатлениям 1905— 1906 годов пришел к выводу, что российская бюрократия хотела бы в идеале иметь «парламентские институты и самодержавное правительство» одновременно. В России по этому поводу иронично замечали: царь «готов дать конституцию, только бы при этом сохранилось самодержавие»[6]. Если допустить, что столь противоречивая ситуация может вообще иметь разумное объяснение, то искать его, вернее всего, следует в традиционных консультативных органах, существовавших в Московской Руси, так называемых Земских соборах, которые созывались время от времени, чтобы подать царю ни к чему его не обязывающий совет. Хотя, разумеется, согласно Октябрьскому манифесту и Основным законам 1906 года, Дума была органом законодательным, а не консультативным, так что аналогия с прошлым правомочна разве на психологическом уровне.

Поведение царского правительства при конституционном строе невозможно понять, не учитывая настроений разнообразных монархических группировок, считавших Октябрьский манифест чуть ли не трюком, который сыграли с царем Витте и будто бы стоящие за его спиной евреи. Монархистам тоже манифест и Основные законы вовсе не казались чем-то непреложным и необратимым — что царь даровал, то он может и отнять. Группировки эти, состоявшие главным образом из землевладельцев (многие из западных областей), публицистов правого толка, духовенства, а также сочувствующей им мелкой буржуазии, исповедовали весьма примитивную идеологию, базирующуюся на двух принципах: самодержавие и Россия для русских. И все их мировоззрение все более и более сводилось к оголтелому антисемитизму, к видению причин всех бед русского народа в евреях: евреи-нехристи хотят прибрать к рукам весь мир. Самой влиятельной из этих группировок был «Союз русского народа», устраивавший патриотические демонстрации, издававший злобную антисемитскую литературу и время от времени организовывавший еврейские погромы, не гнушаясь помощью головорезов из черносотенцев. Это крайне правое крыло, во многом предвосхитившее немецких национал-социалистов 1920-х годов, при истинно демократических выборах едва ли получило бы хоть одно место в Думе. И своим неправомерно широким влиянием эти группировки были обязаны сочувствию правящей верхушки и наиболее консервативных государственных деятелей. Именно они поддерживали в царской семье веру в неколебимую преданность народа династии Романовых и идеалам самодержавия[7].

Наиболее либеральные представители бюрократии были бы согласны вручить некоторую ограниченную власть представительному органу. По свидетельству чиновника высокого ранга, мысль о представительном институте, с которым можно разделить ответственность (если не власть), «непрерывной нитью» тянулась к правительственным кругам[8]. Подоплеку этих настроений вскрыл кайзер Вильгельм II в письме царю в августе 1905 года в связи с учреждением так называемой Булыгинской думы: «Твой манифест, предписывающий образование «Думы», произвел прекрасное впечатление в Европе... Ты сумел глубоко заглянуть в сознание своего Народа и возложил на него часть ответственности за будущее, которую он, по-видимому, был бы рад взвалить на тебя одного и тебе одному выражать все недовольство»[9].

Но с точки зрения бюрократии, о таких достоинствах парламента можно говорить, только если его ограничить чисто церемониальными функциями. В.А.Маклаков так описывал взгляды весьма близкого ко двору министра И.Л.Горемыкина накануне открытия Первой думы: «Что касается Думы, то она была для него не более чем усложнением законодательной процедуры. И это усложнение казалось ему по существу ненужным; но однажды на свое несчастье ее создав, он должен был свести ее к минимуму. Это было нетрудно. План правительства в отношении Думы был прост. Для начала было достаточно, чтобы депутатам была оказана честь быть принятыми императором; затем будут утверждены их мандаты и выработаны правила. Затем наступит перерыв, который нужно объявить как можно скорее; таким образом заседания отложатся до осени. Потом наступит этап обсуждения бюджета. Практические нужды сами дадут себя знать, лихорадка спадет, порядок восстановится, и все останется как прежде»[10].

Не все царские министры рассуждали подобным образом. Столыпин, в частности, пытался войти в настоящее сотрудничество с Думой. Однако Горемыкин точнее отразил настроения, царившие при дворе и среди консерваторов, — эти настроения препятствовали эффективному парламентскому управлению в тот момент, когда самодержавное правительство оказалось бессильно. Словно желая показать, какие чувства он питает к Думе, Николай отказывался переступить ее порог, предпочитая принимать депутатов в Зимнем дворце*.

* Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны 1914—1917. Л., 1967. С. 169. Николай II впервые самолично появился в Думе в феврале 1916 года, через десять лет после ее учреждения, во время серьезного политического кризиса, вызванного поражениями России в ходе первой мировой войны.

Позднее, после революции, некоторые государственные деятели царского аппарата оправдывали нежелание самодержавия делиться властью с Думой тем доводом, что российское «общество»,

представленное интеллигенцией, было неспособно управлять страной — установление парламентского правления в 1906 году только приблизило бы разгул анархии, начавшийся в 1917-м [11] Но деятели, оказавшиеся в эмиграции, были крепки, что называется, задним умом: в свое время консервативно-либеральная парламентская коалиция в сотрудничестве с монархией и ее аппаратом могла бы быть гораздо эффективней, чем в марте 1917 года, когда после отречения царя у нее не было иного выхода, как искать поддержки у революционной интеллигенции.

Если бы русская интеллигенция в политическом смысле была более зрелой — то есть более терпеливой и лучше разбирающейся в психологии правящих кругов монархии, — России, возможно, удалось бы совершить упорядоченный переход от полуконституционного к полноценному конституционному строю. Но этих качеств просвещенному сословию, к несчастью, не хватало. С того дня, как конституция вступила в силу, они использовали любую возможность развязать войну против монархии. Радикально настроенные интеллигенты отвергали сам принцип конституционной монархии и парламентского управления. Сначала они бойкотировали выборы в Думу, потом, осознав ошибочность этого шага, приняли участие в выборах, но с одной лишь целью разрушать парламентскую работу и изнутри призывать народ к бунту. Партия кадетов в этом отношении была лишь немногим более конструктивна. Либералы, признав принцип конституционной монархии, считали при этом Основные законы 1906 года маскарадом и делали все, что было в их силах, чтобы лишить монархию действенной власти*.

* Между депутатами первых двух российских Дум и теми, кто составлял Французскую Национальную Ассамблею в 1789—1791 годах, существует важное различие. Русские депутаты были в подавляющем большинстве интеллектуалами, не обладающими никакими практическими навыками. Третье сословие, главенствовавшее в Генеральных штатах и Национальной Ассамблее, напротив, состояло из практикующих юристов и дельцов, «людей действия и дела» (Thompson J.M. The French Revolution. Oxford, 1947. P. 26—27).

В результате традиционные разногласия между властями и интеллигенцией не ослабли, а только более усугубились, так как теперь появилась свободная трибуна, где находили выход их эмоции. П.Б.Струве, с беспокойным чувством взиравший на эту борьбу, понимая, что она неизбежно окончится катастрофой, писал: «Русская революция и русская реакция как-то безнадежно грызут друг друга и от каждой новой раны, и от каждой капли крови, которыми от обмениваются, растет мстительная ненависть, растет неправда русской жизни»[12].

* * *

Специалистам, призванным правительством для составления новых Основных законов, было наказано создать документ, который бы исполнил обещания Октябрьского манифеста и при этом сохранил большинство традиционных прерогатив российского самодержавия[13]. С декабря 1905 года до окончания работы в апреле 1906-го было выработано несколько черновых вариантов, которые обсуждались и пересматривались на заседаниях кабинета, иногда под председательством царя. В конечном счете был принят консервативный вариант — консервативный и в смысле избирательного законодательства и в смысле доли власти, оставленной в руках монархии.

Избирательный закон был выработан собранием государственных чиновников и народных представителей. Основной вопрос сводился к тому, вводить ли равное и прямое голосование или принять систему непрямого голосования по сословному цензу через выборных представителей[14]. Следуя рекомендациям бюрократии, было решено принять систему непрямых выборов по сословиям с тем, чтобы уменьшить долю тех избирателей, которые предположительно отдали бы голоса за более радикально настроенных избранников. Устанавливалось четыре избирательных курии: дворянская, городская, крестьянская и рабочая, причем последней предоставлялось право голоса, которого лишал ее проект Булыгина. Выборное право было устроено так, что один голос дворянства приравнивался к трем голосам мещан, 15 крестьян и 45 рабочих[15]. Повсюду, кроме больших городов, избиратели отдавали голоса за выборных, которые, в свою очередь, избирали либо других выборных, либо сразу депутатов Думы. Такое положение о выборах не отвечало демократическим принципам, за которые боролись либеральные и социалистические партии, призывавшие к «четыреххвостым» выборам — всеобщему, прямому, равному и тайному голосованию. Правительство же надеялось, что, снизив число городских выборов, получит послушную Думу.

Пока шла работа над составлением конституции, правительство выпускало законы, обеспечивающие гражданские права, обещанные манифестом[16]. 24 ноября 1905 года была упразднена цензура для периодической печати — отныне газеты и журналы, опубликовавшие материал, расцененный властями как подстрекательский или клеветнический, отвечали только перед судом. Хотя во время первой мировой войны некоторая предварительная цензура была возобновлена, все же можно сказать, что после 1905 года в России была полная свобода печати, что давало волю критиковать власти без каких бы то ни было ограничений. Законы, изданные 4 марта 1906 года, гарантировали свободу собраний и союзов. Гражданам позволялось устраивать собрания, о чем они по закону должны были заблаговременно — за 72 часа — известить начальника местной полиции; во время собраний на открытом воздухе надлежало соблюдать определенные

правила. Для образования союза также требовалось предварительно поставить в известность о том власти: если в течение двух недель не возникало никаких возражений, организаторы союза вправе были осуществить свои замыслы. Этот закон давал возможность образовывать профсоюзы и политические партии, однако на практике власти часто под тем или иным предлогом разрешения не давали*.

* М.Шефтель утверждает, что правительство никаких оппозиционных политических партий вплоть до своего падения в 1917 году не санкционировало (The Russian Constitution of April 23, 1906. Brussels, 1976. P. 247).

Такого объема гражданских прав и свобод российская история еще не знала. Однако бюрократия находила способ обходить новые законы, воспользовавшись положениями закона от 14 августа 1881 года, который давал право губернаторам брать губернии под «охрану» и который значился в Своде законов вплоть до 1917 года. В период конституционного строя на огромных пространствах Российской империи был применен этот закон, и, таким образом, для жителей многих областей было приостановлено действие гражданских прав, в том числе свободы собраний и союзов[17].

Новые Основные законы, опубликованные 26 апреля в разгар выборов в Думу, были весьма любопытным документом. Составленные таким образом, чтобы как можно менее отклоняться от традиционных Основных законов, они делали главное ударение, как и до 1905 года, на правах и прерогативах царя. Положения же, относящиеся к законодательным органам, носили оттенок некоторой назойливой оговорки, возникшей и вписанной задним числом. Чтобы внести ясность в путаницу старых и новых законов, монарха по-прежнему именовали «самодержцем», следуя старинной формуле, установленной еще при Петре I: «Статья 4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает»[18].

Традиционно соответствующая статья описывала власть царя как самодержавную и неограниченную. Второе определение сейчас опустили, но это мало что значило, потому что в современном русском языке уже само слово «самодержец» — в петровские времена означавшее «государь», то есть независимый от иных властей, — приобрело смысл «ничем не ограниченный властитель».

России был дарован двухпалатный парламент. Нижняя палата — Государственная дума — состояла целиком из народных представителей, избранных согласно описанным выше положениям. Верхняя палата — Государственный совет — представляла собой тот же самый институт, который под этим же самым названием уже с 1802 года был предназначен превращать высочайшие распоряжения в законы и который состоял из назначаемых должностных лиц и представителей общественных институтов (церкви, земств, дворянских собраний и университетов). Верхняя палата по отношению к Думе должна была служить тормозом. Поскольку в октябрьском манифесте не было речи о Государственном совете, либералы усматривали в его создании нарушение обещаний.

Всякий указ должен был получить, помимо одобрения царя, еще и согласие обеих палат, а Государственный совет, как и царь, мог налагать вето на законодательные акты, исходящие из нижней палаты. Кроме того, через обе палаты должен был ежегодно проходить государственный бюджет — очень мощная прерогатива, которая в западных демократиях помогала контролировать исполнительную власть. Однако в России финансовую власть парламента подтачивало положение, согласно которому из ведения парламента изымались решения о выплатах государственного долга, расходах на царский двор и «чрезвычайные кредиты».

Парламент пользовался правом «интерпелляции», то есть мог потребовать от любого министра официального ответа на свой запрос. Если депутаты Думы сомневались в правомочности действий правительства — и только в этом случае, — соответствующий министр (или министры) должен был предстать перед думским собранием и объясниться. Хотя у законодательного органа не было права обсуждать вопросы, касающиеся генерального политического курса, ибо это позволило бы выражать недоверие министрам, право «интерпелляции» служило мощным рычагом ограничения бесконтрольных действий двора и министров.

В определенном смысле самыми существенными прерогативами нового парламента были свобода выступлений и парламентская неприкосновенность его членов. С апреля 1906 года по февраль 1917-го Дума служила трибуной беспрепятственной и часто весьма несдержанной критики режима. И это, возможно, гораздо сильнее подрывало престиж русского правительства в глазах народа, чем все выпады революционеров, ибо лишало правящую верхушку ореола всеведения и всемогущества, который они изо всех сил стремились сохранить.

К неудовольствию оппозиции за двором оставалось право назначать министров. Это положение менее всего устраивало либералов, желавших составить кабинет из своих людей, и оказалось самой напряженной точкой в отношениях между правительством и оппозицией в последнее десятилетие монархии. В этом вопросе либералы не шли на компромисс: проявленная в 1915—1916 годах готовность правительства воспринять американскую модель назначения министров, устраивающих парламент, не встретила отклика с их стороны; Николай II, в свою очередь, категорически отказывался предоставить Думе право назначать министров, так как был уверен, что ставленники Думы только заварят кашу, а затем уйдут от ответственности.

За двором сохранялось также право объявлять войну и заключать мир.

Существенно и то, что правительство не выполнило обещаний, данных Октябрьским манифестом относительно обеспечения «выборным от народа действительного участия в надзоре за закономерностью действий» властей. Помимо права интерпелляции, ограничивавшего бесконтрольную деятельность государства, но не дававшего возможности влиять на его политику, у парламента не было никаких рычагов для контроля бюрократии. И правящие круги, включая полицию, оставались на практике неуязвимы перед требованиями закона. Управленческий корпус имперской России оставался, как и прежде, вне сферы парламентского надзора и, по сути дела, представлял некое «надправовое», то есть неподзаконное образование.

Следующие два положения Основных законов 1906 года заслуживают того, чтобы на них остановиться подробней, ведь при том, что они встречаются и в других европейских конституциях, в России ими злоупотребляли особенно откровенно. Как и английский парламент, Дума избиралась на пять лет. Английская корона в современную эпоху не может и помыслить о том, чтобы распустить парламент и объявить выборы не по инициативе лидера парламентского большинства. В России все было по-другому: Первая дума просуществовала только 72 дня, вторая — 103 дня, и обе были распущены потому, что вызвали при дворе сильное недовольство своим поведением. Лишь после внесения в июне 1907 года неконституционных и односторонних изменений в закон о выборах, позволивших созвать более податливый состав, нижняя палата смогла прослужить законный пятилетний срок.

Еще более вредоносным было применение правительством статьи 87 Основных законов, позволявшей принимать чрезвычайные постановления в периоды «междудумья». Согласно формулировке этой статьи, такие скоропалительно принятые законы теряли силу, если не получали одобрения Думы в течение 60 дней с момента очередного созыва. Но власти весьма своевольно обходились с этой оговоркой, прибегая к ней не столько для того, чтобы совладать с чрезвычайной ситуацией, сколько с целью обойти нормальную законодательную процедуру — либо полагая ее слишком громоздкой, либо не рассчитывая на поддержку Думы. Случалось, заседания Думы намеренно оттягивались, чтобы дать возможность правительству проводить законы посредством чрезвычайных постановлений. Такая практика обесценивала всю законодательную деятельность Думы и подрывала уважение к конституции.

При наличии законодательного органа исполнение министерских обязанностей в прежнем порядке становилось уже бессмысленным. Совет министров, прежде безвластный орган, был превращен в кабинет под главенством председателя, который фактически, хотя и не номинально, становился премьер-министром. В новом обличье этот орган знаменовал отход от патриархального обычая личных докладов министра царю. При новом порядке решения, принятые Советом, были обязательны для всех министров*.

* Согласно С.Ю.Витте (Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 545), этот орган намеренно назывался «Советом министров», а не «кабинетом», чтобы подчеркнуть отличие России от западных конституционных государств.

В зависимости от применяемых критериев можно по-разному расценивать Основные законы 1906 года: либо как существенный шаг вперед по пути политического развития, либо как обманчивую полумеру, или, как назвал ее Макс Вебер, «псевдоконституцию» (Scheinkonstitution). С позиций высокоразвитых промышленных демократий русская конституция оставляла желать много лучшего. Но на фоне собственного прошлого России, в сопоставлении с пятью веками самодержавия, уложения 1906 года, конечно, знаменовали собой гигантский шаг в направлении демократического правления. Впервые правительство позволило выборным представителям народа участвовать в законотворчестве, обсуждать государственный бюджет, критиковать существующий строй и призывать к ответу министров. И если конституционный эксперимент не привел к сотрудничеству государства и общества, то повинны в этом не столько несовершенства конституции, сколько нежелание двора и парламента воспринять новый порядок и действовать сообразно представившимся возможностям.

* * *

Коль скоро стране был дарован парламент, то было очевидно, что возглавят его либералы. В революции 1905 года, основным результатом которой и явился манифест, различались две четко обозначенные фазы — первая из них удачная, вторая — нет. Первую фазу начал и осуществил «Союз освобождения», высшей ее точкой стал Октябрьский манифест. Вторая фаза, начавшаяся на следующий день после опубликования манифеста, вылилась в жестокие погромы, которые учиняли обе противоборствующие стороны — и революционные и реакционные партии. В конце концов полицейскими мерами правопорядок был восстановлен. Как вдохновители первой, успешной фазы революции либералы, естественно, в первую очередь пользовались ее плодами и свое преимущество намеревались употребить на то, чтобы привести Россию к полноценной парламентской демократии, а принципиальное решение двух социалистических партий бойкотировать выборы в Думу предопределило успех либералов.

Кадетская партия избрала крайне агрессивную парламентскую стратегию, ибо видела в бойкоте, объявленном социалистами, уникальную возможность перетянуть на свою сторону невостребованные ими голоса избирателей. Кадеты настаивали на неправомочности новых Основных законов: только сам народ через своих демократически избранных представителей имеет право создавать конституцию. Представитель

консервативно-либерального крыла Маклаков считал, что лидеры его партии, памятуя события 1789 года во Франции, не хотели удовольствоваться меньшим, чем Учредительное собрание: «Я вспоминаю негодование съезда [кадетской партии] по поводу принятия конституции накануне созыва Думы. И более всего настораживала непритворность этого негодования. Либералы не могли не понимать, что если император созовет орган национального представительства, не установив для него законных границ, то он откроет дорогу *революции.* Они это понимали, и тем не менее эта перспектива их не пугала. Напротив, они восставали против идеи, что Дума должна работать *в рамках* прав, установленных *конституцией.* Что служит доказательством того, что они не воспринимали эту конституцию всерьез. «Национальное представительство», на их взгляд, было суверенным и имело право разрушить все преграды, воздвигнутые вокруг него конституцией. Легко увидеть источник такого направления мыслей. Их вдохновили образы Великой революции. Дума представлялась им Генеральными штатами и точно так же должна была превратиться в Национальное собрание и даровать стране истинную конституцию взамен той, которую бдительный монарх выдал исподволь»[19].

Дума предоставляла кадетам удобное поле боя: здесь, апеллируя к «массам», они намеревались заставить монархию уступить всю свою власть. И все сомнения по поводу осмысленности стратегии конфронтации, которые могли бы зародиться в кругах наиболее трезвомыслящих либералов, заглушались впечатляющей победой кадетов на выборах. Будучи самой радикальной, партия кадетов собрала все те голоса, которые могли бы достаться эсерам или эсдекам, и поэтому создавалась иллюзия, что именно они, кадеты, представляют основную российскую оппозиционную партию. Имея 179 депутатских мест из 478, они явились самой мощной группой в нижней палате, а благодаря голосам, поданным за них рабочими, они получили все мандаты в Москве и Петербурге. И тем не менее они контролировали в Думе лишь 37,4% мандатов и, не обладая абсолютным большинством, нуждались в союзниках. Конечно, они могли бы искать единомышленников на правом фланге, среди консервативных либералов. Но, стремясь овладеть голосами избирателей из рабочих и крестьян, обратились влево, к тем социалистам-аграриям, которые не представляли определенной партии, но были известны под общим названием «трудовиков».

Опьяненные успехом, уверенные, что стоят на пороге следующей, решающей стадии революции, кадеты перешли в наступление. Под руководством Милюкова они выразили согласие войти в Совет министров, но при одном условии: царь должен согласиться созвать Учредительное собрание. Как мы уже отмечали, переговоры Витте с консервативными либералами (Шиповым, Гучковым и другими) тоже не привели к какому-либо результату[20]. Двор еще не раз предпринимал попытки привлечь к работе в Совете либералов и консервативных либералов, но неизменно встречал решительный отпор. Таким образом, борьба разворачивалась в российском парламенте не по вопросам политики, а по поводу самой природы российского конституционного строя.

* * *

Двор с замиранием сердца ожидал открытия Думы, не имея, однако, никакой четкой программы. Действительность превзошла самые худшие опасения.

Либеральные бюрократы убеждали царя, что выборы ничем не угрожают монархии, ибо положения о выборах, предопределившие перевес крестьянства, создадут вполне покладистую Думу. (Такую же ошибку в 1789 году допустила французская монархия, удвоив в Генеральных штатах представительство третьего сословия.) Не все разделяли такой оптимистический взгляд. Бывший министр внутренних дел и один из самых проницательных политиков России П.Н.Дурново предостерегал, что большинство выборных будут из радикальной «деревенской полуинтеллигенции», стремящейся укрепить свое влияние среди крестьянства[21]. И действительно, половину депутатов Первой думы составляли крестьяне, и многие из них — именно вышеуказанного типа. И они оказались далеко не теми благодушными мужиками, которыми воображение славянофилов-консерваторов населило российские просторы. С.Е.Крыжановский так описывал неприязнь, охватившую официальные круги при виде толп крестьянских представителей, заполнивших Петербург весной 1906 года:

«Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы «депутатов» — а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, — чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собою первое Русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что Русская Земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собою народ и его «сокровенные чаяния», то надо было признать, что Россия, еще по крайней мере сто лет, могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм. Попытка опереть государственный порядок на «воле народа» была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленна и явно пасовала пред кипучей энергией черной массы. Она верила в силу хороших слов, отстаивала идеалы, массам совершенно чуждые и ненужные, и была способна служить лишь трамплином для революции, но не созидающей силой <...>

Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходоков по разным делам, которых сажали в кресла, откуда приставам Думы было немало труда их выдворять. Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во Дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее Председателя.

Некоторые из членов Думы с места же занялись революционной пропагандой на заводах, стали устраивать уличные демонстрации, науськивать толпу на полицию и т.п. Во время одной из таких демонстраций на Лиговке был избит предводительствовавший толпой буянов Михайличенко, член Думы из горнорабочих Юга. На следующий день он явился в заседание и принял участие в обсуждении предъявленного по этому поводу запроса с лицом, повязанным тряпками так, что видны были только нос и глаза. Члены Думы крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: «Для меня ты, с..., вполне прикосновенен», — и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица, каковым он признал члена Думы. Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы (фамилию забыл), скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался «борцом, павшим на славном посту».

О некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волостных и иных судов, коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничества: один за кражу свиньи, другой — кошелька и т.п. Вообще количество членов Первой думы, главным образом крестьян, которые, благодаря небрежному составлению списков избирателей и выборщиков, оказались осужденными ранее за корыстные преступления, — лишавшие участия в выборах, — или впоследствии в течение первого года после роспуска Думы, превысило, по собранным Министерством Внутренних Дел сведениям, сорок человек, то есть около восьми процентов всего состава Думы»[22].

В день открытия Думы царь торжественно принял депутатов в Зимнем дворце и зачитал адрес, в котором выражалось признание нового порядка. Дума, побуждаемая кадетами, при единодушном одобрении всех, за исключением пяти депутатов, выдвинула в ответ революционные требования. Требования были таковы: упразднение верхней палаты, право назначать и увольнять министров, принудительное частичное отчуждение земли и амнистия политическим заключенным, включая тех, кто был осужден за терроризм. Когда при дворе, заранее осведомленном об ответе Думы, отказались принять депутацию, которая должна была собственноручно вручить царю этот ответ, в Думе почти единодушно было принято предложение выразить недоверие кабинету министров и требовать уступки полномочий министерству, избранному Думой[23].

Такое поведение Думы привело правительство, привыкшее к соблюдению всеми внешних приличий, в замешательство. Особенно обеспокоена была служба безопасности, страшившаяся зажигательного эффекта, какой думское красноречие могло иметь в деревне. Не в силах разобраться, почему власти позволяют думским депутатам требовать перемен в системе управления, тогда как рядового человека за то же самое преследуют, полицейские чины невольно приходили к убеждению, что велась «революционная пропаганда с согласия и как бы даже с поощрения правительства»[24]. И если принять во внимание, что в глазах крестьян престиж правительства сильно упал после поражения в японской войне и из-за неспособности справиться с эсеровским терроризмом, то у полиции были все основания опасаться, что деревня выйдет из-под контроля.

В этих обстоятельствах при дворе созрело решение распустить Думу. Узнав об этом, кадеты и другие левые депутаты пожелали немедленно провести заседание Думы, однако затея не удалась, так как правительство оцепило войсками Таврический дворец. Надо сказать, что решение о роспуске Думы хоть и противоречило духу Основных законов, не нарушало их буквы. Однако кадеты и некоторые из их единомышленников увидели в этом удобный случай бросить вызов самодержавию. Перенеся заседание в Выборг, недосягаемые для русской полиции, они составили воззвание к российским гражданам, призывающее не платить подати и уклоняться от воинской повинности. Документ этот был абсолютно антиконституционным и совершенно бесполезным. Страна не откликнулась на выборгское воззвание, и единственным следствием его явилось то, что подписавшие его, среди которых были ведущие либеральные деятели, потеряли право быть избранными при последующих выборах.

Таким образом самонадеянность либералов привела их к поражению в первой же битве объявленной ими войны конституционной монархии.

* * *

Октябрьский манифест удовлетворял умеренную и либерально-консервативную оппозицию, но ни в коем случае не либеральных радикалов и социалистов. Последние рассматривали его лишь как предварительную уступку — вообще же, считали они, революция должна продолжаться до победного конца. И разжигаемое левой интеллигенцией насилие все больше охватывало страну, что вызывало ответный террор справа, принимавший формы еврейских и студенческих погромов.

Волнения в деревне в 1905—1906 годах имели два следствия. Прежде всего они раз и навсегда погасили исконно монархические настроения крестьян. Отныне мужик уже не ждал, что именно царь дарует столь вожделенную землю, — теперь все его надежды были только на Думу и либеральные и радикальные партии. Во-вторых, в центральной России крестьяне «выкурили» из имений многих помещиков, которые под угрозой разграбления бросали все и уезжали. И это ускорило ликвидацию помещичьего землевладения, начавшуюся с манифеста об освобождении крестьян и закончившуюся в 1917 году. После 1905 года крестьянство стало основным покупщиком поступавшей в продажу земли (37—40%). Помещики, которые в 1863—1872 годах приобрели 51,6% земли, в 1906—1909 годах составили лишь 15,2% покупщиков.

Крестьянская жакерия обострялась кампанией политического терроризма, развернутой эсеровской партией[25]. Мир еще не знал такого: волна убийств охватила коллективным психозом сотни, если не тысячи юношей и девушек, для которых убийство стало самоцелью, когда давно утрачен самый смысл действия. И хотя мишенью терроризма объявлялись правительственные чиновники, особенно из департамента полиции, на практике террор оказывался слеп и неразборчив. Как это обычно бывает, он принял форму тривиальной уголовщины с вымогательством денег и запугиванием свидетелей. Большинство террористов были молодыми людьми (старше двадцати двух лет — менее трети), и для них дерзкая, часто самоубийственная операция представлялась своего рода ритуалом возмужания. Самые яростные из террористов, максималисты, совершали убийства ради убийства, чтобы только ускорить крушение общественного строя. Последствия терроризма много шире, чем трагедии унесенных им жизней и репрессивных ответных мер, им вызванных. Террор снизил и без того достаточно низкий уровень политической культуры в России, деморализуя деятельных политиков и приучая к мысли, что обращение к насилию есть приемлемый способ решения сложных проблем.

Эсеры развернули массированную террористическую кампанию в январе 1906 года — то есть после того, как стране была обещана конституция. Широта кампании была ошеломляющей. В июне 1906 года Столыпин докладывал в Думе, что за прошедшие восемь месяцев совершено 827 покушений на жизнь чиновников министерства внутренних дел (к которому относились и полиция, и жандармерия), в результате которых 288 человек убиты и 383 ранены[26]. Директор департамента полиции информировал Думу годом позже, что в двух Балтийских губерниях имели место 1148 террористических актов, которые привели к гибели 324 человек, в большинстве полицейских и солдат[27]. Было подсчитано, что в течение 1906—1907 годов террористы убили или изувечили 4500 должностных лиц по всей империи[28]. Если к этому прибавить частных лиц, общее число жертв левого террора за период 1905—1907 годов достигает 9000[29].

Надежда правительства на то, что Дума поможет справиться с таким положением вещей, не оправдалась. Даже кадеты отказывались осудить террористов, считая революционный террор естественной реакцией на террор правительственный. Когда один из думских депутатов отважился заявить, что при конституционном строе нет места террору, его сотоварищи набросились на него и назвали провокатором, а предложенная им резолюция набрала лишь тридцать голосов[30].

В столь сложных обстоятельствах — непокорный парламент, беспорядки в деревне и повсеместный террор — монархия обратилась к помощи «сильного человека», саратовского губернатора Петра Аркадьевича Столыпина.

* * *

Столыпин, которому было суждено занимать пост председателя Совета министров с июля 1906 года до самой своей гибели в сентябре 1911 года, был без сомнения самым выдающимся государственным деятелем имперской России. Единственным его соперникам — Сперанскому и Витте — при всех их несомненных талантах, недоставало присущего Столыпину сочетания кругозора государственного деятеля с искусством политика. Вовсе не оригинальный в своих начинаниях — большинство его идей были предначертаны ранее другими политиками, — Столыпин поражал и русских и иностранцев силой духа и цельностью характера; сэр Артур Николсон, британский посланник в России, считал его не более не менее как «самой замечательной фигурой в Европе»[31]. В своих действиях он руководствовался системой взглядов либеральной бюрократии, убежденной, что России нужна сильная власть, но что в современных условиях такая власть не может отправляться без поддержки населения. Дворянство, по его мнению, было вымирающим классом, и монархии следовало опираться на слой независимых крестьянских землевладельцев, создание которого и стало одной из основных целей его политики. Без парламента при этом обойтись было нельзя. Столыпин — почти единственный русский премьер-министр, обращавшийся к народным представителям как к равноправным коллегам, и в то же время он не верил, что парламент может управлять страной. Как и Бисмарк, примеру которого он во многих отношениях следовал, Столыпин рассматривал парламент лишь как вспомогательный институт*. И то что его усилия не увенчались успехом, свидетельствовало о непримиримости российских разногласий и о том, что стране трудно было избежать крушения.

* «Я вовсе не поклонник абсолютистского правления, — заявил Бисмарк в рейхстаге в 1884 году, — я считаю парламентское сотрудничество, верно примененное, столь же нужным и полезным, сколь парламентское же правление — вредоносным и невозможным» (Was sagt Bismarck dazu? / Ed. Klemm M. B. 2. Berlin, 1924. S. 126).

Столыпин родился в 1862 году в Германии в дворянской семье, верой и правдой служившей престолу еще с XVI века.

Как характеризовал Столыпина Струве, он был типичным «служилым человеком, в средневековом понимании, инстинктивно и безоговорочно преданным своему царственному господину»[32]. Его отец был артиллерийским генералом, отличившимся в Крымскую кампанию; мать состояла в родстве с Александром Горчаковым, министром иностранных дел в царствование Александра II. Столыпину тоже прочили военную карьеру, однако физический недуг, перенесенный в детстве, помешал этому. Окончив гимназию в Вильно, он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, который окончил с отличием в 1885 году с кандидатским дипломом за диссертацию по земледелию. Человек высокообразованный (говорят, он свободно изъяснялся на трех иностранных языках), он предпочитал считать себя интеллигентом, а не чиновником, и это ощущение усугублялось тем, что и петербургское чиновничество смотрело на него как на постороннего, даже когда он поднялся на высшую ступень бюрократической лестницы[33].

Завершив образование, Столыпин поступил на службу в министерство внутренних дел. В 1889 году он был направлен в Ковно (бывшая польско-литовская территория), где находилось имение его жены, О.Б.Нейдгарт, принадлежавшей к высшему обществу. Здесь он провел тринадцать лет (1889— 1902), исполняя должность предводителя дворянства (должность, назначаемая в этой области) и посвящая свободное время усовершенствованиям в поместье жены и изучению земледелия.

Годы, проведенные в Ковно, решающе повлияли на образ мыслей Столыпина. В западных губерниях России, где не знали общинного землевладения, полноправным хозяином земли был крестьянин. Сравнивая значительно лучшее положение сельского населения здесь с положением в центральной России, Столыпин готов был согласиться с теми, кто видел в общинном землевладении главное препятствие развитию села; а поскольку благосостояние села — главное условие устойчивости государства, то для сохранения в России закона и порядка, считал он, потребуется упразднить общинный уклад в деревне. Общинное землевладение во многих отношениях препятствовало улучшению экономических условий жизни крестьянства. Постоянные земельные переделы лишали крестьян заинтересованности в повышении плодородия полноправно не принадлежащей им земли, в то же время общинный уклад обеспечивал мужику прожиточный минимум. Благоприятствовал он и ростовщической деятельности предприимчивых и усердных крестьян. Столыпин был убежден, что России нужен класс независимых крестьян-землевладельцев, которые могли бы занять место отмирающего дворянства и явить собою пример для всего крестьянского населения страны[34].

Его плодотворную деятельность в должности предводителя дворянства заметили в министерстве внутренних дел, и в мае 1902 года Столыпин был назначен губернатором Гродно. В свои сорок лет он стал самым молодым из занимавших этот пост в Российской империи. Менее чем через год его перевели в Саратов — наиболее беспокойную губернию в России, известную крестьянскими волнениями в сильным эсеровским влиянием. Говорили, что этим назначением он был обязан Плеве, который желал примирить общественное мнение, подбирая деятелей, известных своими либеральными взглядами[35]. За годы службы в Саратове он еще более утвердился в убеждении о пагубности общинного уклада, но, с другой стороны, понял, как сильно влияние общины на мужика, привлеченного ее уравнительным характером. При этом, как подметил Столыпин, община допускала лишь «равнение» на самый низкий уровень благосостояния. Чтобы дать возможность трудолюбивым крестьянам равняться по самому высокому уровню, необходимо, понял он, раздать удельные и государственные земли независимым земледельцам для образования и развития значительного частновладельческого крестьянского сектора наряду с общинным[36].

В 1905 году в Саратове было очень неспокойно. И в усмирении крестьянских волнений Столыпину пришлось проявить весь свой ум и отвагу. В отличие от многих других губернаторов, запиравшихся в тревожные минуты в кабинетах и предоставлявших усмирение населения жандармам и солдатам, он отправлялся в самые беспокойные, горячие места, беседовал с бунтовщиками и спорил с радикальными агитаторами. И своего поведения Столыпин не изменил, несмотря на многочисленные посягательства на его жизнь, при одном из которых он был ранен. Стремясь как можно реже прибегать к насилию, он снискал в правых кругах репутацию человека «мягкого» и «либерального», что никак не могло пойти на пользу его дальнейшей карьере.

Однако испытанные административные таланты, отвага и преданность царскому дому не остались незамеченными в Петербурге и сделали Столыпина идеальным кандидатом на министерский пост. 26 апреля 1906 года вслед за отставкой Витте ему был предложен портфель министра внутренних дел в правительстве Горемыкина. После недолгих колебаний он принял этот пост и переехал в столицу. Шестидесятисемилетний любимец двора, раболепный сановник Горемыкин оказался совершенно неспособным ни справиться с Думой, ни усмирить народные волнения. Типичный бюрократ, ревностный служака, снискавший титул «Его Высокое Безразличие», он был выведен в отставку в день роспуска Первой думы (8 июля 1906 года). Столыпин занял кресло председателя Совета министров, не оставив поста министра внутренних дел.

Приступая к исполнению новых обязанностей, Столыпин исходил из предпосылки, что Октябрьский манифест пролег водоразделом Русской истории. Он говорил Струве: «О восстановлении абсолютизма не может быть и речи»[37]. Такие его убеждения не находили, конечно, сочувствия при дворе и среди консерваторов. С самого начала Столыпин обнаружил, что проводит политику, не встречающую сочувствия

не только при дворе, но и в министерстве внутренних дел, где многие предпочитали привычные насильственные методы. Столыпин скрепя сердце пошел на суровое подавление волнений, но в репрессиях, не сопровождавшихся реформами, пользы не видел. Он считал, что важнее всего поднять культурный уровень населения, чему должна была бы служить административная децентрализация, составлявшая суть смелого его замысла[38].

В марте 1907 года он начертал широкую программу реформ, направленных на расширение гражданских свобод (свобода совести, личная неприкосновенность, гражданское равноправие), на улучшения в сельском хозяйстве, обеспечение социальной защищенности промышленных рабочих, распространение власти органов местного самоуправления, реформу полиции и введение прогрессивного подоходного налога[39].

Исполненный решимости действовать в сотрудничестве с обществом, он установил контакт с лидерами всех политических партий, кроме, разумеется, тех, что исповедовали революцию. В парламенте он стремился создать коалицию своих сторонников по примеру «Друзей короля» при Георге III и Reichsfreunde Бисмарка. Ради достижения этой цели он готов был на многое, идя на компромиссы в законотворчестве и не гнушаясь подкупом. Его выступления в Думе были выдающимися образцами парламентского красноречия, отличаясь не только силой доводов, но и тем, что в них звучал голос русского патриота, обращавшегося к своим соотечественникам, а не царского приказчика. В своих действиях, также как и в публичных заявлениях, он исходил из той казавшейся ему вполне очевидной истины, что интересы России превыше любых личных или партийных интересов. Устремления Столыпина находили слабый отклик в стране с таким низким уровнем развития национального и государственного самосознания. В глазах оппозиции Столыпин был прислужником презренной монархии, при дворе его считали честолюбивым и своекорыстным политиком. Правящая бюрократия тоже не признавала его своим, потому что ему не пришлось карабкаться по чиновной лестнице петербургских министерств.

* * *

Самой настоятельной задачей, с которой столкнулся Столыпин при вступлении в должность, было восстановление общественного порядка. И решать эту проблему он взялся жесткими мерами, навлекшими на него ненависть интеллигенции. Непосредственным поводом к развернувшейся кампании ответного террора было едва не достигшее цели покушение на его жизнь.

Перебравшись в Петербург, Столыпин сохранил заведенный еще во времена его губернаторства обычай держать по воскресеньям дом открытым для просителей. И, несмотря на предупреждения полиции, не изменял этому правилу. В полдень 12 августа 1906 года три «максималиста», переодетых жандармами, направились к его даче на Аптекарском острове. Когда что-то заподозривший охранник попытался их остановить, они швырнули в дом портфели, наполненные взрывчаткой[40]. Последовал ужасающий взрыв, и в кровавой мясорубке погибли 27 посетителей и охранников и сами террористы, 32 человека были ранены. Столыпин чудом спасся, но двое его детей получили тяжелые увечья. Со свойственным ему самообладанием он стал распоряжаться оказанием помощи жертвам.

Покушение на Столыпина было лишь одним, пусть самым сенсационным, проявлением терроризма, не ослаблявшего своей смертельной хватки. Его жертвами уже пали командующий Черноморским флотом, саратовский и варшавский губернаторы. Не было дня, не приносившего сообщений о гибели очередного служащего полиции. Положение еще более отягощалось тем, что монархисты, восприняв революционную тактику, тоже прибегли к террору, и 18 июля был убит депутат Думы еврей Михаил Герценштейн, представивший в Думе земельную программу кадетской партии, предусматривавшую принудительное отчуждение земель*. Никакое правительство в мире не могло бы взирать спокойно на такой взрыв насилия. А так как новый состав Думы еще не был избран, Столыпин воспользовался действием 87-й статьи. Впоследствии он часто прибегал к этой законной оговорке, и в полугодовой период между роспуском Первой и созывом Второй думы Россия, действительно, управлялась декретами. При его преклонении перед законом он шел на этот шаг с сожалением, однако иного выбора не видел: такие действия были продиктованы «печальной необходимостью» и могли быть оправданы тем соображением, что бывают времена, когда на первое место выступают интересы государства[41].

* В марте 1907 года рабочий, подстрекаемый политиком правого толка Казанцевым, убил другого кадетского депутата Думы, тоже еврея, Григория Иоллоса. Поняв, что Казанцев обманул его, заставив поверить, что Иоллос агент полиции, рабочий заманил Казанцева в лес и убил.

С 1905 года правосудие на доброй части России отправлялось по законам военного времени: в августе 1906 года из 87 губерний и областей Российской империи на положении «усиленной охраны» находилось 82[42]. Этих мер оказалось недостаточно, и под сильным давлением двора Столыпин пошел на внедрение упрощенной процедуры судопроизводства. 19 августа, через неделю после покушения на Аптекарском острове, он учредил, воспользовавшись положениями 87-й статьи, военно-полевые суды для гражданских лиц[43]. Новый закон предусматривал на территориях, находящихся на военном положении или положении «чрезвычайной охраны», право губернатора и командующего военной части подвергать военному суду лиц,

чья вина была столь очевидна, что не требовала дальнейшего расследования. Состав суда определялся местным командующим и должен был включать пять офицеров. Судебные слушания надлежало проводить при закрытых дверях, подсудимые не могли пользоваться услугами защитника, но могли вызывать свидетелей. Военно-полевому суду следовало собираться в течение 24 часов с момента совершения преступления, приговор должен был быть вынесен в 48 часов. Приговоры военно-полевых судов не подлежали обжалованию и должны были приводиться в исполнение в течение 24 часов.

Этот закон оставался в силе восемь месяцев и прекратил действие в апреле 1907 года. Всего, как было подсчитано, за время существования столыпинских военно-полевых судов было вынесено 1000 смертных приговоров[44]. В дальнейшем террористы и другие лица, обвиненные в тяжких политических преступлениях, представали перед обычными гражданскими судами. Можно установить при этом, что в 1908-м и 1909 годах было рассмотрено 16 440 дел по обвинению в политических преступлениях и вооруженных нападениях, вынесено 3682 смертных приговора и 5517 человек приговорены к каторжным работам[45].

Репрессивные меры Столыпина вызвали вопли негодования со стороны тех, кто проявлял завидное хладнокровие в отношении революционного террора. Кадеты, не замечавшие эсеровских злодеяний, не жалели слов в осуждение неправовых методов, направленных на их пресечение. Кадетский депутат Федор Родичев назвал виселицы — символ военно-полевых судов — «столыпинскими галстуками», и острота эта прижилась. В июле 1908 года Л.Н.Толстой пишет «Не могу молчать!», где говорит о том, что правительственное насилие во сто крат хуже насилия уголовного и террористического, так как совершается хладнокровно. По его мнению, с революционным терроризмом можно было покончить, отменив частную собственность на землю. Вопрос этот вызывал такие разногласия, что попытка Гучкова защитить столыпинские военно-полевые суды как «жестокую необходимость»[46] вызвала раскол партии октябристов и привела к отставке Шипова, одного из наиболее уважаемых ее членов.

Между тем общественный порядок был восстановлен, и это открыло Столыпину путь к осуществлению его программы экономических и политических реформ.

* * *

Не дожидаясь созыва Второй думы, Столыпин вновь воспользовался 87-й статьей и стал проводить серию аграрных реформ, в которых видел ключ к упрочению России.

Первым шагом в этом направлении явился закон от 5 октября 1906 года, впервые в истории России уравнивавший крестьянство в гражданских правах с другими сословиями[47].

Этот закон снимал все ограничения на передвижения крестьян и лишал общину права препятствовать выходу из нее. Земские начальники не могли уже наказывать крестьян. Тем самым был уничтожен последний отголосок крепостной зависимости.

Одновременно Столыпин занялся и проблемой нехватки земли, увеличив ресурсы продажных пахотных земель и облегчив выдачу ссуд под залог надельных земель. Крестьянский поземельный банк, основанный в 80-е годы прошлого века, в 1905 году уже обладал широкими возможностями предоставлять крестьянам ссуды для приобретения земли. Столыпин увеличил площадь покупной земли, склонив двор пустить в продажу крестьянам казенные и удельные землевладения. Это было формализовано законами от 12 и 27 августа 1906 года[48]. Удельные земли, пригодные для этой цели, составляли 1,8 млн. десятин (2 млн. га) пахотной земли, а казенные земли — 3,6 млн. (4 млн. га). Приблизительно столько же по площади было пущено на продажу леса — 11 млн. десятин (12 млн. га)[49]. Эти землевладения вкупе с теми, что были проданы помещиками после аграрных волнений 1905—1906 годов, значительно увеличивали крестьянские наделы.

Требовалось организовать и финансировать широкую программу миграции крестьян из перенаселенных районов центральной России. К этому правительство во исправление прежней политики, препятствовавшей передвижению крестьян, приступило уже в марте 1906 года, еще до вступления в должность Столыпина. При Столыпине же поддерживаемая государством программа переселения достигла небывалых размеров, и пик ее пришелся на 1908—1909 годы. В период с 1906 по 1916 год три миллиона крестьян переселились в Сибирь и степи Центральной Азии, осваивая земли, выделенные правительством для покупки (547 тыс. впоследствии вернулись в родные места)[50].

Русские либералы и социалисты считали непреложной истиной, что «земельный вопрос» может быть решен единственно путем отчуждения казенных, удельных, церковных и частновладельческих земель. Как и Ермолов, Столыпин понимал, что в основе этой идеи лежит великое заблуждение: в стране попросту не было такого количества некрестьянских землевладений, чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть потребности ежегодного прироста населения. В прекрасно аргументированной речи, произнесенной в Думе 10 мая 1907 года, Столыпин показал, что социал-демократическая программа национализации земли не выдерживает критики: «Предположим же на время, что государство признает это [национализацию земли] за благо, что оно перешагнет через разорение целого <...> многочисленного, образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах, — что же из этого выйдет? Что, был бы, по крайней мере этим способом, разрешен, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы он или нет возможность устроить крестьян у себя на местах? На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без

малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего вместе с имеющимися ныне по 147 дес. на двор, в Олонецкой по 185 дес, в Архангельской даже по 1309 дес, в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех 12 губерниях, которые имеют надел свыше 15 дес. на двор, и лишь одна седьмая часть частновладельческих земель расположена в 10 губерниях с наименьшим наделом, то есть по 7 десятин на один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, то есть не только 107 000 дворян, но и 490 000 крестьян, купивших себе землю, и 85 000 мещан, — а эти два последние разряда владеют до 17 000000 дес. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению; придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения, за 10-летний период, в 50 губерниях Европейской России. Россия, господа, не вымирает; прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 чел. 15,1 в год, таким образом, это даст на одну Европейскую Россию всего на 50 губерний 1 650 000 душ естественного прироста в год, или, считая семью в 5 человек, 341 000 семей. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 дес. на один двор, потребно было бы ежегодно 3 500 000 дес. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану»*.

* Государственная дума: Стеногр. отчеты. II созыв, 1907 г. II сессия. Заседание 36. Т. 2. СПб., 1907. С. 436—437. Статистические данные, которые представил Столыпин, были несколько неверными: ежегодный естественный прирост населения (который был в действительности выше, чем он считал, и составлял 18,1 на тысячу человек) не приходился целиком на сельское население центральной России. Впрочем, общие его выводы оказались верны, как показала экспроприация земли в 1917—1918 годы.

Затем Столыпин обратился к своей излюбленной теме: о необходимости передачи земли в индивидуальное пользование для поднятия роста продуктивности сельского хозяйства:

«Но, кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране, что даст он с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, все это распространится на всю Россию. Всё и все были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд, иначе на улучшенные воздух и воду несомненно наложена была бы плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать... Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель, самою силою вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которою стояло и нравственное право»[51].

Столыпин прекрасно представлял себе, каким влиянием на крестьян пользуется в Великороссии община, и не надеялся рассеять его одними лишь правительственными санкциями. Он предполагал, скорее, воздействовать наглядным примером, дав возможность развиваться, наряду с общиной, и параллельной системе индивидуальных хозяйств. Все удельные и казенные земли, переданные в Крестьянский поземельный банк, должны были служить этой цели, и, чтобы увеличить этот земельный фонд, он был не против и частичного отчуждения крупных землевладений. Поэтому решающим для него было, чтобы земли, предназначенные крестьянам, не оказались в общинном владении, а попали именно в руки крестьян, которые смогли бы создать цветущий оазис независимых хозяйств, неотразимая притягательная сила примера коих со временем, как верил Столыпин, привлечет всех крестьян и заставит отказаться от общинного землепользования. Той же цели должно было служить законодательство, призванное облегчить выход из общины и заявление своих прав на земельный надел.

Проведение этой программы Столыпин полагал непременным условием экономических улучшений, которые, в свою очередь, заложат основу стабильности и величия страны. («Им нужны великие потрясения, — заключил он свое выступление в мае 1907 года, — нам нужна великая Россия!»)

В упразднении общинного землевладения Столыпину кроме того виделось первейшее средство

поднять уровень гражданского самосознания россиян. Его, как и Витте, повергал в ужас низкий культурный уровень деревни[52]. По его мнению, более всего Россия нуждалась в воспитании гражданского сознания, первейшим и главнейшим средством к чему было внушение сельскому населению представления о законе и уважения к частной собственности. И его аграрные реформы, таким образом, тоже служили в конечном итоге политическим целям — а именно созданию школы гражданского сознания.

Принципы столыпинской земельной реформы были далеко не оригинальны: уже с конца прошлого столетия они стали одной из постоянных тем дискуссий, ведшихся в правительственных кругах[53]. В феврале 1906 года правительство обсуждало проект закона о предоставлении крестьянам возможности выхода из общины и закреплении в их собственность надельной общей земли. Сходный проект выдвинул в апреле 1906 года, за несколько дней до ухода в отставку, и Витте[54]. Идея упразднения общин и организации переселения в Сибирь находила теперь сторонников даже среди самых консервативных землевладельцев, видевших в этих мерах способ избежать принудительного отчуждения их земельных владений. Всероссийский союз помещиков и Совет объединенного дворянства склонялись к подобного рода мероприятиям еще до выхода на сцену Столыпина. Товарищ Столыпина Крыжановский говорил: реформы стали столь неотвратимы, что, не будь Столыпина, их взялся бы проводить кто-нибудь другой, хотя бы даже и такой архиконсервативный министр как Дурново[55]. И тем не менее, поскольку именно Столыпин стал проводить эти проекты в жизнь, они неотрывно связаны с его именем.

Краеугольным камнем столыпинской земельной реформы явился закон от 9 ноября 1906 года, и его значение станет понятным, если принять во внимание, что общинное землевладение, о котором в нем шла речь, охватывало в Европейской России 77,2% сельских хозяйств[56]. Закон освобождал общинных крестьян от обязательств остаться в общине. Существенное положение закона гласило: «Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли» — и насколько возможно единым нерасчлененным наделом. Чтобы оставить общину, крестьянину больше не нужно было согласия большинства ее членов, право решения принадлежало ему самому. Пройдя необходимые формальности, домохозяин мог либо предъявить имущественные права на свой надел и остаться в деревне, либо распродать землю и уехать. В общинах, где переделы не производились с 1861 года, надел автоматически становился частной собственностью земледельца. Так как правительство шаг за шагом аннулировало все задолженности по выкупным платежам (начиная с 1 января 1907 года), а десятина пахотной земли стоила более 100 руб., то типичное хозяйство из десяти десятин могло получить земли на 1000 руб. 15 ноября 1906 года Крестьянскому поземельному банку было дано распоряжение предоставлять выгодные ссуды в помощь крестьянам, желающим выйти из общины[57].

Этот закон впервые сделал возможным нарождение в центральной России независимого крестьянства западного типа*. Но закон этот таил в себе и гораздо более революционный смысл, оспаривая глубоко укоренившееся крестьянское представление о том, что земля никому персонально не принадлежит, что она ничейная, и проводя взамен идею о «преобладании факта владения над юридическим правом пользования»[58]. И весьма типично для политической жизни последних лет империи, что такая радикальная перемена аграрного устройства проводилась по статье 87 — то есть как чрезвычайная мера, а Думой была одобрена лишь 14 июня 1910 года, спустя три с половиной года после ввода закона в действие.

* Одно из общераспространенных заблуждений русской историографии, навязанное советскими историками, состоит в том, что столыпинские аграрные реформы были рассчитаны на поддержку «кулачества», то есть деревенских ростовщиков и эксплуататоров. В действительности они имели прямо противоположную цель: дать предприимчивым крестьянам возможность обогатиться своим трудом, а вовсе не ростовщичеством и эксплуатацией.

Насколько же эффективна была столыпинская аграрная реформа? Вопрос этот весьма сложен и противоречив. Одни историки утверждают, что она вела к быстрым глубоким переменам в деревне, которые могли бы предотвратить революцию, если бы не смерть Столыпина и удары, нанесенные первой мировой войной. Другая историческая школа не видит в них ничего, кроме правительственных мер, навязанных крестьянам против их води и немедленно отвергнутых ими после падения царского режима[59].

Факты говорят следующее[60]. В 1905 году в 50 губерниях европейской части России было 12,3 млн. крестьянских хозяйств, возделывавших 125 млн. десятин земли; из них 77,2% хозяйств и 83,4% всех земельных площадей принадлежали общинам. В Великороссии общинное землепользование охватывало 97—100% всех хозяйств и пашен. И несмотря на утверждения противников общинного землепользования, что земельные переделы уже не производятся, в центральной России они практиковались повсеместно.

В период с 1906 по 1916 год 2,5 млн. (или 22%) входящих в общины хозяйств, обрабатывавших 14,5% пахотной земли, выразили желание заявить права на свои наделы. Из этой же статистики видно, что новым законом воспользовались в основном беднейшие крестьяне с небольшими семьями, едва сводившие концы с концами: если среднее землевладение в центральной России составляло десять десятин, то крестьяне, пожелавшие выйти из общины, владели всего тремя десятинами[61].

В общем, чуть более одного общинного хозяйства из пяти воспользовались преимуществами, предоставленными законом от 9 ноября. Но эти статистические данные упускают одно существенное обстоятельство и тем самым дают гораздо более благополучную картину реформ, чем было на самом деле.

Экономическая отсталость общинного землепользования заключалась не только в практике земельных переделов, но еще и в практике чересполосицы, которая была существенным следствием общинного уклада землепользования. Экономисты критиковали такую практику за то, что она тормозила интенсивное земледелие, вынуждая крестьянина постоянно перебираться с полосы на полосу, перетаскивая за собой все необходимые орудия. Столыпин, прекрасно представляя неудобства такой практики, чтобы избавиться от нее, внес в закон положение, согласно которому крестьянину, пожелавшему выйти из общины, предоставлялось право выделения цельного, неделимого надела. Однако общины не подчинялись этому указанию, и, по имеющимся свидетельствам, три четверти домохозяев, заявивших свои права на земельный надел согласно столыпинскому законодательству, должны были удовольствоваться разрозненными полосами[62]. Такие владения получили название отруба; хутора же, то есть независимые хозяйства с цельными наделами земли, развивать которые чаял Столыпин, распространены были главным образом в окраинных районах. Таким образом, на пагубную практику чересполосицы столыпинское законодательство почти не повлияло. Накануне революции 1917 года, спустя целое десятилетие с начала столыпинских реформ, лишь 10% крестьянских хозяйств России представляли собой хутора с цельными наделами, в остальных 90% бытовало все то же чересполосное землепашество[63].

Таким образом, взвесив все обстоятельства, следует признать, что результаты столыпинских аграрных реформ были весьма скромными. «Аграрной революции» не получилось, и новый класс независимых землевладельцев не народился. Когда же у крестьян попытались выяснить мотивы выхода из общин, то оказалось, что половина из заявивших свои права на землю предприняли этот шаг только для того, чтобы продать землю и уйти из деревни, и лишь 18,7% — из стремления к более плодотворному хозяйствованию. Тем самым реформа способствовала исходу из общин самых бедных землепашцев; более благополучные крестьяне оставались в общине, часто расширяя свои хозяйства, и почти все наделы — общинные или единоличные — по-прежнему представляли собой разрозненные полосы.

В подавляющем большинстве случаев русские крестьяне отвергали уже сами предпосылки столыпинских аграрных реформ. Когда реформы стали проводиться, оказалось, что крестьяне с презрением отнеслись к тем из своих соседей, кто выделился из общины, чтобы завести индивидуальное хозяйство. Общинные крестьяне неколебимо верили, что решение их экономических трудностей лежит в обретении в общинное владение всех частновладельческих земель. Они противились столыпинскому законодательству из опасения, что выход из общины части крестьян и выделение им наделов усугубит нехватку общинных земель и поэтому нередко, вопреки закону, не позволяли выйти из общины[64]. В глазах соседей те, кто воспользовался возможностью, предоставленной законом Столыпина, уже не были крестьянами: и действительно, согласно положениям избирательного закона от 3 июня 1907 года, крестьяне, владевшие 2,5 и более десятинами земли, зачислялись в «помещики». Тем самым дни их были сочтены. В 1917 году, когда пал старый режим, отруба и хутора стали первыми жертвами крестьянского недовольства: в мгновение ока они, словно песочные замки, были сметены и поглощены бескрайним морем общественных земель.

И даже если в сельском хозяйстве России в период председательства Столыпина и после произошли какие-либо значительные изменения, то их нельзя ставить в связь с его законодательством.

Дворянство, потеряв вкус к земле, забросило деревню. В период с 1905-го по 1914 год помещичьи землевладения в европейской части России сократились на 12,6% — с 47,9 до 41,8 млн. десятин. Большинство земель, продаваемых помещиками, приобретали общинно или единолично крестьяне. В результате накануне революции Россия более чем когда-либо являла собой страну мелких, самодостаточных хозяйств.

В этот период наблюдается рост урожайности:

Урожаи хлеба по 47 губерниям Европейской России[65]
(в кг на десятину)

	Рожь	**Пшеница**
1891-1895	701	662
1896-1900	760	596
1901-1905	794	727
1906-1910	733	672
1911-1915	868	726

Российские урожаи были все еще самыми низкими в Европе, принося лишь треть или менее того, что собирали в Нидерландах, Британии и Германии, — результат неблагоприятных природных условий, общинного уклада и отсутствия химических удобрений. Отмеченный рост урожая позволил увеличить экспорт продовольствия: в 1911 году Россия вывезла за границу 13,5 млн. тонн зерна[66].

В представлении Столыпина «Великой России» требовались помимо восстановления общественного порядка и перемен в сельском хозяйстве еще и политические и социальные реформы. Так же как и аграрные, его политические реформы произрастали из проектов, сформулированных министерством внутренних дел еще до выхода Столыпина на политическую сцену, и во многом содержались в предложениях, представленных Николаю II предшественником Столыпина графом Витте[67]. Столыпин воспринял и развил

идеи, направленные на модернизацию и европеизацию России. Очень немногое из этой программы было реализовано: Столыпин говорил, что на преобразование России потребуется двадцать лет, ему же было отпущено всего пять. И все же замыслы его крайне интересны, так как они отражали представления либеральной бюрократии, гораздо лучше осведомленной, нежели двор или интеллигенция, о том, в чем острее всего нуждалась страна. Судя по выступлению Столыпина в Думе 6 марта 1907 года и программе, надиктованной в мае 1911 года*, он намеревался провести следующие преобразования в различных сферах жизни.

* Программа, которая после его смерти пропала и считалась утерянной, была спустя сорок пять лет опубликована секретарем Столыпина А.В.Зеньковским в его книге «Правда о Столыпине» (N.Y., 1956. P. 73— 113). См. также: Крыжановский СЕ. Воспоминания. С. 130—132, 137, 218.

Гражданские права. Защита граждан от произвольных задержаний, обысков и т.д., отмена административной высылки, предание суду должностных лиц, повинных в преступном злоупотреблении властью.

Полиция. Упразднение жандармского корпуса как отдельного образования и слияние его с общей полицией; с жандармерии следует снять право производить политические дознания; прекратить практику внедрения агентов-провокаторов в революционное движение.

Администрация. Образование министерства самоуправления; введение взамен крестьянской волости бессословной самоуправляющейся волости, служащие которой будут совмещать административные и политические функции; проведение крупных реформ земств с целью наделения их правами, коими пользуется управление штатов в Северной Америке; выборы земства на демократической основе; сведение бюрократического надзора за деятельностью земств к обеспечению законности их действий; внедрение земского управления в западных губерниях.

Национальные меньшинства. Образование министерства национальностей; полное равенство всех граждан, независимо от национальности и вероисповедания; административная децентрализация в регионах, населенных в основном нерусскими, для обеспечения большего их участия в ведении своих дел; уничтожение «черты оседлости» и других дискриминационных законов по отношению к лицам иудейского вероисповедания.

Социальное законодательство. Образование министерств социальной защиты, здравоохранения, труда; обязательное начальное образование; государственное страхование для пожилых и инвалидов; национальная программа здравоохранения; полная легализация профессиональных союзов.

Для осуществления столь обширной программы Столыпину понадобилась бы власть не меньшая, чем у Петра Великого, или хотя бы полная и безоговорочная поддержка двора. Но так как у него не было ни того, ни другого, лишь малая часть задуманных преобразований была осуществлена.

О трудностях, с которыми пришлось столкнуться Столыпину, можно составить представление по его безуспешным стараниям улучшить положение евреев в России. Высшие бюрократические круги с годами пришли к пониманию необходимости как-то изменить средневековое законодательство в отношении евреев. И к этой мысли их подвели не столько общечеловеческие, сколько политические соображения. Охранное отделение уже в течение некоторого времени отмечало непропорционально большое участие еврейской молодежи в революционном движении, и даже если в душе большинство полицейских чиновников не изменили своего отношения к евреям, в которых видели зловредный род, только и стремящийся совратить и погубить христианский мир, наиболее просвещенные из них расценивали еврейский радикализм как следствие тех препон при подъеме по социальной лестнице, какие устанавливали для евреев российские законы.

Кроме того, возникали мощные финансовые предпосылки отмены ограничений для евреев. Директор Банка Парижа и Нидерландов выразил общее мнение европейских финансистов, когда говорил министру финансов России В.Н.Коковцову, что на международном положении России весьма благоприятно сказалось бы дарование евреям гражданского равноправия[68]. Еврейский вопрос в России омрачал ее отношения с Соединенными Штатами, не раз выражавшими недовольство отказом российских властей выдать въездные визы американским гражданам иудейского вероисповедания. В декабре 1911 года сенат Соединенных Штатов по рекомендации президента Тафта единодушно отменил на этом основании Русско-Американский договор 1832 года*.

* The New York Times. 1911. 14 Dec. P. 1. Эта акция была объявлена в некоторых российских кругах недопустимым вмешательством во внутренние дела России, а немецкая консервативная газета усмотрела в этом отражение «духа парвеню, который управляет не только американским обществом, но и американской политикой» (Там же. P. 2).

Столыпин поднял еврейский вопрос в Совете министров и собрал большинство голосов в пользу отмены многих ограничений на право проживания и выбора рода занятий для евреев. С этими предложениями он вошел к царю. Однако Николай II отверг их, ссылаясь... на «внутренний голос»[69]. Этим отказом царский режим упустил возможность избавиться от анахроничного законодательства в отношении

евреев и вызвал еще большую к себе враждебность со стороны евреев в России и за границей.

Столыпин предпочел не повторять ошибок своего предшественника Горемыкина, который не выдвинул четкой правительственной программы, способной привлечь избирателей. Объявив свою программу реформ, Столыпин увлек правительство в избирательную кампанию, финансируя дружественную прессу и устраивая театральные представления для предполагаемых сторонников кандидатов от правительства. Для этой цели он выделил вполне скромные суммы (например, 1000 рублей на проведение избирательной кампании в Киеве), назначал пособия нуждающимся избирателям и устраивал для селян представления оперы Глинки «Жизнь за царя». Очень скоро ему пришлось убедиться, что средства, которыми могло распоряжаться правительство для завоевания общественного мнения, очень скудны. Позднее, при обсуждении правительственных предложений, он прибегал к подкупу депутатов, чтобы заручиться их голосами[70].

Пытался Столыпин, хотя и безуспешно, ввести в состав кабинета министров представителей общественности.

Приняв должность, он вступил в переговоры с А.И.Гучковым и Н.Н.Львовым, предлагая первому портфель министра торговли и промышленности, а второму — министра сельского хозяйства. Однако свое согласие на сотрудничество они поставили в зависимость от исполнения их условий — чтобы в состав кабинета вошли и другие представители общества. Затем Столыпин вошел в сношения с Д.Н.Шиповым и князем Г.Е.Львовым, будущим главой Временного правительства. Они выдвинули жесткие требования: готовность правительства пойти на частичное отчуждение землевладений, отмена смертной казни и военных судов. Эти условия были вполне приемлемыми, однако дальнейшие требования, чтобы большинство портфелей министров, включая министра внутренних дел, было передано не-бюрократам, правительство принять не могло[71]. При посредничестве Крыжановского Столыпин стал наводить мосты с кадетской партией, предполагая ввести ее представителей в кабинет, но и из этого ничего не вышло[72]. В январе 1907 года он снова попытался договориться с кадетами, надеясь переманить их на свою сторону, отвоевав у радикалов. В ту пору кадеты еще не имели прочного законного статуса, и Столыпин предложил им даровать этот статус, если они выступят с осуждением политического террора. И.И.Петрункевич, один из патриархов либерального движения и член Центрального комитета кадетской партии, ответил, что пусть лучше партия сгинет, чем потерпит «моральную гибель», приняв такое условие. Это положило конец всем переговорам[73].

К ужасу правительства, Вторая дума, заседания которой открылись 20 февраля 1907 года, оказалась еще более радикальной, нежели Первая, благодаря тому, что эсеры и эсдеки не стали бойкотировать выборы. Социалисты имели в Думе 222 депутатских мандата (из них 65 эсдеков, 37 эсеров, 16 представителей Народно-социалистической партии и 104 «трудовика», близких к эсерам), что было вдвое больше, чем у депутатов правого крыла. Кадеты, наученные поражением своей прежней тактики, стремились к более ответственной деятельности, однако их представительство сократилось почти вдвое (со 179 до 98) и в оппозиции главенствовали социалисты, не склонные вести законодательную работу. Эсеры решили принять участие в выборах с тем, чтобы «использовать Государственную думу для организации и революционизирования масс»[74]. Социал-демократы на четвертом (объединительном) съезде партии, состоявшемся в Стокгольме в апреле 1906 года, пришли к решению «планомерно использовать все конфликты, возникающие между правительством и Думой, как и внутри самой Думы, в интересах расширения и углубления революционного движения». Съезд рекомендовал социал-демократической фракции организовать движение масс, которое опрокинуло бы существующий порядок, «обнаруживая перед массой непоследовательность всех буржуазных партий», убеждая в непродуктивности Думы и призывая к созыву Учредительного собрания[75]. То есть, как видно, социалисты вошли в Думу с явной целью саботировать законотворческую работу и вести революционную пропаганду под защитой депутатской неприкосновенности.

Еще печальнее, с точки зрения правительства, было то, что избранные в Думу священники, в основном выдвинутые крестьянами, сторонились консервативных партий, предпочитая занимать место в центре, а некоторые прямо примыкали к социалистам.

Едва лишь во Второй думе начались дискуссии, как в высших кругах заговорили о том, что она неспособна к конструктивной работе и должна быть распущена или хотя бы серьезно перекроена. Ф.А.Головин, ее председатель, вспоминал, что в марте или апреле 1907 года именно в таком тоне говорил с ним царь[76]. Однако прямо распустить Думу было, как показал опыт, непрактично ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Политические доводы в пользу сохранения парламентарного установления мы уже приводили: бюрократия нуждалась в представительном органе, с которым она могла бы делить ответственность за недуги государства.

Экономические же соображения касаются международных банковских дел. Крупный французский финансист сообщил Коковцову, что роспуск Первой думы поразил французский финансовый рынок «как удар грома»[77]. Впоследствии, в 1917 году, Коковцов объяснил, какая тесная связь существовала между парламентским управлением в России и ее кредитами на международном рынке. Рыночная цена билетов российского государственного займа 1906 года резко упала после роспуска Первой думы. Когда же распространился слух о том, что подобная участь ожидает и Вторую думу, российские облигации с объявленной стоимостью в 100 рублей снизились в цене с 88 до 69, то есть на 21%[78]. Таким образом, на

горьком опыте можно было предсказать, что уничтожение Думы резко подорвет возможность поднять зарубежные займы до выгодных соотношений.

Столыпин был готов распускать Думу и созывать новую столько раз, сколько понадобится: он признавался другу, что последует примеру прусского двора, семь раз подряд распускавшего парламент, пока не добился нужного результата[79]. Но такая тактика была неприемлема для российского двора. Вынужденный отказаться от роспуска нижней палаты, двор потребовал ревизии избирательного закона, чтобы обеспечить созыв более консервативной Думы.

Крыжановский в своих воспоминаниях рассказывает, что пока еще проходили заседания Первой думы, Горемыкин подал царю меморандум, в котором сетовал на «промахи» выборов и критиковал изменения, внесенные в разработанный еще для «булыгинской думы» закон о выборах, предоставлявшие право голоса рабочим и резко увеличивавшие представительство крестьян. Царь разделял взгляды Горемыкина. В начале мая 1906 года, явно с его одобрения, Горемыкин потребовал от Крыжановского составить проект нового закона о выборах, который, не лишая избирательных прав никакую группу населения и не касаясь основных конституционных функций Думы, сделает ее более сговорчивой. В том же месяце наспех составленные предложения Крыжановского были представлены царю. Ход им дан не был, возможно потому, что назначение Столыпина на пост председателя Совета министров породило надежды на то, что он сумеет справиться с Думой[80].

Теперь же, когда эти надежды развеялись, Столыпин просил Крыжановского составить изменения в закон о выборах, которые обеспечили бы представительство «более состоятельных» и «более культурных» слоев.

Хотя многие современники и историки видели в односторонних изменениях избирательного права, объявленных 3 июня 1907 года, не более и не менее как государственный переворот, с точки зрения правительства они представляли собой компромиссное решение, альтернативу роспуску Думы. Воспользовавшись проектом, который он составлял по просьбе Горемыкина, Крыжановский выдвинул три положения, вносивших существенные изменения в избирательный закон, а также в положения Основных законов, предоставляя двору больший объем законодательной власти.

Формальным предлогом для роспуска Второй думы послужило обвинение, выдвинутое против ряда депутатов от социал-демократической партии в причастности к заговору, целью которого было поднять бунт в петербургском гарнизоне. Столыпина немедленно обвинили в провокации, но в действительности заговор был раскрыт агентами полиции, застигшими в доме одного из депутатов подпольное собрание социал-демократов с представителями армейских и флотских революционно настроенных частей[81]. Со свидетельствами на руках Столыпин предстал перед Думой, требуя лишить депутатской неприкосновенности всех депутатов от социал-демократической партии и передать их в руки правосудия. Дума согласилась лишить неприкосновенности только тех депутатов, которым можно предъявить неопровержимые обвинения в подстрекательстве к бунту. Столыпин предпочел бы, распустив Думу, просто назначить новые выборы, но под непреодолимым давлением двора вынужден был пересмотреть саму процедуру думских выборов*. Вторая дума была распущена 2 июня 1907 года.

* Депутаты социал-демократы предстали перед судом после роспуска Думы, когда иссякло действие их депутатской неприкосновенности, и были приговорены к каторжным работам (Курлов П.Г. Гибель императорской России. Берлин, 1923. С. 94).

Новый закон о выборах, обнародованный на следующий день, явно нарушал положение конституции, запрещавшее использование статьи 87 для «введения изменений в положения о выборах в [Государственный] Совет или Думу». Это признал даже Крыжановский[82]. Чтобы обойти это ограничение, изменения в избирательный закон были проведены посредством издания Высочайшего манифеста, как того требовали дела насущной государственной важности. Акция оправдывалась тем, что царь волен пересматривать Основные государственные законы, ибо не давал клятвы соблюдать их[83]. Новый закон отдавал предпочтение обеспеченным сословиям, применяя в качестве критерия избирательного права скорее имущественную оценку, чем легальный статус. Представительство промышленных рабочих и национальных меньшинств сильно сократилось. Разочарованное поведением общинных крестьян в первых двух Думах, правительство сократило и число их мест в Думе. В результате этих перемен представительство землевладельцев (категория, включавшая крестьян-единоличников) увеличилось в полтора раза, тогда как представительство общинных крестьян и рабочих во столько же раз сократилось. Таким образом, Дума стала гораздо более консервативным, а в этническом отношении — более однородно русским органом.

Термин «государственный переворот», часто употребляемый в полемической и исторической литературе по отношению к изменениям закона о выборах, едва ли оправдан. Ведь Дума в конце концов продолжала работать, сохранив за собой законодательную и бюджетную власть, дарованную ей Основными законами: манифест 3 июня ясно подтвердил прерогативы Думы. И в последующие годы Дума доставляла правительству еще много неприятностей. Лишь прямое упразднение нижней палаты или лишение ее законодательной власти можно было бы считать государственным переворотом. А событие, произошедшее 3 июня, вернее было считать нарушением конституции. И вполне в духе российской традиции: поглощать всякий независимый политический институт государственной структурой.

* * *

Третья дума, созванная 1 ноября 1907 года, была единственной, которой удалось просуществовать весь отведенный ей пятилетний срок полномочий. Как и предполагалось, новый законодательный орган был значительно более консервативен, нежели предыдущий: из 422 депутатов 154 принадлежали «Союзу 17 октября» (октябристы), а 147 — правому крылу и националистическим группировкам. Такое представительство обеспечивало консерваторам большинство в две трети голосов. За кадетами сохранилось только 54 места, в союзе с ними выступали 28 «прогрессистов». У социалистов было 32 депутата (19 социал-демократов и 13 трудовиков). Хотя правительство могло чувствовать себя значительно уверенней при таком перевесе консервативных сил в законодательном органе, все же это не означало немедленного и автоматического большинства при голосовании правительственных предложений, и Столыпин вынужден был организовывать сложнейшие политические маневры, чтобы провести через Думу то или иное решение. Министрам часто приходилось отвечать на запросы, и бывали случаи, когда правительство вынуждено было отступать.

Октябристы, заправлявшие в Третьей думе, как кадеты в Первой и социалисты во Второй, были преданы существующему конституционному порядку. Свою задачу они определяли следующим образом: «Образовать в Думе конституционный центр, не стремящийся захватить правительственные полномочия, но в то же время призванный защитить права народного представительного собрания в рамках, установленных для него Основными законами»[84].

Путеводной философской идеей партии была идея государства, опирающегося на закон — закон, одинаково обязательный и для правительства и для общества. Лидером партии октябристов был А.И.Гучков, европейски образованный выходец из известной московской купеческой семьи, ведущей происхождение от крепостных крестьян. По словам Керенского, которому Гучков запомнился «несколько угрюмой, одинокой и чуть-чуть загадочной фигурой», он выступал против освободительного движения[85]. Гучков был не слишком высокого мнения о российских народных массах и не доверял политикам. Преданный патриот, он темпераментом и взглядами походил на Столыпина, которому помогал вносить раскол в ряды депутатов правого крыла Третьей думы, переманивая на свою сторону наиболее умеренных из них; эти депутаты, образовавшие националистическую фракцию, вместе с октябристами составляли абсолютное большинство, позволявшее Столыпину проводить через Думу многие свои законодательные инициативы[86]. Большинство рядовых членов «Союза 17 октября» пришли из земского движения и сохранили с ним тесную связь.

Для обеспечения поддержки своим законодательным программам Столыпин ежегодно выделял из секретных фондов сумму в 650 тыс. рублей на субсидирование печати и подкуп влиятельных депутатов правого крыла[87].

Третья дума работала достаточно напряженно: за пять лет ею было обсуждено 2571 предложение, внесенное правительством, 205 собственных законодательных инициатив и проведено 157 запросов министрам[88]. В думских комиссиях обсуждались аграрные вопросы, социальное законодательство и многие другие проблемы. 1908 и, особенно, 1909 годы были годами щедрых урожаев, заметного спада волны насилия, нового витка развития промышленности. Это была вершина карьеры Столыпина.

Однако в это же время на горизонте стали сгущаться первые тучи. Как уже отмечалось, конституция была дарована под давлением обстоятельств как единственный и последний способ избежать краха. Двор и его приверженцы правого крыла видели в ней не фундаментальную и окончательную перемену в системе управления в России, а чрезвычайную меру, предпринятую на время острых волнений в обществе. Нежелание признавать Основные законы конституцией и намеренное подчеркивание того обстоятельства, что царь не присягал Основным законам и посему волен не соблюдать их положений, не просто служили удобными отговорками, но отражали глубочайшие убеждения царедворцев. Таким образом, едва положение дел в стране слегка наладилось и необходимость в чрезвычайных мерах отпала, при дворе тотчас вновь ожили прежние сомнения: нужны ли парламентарный строй и премьер-министр, проводящий парламентарную политику, если общественный порядок восстановлен и в деревню возвратилось благоденствие? Столыпин, который говорил о себе, что он «прежде всего верноподданный слуга своего Государя и исполнитель его предначертаний и приказаний», теперь представлялся «самым опасным революционером»[89]. А упрекали Столыпина главным образом за то, что он не выступал в Думе исключительно в качестве агента двора, а проводил собственную политику. Столыпин верил, что, сколачивая партию «друзей короля», он преследует отнюдь не свои интересы, а интересы царя. Монархисты же видели только, что его политическая деятельность приводит к умалению самодержавной власти или, по крайней мере, к умалению тех прав, которыми сами наделяли себя царь и его окружение:

«Столыпин последним из всех мог бы согласиться с тем, что его политика ослабляет независимую императорскую власть — действительно, он считал, что источник его собственной власти проистекает из того факта, что она была вручена ему самодержавным монархом. И все же к такому результату неминуемо должна была привести его политика, коль скоро он понял, что в современных условиях защитить государство от революции можно единственно путем усиления через парламент влияния землевладельческих, профессиональных и образованных классов. И сделать это можно только за счет императорского самовластья. Этот бесспорный факт в глазах императора придавал особую силу доводам

реакционеров»[90].

В этом состояла причина натянутых отношений с двором, слабеющей поддержки и растущей немилости. После смерти Столыпина императрица на его примере наставляла его преемника В.Н.Коковцова: «Не ищите поддержки в политических партиях»[91]. Вообще же, чем успешнее оказывалась политическая деятельность Столыпина, тем менее нуждались в его услугах и тем враждебнее относились к нему при дворе. Таковы парадоксы российской политики.

Столыпинские реформы и проекты реформ также затрагивали интересы власть имущих. Аграрная реформа, направленная на образование в России сословия независимых крестьян-землевладельцев, угрожала той прослойке сельского дворянства, которая считала себя незаменимым форпостом культуры в деревне. Своими планами децентрализовать администрацию Столыпин нажил себе врагов среди чиновничества; а его замыслы урезать полномочия полиции не вызывали воодушевления среди служащих. Безуспешные попытки улучшить положение евреев вызывали ярость крайне правых. Однако, теряя поддержку при дворе, он не нашел сочувствия и в обществе. Либералы не могли простить ему «столыпинских галстуков» и злоупотребления 87-й статьей в обход законодательных полномочий Думы. Для крайне правых он был человеком со стороны, взятым на службу, чтобы загасить пламя революции, и злоупотребившим своим положением для стяжания собственной власти. Те же, кто, по словам Струве, считали конституцию «замаскированным бунтом»[92], презирали его за то, что он отнесся к ней слишком серьезно, вместо того чтобы посвятить себя восстановлению самодержавия. В воинственной атмосфере русской политической жизни, где одна группа блюстителей чистоты принципов сталкивается с другой, столь же бескомпромиссной, для Столыпина с его прагматическим идеализмом места не было. Осажденный со всех сторон, он стал ошибаться и совершать политические промахи.

* * *

Первый конфликт Столыпина с Третьей думой произошел при определении бюджета военно-морского флота на 1909 год[93]. В начале 1908 года правительство внесло предложение о постройке четырех военных кораблей типа «дредноут» для балтийского оборонительного флота. В Думе этот проект вызвал сопротивление октябристов и кадетов. Гучков считал, что Россия не может позволить себе содержать большой и дорогой флот. Милюков поддержал его: Россия, говорил он, в сравнении с Германией уже и так тратит на флот непропорционально большие суммы, хотя у нее нет ни колоний, ни обширной заморской торговли. Обе партии предпочли бы передать ассигнования, предназначенные на строительство дредноутов, армии[94]. В 1908-м и, еще раз, в 1909 году Дума отвергла требования ассигнований на морской флот. Хотя для того, чтобы запустить в ход морскую программу, было достаточно одобрения бюджета в Государственном совете, отказ Думы заставил Столыпина искать поддержку у более правых, чем октябристы, партий — этот крен вправо был одновременно и поворотом к более националистической политике.

Роковой кризис в Думе, предопределенный этим «поправением», обнаружился косвенно при обсуждении вопроса о введении земского самоуправления в западных губерниях Российской империи. Проект встретил сильную оппозицию в верхней палате, где земства не пользовались популярностью. Увидев в этом повод проверить свой авторитет руководителя, Столыпин решил добиться принятия проекта любой ценой.

При учреждении земств в 1864 году девять губерний Западного края, отошедших к России при разделе Польши, не были охвачены. Система земских выборов сильно перекосилась в сторону землевладельческого дворянства, а в западных губерниях большую долю в этой категории составляли поляки-католики, и правительство опасалось, что они воспользуются земствами в своих националистических интересах. (Еще жива была память о Польском восстании 1863 года.) Наиболее просвещенные представители бюрократии понимали, однако, что культурный уровень русского населения в приграничных областях крайне низок и поэтому в местном управлении необходимо предоставить голос нерусскому населению[95]. О распространении Земского положения на западные губернии Столыпин говорил уже в августе 1906 года, но законодательный акт впервые сформулировал в 1909-м. Хотя этот акт в вопросах предоставления национальным меньшинствам возможности участвовать в самоуправлении носил либеральные черты, все же в первую очередь он должен был отвечать требованиям правого крыла, во все большую зависимость от которого впадал Столыпин: по свидетельству Крыжановского, такие требования постоянно предъявляли ему депутаты из помещиков западных губерний[96].

В своем проекте Столыпин стремился обеспечить преимущество русским землевладельцам-крестьянам и помещикам. Поскольку в Вильно, Ковно и Гродно не было практически ни русских помещиков, ни русских крестьянских землевладельцев, эти губернии не вошли в проект, который таким образом распространялся лишь на шесть губерний Западного края (Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую). И в этих шести губерниях преобладание русских должно было обеспечиваться сложной выборной процедурой с использованием избирательных курий. Лица еврейского происхождения полностью лишались избирательного права[97].

К обсуждению проекта об учреждении земств в западных губерниях Дума приступила 7 мая 1910 года. В обращении к Думе Столыпин заверил, что основная цель законопроекта состоит в том, чтобы Западный край оставался «навсегда, навеки» русским, для чего требовалось защитить русское меньшинство

от польско-католического большинства. Законопроект при поддержке националистов и других правых депутатов после жарких дебатов и с некоторыми поправками был принят 29 мая при тайном голосовании.

В январе 1911 года законопроект с поправками был представлен в Государственный совет. При явном националистическом духе законопроекта вопрос о его прохождении казался предрешенным. Столыпин был настолько в этом уверен, что даже не удосужился принять участие в обсуждении законопроекта в Государственном совете, тем более, что комиссия при Совете уже ранее вынесла свое одобрение[98].

Однако за спиной Столыпина уже сплелась интрига. Несколько членов Государственного совета, предводительствуемые В.Ф.Треповым, сколотили с помощью Дурново оппозицию Столыпину. Противники законопроекта указывали на то, что, предоставляя полякам отдельную избирательную курию, Столыпин узаконивает национальный сепаратизм, тем самым подрывая традиционный «имперский» дух российского законодательства. Один из наиболее красноречивых противников законопроекта граф Витте заявлял, что «под флагом патриотизма стремятся создать в Западном крае вместо власти царской местную олигархию»[99]. Но истинной целью интриги было свержение Столыпина.

Трепов и Дурново просили личной аудиенции у царя. Изложив свои аргументы, они получили высочайшее позволение для депутатов правого крыла в Государственном совете не следовать рекомендациям правительства и голосовать, как им подсказывает совесть[100]. Предоставляя им такую свободу действий, царь не стал ни советоваться со своим премьер-министром, ни даже ставить его в известность об этом происшествии. Поэтому у Столыпина не было и тени подозрений, когда 4 марта он появился на заседании Государственного совета, где должно было проходить окончательное голосование по законопроекту. Многие из депутатов, которые проголосовали бы «за», будь на то высочайшая воля, теперь могли себе позволить голосовать «против». В результате ключевое положение законопроекта, заключавшее наиболее спорную идею об учреждении двух курий — одной для русских, другой для поляков и представителей иных национальностей, — провалилось при соотношении голосов 92 к 68. Потрясенный Столыпин покинул зал заседаний.

Не оставалось никаких иллюзий: это было выражение недоверия, хотя и высказанное Государственным советом, но явно идущее от двора. Потеряв самообладание, Столыпин решился добиться от царя полной правды. На следующий день он подал в отставку. Государь отставки не принял и просил Столыпина хорошо все обдумать. Царь предложил внести вопрос еще раз на рассмотрение Думы и Государственного совета, подразумевая, что на сей раз он выступит за поддержание законопроекта. Столыпин отказался. Когда же государь спросил, чего Столыпин от него ожидает, он ответил, что желал бы приостановить работу обеих палат на достаточно долгое время, чтобы провести законопроект по статье 87*. Кроме того, Столыпин потребовал высылки из Петербурга Трепова и Дурново.

* Когда Коковцов сказал ему, что мудрее было бы принять предложение царя, Столыпин ответил, что у него нет времени бороться с интригами, которые плетутся против него, и что все равно политически он уже побежден (Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Париж, 1933. Т. 1. С. 458; Аврех А.Я. Столыпин и Третья дума. М., 1968. С. 338).

Царь медлил с ответом четыре дня, а затем удовлетворил требования Столыпина. С 12 марта в работе обеих палат был объявлен перерыв до 15 марта. Узнав об этом, Государственный совет спешно вынес на голосование весь проект целиком, и он был отвергнут подавляющим большинством голосов — 134 против 23[101]. 14 марта закон о земствах в Западном крае был проведен согласно 87-й статье. Дурново и Трепову предписывалось покинуть столицу до конца года*.

* Трепов был арестован большевиками и расстрелян вместе с другими заложниками в Кронштадте 22 июля 1918 года (Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Т. 1.С. 462). Дурново скончался в 1915 году.

Отчаянные действия Столыпина имели весьма пагубные последствия, заставив отвернуться от него все политические партии[102]. Когда он предстал перед Думой, чтобы объяснить свои поступки, там не было ни одного сторонника. Пресса его осуждала; то же и высшее общество. Гучков в знак протеста отказался возглавлять союз октябристов, и союзу Столыпина с октябристами, казавшемуся столь плодотворным в начале работы Третьей думы, пришел конец. И, кроме того, немаловажную роль сыграла обида, которую затаил на Столыпина царь, никогда никому не прощавший своего унижения, а именно как царское унижение было воспринято это событие в обществе, где прекрасно понимали, что решение прервать работу Думы и выслать Трепова и Дурново принято царем не по своей воле[103]. В официальных кругах стали поговаривать, что царь желает избавиться от Столыпина и что дни Столыпина на посту председателя Совета министров сочтены[104]. Одинокий и всеми отвергнутый, он, по словам Коковцова, в эти дни «был неузнаваем»[105] — на смену обычной уверенности и великодушию пришли раздражительность и задумчивость.

Вдовствующая императрица-мать Мария Федоровна, всегда убеждавшая сына искать согласия с обществом и покровительствовавшая либеральным сановникам, поделилась с Коковцовым удручающими мыслями, в которые поверг ее ход событий: «Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным и энергичным и сумел ввести порядок после того ужаса, который мы пережили всего 6 лет тому назад, и вот — этого человека толкают в пропасть и кто же? Те, которые говорят, что они любят Государя и Россию, а на самом деле губят и Его и родину... Это

просто ужасно»[106].

* * *

В конце августа 1911 года, отправляясь в Киев на торжества по случаю открытия памятника Александру II, Столыпин был уже в явной опале. Предвестия насильственной смерти давно посещали его, и в завещании, составленном в 1906 году, он просил похоронить его на месте убийства[107]. Перед отъездом он поделился с Крыжановским мрачными предчувствиями и вручил ему шкатулку с секретными бумагами, которые просил уничтожить, если с ним случится несчастье*. При этом, однако, Столыпин вовсе не побеспокоился о мерах обеспечения собственной безопасности: он не воспользовался ни личной охраной, ни бронежилетом.

* Архив Крыжановского. Колумбийский ун-т. Кор. 2. Папка 5. Крыжановский выполнил просьбу Столыпина, сохранив только его письма к царю. Опасения Столыпина, что в Киеве его убьют, возможно, восходили к дезинформации, которую, как описано ниже, его будущий убийца представил охранке.

В Киеве, где пренебрежение царской фамилии и свиты уже не оставляло сомнений, он испытал всю унизительность падения.

Вечером 1 сентября в Киевском городском театре должны были давать представление оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Николай с дочерьми заняли генерал-губернаторскую ложу, расположенную на уровне оркестра. Столыпин сидел невдалеке в первом ряду. Во втором перерыве, около 10 часов вечера, он беседовал, стоя у барьера оркестровой ямы, с графом Потоцким и графом Фредериксом. В этот момент к нему приблизился молодой человек во фраке, обнажил прикрытый программкой браунинг и дважды выстрелил. Одна пуля попала Столыпину в руку, другая в грудь, при этом первая рикошетом ранила оркестранта, другая, ударившись о медаль, изменила направление и застряла в области печени. По словам свидетеля, Столыпин поначалу не понял, что произошло: «Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны, под грудной клеткой, уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать: «Все кончено». Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом, слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес: «Счастлив умереть за Царя». Увидя Государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал делать знаки, чтобы Государь отошел. Но Государь не двигался и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, благословил его широким крестом»[108].

Столыпина спешно увезли в госпиталь. Казалось, он уже шел на поправку, когда начала распространяться инфекция. Скончался он вечером 5 сентября*. На следующий день толпы охваченных паникой евреев бросились на Киевский железнодорожный вокзал. Однако, благодаря решительным действиям властей, погромов не было.

* Вскрытие показало: сердце и печень его находились в таком плачевном состоянии, что он должен был очень скоро умереть естественной смертью (TokmakofFG.P.A. Stolypin and the Third Duma. Washington, D. C, 1981. P. 207-208).

Убийцей, схваченным и избитым при попытке бежать с места преступления, оказался двадцатичетырехлетний юрист Дмитрий Григорьевич Богров, отпрыск богатой еврейской семьи из Киева[109]. И дома и в частых поездках за границу он свободно входил то в анархистские, то в эсеровские круги. Прилично обеспеченный заботливыми родителями, он пристрастился к игре и нередко проигрывался до нитки, и вполне вероятно, что именно материальные затруднения толкнули его на сотрудничество с полицией. Согласно его признаниям, с середины 1907 до конца 1910 года он служил осведомителем киевской охранки и по его доносам проводились аресты анархистских и эсеровских террористов.

Между тем в революционной среде недоверие к Богрову крепло. Сначала его обвиняли в присвоении партийной кассы, а в конце концов пришли к убеждению, что он служит в полиции. 16 августа 1911 года Богрова посетил некой революционер, заявивший, что его осведомительская деятельность уже не вызывает сомнения и единственный способ для него избежать казни — совершить террористический акт, причем лучшая цель — начальник киевского охранного отделения Н.Н.Кулябко. Был установлен и срок: 5 сентября. Богров явился к Кулябко, но тот принял его так тепло и радушно, что у Богрова просто не поднялась на него рука. Тогда он решил избрать своей жертвой царя, прибытия которого в Киев ждали через несколько дней, но отказался от этого плана — из опасения спровоцировать еврейские погромы. В конце концов он остановил выбор на Столыпине, которого считал «главным виновником наступившей в России реакции»*.

* Струмилло Б.//КЛ. 1924. № 1 (10). С. 230. В беллетристическом изложении этих событий Александр Солженицын приписывает поступок Богрова желанию защитить интересы евреев от будто бы угрожавшего им столыпинского идеала «Великой России». Солженицын так «реконструирует» ход мыслей Богрова: «Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провел некоторые помягчения, но все это — не от сердца.

Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русские национальные интересы, русское представительство в Думе, русское государство. Он строит не

всеобще-свободную страну, но — национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям» (Солженицын А. Красное колесо: Узел I. Август четырнадцатого. Ч. 2. Париж, 1983. С. 126). Однако в пользу такой интерпретации нет никаких свидетельств. Напротив, Богров, происходящий из совершенно ассимилировавшейся семьи (его дедушка принял православие, а отец был членом киевского дворянского клуба), мог считаться евреем только в биологическом («расовом») смысле. В жизни звали его русским именем Дмитрий, хотя Солженицын и предпочел еврейское имя Мордко. В показаниях, данных полиции, Богров заявил, что стрелял в Столыпина, потому что его реакционная политика нанесла большой ущерб России. В прощальном письме родителям, написанном в день убийства, он объяснил, что не способен вести нормальную, спокойную жизнь, которой они от него ждали (Серебренников А. Убийство Столыпина: Свидетельства и документы. Н.-Й., 1986. С. 161 — 162). Наиболее вероятный источник утверждений, что Богров действовал как еврей и во имя еврейских интересов, — ложное сообщение в правой газете «Новое время» за 13 сентября 1911 года о том, будто перед казнью Богров сказал раввину, что «боролся за благо и счастье еврейского народа» (Серебреников А. Цит. соч. С. 22). В действительности Богров отказался встречаться с раввином перед казнью (Речь. 1911. 13 сент.; Серебреников А. Цит. соч. С. 23—24).

Чтобы отвлечь внимание от себя и своих планов, Богров сообщил полиции о будто бы готовящемся двумя никогда не существовавшими террористами заговоре против Столыпина и министра народного просвещения Л.А.Кассо. 26 августа он сообщил полковнику Кулябко, что двое злоумышленников собираются приехать в Киев во время торжеств и использовать как явку его квартиру. Кулябко, «мягкий» и «доверчивый»[110], не имел оснований не поверить Богрову, так как в прошлом тот уже не раз проявил себя как вполне надежный агент. Он установил наблюдение за квартирой Богрова, дав тому возможность свободно передвигаться по городу. 29 августа Богров подбирался к Столыпину во время прогулки по парку, а днем 1 сентября приблизился к нему, когда тот фотографировался на ипподроме, но пока ему не удавалось подойти к жертве настолько близко, чтобы было удобно произвести выстрел.

Охранка, основываясь на угрожающей информации, предоставленной Богровым, рекомендовала премьер-министру не появляться на публике без охраны, но Столыпин пренебрег этим предостережением. Он вел себя как человек обреченный, покорившийся своей участи, уже не видящий, ради чего ему жить, и как будто даже искал мученического конца.

Между тем время работало против Богрова: спектакль, который давался в городском театре вечером 1 сентября, мог оказаться последним шансом. Однако из-за усиленных мер безопасности и повышенного интереса публики билеты достать было очень трудно. Тогда Богров обратился за помощью прямо в полицию, заявив, что опасается-де за свою жизнь, если по его доносу будут арестованы указанные им террористы, а он не сможет представить убедительного алиби. А лучшее алиби — билет в театр. Билет ему вручили лишь за час до начала спектакля.

9 сентября, после недели допросов, Богров был предан киевскому военному суду, который вынес ему смертный приговор. Он был повешен в ночь с 10 на 11 сентября в присутствии свидетелей, которые хотели убедиться, что казнен будет именно Богров, а не подставное лицо из «смертников», ибо о тесных связях Богрова с полицией было уже широко известно.

Как только выяснилось, что проникнуть в театр Богрову помогла сама полиция, распространились слухи, будто он действовал с ведома правительства. И эти подозрения не стихли по сей день. Главным подозреваемым был и остается генерал П.Г.Курлов, начальник жандармского корпуса, ответственный за безопасность во время визита государя императора и имевший трения по службе с председателем Совета министров[111]. Это предположение покоится, однако, на весьма шатких доказательствах. Неспособность полиции предотвратить убийство премьер-министра проистекала скорее из вошедшей в обычай практики использования двойных агентов: стоит напомнить, что даже величайшему двойному агенту Евно Азефу тоже приходилось предавать хозяев, дабы заслужить доверие террористов, вплоть до того, что он организовал убийство своего начальника Плеве. Относительно же того, что полиция выдала Богрову труднодоставаемый билет в театр, то этот факт прекрасно вписывается в сценарий действий, который Богров сумел внушить полиции. Курлов в своих воспоминаниях писал, что пятью годами ранее в сходной ситуации киевская охранка впустила в городской театр двойного агента, чтобы предотвратить покушение на генерал-губернатора[112]. При пристальном рассмотрении теории о правительственном заговоре против Столыпина оказываются несостоятельными. Поскольку все были вполне уверены, что премьер-министра ждет скорая отставка, его врагам не было нужды прибегать к насилию, чтобы избавиться от него, тем более если учесть, что главные подозреваемые в этом преступлении, то есть жандармские чины, сильно бы рисковали: Богров, стремясь оправдаться, мог выдать своих сообщников. Но сам факт, что царских сановников можно было заподозрить в организации убийства председателя Совета министров, говорит о ядоточивой атмосфере, царившей в Российской империи перед самой ее кончиной.

* * *

Давая оценку Столыпину, не следует смешивать человека, личность, и его деяния.

Он бесспорно возвышался над современным политическим горизонтом, и чтобы измерить величие Столыпина, достаточно поставить его в один ряд с теми, кто пришел ему на смену, по большей части людьми ничтожными и порой малосведущими, подобранными по признаку личной преданности государю и

призванными служить именно монаршим интересам, а не интересам нации. А он, Столыпин, указал потрясенной революцией России национальную цель и вдохнул надежду. Он вознес политику и над партийными интересами и над утопическими грезами.

Но, признавая его величие, не следует полагать, что, не погибни Столыпин от пули террориста, он сумел бы спасти Россию от революции. Чтобы вести страну к стабильности, ему необходима была безоговорочная поддержка двора и хотя бы в какой-то степени сочувствие либеральных и консервативных партий. Он не встретил ни того, ни другого. Его великие проекты политической и социальной реформы оставались в основном на бумаге, а единственное крупное свершение — аграрная реформа — было стерто в 1917 году стихийными выступлениями общинных крестьян. К моменту гибели политическая роль Столыпина иссякла; как заметил Гучков, «в сущности, Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти»[113].

Ничто не иллюстрирует так ярко безнадежность столыпинских начинаний, как безразличие, с которым царственная чета отнеслась к его гибели. Через десять дней после того, как был застрелен премьер-министр, Николай II описывал матери свою поездку в Киев. И трагическое событие превратилось в его отчете в эпизод из череды приемов, парадов и других развлекательных и торжественных мероприятий. А когда он сообщил о покушении на Столыпина жене, она, по его словам, «приняла известие довольно спокойно»[114]. В самом деле, много лет спустя императрица, обсуждая те печальные события с преемником Столыпина Коковцовым, журила его за излишнюю впечатлительность: «Мне кажется, что вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности... Не надо так жалеть тех, кого не стало... Каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять... Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это — для блага России»[115]. Хотя отнял жизнь у Столыпина революционер, политическое его убийство совершили именно те люди, которых он пытался спасти.

* * *

Три года, отделившие смерть Столыпина от начала первой мировой войны, трудно охарактеризовать однозначно, ибо они носили самые противоречивые черты, одни из которых свидетельствовали о стабилизации, другие — об упадке.

На поверхностный взгляд, в России сложилась весьма многообещающая ситуация, и это впечатление подкреплялось новым потоком западных инвестиций. Столыпинские репрессивные меры, сопровождавшиеся экономическим ростом, смогли восстановить порядок в стране. И консерваторы, и радикалы, хоть и с разным чувством, сходились в одном: Россия сумела преодолеть революцию 1905 года. В либеральных и революционных кругах настроение было подавленное, ведь монархии вновь удалось переиграть своих противников, идя на уступки в тревожное время и возвращаясь на прежние позиции, едва положение начинало упрочиваться. И хотя терроризм окончательно не заглох, ему уже было не оправиться от потрясения, какое нанесли ему скандальные разоблачения 1908 года, когда открылось, что лидер эсеровской боевой организации Азеф — агент охранки.

Экономика процветала. Урожаи зерна в центральной России значительно возросли. Производство стали в 1913 году в сравнении с 1900-м возросло на 57,8%, а добыча угля более чем удвоилась. Более чем вдвое увеличился в этот период российский экспорт и импор[116]. Благодаря строгому контролю за эмиссией денежных знаков рубль стал одной из самых твердых валют в мире. Французский экономист в 1914 году предсказывал, что если Россия сумеет сохранить до 1950 года такую тенденцию роста экономики, какая наблюдалась с 1900 по 1912 год, то к середине века она в политическом, экономическом и финансовом отношении станет ведущей державой в Европе[117]. Экономический рост позволил казне в гораздо меньшей степени, чем прежде, опираться на иностранные займы и даже сократить некоторые долги: к 1914 году, после десяти лет непрерывного роста, в государственной задолженности России наконец наметилось снижение[118]. Положительные сдвиги произошли и в государственном бюджете: четыре года, с 1910 по 1913-й, бюджет имел активное сальдо, учитывая «чрезвычайные» статьи[119].

Столыпин на опыте убедился, что процветающая сытая деревня не склонна к бунту. И действительно, в годы, непосредственно предшествовавшие началу первой мировой войны, деревня, благодаря высоким урожаям, не доставляла беспокойств властям. Однако рост благосостояния совсем иначе отразился на ситуации в промышленных центрах. Массовый приток рабочих, по большей части из безземельных и малоземельных крестьян, внес в рабочие ряды весьма нестойкий элемент. В период с января 1910-го по июль 1914 года число рабочих в России возросло на одну треть (с 1,8 до 2,4 млн.); в середине 1914 года более половины рабочих Петербурга были пришлыми. И эти слои считали даже меньшевистские и эсеровские программы слишком умеренными, предпочитая им более простые и более эмоциональные лозунги анархистов и большевиков[120]. Их вечное беспокойство и ощущение отверженности внесли существенный вклад в усиление рабочего движения как накануне войны, так и, в особенности, в первой половине 1914 года.

Все-таки нет никаких оснований утверждать, что положение в России в 1914 году было менее «стабильным», чем в любой другой год от начала века, за исключением только 1905—1906 годов, и что

Россия неминуемо шла к революции[121]. В пользу этого утверждения, обязательного для советских историков, служит прежде всего довод о возросшем после 1910 года стачечном движении. Однако довод этот по многим причинам неубедителен.

Прежде всего забастовки вовсе не обязательно свидетельствуют о социальной нестабильности: чаще наоборот, они сопутствуют подъему рабочих на более высокую экономическую и социальную ступень. Низкооплачиваемые, неквалифицированные и неорганизованные рабочие редко бастуют. Существует прямое и наглядное соотношение между образованием профсоюзов и стачечной активностью*. Узаконивая профсоюзы, имперское правительство узаконило и стачки, прежде запрещенные. И в этом свете рост забастовочного движения (более чем в половине случаев речь шла об остановке работы на два—три дня) было бы, наверное, правильней расценить как признак зрелости рабочего класса в России, что, исходя из опыта западных стран, должно было привести к большей социальной стабильности.

* «Большинство забастовок возникает в организованной промышленности, и распространение тред-юнионизма в прежде неорганизованные сферы промышленности часто сопровождается волнами забастовок» (Fitch JA//Encyclopedia of the Social Sciences. V. 14. N. Y., 1934. P. 420). К сходному выводу на основе опыта Соединенных Штатов приходит J.I.Griffin (Strikes. N.Y., 1939. P. 98).

Во многих развитых западных странах в период, непосредственно предшествовавший первой мировой войне, также наблюдалась активизация рабочего движения. В Соединенных Штатах, например, в 1910—1914 годах в забастовках участвовало вдвое больше рабочих, чем в предыдущие пять лет, а в 1912 и 1913 годах забастовки охватили больше рабочих, чем в любой другой год из предшествовавшего тридцатилетия[122]. В Великобритании тоже в 1912 году стачечное движение испытало резкий взлет — и по числу рабочих, принимавших в нем участие, и по продолжительности[123]. И все же ни одна, ни другая страна не была выбита из равновесия и не пережила революции.

Тщательный анализ показывает, что социальная стабильность в России зависела от состояния деревни: радикальная интеллигенция понимала невозможность революции в России, пока крестьянство пребывает в покое. И весьма показательно, что русская деревня не проявила признаков волнений ни накануне войны, ни в первые ее годы. Полмиллиона рабочих, бастовавших в 1912 году, составляли ничтожное меньшинство в сравнении со 100 млн крестьян, мирно занятых своим трудом.

Не выглядят сколь-либо убедительными и примеры политических возмущений в либеральном движении, как, например, эксцентричное предложение миллионера фабриканта А.И.Коновалова оказать финансовую поддержку Ленину[124]. Эту, уже ставшую привычной практику российских либералов, которые, вызывая к жизни призрак революции, вынуждали власти пойти на политические уступки, нельзя рассматривать как признак радикализации либеральных воззрений. В действительности в предвоенной России можно было наблюдать совсем иное явление — а именно поворот к консерватизму. Множество свидетельств указывают на рост патриотических чувств среди образованных слоев населения, включая студенческую молодежь.

Сходный сдвиг вправо наблюдался в русской культуре и русской мысли. Сосредоточенность на гражданских проблемах, политизация русской жизни, наметившиеся в середине XIX века, уже в конце столетия пошли на убыль. С появлением символистского течения в поэзии и победой эстетических норм в критике литература и искусство обратились к иным средствам и иным темам: воплощением литературного творчества становился не роман, а поэтические формы, в то время как в изобразительном искусстве происходил поворот от реализма к абстракции и фантастике. Вызов, брошенный художникам и музыкантам Сергеем Дягилевым, — «Удиви меня!» — поразил нравоучительные заповеди, охраняемые арбитрами вкуса предшествующих поколений. Еще одним проявлением этих перемен было обращение писателей к запретным темам и популярность в самых различных кружках спиритизма и теософии. Идеализм, метафизика, религиозный мистицизм вытеснили позитивизм и материализм. В моду входил Ницше[125].

Словно удар бича, обрушилась на интеллигенцию критика со страниц сборника «Вехи», авторами которого были либералы и бывшие марксисты. Эта книга, снискавшая небывалый в истории России скандальный успех, обвиняла интеллигенцию в узости мысли, фанатизме, отсутствии истинной культуры и множестве других грехов и призывала ее начать труднейшую работу самосовершенствования. Старая интеллигенция, группировавшаяся вокруг социалистических и либеральных партий, отвергла этот призыв, как отвергала основные течения модернистской культуры. Она упорно отстаивала прежние образы, охраняя изжитые идеалы культуры середины прошлого столетия. Одним из немногих представителей творческой интеллигенции, ассоциировавшей себя с теми отжившими течениями, был Максим Горький. Другие талантливые писатели восприняли «модернизм» и в своих политических воззрениях обернулись к патриотизму.

И все же, несмотря на социальное «успокоение», экономический взлет и пышный расцвет культуры, Россия в канун первой мировой войны была страной беспокойной и озабоченной. Ни революция 1905 года, ни столыпинские реформы ничего не решили: с точки зрения социалистов, революции 1905 года могло бы и не быть, столь убоги были ее свершения; с точки зрения либералов, революция осталась незавершенной; для консерваторов — наследием ее явился беспорядок. И поскольку не видно было пути примирения противоречивых потребностей 150-миллионного населения России, новая революция замаячила суровой

реальностью. А еще свежие в памяти воспоминания о поднявшихся и в слепой ярости сметавших все на своем пути «народных массах» у всех, кроме ничтожного меньшинства, вызывали содрогание и ужас.

Исследователей этого периода более всего поражает и оставляет тягостное впечатление атмосфера всеобщей и глубокой ненависти, царившей в обществе, — ненависти разнообразной: идеологической, этнической, социальной. Монархисты презирали либералов и социалистов. Радикалы ненавидели «буржуазию». Крестьяне косо смотрели на тех, кто вышел из общины, чтобы вести самостоятельное хозяйство. Украинцы ненавидели евреев, мусульмане — армян, казахи-кочевники ненавидели и мечтали изгнать русских, которые поселились в их краях при Столыпине. Латыши готовы были броситься на помещиков-немцев. И все эти страсти сдерживались исключительно силой — армией, жандармами, полицией, которые и сами были под постоянным обстрелом слева. Поскольку политические институты и процессы, способные мирно разрешить эти конфликты, так и не народились, было весьма вероятно, что рано или поздно все вновь пойдет по пути насилия, по пути физического истребления тех, кто встает на пути той или иной из этих враждующих групп.

В те дни стало уже общим местом говорить, что Россия живет, как на вулкане. В 1908 году Александр Блок прибег к другой метафоре, говоря о бомбе, «тикающей» в сердце России. Кто-то пытается не слышать этого тиканья, кто-то пытается убежать от него, иные же пытаются ее обезвредить. Бесполезно: «...хотим мы или не хотим, помним или забываем, — во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва... Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа»*[126].

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА

Памятуя о событиях японской войны, окончившейся полным поражением России и сопровождавшейся революцией, не приходится сомневаться, что людям, стоявшим в 1914 году у кормила власти в России, благоразумие не могло не подсказывать сохранять нейтралитет. Ведь непосредственным толчком к революции 1917 года можно, пожалуй, считать крушение ветхой российской политической и экономической структуры, не устоявшей под ударами войны. И хотя справедливо, конечно, возражение, что в условиях, когда царизм все более и более терял способность управления страной, и при наличии воинственно настроенной интеллигенции вероятность революции и без того была достаточно велика. Однако бесспорно и то, что, если бы революция свершалась в мирной обстановке, когда по всей стране не были рассеяны многомиллионные мятежные солдатские массы, она могла бы быть менее кровавой, а взять в руки бразды правления имели бы возможность умеренные элементы. Как мы покажем ниже, наиболее проницательные политические деятели России хорошо понимали это и изо всех сил старались удержать Россию от вступления в войну.

Так почему же Россия все-таки ввязалась в войну? В самой России во все времена склонны были искать объяснение этому во внешних обстоятельствах — а именно в экономических и моральных обязательствах России перед союзниками. Социалисты объясняли участие царизма в войне давлением западных стран, которым Россия задолжала крупные суммы. Консерваторы считали, что Россия действовала, побуждаемая бескорыстным чувством долга перед союзниками, и во имя исполнения этого долга готова была поступиться собственным благополучием. Правда, как говорили, эта жертва не была оценена по достоинству, и когда Россия стала уступать под натиском Германии, а изнутри ее терзали экстремисты, подстрекаемые и финансируемые той же Германией, она не дождалась помощи от стран Согласия.

Однако приведенные объяснения не слишком убедительны. Российская империя вступила в военный союз и блюла свои союзнические обязательства вовсе не под давлением со стороны партнеров и совсем не из альтруизма, но хорошо сознавая и преследуя собственные интересы. Уже задолго до 1914 года российские государственные деятели имели ясное представление о германских планах в отношении России. Планы эти предполагали расчленение Российской империи и установление экономического господства над ее территориями и территориями прилежащих регионов. Архивные документы, обнаруженные после второй мировой войны, подтверждают, что в политических, военных и деловых кругах Германии падение России и контроль над ее ресурсами считались важнейшими условиями осуществления глобальных германских амбиций. И первостепенной задачей была для Берлина нейтрализация военной угрозы со стороны России и вытекающей отсюда перспективы ведения войны на два фронта, а также получение доступа к материальным и человеческим ее ресурсам, которыми можно было бы уравновесить ресурсы Франции и Великобритании[1].

Учитывая «Russlandpolitik» Германии после ухода с политической арены Бисмарка, перед правительством России уже не стояло выбора: отсидеться ли в изоляции или ввязаться в большую политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот выбор сделала за Россию Германия, и выбирать оставалось лишь одну из двух дорог: выступить против Германии в одиночестве или же действовать совместно с Францией, а возможно, и с Англией. Ответ на вопрос, поставленный под таким углом, напрашивается сам собой. Если только Россия не готова отказаться от имперского величия, не готова свернуться до границ Московской Руси XVII века и превратиться в германскую колонию, ей следует координировать свои военные планы с планами других западноевропейских стран. В противном случае

оставалось лишь наблюдать, как Германия сперва разгромит Францию (что было вполне ей по силам, если на восточном фланге ей ничто не будет угрожать), а затем перебросит все свои армии на восток, чтобы расправиться с Россией. Это прекрасно понимали в России задолго до начала военных действий. В 1892 году, когда обе страны были близки к союзу, Александр III заметил: «Нам действительно нужно сговориться с французами и, в случае войны между Францией и Германией, тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени разбить сначала Францию, а потом обратиться на нас»[2].

Историк В.А.Емец так определял позицию России перед 1914 годом: «Нельзя забывать, что царская Россия готовилась к войне с Германией и Австро-Венгрией в союзе с Францией, на которую, как ожидалось, выпадала в первый период войны более трудная задача отражения натиска почти всей германской армии. Франция испытывала определенную зависимость от поведения России, от степени ее усилий в борьбе против Германии, от распределения ее сил. Со своей стороны царское правительство было не меньше, чем французское, заинтересовано в том, чтобы французские армии выдержали первое испытание. Вот почему русское командование уделяло такое большое внимание операциям на германском фронте. Не следует также сбрасывать со счетов и стремление России воспользоваться отвлечением главных сил германской армии на запад для нанесения Германии решительного поражения в первые же месяцы войны... Поэтому, характеризуя отношения, сложившиеся между Россией и Францией к началу войны, правильнее говорить о взаимозависимости союзников»[3].

После сокрушительного поражения, которое Германия нанесла Франции в 1870 году, в Берлине были все основания опасаться, что рано или поздно Франция захочет вернуть себе прежнее господство на Европейском континенте. Само по себе это еще не представляло для Германии смертельной угрозы, поскольку военный потенциал Франции к концу XIX века едва достигал половины германской мощи. Но все выглядело совсем по-иному, если на стороне Франции выступит Россия, которая благодаря выгодному географическому положению и многочисленности армии становилась очень опасным противником. Уже после окончания франко-прусской войны, когда Россия и Германия сохраняли еще вполне дружественные отношения, начальник германского генерального штаба Хельмут фон Мольтке-старший предупреждал свое правительство об опасности войны на два фронта[4]. И в 1894 году такая опасность стала вырисовываться вполне реально, когда Франция и Россия подписали военный договор, обязывавший каждую из сторон оказывать военную помощь другой стороне в случае нападения на нее Германии или одного из ее союзников. После 1894 года генеральные штабы Германии, Франции и России сосредоточились на выработке стратегий, позволявших наиболее выгодно для себя использовать ситуацию войны на два фронта.

Наиболее сложной эта задача была для Германии, так как в случае широкомасштабных военных действий на континенте ей пришлось бы сражаться и на западе и на востоке. Чтобы справиться с этой ситуацией, Германии следовало расстроить слаженность действий предполагаемых противников, растянуть их во времени так, чтобы иметь возможность бороться с каждым из них по отдельности. Если же Франция и Россия (а после 1907 года и Англия) сумеют скоординировать свои стратегические планы, то Германия окажется в весьма скверном положении, ибо сколь бы великолепна ни была ее армия, ни одна страна не может противостоять крупным сухопутным войскам двух стран и лучшему в мире военно-морскому флоту. Все эти соображения легли в основу плана Шлиффена, к разработке которого немецкие военные приступили в 1895 году и совершенствовали его в самых мельчайших подробностях до самого начала первой мировой войны. Согласно этому плану, Германия должна была нанести поражение французской армии прежде, чем в России успеют провести полную мобилизацию, а затем молниеносно перебросить военные силы на восток. Все существо этого плана состояло в быстроте действий: быстроте мобилизации, быстроте наступательных операций и быстроте переброски войск. План Шлиффена исходил из предположения о нерасторопности российской военной машины, которой потребуется для проведения полной мобилизации 105—110 дней в сравнении с 15 днями, за которые, согласно расчетам, должна быть произведена мобилизация германской и австрийской армий[5]. Такое преимущество во времени — составлявшее теоретически чуть ли не три месяца — предоставляло Германии хорошую возможность нанести поражение Франции прежде, чем Россия успеет прийти на выручку.

План Шлиффена предусматривал сосредоточение до девяти десятых вооруженных сил Германии на Западном фронте. Обходя с фланга узкую, мощно укрепленную и топографически неудобную франко-германскую границу, правое крыло германской армии должно было совершить бросок через Бельгию, окружить и взять Париж и замкнуть в кольцо основные силы французов. Тем временем, пока разворачивалась эта операция, Россию должны были сдерживать основные австро-венгерские силы, подкрепленные одной восьмой или одной девятой частью германской армии, рассредоточенные вдоль северо-восточных границ и в Восточной Пруссии. План Шлиффена предполагал, что французская кампания будет закончена через 40 дней со дня объявления мобилизации, а в русской армии к этому сроку, согласно расчетам, будет под ружьем менее половины рекрутов. Мобилизация была критическим фактором всего плана: с той минуты, когда в России будет объявлена мобилизация, Германии остается либо немедленно приступить к осуществлению всей программы действий, либо поставить весь военный план под угрозу провала.

Штабам стран Согласия было в общих чертах известно, что затевает Германия[6]. После некоторых колебаний французский генеральный штаб разработал план, получивший название «План XVII» и предусматривавший создание оборонительных позиций на случай вероятного германского броска через

территорию Бельгии и одновременный мощный удар в центр германской операции. Глубоко проникающая на германскую территорию контратака французов, угрожая отсечь правый фланг противника, должна была остановить его наступление.

Успех Плана XVII зависел от участия России, которой надлежало вступить в войну, как только Германия завершит мобилизацию, то есть на пятнадцатый день от начала войны. Русская угроза должна была вынудить немцев отвести часть войск с Западного фронта прежде, чем будет завершена эта часть кампании, и тем самым подвести Германию к поражению.

Военный договор между Россией и Францией, подписанный в 1894 году, не оговаривал всех деталей оперативного плана на случай военных действий. К этим вопросам обратились на совещаниях генеральных штабов двух стран, которые начались в 1911 году. Тотчас же обнаружились острые расхождения. Стратегический план России, впервые сформулированный в 1880-х годах, предполагал размещение основных сил в Польше, откуда под прикрытием крепостей русская армия могла бы повести наступление одновременно в направлении Вены и Берлина. Но первоначальный план был существенно изменен в 1909—1910 годах. Согласно новому варианту, Россия должна была занять оборонительную позицию по отношению к Германии, а свои главные силы бросить против Австро-Венгрии, которая воспринималась как противник слабый, и кроме того, можно было ожидать массового дезертирства из австрийской армии призванных в ее ряды солдат славянского происхождения*. Генерал М.В.Алексеев, считавшийся наиболее одаренным русским стратегом, полагал, что, разбив Австрию и внедрившись в Силезию, Россия сможет угрожать самому сердцу Германии.

* Дополнительную уверенность русским военным в том, что они способны нанести поражение австрийцам, придавало знакомство с оперативными планами Австрии, которые предоставил им полковник Альфред Редль — агент, работавший в пользу России с 1905 по 1913 год. См.: Fuller W.C., Jr.//May E. R. Knowing One's Enemies. Princeton, N.J., 1984. P. 115-116.

Французы же считали, что Россия слишком много внимания уделяет австрийцам и что она могла бы сделать для общего дела союзников больше, если бы нацелила всю свою мощь на немцев: ведь если будет разбита Германия, то неизбежно капитулируют и ее союзницы. Франция хотела, чтобы Россия сосредоточилась на немцах и нанесла им удар даже раньше, чем Германия проведет полную мобилизацию.

На совещаниях, проходивших в 1912—1913 годах, был выработан компромиссный вариант. Русские обязались на пятнадцатый день войны, когда под ружьем будет еще только часть армии, нанести удар Германии либо в Восточной Пруссии, либо в направлении Берлина, в зависимости от того, где наиболее плотно сосредоточатся немецкие силы. На выполнение этой задачи отводилось две армии общей численностью 800 тыс. человек. Французы предполагали, что наступающие к тридцать пятому дню от начала военных действий смогут достаточно далеко проникнуть в глубь немецкой территории, и тогда у германского командования не будет иного выбора, как перебросить на восток, дабы остановить ход русского «парового катка», существенную часть своих войск; то есть тем самым разрушался весь план Шлиффена. А если это произойдет, то более в исходе войны можно было не сомневаться, ибо огромное преимущество стран Согласия в человеческих и материальных ресурсах не может не принести им победы.

Хотя Россия под нажимом со стороны Франции (скрашенным обещанием оказать помощь в модернизации русской армии и военного транспорта) пошла на изменение своего первоначального стратегического плана, но окончательно от него не отказалась. Отведя две армии для ведения военных действий против Германии, четыре армии Россия предназначала для военных операций на австрийском фронте. Некоторые военные историки считают, что именно в таком компромиссном варианте заключалась фатальная ошибка, ибо у России не было сил вести войну на столь широком фронте. В результате противоборства сразу с двумя противниками Россия была обречена на поражение на обоих фронтах[7]. Есть все основания полагать, что если бы Россия придерживалась стратегического плана 1909—1910 годов, то могла бы нанести столь сокрушительное поражение австрийцам, что немцы вынуждены были бы перекинуть им в помощь подкрепление с Западного фронта, как это и случилось, хотя и не в столь крупных масштабах, — сначала в конце 1914-го, а затем, вновь, летом 1916 года. Решение растянуть русскую армию вдоль слишком протяженного фронта со слабыми резервами и повести ее в преждевременное, плохо спланированное наступление в Восточной Пруссии было едва ли не самой крупной ошибкой стран Согласия, за которую пришлось заплатить слишком высокую цену.

Стремясь обеспечить победу России, Франция взялась финансировать мероприятия, направленные на усовершенствование военной инфраструктуры России, а именно на модернизацию железнодорожного сообщения с фронтом, а также стратегически важных дорог и мостов, что не могло не вызвать беспокойства верховного командования Германии.

Но еще более обеспокоен был Берлин сделанным в 1912 году сообщением о разворачивании так называемой Большой военной программы в России. Эта программа, завершить которую предполагалось в 1917 году, предусматривала проведение значительных усовершенствований в артиллерии, транспорте и процедуре мобилизации. Хотя большинство этих мероприятий, к выполнению которых приступили лишь в 1914году, так и остались на бумаге, их осуществление грозило бы сокращением сроков мобилизации русской армии до 18 дней, а это было чревато тем, что «русские будут в Берлине раньше, чем немцы в Париже»[8].

Многие немецкие генералы и политики были так напуганы возможными катастрофическими для Германии последствиями, что стали поговаривать об упредительном ударе[9] и в дипломатическом кризисе, возникшем после убийства эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 года, увидели удобный предлог начать войну. Полковник Альфред Нокс, британский военный представитель в России, считал, что планы военной модернизации едва ли не послужили решающим фактором, побудившим Германию объявить войну России и Франции в 1914 году[10].

Предыстории первой мировой войны на дипломатическом уровне посвящена столь обширная литература, что нам нет нужды здесь подробно на этом останавливаться[11]. В общих чертах можно сказать лишь, что непосредственной причиной войны стало решение Германии оказать поддержку Австрии в ее конфликте с Россией на Балканах. Это был старый затянувшийся спор, который обострился в 1871 году в результате образования Германской империи, положившего конец политическим притязаниям Австрии на севере и тем самым толкавшего ее на юг, в направлении Оттоманской империи. Россия, имевшая на Балканах собственные интересы, взяла на себя миссию защитницы христиан, томящихся под турецким игом. Противоборствующие стороны столкнулись в Сербии, которая стояла на пути рвущихся к Турции австрийцев. Во многих предшествовавших конфликтах на Балканах Россия, к негодованию своих консервативно-патриотических кругов, часто уступала первенство. Поступить так же в новом кризисе, усугубившемся в июле 1914 года после того, как Австрия, заручившись поддержкой Германии, предъявила Сербии заведомо оскорбительный ультиматум, означало для России забыть о своем влиянии на Балканском полуострове и вызвать глубокие осложнения внутри страны. В Петербурге, с согласия Франции, решили оказать поддержку Сербии.

Решительный шаг России повлек за собой объявление Австрией 15(28) июля 1914 года войны Сербии. Ход событий, приведший к появлению указа о всеобщей мобилизации в России — на что впоследствии немцы возлагали всю ответственность за начало первой мировой войны, — и по сей день представляется довольно туманно. Русский министр иностранных дел С.Д.Сазонов считал, что Россия должна сделать некоторый угрожающий жест, дабы придать вес усилиям ее дипломатов в поддержку Сербии. Под его влиянием и вопреки мнению военных, опасавшихся, что это может скомкать размеренный ход мобилизации, Николай II поначалу издал указ от 15(28) о частичной мобилизации четырех из тринадцати военных округов*. Шаг этот, задуманный как предупреждение, неизбежно вел к полной мобилизации. Если верить утверждениям военного министра В.А.Сухомлинова, нерешительность царя была вызвана предостережениями кайзера Вильгельма воздержаться от опрометчивых действий. А решение приступить ко всеобщей мобилизации, принятое без согласия и даже без ведома военного министра, было принято, по-видимому, по настоянию вел. кн. Николая Николаевича (вскоре занявшего пост главнокомандующего) и его протеже, начальника штаба генерала Н.Н.Янушкевича[12]. 18(31) июля Германия предъявила России ультиматум, требуя прекратить сосредоточение войск на ее границах. Никакого ответа не последовало. В тот же день приступили к мобилизации Франция и Германия, и тут же, 19 июля (1 августа), Германия объявила войну России. Ответный ход России последовал на следующий день, и роковая цепь событий стала стремительно разворачиваться.

* Мобилизация протекала по схеме, принятой во время войны с Японией, когда Россия также предприняла частичную мобилизацию (Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века. М., 1986. С. 11).

Насколько подготовлена была Россия к войне? Все зависит от того, какая война подразумевается: краткосрочная, измеряемая месяцами, или длительная, длящаяся годы.

В генеральных штабах большинства вовлеченных в войну стран готовились к войне кратковременной, по образцу тех войн, которые с таким впечатляющим успехом провела Германия против Австрии в 1866 году и против Франции в 1870— 1871 годах. Кампания 1866 года длилась семь недель, а война с Францией, хоть и затянулась на полгода из-за упорного сопротивления осажденного Парижа, была, по сути, решена в шесть недель. Кульминацией военного конфликта по такой схеме было генеральное сражение. Предполагалось, что и грядущая война будет делом месяцев, если не недель, хотя бы потому, что крайне взаимосвязанная экономика развитых индустриальных стран не могла выдержать более длительного напряжения. И решающим фактором подобной войны считались численность и боеготовность армий — как регулярных войск, так и резервных. В действительности, ко всеобщему удивлению, первая мировая война вылилась в некое подобие гражданской войны в Америке — затяжной войны на истощение сил противника, когда решающим фактором становится способность тыла восполнять гигантские людские и материальные потери на фронте и, невзирая на жертвы и лишения, сохранять боевой дух. Стирая грань между фронтом и тылом, такая война требует мобилизации всех народных сил и тесного взаимодействия военной, политической и экономической сфер жизни воюющих стран. В этом смысле война служит наилучшей проверкой жизнеспособности и сплоченности нации. Первая мировая война продлилась так долго и обернулась такими бедствиями потому, что крупные индустриальные державы блестяще выдержали эту проверку.

Россия была вполне подготовлена к войне кратковременной, каковую все и предрекали. Ее постоянная армия, насчитывавшая 1400 тыс. человек, была самой многочисленной в мире, превосходя в численном отношении действующие в мирное время соединенные военные силы Германии и Австро-Венгрии. При всеобщей мобилизации Россия могла выставить 5 млн. солдат, а за этим стояли еще многие миллионы

вполне пригодных к военной службе, которых можно было бы бросить в бой в случае необходимости, наскоро обучив. Русские солдаты были знамениты храбростью и выносливостью и, руководимые хорошими командирами, представляли собой грозную силу. И при всем унижении, которое пережила русская армия в войне с Японией, именно благодаря этой войне она стала единственной в Европе армией, офицерские и унтер-офицерские кадры которой обладали свежим боевым опытом. Гораздо хуже обстояло дело с оснащением и вооружением. Русская артиллерия была весьма малочисленной, в особенности в сравнении с германской. Узкое место представлял транспорт. Военно-морской флот, восстановленный после цусимского разгрома, хотя и третий в мире по водоизмещению, по качеству был весьма посредственным и крайне неудачно размещенным: основные силы, сосредоточенные на Балтике для обороны столицы, могли легко блокироваться противником. И все же при всех недостатках, часть из которых французы надеялись устранить, боеготовность Российской империи представляла собой силу, с которой нельзя было не считаться и полагаться на которую французский генеральный штаб имел все основания.

Однако в совсем ином свете представлялась военная мощь России в условиях затяжного конфликта. С этой точки зрения, принимая во внимание неустойчивость политической системы в России, а также ненадежность ее экономики, перспективы России выглядели весьма неутешительно. И чем долее суждено было длиться войне, тем сильнее проявлялись все слабости.

Единственное крупнейшее, неоспоримое преимущество России — ее будто бы неисчерпаемые людские ресурсы — вырастало в представлении союзников до неимоверных размеров, за которыми чудились бесконечные орды босоногих мужиков, неудержимым «паровым катком» движущиеся на Берлин. И действительно, Россия обладала самой высокой в Европе численностью населения и самым высоким уровнем естественного прироста. Однако смысл этих демографических показателей был истолкован неверно. Ведь именно благодаря высокой рождаемости в России весьма многочисленной была категория лиц, не достигших призывного возраста: согласно переписи 1897 года, 47% мужского населения составляли двадцатилетние и еще более молодые[13]. Помимо этого, представители большого числа этнических групп, населявших Россию, не подлежали призыву в армию: жители Финляндии, мусульмане Средней Азии и Кавказа и, на практике, многие лица иудейского исповедания*.

* Теоретически евреи в России подлежали призыву на военную службу. Однако в ситуации, когда пригодных к службе набиралось больше, чем это нужно для ежегодного набора, евреям было нетрудно уклониться — либо подкупив врачей призывной комиссии, либо подделав метрику. В 1914—1917 годах, впрочем, было призвано очень много евреев: подсчитано, что в первой мировой войне в русской армии служило 400—500 тыс. евреев.

И все же Россия обладала гигантскими человеческими ресурсами. И если при этом в ходе войны ей пришлось испытывать недостаток в людской силе, то причина заключалась в несовершенстве резервистской системы. Это обстоятельство пагубно отразилось не только на результативности боевых действий, но и на политической ситуации в стране, ибо наспех брошенные на фронт крестьяне в 1915—1916 годах стали тем мятежным элементом, от которого возгорелась февральская революция.

Как и в других европейских странах, Россия применяла немецкую систему резервистов, при которой молодые призывники по прохождении действительной службы переводятся в запас и могут быть вновь призваны в случае войны. Однако именно российское воплощение этой системы было далеко от совершенства. Питая традиционное презрение к гражданским лицам, кадровые военные придавали обучению резервистов второстепенное значение. Еще большим затруднением была стесненность в финансах. Обучение военному делу потенциальных солдат и периодические сборы для переобучения их требовали довольно больших затрат, откачивая материальные ресурсы действующей армии. В результате правительство отдавало предпочтение профессиональным кадрам и достаточно свободно предоставляло освобождения от службы: среди лиц, не подлежащих призыву, были единственные сыновья в семье и студенты университетов. И это объясняет, почему во время войны оказалась непригодной столь значительная доля людских ресурсов в России: соотношение обученных военному делу резервистов к общему числу потенциальных призывников было крайне низким.

На действительную трехлетнюю службу в пехоте призывались новобранцы в возрасте двадцати одного года, затем семь лет военнообязанный числился в запасе первого резерва и еще восемь лет — второго резерва. Затем резервист, которому было уже под сорок пять лет, зачислялся в ополчение, и на этом его военные обязанности исчерпывались. Но из-за того, что сборы для переобучения резервистов если и проводились, то крайне несистематично, единственными, на кого приходилось полагаться, оказывались на практике резервисты первого резерва, остальные же — тридцати- и сорокалетние, давно утратившие навыки строевой службы, — были не более пригодны, чем штатские, никогда военной службы не нюхавшие.

В первые полгода войны Россия выставила 6,5 млн. солдат, из них 1,4 млн. состояли на действительной службе, 4,4 млн. были обученными резервистами первого разряда и 700 тыс. — новобранцами. В период с января по сентябрь 1915 года было мобилизовано еще 1,4 млн. резервистов первого разряда[14]. И когда этот источник военнообученных солдат исчерпался — а произошло это через год после начала военных действий, — Россия могла располагать еще (помимо 350 тыс. резервистов первого разряда) резервистами второго разряда, ополчением и необученными новобранцами — однако вся эта внушительная многомиллионная солдатская масса ни по боевому духу, ни по подготовке не могла идти в

сравнение с германскими войсками.

Так, при ближайшем рассмотрении, «русский паровой каток» уже не представлялся столь грандиозным и устрашающим. За время войны в России было призвано на действительную службу в отношении к общей численности населения значительно меньше людей, чем в Германии или во Франции: всего лишь 5% в сравнении с 12% в Германии и 16% во Франции[15]. Ко всеобщему удивлению, в 1916 году Россия исчерпала уже все ресурсы живой силы[16].

Российская армия в том виде, в котором она вступила в войну в 1914 году, представляла собой высокопрофессиональные войска, в чем-то очень схожие с английским экспедиционным корпусом, где такую же большую роль играло понятие полкового братства. Однако русскую армию обошла индустриализация, можно даже сказать, что армия активно ей противилась. Люди, представлявшие высшее военное командование в России — военный министр В.А.Сухомлинов и его окружение, — видели свой идеал в блестящем русском полководце XVIII века А.В.Суворове, и выше всего ими ценились наступательная тактика и рукопашный бой, никак не отвечавшие условиям современной войны с ее высокими техническими и научными достижениями. Их излюбленным оружием был штык, излюбленной тактикой — захват неприятельских позиций любой ценой[17]. Более всех качеств ценилось умение выстоять под огнем противника — умение, проявить которое в механизированных и обезличенных сражениях первой мировой войны представилось возможным разве что в первых битвах. Высшее командование русской армии считало, что слишком большое внимание, уделяемое военной технике и научному анализу соотношения противоборствующих сил, подрывает боевой дух армии. Русские генералы не жаловали военных учений: учения 1910 года, например, были за час до назначенного времени вдруг отменены по категорическому распоряжению вел. кн. Николая Николаевича[18].

О русских солдатах, от которых в конечном счете все и зависело, сложилось представление как о некой безответной массе. По большей части бывшие крестьяне, привыкшие в силу деревенского уклада к повиновению старшим, в обстановке военной дисциплины они готовы были безропотно исполнять приказания старших по чину, — и с тем большим рвением, чем в более строгой и непререкаемой манере эти приказания давались и чем суровей наказание предусматривалось за ослушание. На смерть они шли тоже безропотно, покорные судьбе. Как мы уже говорили, им было чуждо чувство патриотизма в привычном его понимании. И следствием неспособности правительства Российской империи внедрить в стране систему всеобщего образования явилось то, что большинству ее граждан была не знакома идея единства культурного наследия и общности судьбы, что составляет основу всякой гражданственности. Мужицкому сознанию была далека категория «русскости», и себя они воспринимали не столько как «русских», а скорее как «вятских», «тульских» и так далее, и пока враг не угрожал непосредственно родному уголку, они не испытывали к нему истинно враждебных чувств[19].

И нередко русские крестьяне, услышав о манифесте об объявлении войны центральным державам, не понимали, касается ли это их родной деревни. Такое отсутствие понимания сопричастности общему делу предопределило чрезвычайно высокое число русских солдат, сдавшихся в плен или дезертировавших в ходе войны. Еще сильнее отсутствие русского национального самосознания ощущалось, разумеется, среди солдат нерусских по происхождению, например украинцев. А если учесть, что крестьяне ни на минуту не расставались с надеждой на «великий передел», когда царь раздаст им всем землю, то станет понятно, что хорошими солдатами они могли оставаться лишь до той поры, пока была сильна царская власть, требовавшая от них строгой дисциплины. Всякое ослабление военной дисциплины, всякий намек на волнения в деревне мог превратить людей в военной форме в неуправляемый сброд.

У британского военного атташе полковника Нокса, находившегося на Восточном фронте и получившего возможность, пожалуй, лучше других иностранцев узнать русских солдат, сложилось о них весьма нелестное представление: «Они были наделены всеми пороками своей нации. Они были ленивы и беспечны и ничего не делали без понукания. Большинство из них вначале охотно шло на фронт главным образом потому, что не имело никакого представления о войне. У них не было никакого представления о том, чего ради они воюют, не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем тягчайших потерь: а тягчайшие потери были следствием неразумного командования и дурной экипировки»[20].

Действительно, «неразумное командование» и «дурная экипировка» были ахиллесовой пятой военных усилий России.

Военное министерство в 1909 году возглавил генерал В.А.Сухомлинов, единственным боевым опытом которого была турецкая кампания 1877—1878 годов, где он отличился личной храбростью. К тому времени, когда он достиг вершины карьеры, Сухомлинов превратился в истого придворного старинного патриархального склада, преданного не столько своей стране, сколько царствующему дому. И теперь его доблесть измерялась умением веселить царя, угодливостью и обходительностью поведения. Как военный министр он был вовсе не настолько не на своем месте, как это утверждалось впоследствии, когда он стал козлом отпущения за все поражения русской армии, и, конечно же, он не был повинен в измене. Однако он жил не по средствам и, как стало известно, восполнял свои скудные доходы взяточничеством: после ареста в 1916 году открылось, что на его банковском счету значатся сотни тысяч рублей сверх установленного оклада[21]. Однако, по-видимому, худшим его недостатком было то, что он оставался глух к требованиям современной военной науки. Прежде всего он отверг «вмешательство» в военную сферу гражданских лиц и

с презрением отнесся к стремлению политиков и промышленников оказать помощь в подготовке России к грядущей войне. Кроме того, в 1912 году он провел губительную чистку офицерских кадров, избавляясь от так называемых младотурок, весьма искушенных в современном военном деле офицеров. Среди них был его заместитель А.Л.Поливанов, которому в 1915 году суждено было сменить своего начальника на посту военного министра. Отдавая предпочтение военным суворовской школы и отстраняя наиболее талантливых соперников, Сухомлинов несет большую долю ответственности за неудачи России в первый год войны.

Чем выше был ранг военного, тем менее можно было ожидать от его обладателя соответствующих рангу качеств. Многие из генералов были просто карьеристами, гораздо лучше приспособленными к политическим играм, чем к ведению военных действий. После революции 1905 года продвижение вверх по военной лестнице во многом зависело от личной преданности царскому дому. Выдвижение на должность командующего дивизией или на еще более высокий пост утверждала Высшая аттестационная комиссия под председательством вел. кн. Николая Николаевича, для которого главным критерием служила верность престолу.

С фотографий тех лет, запечатлевших благообразные, представительные лица, по большей части украшенные барственными бородами, на нас смотрят скорее приятные собеседники за обеденным столом, чем опаленные в боях полководцы. По словам Нокса, «большинство полковых офицеров страдали национальными недостатками. И если не попросту ленивы, они были склонны пренебрегать своими обязанностями, требуя постоянного контроля над собой. Они презирали скучную повседневную муштру. В отличие от наших офицеров они не искали развлечений на стороне и предпочитали проводить свободное время, предаваясь сну и еде»[22]. Некоторые представители русского высшего командования, включая начальников штабов и командующих армиями, продвижению на военном поприще были обязаны исключительно своим административным талантам и не имели никакого боевого опыта.

С штаб-офицерами дело обстояло несколько лучше, но их было мало. Из-за низкой оплаты и непрестижности армейской службы (за исключением гвардейских частей, куда зачислялись лишь лица соответствующего социального происхождения и достатка) трудно было увлечь на офицерскую службу способную молодежь, и нехватка младших офицеров ощущалась постоянно. А положение с унтер-офицерскими кадрами было поистине катастрофическим. На нескольких унтер-офицеров, призванных из запаса, приходилось большое число вчерашних гражданских лиц, получивших унтер-офицерский чин после прохождения кратких курсов и авторитетом в армии не пользовавшихся.

И с экономической точки зрения возможности России вести затяжную войну представлялись весьма сомнительными.

Единственным сектором экономики, отвечавшим требованиям затяжной войны, было сельское хозяйство. В военные годы Россия неизменно производила столько сельхозпродукции, что могла позволить себе обойтись без введения ограничений на продукты питания. Этим обстоятельством объясняется безответственная самоуверенность, с которой многие русские отнеслись к тяготам предстоящей войны. Однако, как мы покажем ниже, и это преимущество России было заметно растрачено из-за того, что правительство столкнулось с определенными трудностями при сборе зерна с крестьян, которые, не нуждаясь в наличных деньгах, придерживали свой товар в преддверии повышения цен, а также из-за транспортных проблем.

Российская промышленность и транспорт почти во всех сферах оказались не способными решать задачи, выдвинутые перед ними войной.

Традиционно военные заказы в России размещались на государственных предприятиях, что объяснялось нежеланием правительства доверять безопасность страны гражданским лицам*. О том, сколь слабо промышленность России была подготовлена к условиям современной войны, дают представление следующие цифры. К концу 1914 года, когда уже была завершена первая мобилизация, в рядах российской армии состояло 6,5 млн. человек, а винтовок было только 4,6 млн. Чтобы восполнить этот недостаток и покрыть потери, возникающие в ходе войны, армия нуждалась ежемесячно в 100—150 тыс. новых единиц стрелкового оружия; российская промышленность могла поставлять в лучшем случае 27 тыс.[23]. И поэтому в первые месяцы войны солдатам подчас приходилось ждать гибели товарищей, чтобы получить оружие. Тогда же вполне серьезно обсуждался вопрос о вооружении солдат топорами, насаженными на длинные рукоятки[24]. Даже после принятия в 1915-м и 1916 годах энергичных мер по привлечению к производству оружия гражданских предприятий Россия не могла производить его столько, сколько требовалось фронту, и импортировала оружие из Соединенных Штатов и Японии; но и этого было недостаточно[25].

* Бескровный Л.Г. Армия и флот. С. 70. После японской войны Россия кроме того стала проводить политику отказа от иностранных военных поставок той продукции, которая могла быть произведена в стране (Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М.; Л., 1930. Т. 1.С. 363).

Серьезнейший недостаток в боеприпасах испытывала артиллерия (в особенности в 76-мм пушках — стандартном калибре русской полевой артиллерии), используемая в ходе войны значительно шире, чем предполагал Генеральный штаб. В начале войны на каждый ствол орудия было отпущено по 1000 снарядов. Реальный расход оказался во много раз выше, и через четыре месяца боевых действий склады боеприпасов оказались опустошены[26]. Самое большее, что могло дать действовавшее в 1914 году производство,

составляло около 9 тыс. снарядов ежемесячно[27]. Возникла острейшая нехватка боеприпасов, что весьма пагубно сказалось на военных действиях русской армии в кампании 1915 года.

Наиболее слабым местом подготовки России к войне был транспорт. А.И.Гучков, впоследствии занявший во Временном правительстве пост военного министра, говорил Ноксу в начале 1917 года, что дезорганизация на транспорте нанесла России удар чувствительней любого поражения на фронте[28]. Недостатки на транспорте к тому же было много сложнее устранять в условиях войны, так как укладка железнодорожного полотна была делом долгим, в особенности в холодных регионах севера России. По соотношению общей площади территории к протяженности железнодорожных путей Россия стояла далеко позади других воюющих стран, из которых в Германии на каждые 100 кв. км приходилось 10,6 км железной дороги, во Франции — 8,8 км, в Австро-Венгрии — 6,4, а в России только 1,1 км. Это стало одной из причин и замедленных темпов мобилизации. Согласно оценке немецкого эксперта, в западноевропейских странах призванному на службу солдату предстояло преодолеть 200—300 км пути от своего дома до пункта назначения, в России же это расстояние достигало 900—1000 км*. Но даже эти невыгодные для России сопоставления еще не дают полного представления о транспортных проблемах, ведь три четверти российских дорог имели только одну колею. Едва началась война, армии потребовалась треть всего подвижного состава, остального же было слишком мало, чтобы покрыть нужды промышленности и снабжения, а это привело к тому, что районы, удаленные от центров добычи и производства, ощущали нехватку сырья и промышленных продуктов.

* Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 56—57. А.Л.Сидоров (Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М., 1973. С. 567) подсчитал, что, с точки зрения охвата территории, российская железнодорожная сеть составляла одну одиннадцатую часть германской и одну седьмую австро-венгерской.

Ничто так убедительно не говорит о слепоте русского военного руководства, как тот факт, что они не удосужились заблаговременно в мирное время проложить транспортные артерии на запад. Еще до возникновения напряженности между воюющими странами было очевидно, что Германия рано или поздно отрежет Балтику, а Турция — Черное море, намертво заблокировав Россию. Во время войны Россию метко сравнивали с домом, попасть в который можно лишь через дымоход[30]. Увы, и этот путь сообщения оказался труднопроходимым. Помимо Владивостока, отдаленного от центральной России на тысячи километров и связанного с ней лишь одноколейной Транссибирской магистралью, оставалось еще только два окна во внешний мир. Одним из этих окон был порт Архангельск, по полгода скованный льдами и соединенный с центром тоже однопутной узкоколейной дорогой; другим — Мурманск, имевший то особенно ценное в военных условиях свойство, что никогда не замерзал, однако в 1914 году он вообще не имел железнодорожного сообщения с центром. Дорогу из Мурманска в Петроград (как был переименован накануне войны Санкт-Петербург за слишком немецкое звучание) стали прокладывать лишь в 1915 году с помощью английских инженеров и закончили в январе 1917-го, накануне революции. Такое невероятное положение стало следствием отчасти нежелания царского правительства полагаться на иностранных поставщиков военного снаряжения, а отчасти некомпетентностью министра путей сообщения С.В.Рухлова, махрового реакционера и антисемита, занимавшего пост министра с 1909-го по 1915 год. В результате Российская империя, великая держава на евразийском континенте, оказалась во время войны отрезанной от внешнего мира — подобно Германии и Австро-Венгрии. Множество сырья и снаряжения, отправляемого союзниками в Россию в 1915—1917 годах, застревало на пристанях Архангельска, Мурманска и Владивостока из-за проблем с транспортом*.

* В начале 1915 года англичане, правда, безуспешно пытались прорвать эту блокаду в Галлиполи (см.: Churchill W.C. The Unknown Wan The Eastern Front. N.Y., 1931. P. 304; Buchan J. A History of the Great War. Boston, 1922. V. 2. P. 12). Если бы галлипольская операция оправдала надежды Черчилля, ее главного защитника, российская история могла обернуться иначе.

Плачевное состояние средств сообщения во многом предопределило нехватку продовольствия в городах севера России в 1916 и 1917 годах. И снова, как и во многих других вопросах, ошибочная установка на краткосрочную войну повлекла заведомые неудачи, однако то, что Россия так и не смогла преодолеть недостатки, когда они стали вполне очевидны, — это уже вина дурной политики и дурного руководства.

Действий России в затянувшейся войне не могли не тормозить трения, возникшие в ее военном командовании, а также между гражданскими и военными властями.

Хотя теоретически в российской армии был единый главнокомандующий всеми вооруженными силами, военные операции проводились децентрализованно. Вся зона боевых действий делилась на несколько «фронтов», каждый из которых имел своего командующего и собственный стратегический план. Такое устройство не позволяло выработать единую стратегию. По словам одного компетентного лица, функция Ставки главнокомандующего сводилась к регистрации планов операций командующих отдельных фронтов[31].

Устав полевой администрации, введенный накануне войны, наделял военное командование полнотой

власти над территориями, расположенными в зоне боевых действий, а также над военными службами в тылу. При этом для осуществления управления не только над военным персоналом, но и над гражданским населением командованию даже не требовалось сноситься с гражданскими властями. Главнокомандующий обладал правом смещать всех и каждого, включая самое высокое губернское, городское и земское начальство. В результате этих мер, отчасти оправданных в случае кратковременных военных действий, огромные регионы Российской империи — Финляндия, Польша, Кавказ, Балтийские губернии, Архангельск, Владивосток и даже Петроград — оказались вне юрисдикции гражданских властей[32]. Главнокомандующий, вел. кн. Николай Николаевич, утверждал, что председатель Совета министров Горемыкин не находил такое устройство неудобным для себя, полагая, что не его дело вмешиваться в управление областей, лежащих на театре военных действий и вблизи него[33].

Как это ни парадоксально, некоторые политические деятели России видели в ее экономической отсталости особое преимущество. Утверждалось при этом, что промышленно развитые страны находятся в такой зависимости от поставок сырья и продовольствия из-за рубежа, а также от тесного взаимодействия различных секторов экономики и от наличия квалифицированной рабочей силы, что не смогут вынести разрушения этих связей, которое несет с собою война. Россия же с ее более примитивной экономикой, напротив, окажется менее уязвимой и благодаря изобилию продовольствия и неисчерпаемым ресурсам живой силы будет способна вести нескончаемую войну*. Впрочем, нашлись голоса, способные критически оценить этот оголтелый оптимизм. Вот что писал Струве в 1909 году: «Следует сказать прямо: слабость России при сопоставлении ее с нашими реально возможными противниками, с Германией и Австрией, заключается в недостаточной экономической мощи России, в ее хозяйственной неразвитости и вытекающей отсюда финансовой зависимости от других стран. В современных условиях военного столкновения все мнимые преимущества русского натурального или полунатурального хозяйства обратятся в источник нашей милитарной слабости... Нет теоретически более превратной и практически более опасной мысли, чем мысль, что в экономической отсталости России могут заключаться какие-либо преимущества в военном отношении»[34].

* Ведущим защитником этой теории был И.С.Блиох, автор шеститомного труда «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях» (СПб., 1898).

Подобные «пораженческие» предостережения остались неуслышанными. Когда думское совещание по обороне выразило озабоченность неготовностью российской промышленности к войне, двор выразил явное недовольство, и вопрос был снят[35]. Сухомлинов избавлялся от Поливанова и других «младотурок» именно потому, что они стремились установить деловые отношения с ведущими представителями национальной экономики, которых двор подозревал в политических амбициях.

Двор, его военная и гражданская бюрократия всеми силами стремились не позволить «обществу», воспользовавшись войной, укрепить свое политическое влияние. И такое настроение может объяснить многое — иначе никак не объяснимое — в поведении царского правительства при подготовке к войне и в ее ходе. Старый патриархальный дух оставался еще очень силен, несмотря на установление конституционного строя. Глубоко в душе царская чета и их окружение продолжали считать Россию своей фамильной, династической вотчиной и всякое проявление самостоятельного патриотизма со стороны своих подданных расценивали как недопустимое «вмешательство». Генерал Борисов вспоминает весьма поучительный в этом смысле случай. Во время одной из бесед в Ставке государь обронил фразу: «Мне и России». Генерал имел смелость заметить: «России и Вам». Царь посмотрел на него и вполголоса проговорил: «Вы правы»[36]. Однако патриархальное, отеческое сознание не собиралось отступать, и были моменты, когда правительство оказывалось, так сказать, в состоянии войны на два фронта: оно вело боевые действия — против Германии и Австрии и политические — со своими противниками в тылу. И лишь под воздействием тяжких военных поражений двор в конце концов пошел на уступки и допустил к участию в военных делах общественные силы.

К несчастью для России, позиция общества, как она была представлена в Думе, оказалась еще более бескомпромиссной. Думские либералы и социалисты, разумеется, делали все возможное, чтобы приблизить час победы России в войне, однако они были не прочь воспользоваться военной обстановкой для достижения собственных политических целей. В 1915-м и 1916 годах оппозиция не выразила готовности пойти навстречу правительству, прекрасно понимая, что смятение в правительственных рядах предоставляет уникальную возможность для укрепления парламентского строя за счет монархии и бюрократии — и такая возможность едва ли представится вновь, когда война будет окончена. Тем самым либералы и социалисты в некотором смысле вошли в негласный союз с Германией, обращая немецкие победы на фронте в свое политическое преимущество в тылу.

Таким образом, за крушением России в 1917 году и ее выходом из войны стоят прежде всего политические причины: а именно нежелание правительства и оппозиции забыть о своих разногласиях перед лицом общего врага. И никогда еще отсутствие в России духа национальной общности не получало столь сурового и печального подтверждения.

Царское правительство вступило в войну в полной уверенности в своей способности держать общество в руках. Оно рассчитывало на скорую победу и подъем волны патриотизма, который заглушит

голос противников режима; позиция правительства выражалась формулой «никакой политики до победы». Поначалу эти ожидания оправдывались. Охваченная вспышкой ксенофобии, невиданной с 1812 года, когда в последний раз нога неприятеля ступала на землю Великороссии, страна сплотилась вокруг своего правительства. Однако такие настроения оказались недолговечными. При первых крупных поражениях на фронте весной 1915 года, когда немцы вошли в Польшу, Россия разразилась бурей негодования, и не столько в адрес захватчиков, сколько по отношению к собственному правительству, и с таким неистовством, какое не приходилось испытывать правительству ни одной из воюющих стран в тяжелые минуты поражений. Такой ценой пришлось расплачиваться царизму за полуотеческие отношения в руководстве, при которых бюрократия, назначаемая царем и перед одним царем держащая ответ, несет при этом все бремя ответственности за любые промахи. Это дало повод Думе обвинить двор в безнадежной некомпетенции и даже, хуже того, — в измене. Военные поражения, вместо того чтобы теснее сплотить правительство и его подданных, развели их еще дальше друг от друга.

Такого противоборства власть имущих и общества в период войны, как в России, нигде более не наблюдалось. И это весьма пагубно отразилось при мобилизации сил на внутреннем фронте. Непреодолимая неприязнь, с какой смотрели друг на друга лидеры деловых и политических кругов и бюрократия, препятствовала их взаимодействию. Бюрократия была убеждена — и не без основания,— что политики, воспользовавшись войной, хотят завладеть всем политическим аппаратом. Оппозиционные политики, со своей стороны, верили, — и тоже имея на это достаточно оснований, — что в стремлении любой ценой сохранить власть бюрократы не остановятся и перед поражением на фронте, а в случае же победы неминуемо ликвидируют конституционный строй и восстановят монархию.

Об этом противоборстве свидетельствует эпизод, произошедший летом 1915 года в разгар кризиса в Польше. Как мы подробнее расскажем ниже, в ответ на неудачи на театре военных действий, вызванные, как полагали, нехваткой боеприпасов и иной амуниции, деловые круги с одобрения правительства попытались организовать производство военного снаряжения на частных предприятиях. Вдохновителем этих мероприятий был Гучков. Не чуждый политических амбиций, Гучков уже не раз проявлял себя как истинный патриот. В августе он получил приглашение — первое и, как оказалось, последнее — принять участие в обсуждении в кабинете министров роли частного предпринимательства в военных усилиях. Вот как описывает происходившее один из участников этой встречи: «Все чувствовали себя как-то неловко, натянуто. У Гучкова был такой вид, будто он попал в стан разбойников и находится под давлением угрозы злых козней... В конце концов обсуждение было скомкано и все как бы спешили отделаться от не особенно приятного свидания»[37].

В авангарде тех сил, которые противились попыткам Думы и военно-промышленного комитета принять участие в военных усилиях России, выступал двор и прежде всего императрица со своими верными слугами, из которых на первом месте были премьер-министр Горемыкин и генерал Сухомлинов. Когда в апреле 1915 года, в начале немецкого наступления, Гучков в сопровождении нескольких депутатов Думы отправился в расположенную в Могилеве Ставку главнокомандующего, чтобы ознакомиться с положением на фронте, Сухомлинов записал в дневнике: «А.И.Гучков основательно запускает свои лапы в армию. В Ставке не могут этого не знать и никаких мер против этого не принимают, не придавая никакого, очевидно, значения экскурсиям Гучкова и членов Государственной думы. По-моему, это может создать очень опасное положение для существующего государственного нашего строя»[38]. Некоторые из самых крайних представителей бюрократии доходили до утверждения, будто «враги на домашнем фронте» (то есть политические оппоненты) представляют большую опасность для России, чем враги на полях сражений. Такую «войну на два фронта» Россия была не в состоянии вести.

На общем фоне воодушевления, с каким войну встретила интеллигенция, немногие из них понимали, что политически Россия к войне не приспособлена. С первых дней военных действий литературная братия, охваченная патриотическим порывом, приветствовала войну и мечтала о победе[39]. Из государственных деятелей, похоже, лишь немногие, самые искушенные, понимали, какую неминуемую опасность таит в себе война для страны с такой хрупкой политической структурой, для страны, столь незащищенной перед внешним обидчиком и так нуждающейся в сильной армии для поддержания внутреннего порядка. Одним из немногих трезвых политиков был С.Ю.Витте, который указывал, что Россия не может позволить себе военного поражения, потому что армия — оплот режима. Он так настойчиво добивался русско-германского согласия, что навлек на себя подозрения в измене[40]. Столыпин тоже выступал за изоляционистский курс во внешней политике, чтобы дать России время провести в жизнь программу его реформ; то же можно сказать и о Коковцове[41].

Однако красноречивее всех мрачные предчувствия высших сановников выразил П.Н.Дурново, одно время занимавший пост директора департамента полиции, а затем министра внутренних дел. В феврале 1914 года Дурново подал царю меморандум об опасностях войны для России. Этот документ, обнаруженный и опубликованный после революции, так точно предсказывает ход грядущих событий, что, не будь столь несомненно его происхождение, можно было бы заподозрить позднейшую подделку. По прогнозам Дурново, если военные действия станут складываться неудачно, «социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна». И начнется эта революция, по его мнению, с того, что все слои общества станут винить в неудачах правительство. Думские политики воспользуются жалким положением правительства, чтобы взбудоражить массы. Лояльность армии будет подорвана тем, что на место павших в

боях кадровых офицеров придут гражданские новобранцы, у которых не будет ни авторитета, ни желания воспрепятствовать бегству переодетых в солдатскую форму вчерашних крестьян домой, боящихся прозевать раздел земли. В наступившем смятении оппозиционные партии, которые, согласно Дурново, не имеют поддержки в массах, не смогут завладеть властью, и «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть»[42].

* * *

С самого начала военных действий французы беспрестанно призывали русских выступить против Германии. Германское наступление в Бельгии велось на гораздо более широком фронте и большими силами, чем предполагали французы. И теперь Франция оказалась в очень опасном положении, усугублявшемся тем, что их наступление на германский центр — ключевой момент Плана XVTI — почти не продвигалось.

Мобилизация в России закончилась, как и намечалось, в первых числах ноября[43]. Николай II желал сам повести свою армию в бой, но дал себя переубедить Совету министров (по крайней мере на ближайшее время), вняв доводу, что военные поражения подорвут его престиж[44]. Так как по традиции высшее командование армии вручалось члену царской фамилии, учитывая почти все самодержавные права, которыми наделяется Главнокомандующий в зоне военных действий, этот пост занял дядя царя, вел. кн. Николай Николаевич. Его назначение было воспринято с некоторым удивлением, так как, хотя он и обучался в Академии Генерального штаба и пользовался популярностью у военных, но в разработке стратегических планов не участвовал. И тем не менее в данных обстоятельствах это был, без сомнения, лучший выбор[45]. Николай Николаевич — один из немногих членов царской семьи, к кому общественное мнение было благосклонно: в обществе полагали, что именно он убедил царя подписать Октябрьский манифест. Но его популярность снискала ему и врагов при дворе, и прежде всего в лице самой императрицы, видевшей в нем претендента на престол.

По соглашению с Францией Россия развернула на северо-западе две армии. 1-я армия, под командованием генерала Пауля-Георга Карловича фон Ренненкампфа, балтийского немца, располагалась на территории Виленского военного округа. 2-я армия, под командованием генерала А.В.Самсонова, стояла под Варшавой. Ренненкампф участвовал в русско-японской войне в качестве командира дивизии и никогда не командовал более крупным воинским соединением. У Самсонова вообще не было боевого опыта.

Относительно стратегических планов России источники не дают четкой картины, однако, судя по ходу проведения операций, можно предположить, что первоначально планировалось одновременное наступление на Германию и Австрию в направлении Берлина и Вены. По мнению историка, исследовавшего архивные материалы, Россия изменила свои планы в последнюю минуту по настоянию французов с тем, чтобы развернуть немедленное наступление против немцев в Восточной Пруссии. Наспех организованная восточно-прусская кампания должна была предотвратить угрозу флангового обхода русских войск, продвигающихся на запад в Польше и Галиции[46]. Согласно новому стратегическому плану, 1-я армия должна была вторгнуться в Восточную Пруссию с востока и блокировать основную массу развернутых там немецких войск, в то время как 2-й армии, действующей с юга в направлении Алленштейна, надлежало отрезать их от Германии. Выполнив эту задачу, Ренненкампфу и Самсонову следовало, соединив свои силы, повести наступление на Берлин. Обе русские армии имели существенный численный перевес (в полтора раза). Превосходство это, однако, скрадывалось тем обстоятельством, что местность, на которой предстояло вести боевые действия — край лесов и озер, — была более приспособлена для оборонительных действий. Россия начала наступление на 14-й день мобилизации, на день раньше, чем было обещано французам. Это был бравый поход в лучших суворовских традициях, о котором начальник штаба армии Самсонова отозвался как об «авантюре»[47]. Поначалу действия русской армии были весьма успешными. Войска продвигались так стремительно, что передовые части оторвались от материального обеспечения. Не имея времени устанавливать телефонную связь, командиры использовали рации, как правило, не зашифровывая сообщений. Немцы перехватывали эти переговоры и, получая таким образом полную картину диспозиции и передвижений русских войск, весьма умело этим пользовались. Обе русские армии действовали независимо, каждая мечтала о лаврах победителя для себя.

Наступление русских вызвало замешательство у немцев. Командующий войсками в Восточной Пруссии генерал Фридрих фон Притвиц впал в панику и стал настаивать на отступлении к западному берегу Вислы, что означало сдачу Восточной Пруссии. В Берлине опасались неблагоприятного воздействия такого отступления на моральный дух армии и были немало обеспокоены текущим с востока потоком беженцев, и потому советам Притвица не вняли. Его сместили, а на его место поставили отставного шестидесятисемилетнего генерала Пауля фон Гинденбурга, Гинденбург прибыл на Восточный фронт 23 августа вместе со своим начальником штаба Эрихом Людендорфом. Новое командование сумело возродить поколебленный боевой дух 8-й армии и выработать план захвата в мешок армии Самсонова.

Самсонов двигался без оглядки в направлении Алленштейна, рассеивая войска среди Мазурских болот и теряя связь с частями Ренненкампфа, действовавшими под Кенигсбергом. Рассчитывая на русскую бесшабашность, Людендорф решил пойти на риск. Он втайне снял большинство сил, действовавших против Ренненкампфа, оставив подступы к Кенигсбергу практически без защиты, и отправил их в щель, образовавшуюся между двумя русскими армиями. В результате армия Самсонова оказалась отрезанной.

Если бы Реннен-кампф осознал, что произошло, он мог бы, перейдя в наступление, разгромить левый фланг немцев и нанести врагу сокрушительный удар. Но Людендорф, решив рискнуть, понадеялся, что Ренненкампф не предпримет решительных действий, и не ошибся. 28 августа немцы предприняли контрнаступление против армии Самсонова, зажав ее среди озер и болот. Эта операция, в каком-то смысле самая решительная в первой мировой войне, была завершена в четыре дня: 31 августа 2-я русская армия, или то, что от нее осталось, капитулировала. Русские потеряли убитыми и ранеными 70 тыс. человек, в плен было захвачено 100 тыс., потери немцев составили лишь 15 тыс. человек. Не вынеся позорного поражения, генерал Самсонов застрелился. Теперь подошла очередь армии Ренненкампфа. 9 сентября, усилив свои войска свежими частями, снятыми с Западного фронта, Гинденбург выступил против 1-й армии русских, вынудив ее покинуть Восточную Пруссию. В этой операции русские потеряли еще 60 тыс. человек*.

* В начале 1918 года Ренненкампф, оказавший помощь генералу Корнилову, был схвачен большевиками под Таганрогом. По сообщениям газет того времени, его жестоко пытали и затем расстреляли (см., напр.: Новая жизнь. 1918.4 мая. № 83 (298). С. 3).

Поразительным феноменом, сопровождавшим разгром в Восточной Пруссии, была беспечная реакция русской элиты — этакое безразличие, считавшееся в высших аристократических сферах признаком хорошего тона. Вел. кн. Николай Николаевич казался ничуть не обескураженным потерей всего за две недели боевых действий целой армии и почти четверти миллиона солдат. Когда французский представитель в Ставке выразил соболезнование по поводу русских потерь, он ответил: «Мы счастливы принести такие жертвы нашим союзникам». Однако Нокс, пересказавший этот эпизод, считал, что русскими двигало не столько чувство ответственности перед союзниками, сколько безответственность: они вели себя словно «большие бесстрашные дети, которые не раздумывая, как полусонные, угодили в осиное гнездо»[48].

Многие участники событий и историки утверждали, что погибельная для России восточно-прусская кампания была актом высшего самопожертвования, который, вынудив немцев в критический момент снять войска с Западного фронта, сорвал план Шлиффена и дал возможность маршалу Жоф-фру предпринять спасительное для Франции контрнаступление на Марне. Такую оценку событий можно встретить и у немцев, и у французов. Начальник германского генерального штаба Эрих фон Фалькенгайн полагал, что «едва ли можно преувеличить пагубные последствия переброски войск с Западного фронта*. Мольтке, предшественник Фалькенгайна на посту начальника штаба, и маршал Жоффр, возглавлявший французский генеральный штаб, тоже придавали большое значение августовскому наступлению русских войск, как способствовавшему срыву плана Шлиффена[49].

* Давая оценку взглядам Фалькенгайна, следует, однако, помнить: будучи убежденным в том, что Германия может одержать победу только на западе, он упорно противился наступательным операциям на русском фронте. И его мемуары едва ли можно счесть беспристрастными по отношению к Гинденбургу, который в августе 1916 года сменил его на посту начальника штаба.

Существует, впрочем, и противоположное мнение, быть может, более обоснованное, — что провал плана Шлиффена был вызван не столько переводом дивизий на восток, сколько такими факторами, как усталость германских войск, продвигавшихся через Бельгию, перегрузка транспорта и непредвиденное появление английских экспедиционных войск. План Шлиффена, не предусматривавший такого оборота событий, был признан нереалистичным. Генералу Александру фон Клуку, командующему германской 1-й армией, действовавшей в Бельгийской кампании на крайне правом фланге, в чью задачу входило окружить Париж, не оставалось ничего другого, как развернуть свои войска по другой, более короткой оси, которая проходила не южнее, как предполагалось, а севернее французской столицы. Этот маневр, не имевший никакого отношения к сражениям, проходившим в тот момент в Восточной Пруссии, принес спасение Парижу и сделал возможным контрнаступление на Марне*.

* Следует также помнить, что Гинденбург и Людендорф разгромили 2-ю армию русских, не имея подкрепления с Западного фронта. Такое подкрепление прибыло лишь к тому моменту, когда встала задача вытеснить из Восточной Пруссии 1-ю русскую армию.

Победа в Восточной Пруссии обусловила мощный подъем боевого духа германской армии, которая не только нанесла сильный урон русской армии и спасла свое отечество от вторжения, но и сумела с меньшими силами и ценой сравнительно незначительных потерь остановить безудержное движение русских войск. В виде жеста, символизирующего отмщение за поражение, которое у городка Танненберг пять веков тому назад потерпели от рук литовцев и поляков тевтонские рыцари, немцы нынешнюю победу окрестили «битвой при Танненберге».

Но на русскую армию это поражение не произвело тягостного впечатления, потому что в какой-то мере горечь поражения скрашивали победы, одержанные над австрийцами. В середине августа русские войска прорвали фронт в Галиции, повергнув австрийцев в беспорядочное отступление. В конце месяца, в то самое время, когда армия Самсонова совершала безудержный бросок, войска Юго-Западного фронта приблизились к столице Галиции городу Львову, который и заняли 3 сентября. Они захватили пленными 100

тыс. человек и 400 артиллерийских орудий, всего из строя была выведена треть австрийской армии. Вскоре передовые отряды русской кавалерии перешли Карпаты, производя разведку на Верхнедунайской равнине, в то время как основные силы приблизились к Кракову и угрожали Силезии.

Русские победы над австрийцами, представляя угрозу Германии с тыла, несколько омрачили торжество немцев. В начале сентября, внимая просьбам австрийцев, германское верховное командование спешно сформировало свежую, 9-ю армию, которая под командованием Гинденбурга должна была атаковать Варшаву и угрожать с севера русским силам в Галиции.

В последующие семь месяцев на Восточном фронте с переменным успехом шли интенсивные бои, не приводившие к каким-либо знаменательным результатам, так как ни у одной из сторон не было достаточно сил, чтобы одержать решительный перевес. Наступление Гинденбурга на Варшаву было остановлено благодаря храбрости русских и нерешительности австрийцев. Русские, в свою очередь, оказались неспособны внедриться в Силезию из-за угрозы по флангу с севера, тогда как у Германии недоставало сил заставить их удалиться из Галиции. К концу зимы 1914/1915 годов положение на Восточном фронте вполне стабилизировалось.

Именно в это время русские войска стали испытывать недостатки снабжения. Уже в конце 1914 года половина пополнения, прибывающего на фронт, не имела винтовок[50]. В большом сражении вблизи польского города Прасныш в феврале 1915 года русские солдаты бились с немцами буквально голыми руками: «Бой шел в условиях, едва ли сравнимых с чем-либо в истории современной войны. Россия, оказавшаяся в крайне стесненном положении из-за нехватки оружия и боеприпасов, не могла экипировать массы обученных и подготовленных солдат, и вошло в обыкновение держать на задах боевых действий невооруженные войска, которыми можно было бы заполнять бреши от потерь, воспользовавшись оружием убитых. Под Праснышем люди были брошены на линию огня без винтовок, вооруженные только ножом-штыком в одной руке и гранатой в другой. То есть биться, и биться отчаянно, предстояло им в самом тесном бою. Русским необходимо было любой ценой пробраться к позициям неприятеля на расстояние, с которого можно было швырнуть фанату, а затем броситься врукопашную. Это была война одержимых, вызов всем современным правилам, возвращением к временам первобытных баталий»[51].

Русские выиграли эту битву, что позволило остановить наступление немцев на Варшаву. Но их потери в первые пять месяцев были ошеломительны: к декабрю 1914 года потеряно убитыми, ранеными, без вести пропавшими и взятыми в плен (более всего последних) 1,2 млн. человек, и среди них большое число обер-офицеров и унтер-офицеров, для которых не было готовой замены. В октябре 1914 года и, снова, в феврале 1915-го в армию было призвано 700 тыс. новобранцев — юношей, которым было чуть больше двадцати. После четырехнедельной подготовки они были брошены на фронт. Пока еще для резервистов более старшего возраста пора не подошла[52].

Русская армия держала в тылу крупные резервы. При этом пользовались весьма дешевым и удобным приемом, обернувшимся, однако, весьма бедственными последствиями. Если какая-то часть призванных резервистов была расквартирована и обучалась в прифронтовой полосе, то большинство — добрых три четверти — размещались в больших городах, в казармах тех, ныне отправленных на фронт полков, пополнением к которым они были приписаны. Это не вызывало проблем, пока режим был крепок, но позднее, в начале 1917 года, эти городские резервные гарнизоны, скопища угрюмых ополченцев, стали основным рассадником революционных настроений.

После многих месяцев ожесточенных сражений Россия пожелала гарантий, что за принесенные ею жертвы она получит компенсацию: прежде всего Россия рассчитывала, что ей отойдут Константинополь и Черноморские проливы — вожделенные цели ее внешней политики еще с XVIII века. Выставить эти требования Россию побудили действия англичан против Турции в Галлиполи, имевшие целью установить морское сообщение с Россией. Казалось бы, можно было только приветствовать эту операцию англичан, способную прорвать блокаду России, и поддержать ее, как было обещано, однако в России обеспокоились относительно замыслов англичан в этом регионе. 4 марта 1915 года (н. с.) министр иностранных дел Сазонов направил французскому и британскому правительству ноту, в которой Россия в качестве вознаграждения предъявляла свои права на Константинополь и проливы. Союзники вынужденно пошли на эти условия, опасаясь, что Россия может подписать сепаратный мир с Германией и ограничиться военными действиями против Турции. Год спустя в секретном договоре Сайкса — Пико между Францией и Англией относительно раздела Оттоманской империи России отводились, помимо уже оговоренных, большие территории в восточной и северовосточной Анатолии.

* * *

Анализируя ситуацию, сложившуюся на фронтах после трех месяцев сражений, германское верховное командование не видело радужных перспектив для своей армии. Великий стратегический план Шлиффена провалился; Западный фронт стабилизировался, и ни одна из сторон не в силах была добиться существенного перевеса. На скорую победу рассчитывать не приходилось. Для Германии вполне реальной стала опасность ведения затяжной войны на два фронта, чего немецкие генералы так тщательно пытались избежать. Фон Мольтке-младший, начальник Генерального штаба с начала войны, уже в первых числах сентября 1914 года пришел к выводу, что война Германией проиграна[53].

Последнюю надежду на победу мог дать выход из войны России. Мольтке выразил мнение, возобладавшее в Германии к концу 1914 года, что развязку нужно искать на Восточном фронте, так как Францию не склонить к миру до тех пор, пока не отступит Россия, но едва лишь Россия будет разбита, Франция сама запросит мира. «Наше общее военное положение сейчас столь критично, — писал он кайзеру в январе 1915 года, — что лишь полный и окончательный успех на востоке может спасти его»[54]. Дополнительный аргумент в пользу развертывания крупной операции на востоке состоял в том, что таким образом можно было бы предотвратить выход из войны деморализованной Австрии, грозивший оставить незащищенными перед русским вторжением южные границы Германии.

В силу всех этих соображений верховное командование Германии в конце 1914 года по настоянию Гинденбурга и Людендорфа, но вопреки советам Фалькенгайна решило предпринять в начале весны следующего года массированное наступление на позиции русских войск, чтобы, разгромив их, вынудить Россию запросить мира. Германским войскам на западе было приказано окопаться — это положило начало той неподвижной окопной войне, которая возобладала здесь в последующие три года. Слаженно, с соблюдением строжайшей тайны, немцы стали переводить готовые и новосформированные дивизии на восток. До наступления весны они сосредоточили к югу от Кракова втайне от неприятеля 11-ю армию генерала Августа фон Макензена, состоявшую из десяти пехотных дивизий и одной кавалерийской. В последующие месяцы эта армия была еще более укреплена, а в сентябре 1915 года уже более двух третей немецких дивизий (65 из 90) были сосредоточены на Восточном фронте. В апреле немцам удалось создать значительный численный перевес и подавляющее преимущество в тяжелой артиллерии (40 германских орудий против одного русского). Стратегический план предусматривал захват русских войск в гигантские клещи: Макензен при поддержке 4-й австрийской армии должен был атаковать русские войска на северо-восток, тогда как германской 12-й армии предписывалось ударить в юго-восточном направлении из Померании. Соединившись, обе армии должны были взять в кольцо четыре русские армии, а также захватить Варшаву[55].

Русским нечем было ответить на эту угрозу. Войска были обессилены. Не хватало тяжелой артиллерии, снарядов оставалось всего на два залпа. Плохо было с ружьями и сапогами. Оказавшись в столь плачевном состоянии перед наступлением противника, русские стали искать укрытия в неглубоких окопах, которые, конечно, не могли защитить от тяжелой немецкой артиллерии.

Немецкое наступление, к полной неожиданности противника, началось 15(28) апреля с ураганного артиллерийского огня, не смолкавшего несколько дней; это был первый столь плотный артобстрел, повторившийся затем с еще большей силой в следующем году при Вердене и на Сомме. Как выразился Бернард Парес, русские были «подавлены металлом», который выбивал их из импровизированных окопов. Когда орудия смолкли, германская пехота при поддержке австрийцев ударила по русским и обратила их в бегство на восток. Все это время, как и в течение всей кампании 1915 года, русские продолжали поддерживать радиосвязь в открытую, что, пользуясь мягкой оценкой Фалькенгайна, придавало войне на востоке «более простой характер, чем на западе»[56]. 9(22) июня немецкие войска отбили Львов и приблизились к Варшаве. Из Польши и Галиции на пораженную русскую публику, ожидавшую в 1915 году решительных действий союзников, одно за другим обваливались сообщения о все новых поражениях.

Однако впереди маячили еще худшие беды. По донесениям разведки, германские войска в Померании и Восточной Пруссии готовились к нападению. Действительно, 30 июня (13 июля) 12-я армия немцев двинулась на сближение с наступающей армией Макензена. Клещи готовы были сомкнуться. Прекрасно представляя себе надвигающуюся опасность, вел. кн. Николай Николаевич и его штаб пребывали в нерешительности. Со стратегической точки зрения не было иного выхода, как немедленно отступить из центральной Польши. Политически, однако, это был наиболее неприятный и даже опасный исход, если учесть впечатление, которое произведет на русское общество такое отступление. В конце концов стратегические соображения возобладали. 9(22) июля русские войска начали отступать по всему фронту, оставляя центральную Польшу, но избегая тем самым опасности попасть в приготовленную им ловушку. Польские крепости, с таким трудом возводившиеся и сосредоточившие существенную часть русской тяжелой артиллерии, стали одна за одной сдаваться врагу, подчас даже без боя.

Немцы продолжали продвигаться на восток, встречая на своем пути очень слабое сопротивление. Наступательные операции они приостановили к концу сентября, выровняв к этому времени фронт почти по прямой линии, идущей с севера на юг от Рижского залива до румынской границы. Вся Польша, а также Литва и значительная часть Латвии оказались в их руках. Немцы окончательно отвели от своей территории угрозу русского вторжения.

Русским 1915 год принес одни лишь бедствия, и не только на театре военных действий, но и в политической сфере. Пагубно сказались события года и на психологическом климате. Россия утратила богатые земли, уже более века находившиеся под русским владычеством, а также недавно завоеванную Галицию. Двадцать три миллиона подданных русского царя — 13% населения Российской империи — оказались под оккупацией. Поражения подорвали моральный дух русских войск. У солдат, храбро сражавшихся с неприятелем прошлой осенью и зимой, теперь сложилось представление о немцах как о непобедимом враге: один вид немецкой каски сеял панику в русском строю. Немцы, как говорили, «способны на все»[57]. Одним из последствий ощущения безнадежности, охватившего русскую армию в 1915 году, была готовность, с какой россияне стали сдаваться в плен. В 1915 году немцы и австрийцы взяли в

плен более миллиона русских, которых отправили в тыл и заставили работать на своих полях. В русских войсках появились признаки деморализации. Чтобы как-то умилостивить солдат, генерал Янушкевич безуспешно пытался убедить правительство в необходимости издать указ, согласно которому каждый ветеран войны после победы мог рассчитывать на надел земли в 10 десятин. Среди офицеров раздавались голоса недовольства по поводу того, что Франция и Англия не смогли помочь России отвлекающими операциями, как это делала Россия ради них за год до этого.

Старой русской армии уже более не существовало. К осени 1915 года численность войск на линии фронта была сокращена на две трети в сравнении с тем, что было в начале военных действий, — то есть оставалось самое большее 870 тыс. человек. Почти не сохранилось старых кадров русской армии 1914 года, в том числе большинства штаб-офицерского состава; не сохранилось и большей части обученных резервистов. Теперь возникла необходимость отправлять на фронт запасных второго разряда и ополченцев, то есть людей уже гораздо более пожилого возраста, подчас не получивших никакой военной подготовки.

И все же можно утверждать, что блестящая победа немцев в 1915 году привела к поражению Германии в 1918-м. Наступление 1915 года на Восточном фронте имело двойную цель: разгромить вражескую армию в Польше и заставить Россию выйти из войны. Ни та, ни другая цель не была достигнута. Русские умудрились увести свои войска из центральной Польши и не просили мира. Германское верховное командование, извлекая уроки из кампании 1915 года, пришло к выводу, что при готовности русских безгранично жертвовать людьми и территорией окончательную победу над ними одержать никогда не удастся[58]. Этот вывод заставил Германию нащупывать возможности мирного договора с Петроградом[59]. Кроме того, кампания 1915 года дала англичанам передышку, необходимую для проведения широкой мобилизации и перевода своей промышленности на военные рельсы. Когда в начале 1916 года немцы возобновили военные действия на западе, они увидели, что их противники сумели изрядно подготовиться. При всех блестящих боевых успехах, достигнутых в кампании 1915 года, в целом ее все же приходится признать крупным стратегическим поражением — поскольку кампания так и не достигла своих непосредственных целей и в ходе ее было упущено драгоценное время. И вместе с тем великое поражение России в 1915 году можно считать и величайшим, хоть и невольным ее вкладом в конечную победу союзников.

* * *

Простые граждане, однако, редко мыслят военно-стратегическими категориями. Русским людям было достаточно знать, что их армия потерпела унизительное поражение, одно из самых тяжелых, если не самое сокрушительное в новейшее время. Пресса потчевала публику нескончаемыми рассказами о несчастьях, постигших русскую армию. Полгода (с момента начала апрельской операции немцев и до ее окончания) росло негодование населения, находившее выход прежде всего в поисках виновных. Однако когда стали широко известны масштабы поражения, громче зазвучали голоса, требовавшие перемен в политическом руководстве страны. К июню 1915 года дух единения во имя общей цели, сблизивший правительство с оппозицией в первые месяцы войны, иссяк, уступив место еще более резким взаимным упрекам и враждебности, чем даже в аналогичной ситуации 1904—1905 годов, когда Россия терпела поражение от японцев. Военные историки заметили, что во время войны деморализация и паника обычно зарождаются не на фронте, а в тылу, среди мирного населения, склонного преувеличивать и поражения и победы[60]. Так было и в России. Были предприняты меры к эвакуации из Риги и Киева, и правительство обсуждало возможность эвакуации даже из Петрограда[61]. В мае 1915 года по Москве прокатился ужасный антигерманский погром — громили магазины и конторы, на вывесках которых значились немецкие имена владельцев. Немецкая речь на улице могла стоить говорящему жизни.

Народ требовал голов виновных. Первой мишенью народного гнева и естественным козлом отпущения стал Сухомлинов — его винили за недостаток армейского снабжения, чем военные объясняли свои неудачи. Недавние исторические исследования указывают, что он не был повинен в этих грехах[62] и что проблема нехватки артиллерийских снарядов была раздута до неимоверных размеров, чтобы скрыть глубокие пороки в русском военном руководстве[63]. Симпатии царствующей четы к военному министру оставались неизменными, но требования об его отставке уже невозможно было игнорировать, и 11 июня Сухомлинов был отстранен от должности. Впрочем, в личном письме к нему царь выражал сердечную благодарность за службу[64]. (Годом позже Сухомлинов был арестован по обвинению в измене и расхитительстве. Освобожденный в октябре 1916-го, он был снова арестован Временным правительством и приговорен к пожизненным каторжным работам. Ему удалось бежать в Париж, где в 1926 году он и умер[65].)

Сменивший его на посту военного министра генерал А.А.Поливанов был человеком совсем другого склада. Лидер «младотурок», которые еще до войны ратовали за модернизацию всей русской армейской структуры, он делал особое ударение на военную технологию и мобилизацию внутренних ресурсов страны[66]. Сухомлинов, чьим помощником был Поливанов, старался держать его на безопасной дистанции, подозревая, что вместе с вел. кн. Николаем Николаевичем и Гучковым он замышляет козни против двора и самого Сухомлинова. Назначение Поливанова должно было означать, что правительство наконец восприняло идею «вооруженного народа» и что Россия, по примеру других воюющих стран, готова серьезно приступить к мобилизации внутреннего фронта. Но такая перспектива не могла не вызвать недовольства императрицы,

не выносившей «политиканства» высших имперских сановников и видевшей в попытках сплотить нацию злоумышления против самодержавия. Распутин, ее друг, тоже не одобрял нового назначения и стал подыскивать Поливанову замену[67]. 24 июня, после встречи с новым министром, императрица писала: «Вчера видела Поливанова. Он мне, откровенно говоря, никогда не нравился. Что-то в нем есть неприятное, не могу объяснить что. Я предпочитала Сухомлинова. Хотя этот и умнее, но сомневаюсь, так же ли он предан»[68].

Чтобы еще больше успокоить общественное мнение, Николай вывел в отставку и других непопулярных министров. В июне он уволил министра внутренних дел Н.А.Маклакова, затем прокурора Святейшего синода В.К.Саблера и министра юстиции И.Г.Щегловитова — все они в общественном сознании слыли безнадежными реакционерами. Сменившие их люди в глазах того же общественного мнения были, по большей части, предпочтительней. Таким образом двор, не уступая требованиям вручить Думе право назначать министров, старался своими перестановками в Совете министров снискать расположение общества. Чтобы еще более умаслить оппозицию, убедили Распутина удалиться в свою сибирскую деревню, пока отношения с Думой, которая должна была быть вновь созвана в июле, не «наладятся»[69].

И все же эти меры не смогли успокоить общественное мнение. Многим стало понятно, что причины поражения России нужно искать не столько в ошибках отдельных личностей, сколько в трениях в самой «системе». И значит, России, чтобы выжить, следует основательно эту систему перестроить.

* * *

Когда стало понятно, что война затягивается сверх ожиданий, основные ее участники предприняли шаги к мобилизации тыла. Первой была Германия, за ней последовала Англия. Между обществом и частным сектором производства установилось взаимодействие, некий симбиоз, направленный на удовлетворение нужд фронта. Уже летом 1915 года подобное возникло и в России, но здесь, как нигде, развитию отношений между двумя секторами мешала взаимная подозрительность. В результате мобилизация тыла в России проходила лишь частично и весьма несовершенно. Если такое объяснение и можно принять, то следует подчеркнуть, что при этом, как правило, недооценивается, насколько велико было влияние общества в общегосударственных вопросах в период войны и насколько уступки царского правительства обществу изменили политическую систему России.

В начале лета либералы и либерал-консерваторы пришли к убеждению, что царская бюрократия не в состоянии отвечать требованиям, предъявляемым войной. Они желали произвести фундаментальные изменения, но, как и правительство, старались предусмотреть последствия, к каким приведут после восстановления мира действия, предпринятые в военное время. Разгром 1915 года предоставил возможность завершить революцию 1905 года, то есть превратить Россию в страну настоящей парламентской демократии. Думская оппозиция стремилась укоренить в государственных институтах полученные от монархии во имя победы уступки с тем, чтобы они остались неизменными и после победы. Главной целью было получить право назначать министров, что привело бы к подчинению Думе всей российской бюрократии.

В результате общество и правительство занялись «перетягиванием каната». Правительству нужна была помощь общественности, но оно не желало уступать ей прерогативы, которые сохранило за собой в революцию 1905 года, в то время как общественные лидеры стремились воспользоваться военной обстановкой, чтобы осуществить все, этой революцией обещанное. И в возникшем конфликте именно правительство проявило большую готовность пойти на уступки. Однако его порыв не встретил сочувствия, и каждая уступка воспринималась как слабость и только побуждала ко все новым требованиям.

Заседания Думы продолжались до 9 января 1915 года, когда в ее работе был объявлен перерыв, отчасти, чтобы прекратить «зажигательные» речи, критикующие методы ведения войны, отчасти, чтобы дать возможность правительству проводить законодательные акты посредством 87-й статьи.

Депутатам же было обещано, что Дума будет созвана немедленно, если этого потребует военная ситуация. Такая ситуация была теперь налицо. Лидеры оппозиции требовали незамедлительного созыва. Императрица противилась и убеждала мужа не поддаваться. «Дорогой мой, — писала она ему 25 июня, — я слыхала, что этот мерзкий Родзянко с другими ходил к Горемыкину просить, чтобы немедленно созывали Думу. О, прошу тебя, не позволяй, это не их дело! Они хотят обсуждать дела, которые их не касаются, и вызвать еще больше недовольства. Надо их отстранить. Уверяю тебя, один вред выйдет из всего этого, — они слишком много болтают. Россия, слава Богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться. Не позволяй им наседать на тебя. Это ужасно, — если им сделать уступку, то они подымут голову»[70].

Однако нажим был так силен, что царь не смог устоять и поручил Родзянке, председателю Думы, созвать законодательный орган на шестинедельный срок[71]. Заседания должны были открыться 19 июля, в первую годовщину начала войны по русскому календарю.

Полтора месяца, отпущенные Думе, дали депутатам широкую возможность проводить фракционные совещания. Инициатива этих неформальных собраний принадлежала небольшой партии прогрессистов, представлявшей либеральную по настроениям, зажиточную промышленную буржуазию. Ее лидеры надеялись повторить достижения «Союза освобождения» и сколотить широкий патриотический фронт, в который вошли бы все партии, за исключением крайне правых и крайне левых. Военные неудачи толкнули в ряды оппозиции консервативные элементы, которые в иное время ни за что не примкнули бы к выступлению

против самодержавия. Участниками нового движения были, помимо прогрессистов, кадеты, левые октябристы и левые националисты. Таково было происхождение Прогрессивного блока, вскоре завоевавшего большинство в Думе и в 1916 году оказавшего решающее влияние на ход событий, приведших к революции*.

* О Прогрессивном блоке см.: КА.1932. № 1—2 (50—51). С. 117-160; № 3 (52). С. 143-196; 1933. № 1 (56). С. 80-135. Атакже: Граве Б.Б.//Буржуазия накануне февральской революции. М.; Л., 1927; Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны, 1914—1917. Л., 1967.

Главная тема закулисных собраний, о которых историкам известно в основном из полицейских донесений, сводилась к тому, что России в этот трагический час нужна крепкая власть, однако потерявшая доверие бюрократия осуществлять ее более не может — власть эта должна исходить лишь от пользующегося народным доверием органа, каковым является Дума. Сходясь в этом вопросе, участники собраний тем не менее столкнулись с трудностями при выработке конкретной программы. Наиболее радикальное крыло, которое возглавлял П.П.Рябушинский, крупный промышленник и выразитель мнения московских деловых кругов, стремилось форсировать события и заставить правительство уйти в отставку. Более умеренная группа, возглавляемая главой «Союза городов» кадетом М.В.Челноковым, предпочитала компромиссное решение[72].

Предельно накаленную атмосферу, царившую на заседаниях Думы в июле и августе 1915 года, нельзя верно оценить, не учитывая крупных поражений того периода на театре военных действий. К моменту созыва Думы русские армии оставили Польшу, неприятель был уже на подступах к Риге. В Ставке в Могилеве царило беспросветное уныние. Г.Н.Данилов, генерал-квартирмейстер и один из самых крупных русских стратегов, говорил своему товарищу за несколько недель до того, что «стратегия может быть теперь совсем упразднена» и остается лишь надеяться «на утомление самих германцев, на случай и на св. Николая Чудотворца»[73]. На заседании кабинета министров 16 июля Поливанов начал свое выступление с горького возгласа: «Отечество в опасности»[74]. А министр земледелия А.В.Кривошеий говорил друзьям, что правительство напоминает «дом умалишенных»[75].

Заседания Думы открылись, когда русские войска оставляли Варшаву. Старик Горемыкин, уже не вызывавший ни у кого ничего, кроме презрительной усмешки, обратился к собранию в непривычно примирительном тоне, заверив, что правительство «испытывает нравственную потребность» действовать «в полном единомыслии с законодательными учреждениями». Вслед за ним депутаты самой разнообразной политической ориентации, за исключением крайне правых, в своих выступлениях обвиняли правительство в несостоятельности[76].

Особенно резко прозвучало выступление лидера трудовиков А.Ф.Керенского, которому суждено было сыграть важную роль в революции. Керенскому в начале войны исполнилось всего тридцать три года, он был честолюбивым адвокатом и восходящей звездой русских социалистов[77]. Первую славу он стяжал, выступая в качестве защитника на широко прогремевших политических процессах. Искусный оратор, он гипнотически воздействовал на аудиторию, но не обладал ни качествами стратега, ни умом аналитика. В Четвертой думе он быстро выдвинулся как самый зажигательный оратор левых. После ареста в ноябре 1914 года большевистских депутатов (которых он защищал в суде) Керенский стал основным спикером социалистической фракции, легко затмив лидера меньшевиков Николая Чхеидзе. В 1917 году, когда было обнародовано полицейское дело, заведенное на Керенского, стало известно, что с самого начала войны он сплотил социалистическую интеллигенцию против правительства и пытался организовать рабочий совет[78]. После разгрома русских армий в Польше Керенский выступал за свержение царского режима и саботирование военных усилий России. Осенью того же года он агитировал против участия рабочих в объединенных комитетах, созданных для обеспечения оборонной промышленности (см. ниже), и действовал в соответствии с Цим-мервальдской антивоенной резолюцией, в создании которой сыграл важную роль Ленин. Надо сказать, что в то время между Керенским и Лениным трудно было провести различие, и в глазах полиции он был «главным зачинщиком нынешнего революционного движения»[79]. Биограф Керенского считает, что летом 1915 года он вместе со своим другом масоном Н.В.Некрасовым и Чхеидзе «был близок к тому, чтобы поднять народные массы на революцию под «буржуазным» руководством»[80].

В августе 1915 года Николай II принял два решения, которые для многих современников прозвучали как смертный приговор династии. Первым было решение сместить вел. кн. Николая Николаевича с поста главнокомандующего и самому возглавить командование русскими армиями, вторым — отложить очередной созыв Думы.

Трудно с определенностью сказать, что заставило Николая взять на себя военные заботы, ибо он принял это решение самолично и настоял на нем, не давая никаких объяснений и невзирая на сопротивление большинства членов семьи и почти всего кабинета министров. Годом ранее он дал себя отговорить от такого решения, теперь же был непоколебим. Одним из бесспорных резонов была тревога за судьбу своей армии, которую он искренне любил. Кроме того, им могло руководить желание вдохновить страну в роковые часы и, разделяя с солдатами их тяготы, явить собой пример патриотизма. Возможно, он полагал, что его поступок приостановит политическое брожение и приглушит слухи о сепаратном мире. Супруга, за которой маячила зловещая фигура Распутина, горячо поддержала его. Александра, при всей своей любви и преданности мужу,

считала его слишком нерешительным и мягким, чтобы противостоять политикам. Поэтому в отсутствие Николая в столице ей было бы проще усилить политическое влияние, которое защитило бы монаршьи прерогативы.

В этих устремлениях царицу поддерживал Распутин. Григорий Распутин, которого иногда называют «сумасшедшим монахом», не был ни монахом, ни сумасшедшим. Он был крестьянином из Западной Сибири и, вероятно, принадлежал к хлыстовской секте; с царской семьей его познакомил в 1905 году вел. кн. Николай Николаевич. Распутин быстро вошел в доверие благодаря своей способности — по-видимому, с помощью гипноза — снимать боль у страдавшего гемофилией наследника. К тому же «старец» не без успеха умел изображать «человека из народа», донесшего до двора пусть грубый и необразованный, но истинный глас русского народа, в неколебимо верноподданнических чувствах которого царская чета не сомневалась. Хотя связи при дворе позволяли ему вести себя все развязнее, до осени 1915 года настоящим политическим влиянием он не пользовался. Слухи о его дерзости, пьянстве и постыдных оргиях достигали двора, но ни Николай, ни его жена не придавали им значения, считая наветами врагов.

Распутину было крайне выгодно отсутствие в столице царя. Убеждая Николая отправиться на фронт, он думал о политическом влиянии и деньгах, которые окажутся у него в руках. Он знал, что Николай терпит его ради семейного покоя, но не любит и не доверяет ему. В отсутствие царя ему будет легче манипулировать настроениями императрицы и стать «eminence grise»* царского двора. Чтобы побудить царя к отъезду, он стал распространять слух, что вел. кн. Николай Николаевич, которого он числил в стане своих врагов, мечтает взойти на престол[81]. Впоследствии он хвастался, что «потопил» великого князя[82]. Вернувшись из ссылки в Петербург, Распутин дважды, 31 июля и 4 августа, встречался с царем и уговаривал его возглавить командование, а затем забросал телеграммами такого же содержания[83]. Таким образом, за роковым шагом царя стояла именно эта помесь патриотизма и политической интриги.

* Серым преосвященством *(фр.)*.

Если мы не можем в точности сказать, что побудило царя взять на себя командование армией, то причины, заставившие советчиков отговаривать его от этого поступка, мы знаем хорошо. Совет министров опасался, что царь, возглавив армию в момент, когда удача отвернулась от русского оружия, ставит под удар свой престиж. И если войска постигнут новые несчастья (а это было весьма вероятно), вина за них падет исключительно на голову царя[84]. Кроме того, у Николая вообще была репутация «невезучего»: родился он в день Иова Многострадального, коронацию его омрачила ходынс-кая трагедия, он был отцом единственного отпрыска мужского пола, страдавшего неизлечимой болезнью, он проиграл японскую кампанию и стал первым в истории России царем, которому пришлось уступать самодержавную власть. Что могло заставить поверить, будто человек с такой славой способен принести России победу? И, наконец, не последнюю роль играли опасения, что, пока Николай находится на фронте, власть перейдет к императрице~«немке» и ее презренному духовнику.

Все эти соображения двигали теми, кто, заботясь в первую очередь об интересах царя (кроме Горемыкина и царицы), убеждали его отказаться от своего замысла. В их числе были императрица-мать, Поливанов и Родзянко, который назвал это «величайшей ошибкой» николаевского царствования[85]. 21 августа на Совете министров было решено направить царю коллективное письмо с просьбой переменить свое решение. В письме, подписанном всеми министрами, за исключением Горемыкина, говорилось, что такой шаг царя «грозит... России, Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями». Восемь подписавшихся в заключение заявили, что более не в состоянии работать под председательством Горемыкина и теряют «веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине»[86].

За два дня до назначенного срока отъезда на фронт царь встретился с кабинетом министров. Вновь министры умоляли его переменить решение. Николай, держа в руках икону, взмокший от волнения, выслушал их, затем поднялся и произнес: «Я выслушал, что вы имели мне сказать, но я придерживаюсь своего решения»[87]. Поначалу он сохранил дерзких министров на своих постах, несмотря на их желание выйти в отставку, впрочем, лишь для того, чтобы через время избавиться от тех, кто особенно красноречиво проявил себя в этом эпизоде.

22 августа царь отбыл в Могилев, где оставался — за исключением кратковременных визитов к семье — до конца декабря следующего года. Здесь он вел размеренную и скромную жизнь, что была ему больше по душе, чем церемонный обиход двора. Он участвовал в ежедневных коротких совещаниях, но не вмешивался в военные вопросы, решение которых предоставлял всецело своему начальнику штаба генералу Алексееву, реальному главнокомандующему*.

* Вел. кн. Николай Николаевич отбыл на Кавказ в качестве наместника; в последующих событиях, приведших к Февральской революции, существенной роли он не сыграл.

Уехав в Ставку, царь избежал политической бури, бушевавшей в столице. Весь август столичная пресса вела интенсивную кампанию против Горемыкина, требуя его замены на кандидатуру, предложенную Думой. Некоторые газеты перепечатали предполагаемые списки правительства «народного доверия», весьма сходного с тем, что в феврале 1917 года действительно пришло к власти[88].

Политический кризис достиг вершины 25 августа, когда Прогрессивный блок, насчитывающий теперь 300 из 420 думских депутатов, обнародовал свою программу, состоявшую из девяти пунктов[89]. Приспособленная к взглядам националистов, она получилась более умеренной, чем хотелось бы многим из подписавших ее, но все же заключала в себе весьма смелые требования. Первым и основным из них было создание «правительства из лиц, пользующихся доверием страны и в согласии с законодательной палатой решившихся в кратчайший срок провести определенную программу» — требование, весьма близкое к идее создания правительства из предложенных Думой кандидатов и ответственного перед Думой. Далее шел список предполагаемых мер, предусматривающих: установление законных ограничений бюрократии; снятие разграничения сфер полномочий между военными и гражданскими властями в вопросах, не связанных непосредственно с военными операциями; объявление амнистии осужденным за политические и религиозные преступления и проступки; прекращение религиозных преследований, включая ограничения, налагаемые законодательством на евреев; дарование автономии Польше и предоставление политических уступок финнам и украинцам; восстановление профсоюзов и пересмотр многих действующих ныне законов[90]. Во многом это была та самая платформа, которую приняло Временное правительство, придя к власти в марте 1917 года. Таким образом, и по составу и по программе первое революционное правительство сформировалось уже в августе 1915 года, когда у власти был царь, а революция казалась весьма отдаленной перспективой.

Программа Прогрессивного блока получила широчайший резонанс[91]. Совет министров предпочел вступить в переговоры с блоком для выработки возможного компромисса. Большинство министров были готовы уйти и уступить место новому кабинету[92]. Совет министров действовал вопреки своему председателю, который постоянно совещался с императрицей и соглашался с ней в том, что всего лучше было бы просить царя закрыть заседания Думы.

В последние дни августа 1915 года, таким образом, сложилась чрезвычайная ситуация: либеральные и консервативные деятели Думы, составлявшие три четверти всего депутатского корпуса, избранного по весьма консервативному избирательному закону, объединились с высшими, назначенными царем чиновниками, чтобы требовать установления в стране парламентской демократии. И неудивительно, что в образованных слоях общества это вызвало настоящую эйфорию[93].

Николай, однако, отказался уступить право назначать министров, и поступил он так по двум причинам: одной практической, а другой — теоретической или нравственной. Он не мог поверить, что те представители интеллигенции, которым прочат министерские портфели в парламентском кабинете, сумеют управлять страной. И еще он убедил себя (или позволил императрице убедить его), что в 1896 году, вступая на престол, он присягал укреплять самодержавие. В действительности ничего подобного не было. Коронационная церемония предусматривала лишь молебен, в котором не было и намека на способ правления, а слово «самодержавие» вообще не произносилось[94]. Но Николай думал иначе и часто по разным поводам говорил, что отказаться от права формировать кабинет — значит нарушить данную им клятву.

Его приводили в ярость политики, ведущие свои игры, когда войска на фронте истекают кровью. Решив не повторять ошибку, которую, как ему казалось, он совершил в октябре 1905 года, Николай теперь твердо стоял на своем.

28 августа Горемыкин приехал в Ставку. Он был последним представителем Совета министров, упрямо не желавшим присоединиться к требованиям политической реформы. Когда Родзянко пожаловался ему, что Совет министров действовал недостаточно решительно, чтобы отговорить царя от поездки на фронт, Горемыкин оборвал его, заявив, что председатель Думы взял на себя «неподлежащую роль супер-арбитра»[95]. Он был обеспокоен произносимыми в Думе антиправительственными речами, которые пресса разносила по стране. Чтобы лишить оппозицию трибуны и разрядить напряженность в стране, он предлагал царю закрыть заседания Думы сразу по истечении шестинедельного срока. Царь согласился с ним и дал распоряжение объявить перерыв не позднее 3 сентября: все министры, включая самого Горемыкина, должны пока оставаться на своих постах[96]. Это решение, принятое в тиши, по воле двух человек, без совещания с Думой и вопреки желанию почти всего кабинета, было воспринято как пощечина российскому обществу. Министр иностранных дел Сазонов выразил весьма широко бытовавшее мнение, заявив, что Горемыкин, видимо, лишился рассудка, давая царю такие советы[97]. В результате от царя отвернулись практически все политические и социальные круги, если не считать льстивых царедворцев и политиков крайне правого крыла.

Между тем кризис стал постепенно утихать, так как в сентябре германское наступление свернулось и непосредственная угроза на время миновала. Газеты, сочувствующие Прогрессивному блоку, стали писать, что было сделано все возможное и теперь нет необходимости оказывать давление на правительство. В конце сентября Центральный комитет кадетской партии, ядро Прогрессивного блока, решил отложить все требования политических реформ до окончания войны[98]. Кадет консервативного толка В.А.Маклаков написал широко цитировавшуюся в прессе статью, в которой приводились рациональные обоснования нового курса. Он сравнил Россию с автомобилем, мчащимся по узкой и крутой дороге с неумелым шофером за рулем. В автомобиле среди пассажиров сидит ваша родная мать (читай: Россия). Малейшая ошибка шофера, — и автомобиль рухнет в пропасть, увлекая к неминуемой гибели пассажиров. Среди пассажиров есть более искушенные водители, но шофер отказывается уступить им управление, уверенный, что отнять руль насильно они не рискнут, опасаясь роковых последствий. В данных обстоятельствах, уверял читателей

Маклаков, «вы отложите счеты с шофером до того вожделенного времени, когда вы будете опять на равнине»[99].

Как обычно, едва кризис был пройден, Николай расправился с теми, кто осмелился ему противоречить. В конце сентября он уволил министров, особенно активно протестовавших против его решения возглавить военное командование: А.Д.Самарина, обер-прокурора Синода, который составил письмо от имени Совета министров от 21 августа, министра внутренних дел Н.Б.Щербатова, А.В.Кривошеина. Преемника Щербатова, А.Н.Хвостова, назначенного в ноябре, все считали креатурой Распутина — первой из целого ряда последовавших затем[100]. Итак, вновь — но теперь уже в последний раз — Николаю удалось усмирить бурю и отбить посягательства на свои прерогативы. Но это была пиррова победа, отдалившая его и его ближайшее окружение почти от всего общества. На встрече кабинета, последовавшей за этими событиями, Сазонов (которому вскоре тоже пришлось покинуть свой пост) говорил, что правительство повисло в воздухе, «не поддерживаемое ни сверху, ни снизу», а Родзянко страна представлялась «бочкой с порохом». Николай, Александра и Горемыкин преуспели в том, что объединили против себя почти все политические круги России, добившись почти невозможного: консенсуса между революционером Керенским и монархистом Родзянко.

Решения, принятые Николаем в августе 1915 года, сделали революцию практически неотвратимой. Россия могла бы избежать революционного переворота лишь при одном условии: если непопулярная, но искушенная в делах бюрократия, со своим административным и полицейским аппаратом, стала бы сотрудничать с популярной, но не искушенной в делах либеральной и либерально-консервативной интеллигенцией. В конце 1915 года ни одна из этих групп не была способна управлять Россией сама по себе. Помешав этому альянсу, когда он был еще возможен, Николаю оставалось только ждать, что рано или поздно новая сила, ввергая Россию в анархию, сметет со сцены и тех и других, а с ними и его самого.

* * *

В качестве компенсации своего отказа даровать стране парламентско-демократический строй монархия предприняла меры для обеспечения большего участия в администрации представителей общественности. Такой шаг был продиктован главным образом тем соображением, что дефицит вооружения и материальной части войск можно было покрыть, как стало понятно, лишь путем привлечения к военному производству частного сектора. Впрочем, еще теплилась надежда, что подобные уступки кроме того помогут отклонить требования политических реформ.

На совещании в Ставке в июле 1915 года генерал Алексеев перечислил в порядке убывания статьи острейшего дефицита, обусловившие поражения русской армии: 1) артиллерийские снаряды, 2) людские пополнения, 3) орудия тяжелой артиллерии, 4) ружья и ружейное снаряжение, 5) офицерские кадры. За нехватку живой силы отвечали военные. Но дефицит вооружения требовал расширения базы военного производства путем привлечения частного сектора, а это, в свою очередь, влекло к сотрудничеству с российскими деловыми кругами. Привлечение к руководству оборонной промышленностью представителей законодательных органов если и не представляло насущной необходимости, то признавалось политически благоразумным.

Идея создания объединенных комитетов из правительственных чиновников, частных предпринимателей и думских депутатов для решения проблем военного снабжения родилась на неофициальных собраниях промышленников с политическими деятелями, проходивших в начале мая в Москве и Петрограде. Один из самых горячих сторонников этой идеи, М.В.Родзянко, отправился в Ставку для переговоров с вел. кн. Николаем Николаевичем. Тот охотно принял предложения Родзянки и рекомендовал их царю, у которого они тоже не вызвали возражений[101]. Таково было происхождение «Особого совещания для объединения мероприятий по обеспечению действующей армии предметами боевого и материального снабжения». Сухомлинов, еще занимавший тогда пост военного министра, с опаской наблюдал такое вмешательство неофициальных лиц в дела, которые, по его мнению, их ничуть не касались. Однако выбора у него не было, и он вынужден был взять на себя председательство в новообразованном совещании. Это учреждение обеспечило существенное увеличение производства снарядов в 1915 году, и его успех в том же году привел к созданию по его образцу других особых совещаний.

В июле кабинет министров принял решение учредить смешанный гражданско-правительственный комитет; устроенный по модели недавно образованного британского министерства военного снабжения, он призван был мобилизовать на военные нужды российскую промышленность и получил название «Особое совещание по обороне страны». Николай одобрил это решение, и в августе оно было представлено на рассмотрение законодательных палат. Думское большинство горячо его приветствовало, хотя ораторы от социалистов Керенский и Чхеидзе нашли эту меру недостаточной[102]. Создание Особого совещания обещало улучшить дела в военной промышленности и, что не менее важно, давало к тому же Думе возможность влиять на политический процесс. Чтобы еще более утвердиться в этой роли, Дума предложила образовать подобные Особые совещания по проблемам продовольствия, военных перевозок и топлива[103]. В каждое из этих совещаний должны были входить представители двух законодательных палат, и, таким образом, чем больше было подобных учреждений, тем больше думских депутатов получали возможность участвовать в военных усилиях страны. В конце августа уже действовало четыре Особых совещания.

Из всех созданных бесспорно самым важным было Совещание по обороне. Как и в других, председательствовал в нем министр, в данном случае военный министр Поливанов. Совещание состояло из 36—40 членов, в большинстве своем гражданских лиц: десять из них были депутатами Думы и Государственного совета, четверо представляли Центральный военно-промышленный комитет (см. ниже) и двое — земства и городские управы[104]. Родзянко получал полную свободу действий в подборе неправительственных представителей[105]. Совещание по обороне пользовалось весьма широкими полномочиями. В его власти было конфисковывать частное производство, если оно работало неудовлетворительно, нанимать и увольнять директоров, устанавливать расценки. Первое заседание Совещания состоялось 26 августа в присутствии Николая и Александры, в дальнейшем заседания проводились дважды в неделю.

Для содействия осуществлению решений Совещания по обороне правительство санкционировало учреждение Центрального военно-промышленного комитета. Комитет расположился в Москве, возглавил его Гучков. Комитет ставил перед собой задачу перевести на военные рельсы средние и малые предприятия. Было открыто около 250 отделений комитета по всей стране, и через них размещались заказы на изготовление снарядов, ручных гранат, патронов и другого снаряжения. В результате деятельности комитета около 1300 средних и малых предприятий перешло на военное производство[106]. И как правительство ощущало необходимость в привлечении частного предпринимательства, так и частные предприниматели считали желательным укрепить сотрудничество с рабочими. С этой целью военно-промышленный комитет предпринял весьма необычный шаг, предложив предприятиям, работающим на военные нужды, где в производстве было занято 500 и более человек, выдвинуть своих рабочих представителей, Большевистские агитаторы выступили против этого предложения и на некоторое время затормозили рабочую инициативу[107], однако меньшевикам, пользовавшимся среди рабочих большей популярностью, удалось преодолеть бойкот. В ноябре 1915 года под председательством рабочего-меньшевика К.А. Гвоздева стала действовать Центральная рабочая группа, которая содействовала усилиям военно-промышленного комитета по поддержанию рабочей дисциплины, предотвращению забастовок и удовлетворению нужд рабочих[108]. Участие рабочих в управлении производством и, косвенным образом, в управлении военной экономикой было для России феноменом, служащим для нас еще одним указанием на социальные и политические перемены, проведению которых способствовали вызванные войной обстоятельства.

Лидеры военно-промышленного комитета склонны были преувеличивать свой вклад в военную экономику; современные исследования говорят о том, что он составил лишь 2— 3% оборонного производства[109]. И тем не менее такие комитеты сыграли весьма важную роль, открыв доступ к некоторым сферам военной экономики, и поэтому оценивать их деятельность как «ненужную», «бесполезную» или даже как «помеху» — несправедливо[110].

Достижения Совещания по обороне и военно-промышленного комитета можно продемонстрировать на примере снабжения артиллерии. Если в 1914 году российская промышленность была способна выпустить только 100—150 тыс. снарядов в год, то в 1915 году производство достигло 950 тыс., а в 1916 году — уже 1 млн. 850 тыс. штук. К этому времени о дефиците снарядов стали уже забывать. Накануне февральской революции русская артиллерия располагала даже большим количеством боеприпасов, чем ей требовалось: по 3000 снарядов на каждое легкое орудие и по 3500 — на тяжелое*. Для ускорения производства Совещание по обороне в начале

* Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. С. 117—119. Как будет показано в следующей главе, существенную часть общего числа снарядов, имевшихся в России в 1916—1917 гг., составляли зарубежные поставки.

1916 года национализировало два крупнейших оборонных предприятия — Путиловский и Обуховский заводы в Петрограде, пришедшие в упадок из-за дурного руководства и стачек.

Из трех других Особых совещаний — по перевозкам, по продовольствию и по топливу — наиболее важным было первое. К его достижениям следует отнести наладку железнодорожного сообщения между Архангельском и Вологдой благодаря переделке узкоколейного пути на нормальный, что утроило объем перевозок из Архангельского порта военных грузов, доставляемых морем союзниками[111]. Это Совещание предприняло также прокладку железнодорожного пути в Мурманск.

Непосредственное значение Особых совещаний заключалось в их вкладе в военные усилия России, но они имели еще и крупный политический смысл. По словам историка Максима Ковалевского, они явились «совершенным новшеством»[112] — как первые в России учреждения, где гражданские лица заседали на равных бок о бок с правительственными чиновниками. Совещания много сделали для стирания последних следов патриархальности и отеческих отношений, все еще пронизывавших государственную структуру России и предполагавших, что управление империей есть исключительная прерогатива царских ставленников и сановников. Возможно, это была не столь радикальная мера, каковой стало бы дарование парламенту права министерских назначений. Однако в процессе конституционного развития страны она явилась едва ли менее значительной вехой.

Третьей организацией, созданной в то время для оказания содействия правительству в ведении войны, был Всероссийский союз земств и городов, известный как «Земгор». Правительство, в прошлом

запрещавшее всероссийские собрания органов самоуправления, теперь, наконец, смягчилось и в августе 1915 года позволило земствам и городским думам создать собственные союзы для оказания помощи инвалидам и беженцам. Как бы подчеркивая свою гуманитарную миссию, «Земский союз» избрал эмблемой красный крест. Председательство взял на себя князь Георгий Евгеньевич Львов, видный земский деятель, занимавшийся сходной работой еще в русско-японскую войну. Аналогичные права были признаны и за городскими думами. В ноябре 1915 года обе группы объединились в Земгор, который, привлекая к работе многие тысячи добровольцев и наемных служащих, помогал гражданскому населению переносить тяготы военного времени. Когда в глубь России хлынули потоки беженцев из прифронтовых областей (среди них и евреи, насильно согнанные с мест по подозрению в прогерманских симпатиях), именно Земгор взял на себя заботу о них. Среди чиновничества и офицерства эти штатские деятели получили презрительное прозвище «земгусары». И тем не менее, как и во многих других сферах деятельности, власти не имели собственных сил и им ничего не оставалось, как полагаться на штатские учреждения [113].

Помимо указанных квазинародных гражданских организаций, по всей России возникали разнообразные добровольческие учреждения, вроде потребительских и производственных кооперацией[114].

Так в разгар войны внутри официальной структуры того, что в начале войны представляло собой полупатриархальное, полуконституционное государство, стала обретать форму новая Россия: ее развитие можно сравнить с мощным ростом молодых побегов под сенью старого, загнивающего дерева. Участие гражданских представителей без чинов и званий бок о бок с обладателями высоких постов в работе правительственных учреждений и привлечение рабочих представителей к управлению производством — это были симптомы тихой, бархатной революции, тем более эффективной, что направлена она была на удовлетворение действительных нужд, а не утопических мечтаний. Консервативную бюрократию устрашало нарождение такого «второго», или теневого, правительства[115]. Но это же самое обстоятельство преисполнило уверенности оппозицию. Кадетские лидеры хвастливо уверяли, что смешанные и чисто гражданские учреждения, созданные в военное время, столь убедительно докажут свое превосходство над бюрократией, что, когда мир будет восстановлен, ничто не сможет предотвратить их прихода к управлению страной[116].

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПРИБЛИЖЕНИЕ КАТАСТРОФЫ

> Весь смысл прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца...
>
> *В.В.Шульгин*[1]

На второй год войны Россия сумела решить наиболее жгучие проблемы, войною перед ней поставленные. Благодаря деятельности Совещания по обороне в основном удалось покрыть дефицит артиллерийских снарядов и винтовок. На фронте, где, как казалось в конце лета 1915 года, вот-вот будет прорвана линия обороны, после решения германского верховного командования приостановить наступательные операции на востоке положение стабилизировалось. К концу лета 1916 года русская армия настолько оправилась, что вполне могла думать о собственном крупном наступлении. Но если на театре военных действий обстановка постепенно оздоровлялась, то в тылу наблюдались угрожающие симптомы болезни. И если в 1915 году дух недовольства витал главным образом в кругах образованной элиты, то теперь он распространился среди широких масс городского населения. Причины недовольства были в первую очередь экономического плана — а именно: возрастающий дефицит потребительских товаров, в особенности продовольственных, и денежная инфляция. Сочтя эти проблемы временными, правительство ничего не предпринимало для их решения.

Городское население России, которому ранее не приходилось сталкиваться с дефицитом товаров и ростом цен, с трудом осваивалось в новой ситуации. Как водится, во всех бедах стали обвинять правительство, что особенно охотно подхватила либерально и радикально настроенная интеллигенция. К октябрю 1916 года недовольство в городах достигло такого накала, что в донесениях департамента полиции сложившаяся ситуация ставилась в сравнение с ситуацией 1905 года и звучало предупреждение о вероятности новой революции.

В надежде избежать революционного взрыва Дума вновь стала оказывать давление на правительство, чтобы добиться права министерских назначений, что для доброй части депутатов превратилось уже почти в idee-fixe. Это требование, с таким упорством отвергаемое Николаем и Александрой, подлило масла в огонь, и в результате экономические претензии обрели политическое звучание. Внезапное соприкосновение беспокойных городских масс с мятежными гарнизонами и отчаявшимися политиками имело эффект короткого замыкания, запалившего пожар, в котором сгорел царский режим.

* * *

Хотя в сравнении с великими индустриальными державами Россия была страной бедной, но ее

денежная система пользовалась репутацией одной из самых твердых в мире. Российское казначейство при выпуске бумажных денежных знаков придерживалось строжайших правил. Первые 600 млн. рублевых банкнот должны были на 50% обеспечиваться золотым запасом, деньги же, выпускающиеся сверх этой суммы, должны были иметь стопроцентное золотое обеспечение. В феврале 1905 года в сейфах казначейства хранилось золотых слитков на сумму 1067 млн. рублей, и если учесть, что в обращении находилось 1250 млн. рублей, становится очевидным: каждый рубль был обеспечен золотом на 85%[2]. В канун войны русские банкноты обеспечивались золотом на 98%. В этот период Россия обладала крупнейшим в Европе золотым запасом[3].

Первая мировая война так расстроила финансовую систему России, что наладить ее уже не удалось.

Крутую инфляцию, наступившую на последних стадиях войны, можно объяснить отчасти обнищанием государства, отчасти несовершенством налоговой системы. Россия не могла выручить достаточных сумм, необходимых на покрытие военных расходов, ни с текущих доходов, ни с внутренних займов. Было подсчитано, что национальный доход на душу населения в 1913 году в Англии составлял 243$, во Франции — 185$, в Германии — 146, в России же — только 44$. И при этом расходы на военные нужды были такими же, как в Англии, и уступали лишь расходам Германии[4]. И все же правительство для покрытия военных расходов могло бы добиться большего путем установления прямых налогов, приложения больших усилий для распространения военных облигаций и поддержания государственных доходов на предвоенном уровне.

Теперь же весомую долю военного дефицита приходилось покрывать с помощью иностранных займов и бумажных денег.

Одной из причин снижения государственных доходов было введение в начале войны запрета на производство и продажу алкогольных напитков. Россия пошла на эту меру — первая страна в мире — в попытке побороть пьянство, в котором усматривались причины морального и физического вырождения нации. Запрет, однако, мало повлиял на уровень потребления спиртных напитков, поскольку закрытие государственных питейных заведений немедленно повлекло появление подпольных. Во время войны, помимо самодельной водки, большое распространение получила так называемая ханжа, изготовлявшаяся из забродившего хлеба с использованием промышленных очистителей. Но если алкоголизм не пошел на убыль, то доходы казны от налогов с винокуренного производства, составлявшие прежде четверть всего государственного дохода, резко сократились.

Потери по этой, как и по другим статьям доходов, например по таможенному ведомству, ощутимо отразились на общем объеме государственного дохода.

В годы войны «обыкновенные» доходы государственной казны России вполне покрывали «обыкновенные» бюджетные расходы, сюда, однако, не входили расходы, связанные с ведением военных действий. В 1915 году «обыкновенные» доходы составили сумму в 3 млрд. рублей, а «обыкновенные» расходы — 2,2 млрд.; в 1916 году они составили соответственно 4,3 и 2,8 млрд.[5] Но, конечно, львиная часть бюджета поглощалась военными расходами, и в сравнении с ними «обыкновенные» доходы мало что значили. Общий дефицит России в военное время достигал 30 млрд., половина из которых покрывалась внутренними и иностранными займами, а половина — за счет выпуска бумажных денег.

27 июля 1914 года правительство приостановило на время войны (как оказалось впоследствии, — навсегда) действие принципа обратимости бумажных дензнаков в золото, а также принципа золотого обеспечения при выпуске банкнот. Казначейство получило право выпускать денежные знаки по мере необходимости, независимо от наличия золота в запасниках. Немедленным следствием этого мероприятия было исчезновение из обращения металлических денег. В начале войны казначейство выпустило в виде банкнот 1,5 млрд. рублей, увеличив тем самым вдвое денежную массу. И такая процедура на протяжении войны повторялась несколько раз. К январю 1917 года количество имевшихся в обращении денег, согласно одним источникам, учетверилось, а по другим свидетельствам, — увеличилось в пять, а то и в шесть раз*. Соответственно уменьшалась и доля золотого обеспечения с 98% (июль 1914 года) до 51,4% (январь 1915), 28,7% (январь 1916) и 16,2% (январь 1917)[6]. Такое снижение повлияло и на обменный курс российской валюты за границей: в Стокгольме в период с июля 1914 года по январь 1916 года цена рубля упала на 44%, и этот уровень продержался до лета 1917 года**.

* Claus R. Die Kriegswirtschaft Russlands. Bonn; Leipzig, 1922. S.15; в книге А.Л.Сидорова «Финансовое положение России в годы первой мировой войны, 1914—1917 гг.» (М., 1960. С. 147) приводятся еще более высокие соотношения.

** Claus. Die Kriegswirtschaft. P. 156—157. Подобное снижение стоимости рубля наблюдалось и на Лондонской валютной бирже (см.: Diesen E. Exchange Rates of the World. Christiania, n. d. P. 144).

Таким образом за два с половиной года объем бумажных денег, находящихся в обращении, претерпел в России чуть ли не шестисотпроцентное увеличение, и этот показатель нужно сопоставить со стопроцентным увеличением денежной массы во Франции, двухсотпроцентным в Германии и вовсе нулевым в Великобритании за весь четырехлетний период военных действий[7]. Россия выпустила бумажных денег больше всех других воюющих стран и вследствие этого испытала наибольшую инфляцию.

Теоретически продажа облигаций внутреннего займа должна была покрывать чуть больше четверти военного дефицита России. Эта сумма, исчислявшаяся в октябре 1916 года 8 млрд. рублей[8], была в некотором смысле фиктивной, ибо ни население, ни банки не проявляли большой охоты к приобретению облигаций русских военных займов. Правительство всячески увещевало банки, но все равно облигации реализовывались плохо. По оценке германских экспертов, облигации на сумму в 3 млрд., выпущенные в октябре 1916 года, принесли лишь 150 млн. рублей выручки[9]. Следовательно, дефицит был даже больше, чем указывала официальная статистика.

Подавляющая доля иностранных займов, полученных в ходе войны на общую сумму от 6 до 8 млрд., была предоставлена Англией, помогавшей финансировать закупки военного снаряжения как у себя, так и в Соединенных Штатах Америки и Японии.

Немедленного действия инфляция в России не возымела благодаря тому, что приостановка экспорта с начала войны сохраняла на первых порах товары для внутреннего рынка в объеме, отвечающем и даже превосходящем спрос. Инфляция дала себя знать на следующий год и стала еще более нарастать, когда владельцы товаров, в особенности продовольственных, начали изымать их с рынка в ожидании повышения цен.

Приводимая нами далее таблица наглядно демонстрирует зависимость роста цен от выпуска бумажных денег в России в период войны*:

* Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны, 1914—1917 гг. М., 1960. С. 147. Из суммы на первую половину 1914 года 1633 млн. рублей были в бумажных дензнаках, остальные — в разменной монете.

Период	**Объем денежной массы, находившейся в обращении (млн руб.)**	**Рост объема денежной массы (%, июнь 1914 — 100%)**	**Рост цен (%)**	**Соотношение цен к денежной массе**
1914: пер. полов.	2370	100	100	0,00
1914: втор, полов.	2520	106	101	—1,05
1915: пер. полов.	3472	146	115	—1,27
1915: втор, полов.	4725	199	141	—1,41
1916: пер. полов.	6157	259	238	—1,08
1916: втор, полов.	7972	336	398	+1,18

Инфляция не только не вредила, но, скорее, даже шла на пользу сельскому населению России, ибо в руках крестьянина был самый ценный товар — продовольствие. Описания сельской жизни в 1915—1916 годах дружно свидетельствуют о необыкновенном благоденствии деревни. Под военные знамена ушли миллионы мужчин, благодаря чему снялась напряженность земельного вопроса и в то же время возросла ценность сельскохозяйственного труда. Призванные в армию крестьяне состояли теперь на государственном обеспечении. Правда, мобилизация вызвала нехватку сезонных рабочих, и использование с этой целью военнопленных и беженцев из прифронтовых районов могло лишь частично покрыть образовавшийся дефицит. Но крестьянам удавалось справляться с возникающими затруднениями, отчасти за счет сокращения площади обрабатываемой земли. Мужики просто купались в деньгах, текших к ним из самых разных источников: от повышения цен на продукты сельского хозяйства, от правительственных компенсаций за реквизированный скот и лошадей, от пенсий, установленных солдатским семьям. Закрытие питейных заведений тоже способствовало сбережению денег. Крестьяне копили эти «бешеные деньги», как их стали называть, либо помещая в государственные сберегательные кассы, либо просто в кубышке. Но и при все том еще хватало денег на барские утехи, вроде «какавы», «шоколата» и даже граммофонов, к которым пристрастились крестьянские нувориши. Наиболее рачительные крестьяне использовали излишки денег на приобретение земли и скота: согласно статистике за 1916 год, крестьяне владели 89,2% обрабатываемой (пахотной) земли в европейской части России[10].

Современники были поражены благоденствием деревни на второй год войны: война, как говорили, покончила с «китайской недвижностью деревни» [11]. А департамент полиции — свидетельство которого, по видимости, наиболее авторитетно, — все более обеспокоенный положением в городах, наоборот, о деревне осенью 1916 года сообщал, что там наблюдается «довольство населения» и «спокойное или, скорее, безразличное отношение почти ко всему тому, что так тревожит городское население»[12]. И отдельные случаи насилия, время от времени наблюдавшиеся в деревне, были направлены не против правительства и помещиков, а против владельцев «отрубов» и «хуторов», то есть против своих же собратьев-крестьян, которые, воспользовавшись законодательством Столыпина, вышли из общины[13].

Вся тяжесть инфляции и нехватки продуктов ложилась исключительно на плечи городского населения, значительно разросшегося за счет наплыва промышленных рабочих, беженцев и расквартирования войск. В период с 1914-го по 1916 год население в городах возросло с 22 до 28 млн.[14]. Дополнительные шесть миллионов увеличили тот слой городских жителей, который составляли крестьяне, поселившиеся в городах еще до войны. Как и их предшественников, их трудно было назвать горожанами в строгом смысле слова, скорее, это были все те же мужики, которым довелось жить в городе: мужики в

шинелях, ожидающие отправки на фронт, мужики, занявшие места призванных в армию рабочих на заводах и фабриках, мужики, приехавшие в города торговать. Их корни оставались по-прежнему в деревне, куда они готовы были вернуться в любой момент, как это и случилось в действительности после большевистского переворота.

Тяготы инфляции, которые горожане впервые ощутили на себе осенью 1915 года, с течением времени все возрастали и к осени следующего года достигли высшей точки. Инфляция ударила по всем слоям городского населения: и по промышленным рабочим, и по конторским служащим, и в какие-то моменты даже по низшему чиновничеству и полицейским. Хотя подобную ситуацию трудно описать с математической точностью, все говорит о том, что в течение 1916 года рост цен значительно опередил рост заработной платы. Сами рабочие полагали, что если их жалованье удвоилось, то цены в это же время учетверились. В октябре 1916 года департамент полиции установил, что за предшествующие два года заработная плата увеличилась в среднем на 100%, тогда как цены на самые насущные товары возросли на 300%[15]. Инфляция для горожан означала то, что многим из них стали недоступны даже те товары, которые имелись в продаже. А самих товаров становилось все меньше, главным образом из-за транспортных неурядиц. Ведь богатейшие российские житницы и запасы топлива (нефти и угля) располагались на юге, юго-востоке и востоке страны, на значительном расстоянии от промышленных регионов севера. В предвоенные годы экономически более целесообразно было доставлять уголь в Петербург из Англии, нежели из Донецка. Когда в начале войны морской путь через Балтику для союзнического флота оказался закрыт, русская столица мгновенно ощутила топливный кризис. Снабжение продовольствием осложнялось двумя дополнительными обстоятельствами: нежеланием крестьян вывозить на рынок свой товар и нехваткой рабочих рук для возделывания частновладельческих угодий, в мирное время вносивших ощутимый вклад в поставку зерна на рынок. В 1916 году, когда хлебородные регионы утопали в зерне, на севере испытывали голод: здесь уже в феврале 1916 года было привычным наблюдать «длинные очереди бедноты, часами простаивающие на холоде перед хлебными лавками»[16].

А.Н.Хвостов, вскоре назначенный на пост министра внутренних дел, уже в октябре 1915 года предупреждал о надвигающемся топливном и продовольственном кризисе в центральных и северных регионах России. Петроград, по его мнению, был особенно уязвим: вместо 450 железнодорожных вагонов, необходимых ежедневно для удовлетворения потребностей города, в указанный месяц выделялось в среднем по 116[17]. В течение 1916 года положение на транспорте все более ухудшалось, так как подвижной состав из-за постоянных перегрузок и небрежного обращения выходил из строя. Поставленная из Соединенных Штатов железнодорожная техника лежала мертвым грузом в Архангельске и Владивостоке, и переправить ее в глубь страны не представлялось возможным.

Люди глухо роптали, но подняться на открытый бунт были еще не готовы, с присущим им смирением перенося тяготы и лишения. На возмутителей спокойствия отрезвляюще действовала угроза быть отправленными на фронт.

* * *

Возрождение русской армии, наблюдавшееся в 1916 году, поразило всех, включая даже союзников России, так или иначе поставивших крест на военном сотрудничестве с ней. В большой степени русская армия воспряла благодаря усилиям Поливанова и его сподвижников, направленным на установление взаимодействия Думы с российскими деловыми кругами. Армейские штабы теперь пополнялись способными офицерами, извлекшими полезные уроки из кампаний 1914-го и 1915 годов. Поток военных поставок с Запада, хлынувший с середины 1915 года, существенно изменил положение: в зиму 1915/1916 годов Россия получила от союзников более миллиона винтовок — количество, равное годовой продукции ее собственных заводов[18]. Были обеспечены и соразмерные потребностям поставки артиллерийских снарядов. С тех пор как пост военного министра занял Поливанов, Россия стала размещать за границей заказы на артиллерийское снаряжение: в 1915—1916 годах Россия получила с Запада более 9 млн. 76-миллиметровых снарядов, а также 1,7 млн. снарядов среднего калибра, при том что в самой России за это время произвели соответственно 28,5 и 5,1 млн. штук. Из 26 тыс. пулеметов, имевшихся на вооружении армии в 1915—1916 годах, 11 тыс. были иностранного происхождения, в основном из Соединенных Штатов[19].

В начале 1916 года союзники стали готовить наступление на Сомме, начало которого планировалось на 25 июня. С русским Генеральным штабом было оговорено, что десятью днями ранее, то есть 2 (15) июня, русские войска перейдут в наступление в Галиции — этой операцией, как предполагалось, будет покончено с австрийской армией. Командование четырьмя армиями, которым предстояло участвовать в этом наступлении, было поручено генералу А.Брусилову:

«Подготовка, предпринятая брусиловским штабом, была чем-то совершенно невиданным прежде на Восточном фронте. Передовые окопы были выдвинуты вперед на расстояние пятидесяти шагов от позиции противника — и это более или менее по всему фронту. Для резервных частей были выкопаны гигантские котлованы, часто снабженные земляным валом, достаточно высоким, чтобы не дать возможности неприятельским артиллеристам видеть, что происходит в русском тылу. Были сооружены точные образцы австрийских траншей, и войска упражнялись в них; было отдано должное фотосъемке с воздуха, и были отмечены позиции каждой австрийской батареи»[20].

В ответ на просьбы итальянцев, которых австрийцы сильно потеснили под Трентино, начало русской операции было передвинуто на более ранний срок — 22 мая (4 июня). Операция началась с интенсивного, продолжавшегося целый день артиллерийского обстрела, вслед за чем русские атаковали австрийские позиции под Лембергом (Львовом). Наступление постепенно развернулось по фронту протяженностью 300 км от Пинска до румынской границы. Австрийцы были застигнуты врасплох: не веря в способность русских перейти в наступление, они оголили фронт, перебрасывая подкрепление частям, ведущим бои с итальянцами. Русские взяли в плен 300 тыс. человек, а убитыми и ранеными австрийцы потеряли, по-видимому, в два раза больше. Австро-Венгрия оказалась на грани полного разгрома, от которого ее вновь спасла Германия, сняв для оказания помощи австрийцам 15 дивизий с Западного фронта.

Русское наступление длилось десять недель и наконец истощилось. Оно не принесло ни крупных территориальных завоеваний, ни существенных изменений в стратегическом положении на Восточном фронте, но нанесло невосполнимый моральный урон австрийской армии, которая уже не была способна на самостоятельные действия и требовала постоянной поддержки германских сил. Наступление 1916 года знаменовало зарождение в русской армии нового духа, который принесли с собой стратегически мыслящие и технически образованные офицеры, пришедшие на смену командирам, обязанным своим назначением лишь выслуге лет и связям в высоких сферах.

* * *

Отбыв в Ставку, царь потерял непосредственную связь с политической жизнью в столице. О положении вещей он по большей части узнавал от супруги, которая, впрочем, не слишком тонко разбиралась в политике и, кроме того, преследовала собственные интересы, постоянно уверяя Николая, что все идет хорошо. Он имел слабое представление о растущем недовольстве в городах и обострении экономических проблем. И все же сердце его было не на месте, и хотя внешне он не выказывал волнения, спокойствие его было обманчивым. В ноябре 1916 года французскому послу стало известно, что царя мучает бессонница и он то испытывает подавленность, то впадает в беспокойство, а жена присылает ему успокоительные средства, приготовленные другом Распутина тибетским врачевателем П.А.Бадмаевым и содержащие, по всей видимости, гашиш[21].

Отсутствие в столице царя наделяло немалой властью Александру, которая полагала себя гораздо более способной противостоять мятежной оппозиции. Она писала ему ободряющие письма: «Не беспокойся о том, что остается позади. Необходимо быть строгим и прекратить все сразу. Дружок, я здесь, не смейся над своей глупой, старой женушкой, но на мне надеты невидимые «брюки», и я смогу заставить старика быть энергичным. Говори мне, что делать, пользуйся мной, если я могу быть полезной. В такие времена Господь мне подает силу, потому что наши души борются за правое дело против зла. Это все гораздо глубже, чем кажется на глаз. Мы, которым дано видеть все с другой стороны, видим, в чем состоит и что означает эта борьба. Ты, наконец, показываешь себя государем, настоящим самодержцем, без которого Россия не может существовать! Если бы ты пошел на уступки в этих разнообразных вопросах, они бы еще больше вытянули из тебя. Единственное спасение в твоей твердости. Я знаю, чего тебе это стоит, и ужасно за тебя страдаю. Прости меня, — умоляю, мой Ангел, — что не оставляла тебя в покое и приставала к тебе так много! Но я слишком хорошо знала твой исключительно мягкий характер, и тебе пришлось преодолеть его на этот раз и победить, одному против всех. Это будет славная страница твоего царствования и истории России — вся история этих недель и дней. Бог, который справедлив и около тебя, спасет твою страну и престол через твою твердость»*.

* Pares B. Letters of the Tsaritsa to the Tsar, 1914-1916. Lnd, 1923. P. 114. (См. также перевод: Переписка Николая и Александры Романовых, 1916 год. М.; Л., 1926. Т. 3. С. 252.) Под «стариком» в письме подразумевается Горемыкин.

В последние полтора года существования монархии императрице не раз доводилось давать указания, кому быть и кому не быть министром и как правильно проводить внутреннюю политику. Говорят, она с гордостью замечала, что стала первой после Екатерины женщиной в России, к которой приходят на прием министры, — эту идею заронил в ее ум, по-видимому, Распутин, любивший сравнивать ее с Екатериной II[22]. И именно в этот период Распутин получил возможность оказывать ощутимое влияние в политической жизни. Он ежедневно связывался с императрицей по телефону, часто посещал ее и, кроме того, косвенно сообщался с нею через ее ближайшую подругу Анну Вырубову. И так вдвоем, «взявшись за руки», императрица и ее друг вели Россию к пропасти, упрямо отказываясь признавать политические и экономические реальности и слепо отстаивая принципы самодержавия.

Слабо разбираясь в политике и экономике, императрица все свое внимание сосредоточила на личных качествах людей, призванных играть в этих сферах ведущую роль. На ее взгляд, поставить на ключевое место человека, доказавшего свою преданность царскому дому, — вернейшее средство спасения государства и трона, между которыми она не видела особого различия. С ее подачи царь проводил перетасовки высших сановников, выдвигая, как правило, людей несведущих, единственной добродетелью которых была личная преданность ему самому и его супруге. Эта, как ее прозвали, «министерская чехарда» не только удаляла от власти людей талантливых, но и дезорганизовывала весь бюрократический аппарат, не оставляя

должностным лицам времени как следует вникнуть в дело и углубленно заняться своими непосредственными обязанностями.

О последовавшей в сентябре 1915 года отставке трех министров, особенно решительно выступивших против воли царя возглавить командование, мы уже говорили. В январе 1916 года был выведен в отставку Горемыкин. Этот шаг, однако, вовсе не свидетельствовал о признании справедливости почти всеобщего ропота недовольства премьер-министром, раздававшегося и со стороны бюрократии, и со стороны Думы, и, скорее, был предпринят царем из опасения, что он не сможет совладать с Думой, которой предстояло в феврале на короткий срок возобновить заседания. К этому времени Горемыкин был уже не просто человеком преклонного возраста — ему было семьдесят семь лет, — но и, судя по его показаниям, данным Чрезвычайной следственной комиссии на следующий год, мягко говоря, недееспособным. Обеспокоенный поведением Думы, Николай хотел, чтобы во главе Совета министров встал более компетентный политик и сильный человек. Горемыкин же стремился свести работу Думы к обсуждению лишь чисто бюджетных вопросов — цель, казавшаяся царю нереальной[23]. Теперь Горемыкина на посту председателя Совета министров сменил Б.В.Штюрмер, шестидесятивосьмилетний сановник, в чьем послужном списке было и губернаторство, и членство в Государственном совете. Хотя Николай и питал надежду, что Штюрмеру удастся поладить с Думой, этого не произошло. Штюрмер, закоренелый монархист, весьма близкий Плеве, более всего прославился грубым обращением с тверским земством. Был он также известен своим раболепием и мздоимством. Назначение на высшую руководящую должность человека, носящего немецкую фамилию, во времена, когда столь сильны были антигерманские настроения, свидетельствовало о слепоте двора, его невосприимчивости к окружающему. Но важнее оказалось то, что Штюрмер был близок и предан Распутину.

Мало кто сожалел об уходе Горемыкина, однако отставки, последовавшие за этим, уже не вызывали восторга. 13 марта 1916 года отставку получил Поливанов. Блестящие успехи в деле восстановления боеспособности русской армии не спасли его: политически он был для Николая неприемлем. В письме, содержащем приказ об отставке, царь в качестве причины ее указывал Поливанову на «недостаточно властное» руководство деятельностью военно-промышленных комитетов[24]. Это была вежливая форма выражения недовольства тесными контактами между Поливановым и Гучковым, председателем вышеупомянутых комитетов, и связями через него с деловыми кругами. Власти особенно раздосадованы были тем обстоятельством, что Гучков пригласил к участию в работе Центрального военно-промышленного комитета рабочих представителей, и А.Д.Протопопов, министр внутренних дел, говорил полковнику Ноксу, что комитет — это «опасное общество синдикалистов»[25]. Такая награда ждала человека, которого не кто иной как сам Гинденбург считал спасителем русской армии*. Поливанова заменил — вновь по настоянию Распутина — скромный, но малопригодный для этой роли генерал Д.С.Шуваев. Специалист по военной обуви, он не имел ни боевого опыта, ни опыта командования. («О нем говорят, — свидетельствует современник, — что он все вопросы неизменно сводил к сапогам»[26].) Но у него было то неоспоримое преимущество, что он не был замешан ни в каких политических играх. И, конечно, он тоже был беззаветно предан царскому дому и считался истинным «другом» царской четы. Однажды он заявил полковнику Ноксу, что, если бы царь приказал ему выпрыгнуть из окна, он с наслаждением сделал бы это[27]. Однако в его непосредственные обязанности такие кульбиты не входили, и вскоре новоявленный министр буквально потонул в делах, справиться с которыми был не в силах. Он ничуть не обольщался на свой счет. И когда пошли разговоры об «измене в верхах», с негодованием ответил: «Я, быть может, дурак, но я не изменник», — это словцо подхватил Милюков, развив его в речи, произнесенной в Думе 1 ноября 1916 года.

* Pares. Letters. P. XXXIII. После отставки Поливанов был назначен членом Государственного совета. В 1918 — 1919 годах он помогал Троцкому в организации Красной Армии. Скончался в 1920 году, будучи консультантом советской делегации на мирных переговорах с Польшей в Риге.

Следующей шла очередь министра иностранных дел. Внешним поводом отставки Сазонова послужила его позиция по вопросу о польской автономии, действительной же причиной была связь с оппозиционными кругами. В Лондоне и Париже, где Сазонов пользовался доверием союзников, его отставка произвела тяжелое впечатление. Портфель министра иностранных дел перешел к Штюрмеру, который уже занимал посты председателя Совета министров и министра внутренних дел — весьма тяжкое бремя для одного человека.

Совет министров, лишившись в лице Столыпина решительного руководителя, заметно ослабел и вернулся к своему прежнему состоянию, привычному до 1905 года, когда он представлял собой скорее собрание отдельных политических деятелей, чем единый, сплоченный орган. Совет собирался все реже, потому что все меньше вопросов ему приходилось теперь решать[28].

Дезорганизация управленческого механизма не ограничивалась министерским уровнем. Вошли в обыкновение и частые смены губернаторов. В 1914 году было назначено 12 новых губернаторов. В 1915-м эта цифра возросла до 33. Только за девять месяцев 1916 года было сделано 43 губернаторских назначения, а это означало, что менее чем за год сменилось руководство большинства российских губерний[29].

Описывая сложившуюся ситуацию, уместно вспомнить остроту министра юстиции И.Г.Щегловитова, который в 1915 году так выразился о правительстве: «Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя

борются с эпилептиками революции»[30].

И действительно, в воздухе остро запахло революцией. Этот мятежный дух питали два настроения: недовольство правительством за его неспособность справиться с экономическими проблемами и некоторое новое чувство враждебности к крестьянству со стороны городского населения. Война вызвала трения между городом и деревней, которых Россия прежде не знала. Горожане видели в мужиках скопидомов и спекулянтов: уже в июне 1916 года Альфред Нокс предупреждал, что «городское население может зимой причинить беспокойство»[31].

В течение лета и осени 1916 года в департамент полиции непрерывным потоком стекались тревожные донесения из провинции. Все их авторы почти в один голос сообщали о том, что инфляция и нехватка продуктов в городах вызвали рост недовольства и дали пищу для диких слухов. Когда рабочие, отработав долгий день на заводе или фабрике, идут в лавки за покупками, они находят там лишь пустые полки. И стачки, которые случались теперь все чаще, были, по сути, однодневными забастовками, дающими возможность рабочим сделать покупки. Департамент полиции отрицал какие-либо политические мотивы в этих беспорядках чисто экономического характера, уверенный в случайном их происхождении, а также в том, что профессиональные революционеры, большинство из которых находились в тюрьмах, сибирской ссылке или за границей, не имели влияния на массы.

Но он предостерегал, что экономические беспорядки могут легко принять политические формы.

В полицейском донесении министерству внутренних дел от октября 1916 года следующим образом описывается сложившаяся обстановка: «Необходимо признать безусловным и неоспоримым, что внутренний уклад русской государственной жизни в данный момент находится под сильнейшей угрозой неуклонно надвигающихся тяжелых потрясений, вызываемых и объясняемых исключительно лишь экономическими мотивами: голодом, неравномерным распределением пищевых припасов и предметов первой необходимости и чудовищно прогрессирующей дороговизной. Вопросы питания в самых широких кругах населения огромной империи являются единственным и страшным побудительным импульсом, толкающим эти массы на постепенное приобщение к нарастающему движению недовольства и озлобления. В данном случае имеются определенные и точные данные, позволяющие категорически утверждать, что пока все это движение имеет строго экономическую подкладку и не связано почти ни с какими чисто политическими программами. Но стоит только этому движению вылиться в какую-либо реальную форму и выразиться в каком-либо определенном акте (погром, крупная забастовка, массовое столкновение низов населения с полицией и т.п.), оно тотчас же и безусловно станет чисто политическим»[32].

Осенью 1916 года шеф петроградского корпуса жандармов докладывал: «Исключительная серьезность переживаемого страною исторического момента и те неисчислимые катастрофические бедствия, коими могут угрожать всему жизненному укладу государства возможные, в близком будущем, бунтарские выступления озлобленных тяготами повседневного существования низов населения империи, по убежденным мнениям лояльных элементов, — властным образом диктуют крайнюю необходимость спешных и исчерпывающих мер к устранению создавшейся неурядицы и разрежению излишне сгустившейся атмосферы общественного недовольства. Половинчатость в решениях и какие-либо полумеры случайного характера, как показал опыт последнего времени, при настоящих условиях совершенно неуместны»[33].

Особенно беспокоили службу безопасности признаки того, что народное недовольство все чаще выражается в ненависти к престолу. Шеф полиции Петрограда докладывал в конце сентября 1916 года, что в столице оппозиционные настроения масс достигли такого накала, какого не наблюдалось с 1905—1906 годов. Другой высокопоставленный полицейский чиновник отмечал, что впервые в его практике народный гнев направлен не на одних лишь министров, но и на самого государя императора[34].

Одним словом, по мнению хорошо информированных и наиболее лояльных наблюдателей, Россия в октябре 1916 года оказалась в ситуации, которая на языке радикалов классифицировалась как «революционная». И об этом нельзя забывать, оценивая утверждения монархистских политиков и историков о том, что февральская революция, разразившаяся несколько месяцев спустя, была делом рук либералов и неких инородных сил. Современные источники указывают, что беспорядки, вспыхнувшие в феврале, были явлением вполне самородным.

Когда в тылу все кипело, настроение в войсках на передовой оставалось вполне удовлетворительным, во всяком случае внешне. Армия собралась с силами и окрепла. К такому выводу пришли два иностранных наблюдателя, хорошо знакомых с обстановкой по личным наблюдениям. Альфред Нокс говорил, что еще в январе — феврале 1917 года «армия была крепка духом», а Бернард Парес в тон ему заявлял: «Фронт был здоров, тыл же прогнил»[35]. Но и в войсках неуклонно шла разрушительная работа. Массовый характер приобрело дезертирство: вел. кн. Сергей Михайлович, возглавлявший Главное артиллерийское управление, в начале января 1917 года подсчитал, что около миллиона или более того солдат сняли шинели и вернулись домой[36]. Стала хромать и военная дисциплина. К 1916 году большинство профессиональных офицеров погибли или залечивали раны, причем особенно тяжкие потери понесли ряды младших офицеров, первыми встречавших и деливших с войсками все тяготы войны. Их сменили скороспелые офицеры-новобранцы, многие из мещан, за которыми закрепилась слава «задавак» и к которым солдаты, особенно ветераны войны, относились с презрением. Были случаи, когда офицеры отказывались вести своих солдат в атаку из опасения быть убитыми выстрелом в спину[37]. В 1916 году призыв проводился среди самой старшей возрастной

группы резервистов народного ополчения, которые уже давно числили себя не подлежащими службе и отбывали повинность крайне неохотно.

Другим поводом для беспокойства служили распространявшиеся в окопах и тылу слухи. В солдатских письмах домой и из дома в конце 1916 года военные цензоры встречали самые зловещие истории о царе и царице. О циркулирующих на фронте совершенно нелепых слухах, будто солдатских жен выселяют и вышвыривают на улицу или будто немцы подкупили министров за миллиард рублей и так далее, говорилось и в полицейских донесениях[38].

Конечно, все это будоражило восьмимиллионную солдатскую массу на фронте, но гораздо пагубнее воздействовало на те 2—3 млн. резервистов и новобранцев, которые находились в тылу. Живущие в переполненных казармах в тесном соседстве со все более недовольным гражданским населением, они представляли собой крайне ненадежный элемент. В одном Петрограде и пригородах их было 340 тыс. — внушительная масса раздраженных, вспыльчивых и к тому же вооруженных людей.

* * *

Власти сознавали социальную опасность, которой чреваты инфляция и нехватка продовольствия, но не знали способа решения этих проблем, вокруг которых велось множество разговоров и изводились тонны бумаги, но никаких действенных мер не предпринималось.

Как уже отмечалось, землевладельцы, оказавшись без работников, не могли исполнять свою традиционную роль поставщиков продовольственных товаров для города. Крестьяне имели излишки, но не желали ими поступаться, потому что не знали, куда употребить скопившиеся на руках деньги, — ведь промышленных товаров было решительно не достать. В 1916 году ходили слухи, что цены на зерно взлетят на недосягаемую высоту: от двух с половиной рублей за пуд до 25 рублей и выше. Естественно, крестьяне предпочитали делать запасы.

В правительстве обсуждалась проблема установления твердых цен на зерно, принудительного изъятия и даже национализации зерна и связанных с его производством и перевозкой сфер земледелия и транспорта[39]. В сентябре управляющий министерством внутренних дел А.Д.Протопопов предпринял шаги к тому, чтобы взять под юрисдикцию своего ведомства сферу продовольственного снабжения на том основании, что эта проблема получила политическое звучание и затрагивает область внутренней безопасности страны. Планировалось также гарантировать обеспечение продовольствием рабочих, в особенности занятых на военном производстве. Но из этих благих намерений ничего не вышло. Протопопов, промышленник и поклонник принципа «laissez-faire»*, противник реквизиций и других форм ограничения, предпочитал пустить дела на самотек. Вместо того чтобы организовать снабжение городов продуктами, он убедил министра земледелия А.А.Бобринского сдержать пыл своих губернских служащих, занятых закупкой зерна у крестьян.

* Невмешательство *(фр.)*.

Оставалась еще возможность позволить общественным организациям заниматься сбором и распределением товаров. Не однажды городские думы предлагали взять решение этой задачи на себя, но всякий раз их предложения отклоняли. Неспособное само справиться с трудностями, правительство все же опасалось поручить это дело выборным органам[40].

В результате к концу 1916 года положение с продовольствием и топливом в крупнейших городах России стало критическим. К этому времени Москва и Петроград получали лишь треть необходимого продовольствия и стояли на пороге голода — припасов оставалось в лучшем случае на несколько дней[41]. Нехватка топлива усугубляла трудности: Петроград получал лишь половину необходимого количества, а это означало, что даже когда пекарни и получали муку, то выпекать хлеб все равно не могли. Обращение Петроградской думы к правительству с просьбой позволить организовать распределение продуктов было вновь отклонено[42]. Чтобы избежать взрыва народного гнева, Штюрмер строил планы эвакуации из Петрограда 60—80 тыс. солдат, а также 20 тыс. беженцев, но, как и с иными благими начинаниями царского правительства в последние дни его существования, из этого ничего не вышло.

Петроград, из-за удаленности от производительных регионов страдавший больше других городов, встречал зиму 1916/ 1917 годов в отчаяннейшем положении. В городе все чаще прекращали работу фабрики — либо из-за отсутствия топлива, либо вынужденные предоставить своим рабочим возможность отправиться за продуктами в деревню.

* * *

Либеральные и консервативные круги крайне беспокоило такое развитие событий, несущее в себе угрозу революции, угрозу, которую они отчаянно пытались отвести. Виновными они считали царскую чету, и прежде всего Александру Федоровну. Впервые во все времена либералы и монархисты объединились в оппозицию к царскому двору. К концу 1916 года оппозиционные настроения охватили и высшие военные круги, и высшую бюрократию, и даже великих князей, которые решили, как говорилось, «спасти монархию от монарха». Россия еще не знала такого единения, а двор — такой изоляции. И революция 1917 года стала

неизбежной, коль скоро даже высшие слои русского общества, которым более других было что терять, стали действовать революционными методами.

Конечно, мотивы были различны. Консерваторы, включая правых политиков, великих князей, сановников и генералов, выступили против двора, боясь, что царь приведет Россию либо к поражению, либо к позорному сепаратному миру. Либералов беспокоили мятежные выступления, которые дали бы возможность социалистам подстрекать массы. Прогрессивный блок, возродившийся в конце 1916 года, расширялся во всех направлениях — и вправо, и влево, пока не охватил почти весь спектр политической жизни, включая большинство правительственных чиновников. В начале февраля 1917 года в меморандуме, адресованном английской делегации, Струве писал: «Старый клич «борьба с бюрократией» потерял свое значение. В нынешнем конфликте все лучшие представители бюрократии на стороне народа»[43].

Нестихающие толки о том, что монархия ведет секретные переговоры о сепаратном мире, осложняли положение высшего общества. Слухи эти были не совсем безосновательны, ибо немцы и австрийцы действительно прощупывали почву в Петрограде. Одна из таких попыток была предпринята через брата императрицы Александры Федоровны герцога Эрнеста Людвига Гессенского[44]. Протопопов во время пребывания в Швеции встречался с немецким бизнесменом. Но эти и подобные попытки не находили никакого отклика с русской стороны. Ни в русских, ни в зарубежных архивах после революции не обнаружено каких-либо свидетельств, что царское правительство стремилось к сепаратному миру или хотя бы обдумывало такую возможность[45]. Николай и его супруга были полны решимости вести войну до конца, невзирая на внутренние обстоятельства. Однако эти слухи нанесли монархии невосполнимый урон, отдалив от нее ее естественных защитников в лице консерваторов и националистов, настроенных непримиримо антигермански.

Но еще вредоноснее оказались слухи о предательских интригах, которые плетут императрица и Распутин. Под этим тоже нет никаких оснований. Каких бы грехов ни совершала Александра Федоровна, она была глубоко предана своей ставшей ей новой родиной стране, ярким свидетельством чему явилось ее поведение после революции, когда на карту была поставлена ее жизнь. Но на нее, немку по происхождению, смотрели как на враждебного инородца. Еще более ее репутацию пятнали связи Распутина с сомнительными личностями петербургского полусвета, многие из которых подозревались в связях с немцами. Беда в том, что было не так уж важно, замешаны ли императрица и Распутин в прямой измене, — на взгляд патриотов, всем своим поведением они оказали врагу такую неоценимую услугу, какую не смогли бы оказать, даже будучи настоящими агентами.

Либеральная оппозиция оказалась в ситуации, из которой не знали, как выйти. Кадеты не хуже полиции были осведомлены о накопившемся в народе недовольстве и опасались, что без быстрых и решительных действий с ситуацией не совладать. Им было известно и о том, что массы, как явствовало из донесений полиции, теряют доверие к Думе, не видя с ее стороны энергичных действий[46]. В этих обстоятельствах кадеты решили, что сохранить престиж и не уступить радикалам они смогут, только бросив вызов правительству. Некоторые кадетские деятели полагали, что если России и посчастливится завершить войну без революции, то ее все равно не избежать после наступления мира, которое будет сопровождаться массовой безработицей и захватом крестьянами земель[47]. Поэтому сейчас жизненно необходимо было предпринять шаги смелые, даже революционные. И все же слишком жесткое давление на правительство могло окончательно сокрушить остатки административного аппарата и вызвать ту самую анархию, которую либералы и стремились предотвратить. Значит, предстояло выполнить в высшей степени деликатную задачу: давление на правящие круги должно было быть достаточно мощным, чтобы снискать расположение масс и вынудить правительство уступить свою власть, но при этом действовать следовало крайне осторожно, чтобы не смять всю государственную структуру.

Неожиданно монархия сама как будто облегчала эту задачу, назначив в середине сентября А.Д.Протопопова на пост министра внутренних дел*. Это назначение подавало повод для самых невероятных упований. Неординарность назначения Протопопова состояла в том, что второй по важности пост в государстве был вручен человеку, не имеющему ни чина, ни чиновничьего опыта. Он, правда, не был первым частным лицом, назначенным на министерский пост, — до него в июле 1916 года портфель министра земледелия получил А.А.Бобринский, — но беспрецедентным было то, что человеку без чина вручалось управление административным механизмом государства. Это было отчаянной попыткой двора найти компромисс, шагом навстречу требованиям Думы осуществлять контроль над кабинетом министров, ибо Протопопов, богатый помещик и владелец суконного дела, октябрист и член Прогрессивного блока, был не просто депутатом Думы, но и товарищем председателя. Родзянко и Гучков, как и другие думцы, имели о нем весьма высокое мнение[48]. В этих обстоятельствах назначение Протопопова не без оснований воспринималось как уступка Прогрессивному блоку — первое из ряда министерских назначений, которые должны были привести к созданию кабинета, пользующегося доверием Думы. Именно так расценил шаг царя А.И.Коновалов, член Прогрессивного блока. На частном собрании кадетов и солидарных с ними политиков в начале октября он охарактеризовал назначение Протопопова как полную «капитуляцию» режима: «Капитулируя перед обществом, власть сделала колоссальный, неожиданный скачок. Самое большое, на что можно было рассчитывать, это на назначение какого-нибудь либеральничающего бюрократа. И вдруг — октябрист Протопопов, по существу чуждый бюрократическому миру. Для власти это была капитуляция, почти равносильная акту 17 октября. После министра-октябриста не так уж страшен будет

министр-кадет. Быть может, через несколько месяцев мы будем иметь министерство Милюкова и Шингарева**. Все зависит от нас, все в наших руках»[49]. Такого же мнения придерживалась почти вся пресса. Неофициальный курс акций в Петрограде с приходом Протопопова резко подскочил.

* Протопопов сначала был назначен управляющим министерства, министром он был утвержден в середине декабря, после убийства Распутина. См.: Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914-1917). Л., 1967. С. 265.

** А.И.Шингарев был видным деятелем кадетской партии и специалистом по аграрным вопросам. Он занял пост министра финансов во Временном правительстве и был убит в начале 1918 года матросами-анархистами.

Вскоре этим радужным надеждам суждено было разбиться в прах. Назначение Протопопова было не капитуляцией монархии, а ловким политическим маневром. Двору предстояло созвать 1 ноября заседание Думы, так как, согласно конституции, требовалось ее одобрение бюджета. Предполагалось, что оппозиция воспользуется этой возможностью, чтобы возобновить наступление на правительство. С точки зрения двора, Протопопов был именно тем человеком, который может справиться с Думой. Как член октябристской партии и Прогрессивного блока он пользовался доверием оппозиции, с другой же стороны, при дворе прекрасно сознавали истинную сущность Протопопова — последовательного и преданного монархиста. Рекомендация Распутина служила гарантией благонадежности Протопопова. Он был человеком крайне тщеславным и, плененный честью, коей удостаивала его царская чета, едва ли мог взять сторону оппозиции. Императрица прекрасно понимала, как и почему Протопопов будет служить интересам двора: «Пожалуйста, возьми Протопопова министром внутренних дел, — уговаривала она мужа 9 сентября, — так как он один из Думы, это произведет на них впечатление и заткнет им рты»[50]. По выражению Пареса, она хотела использовать «думца, чтобы обуздать Думу»[51]. Протопопов представлялся идеальным министром — рекомендованный Распутиным и все же приемлемый для Родзянко и Гучкова. Он, кроме того, произвел великолепное впечатление на короля Георга V и французов, возглавляя прошлым летом на Западе дипломатическую миссию. Николай предоставил Протопопову карт-бланш в управлении страной: «Ну, делайте что надо — спасайте положение»[52]. Поддерживаемый царем, ценившим его обходительные манеры и обаяние, и царицей, про которую говорили, что она хочет распоряжаться Россией, как будто это «их усадьба»[53], излучающий безграничный оптимизм в атмосфере всеобщего уныния, Протопопов стал настоящим диктатором.

Выбор, сделанный двором, оказался бедственным. Единственным достоинством Протопопова на высоком посту была его «способность приспосабливаться к людям, придерживающимся различных политических взглядов»,— сравнительно редкое качество в России[54]. И этот талант снискал ему многих сторонников. Однако руководило им тщеславие. Возгордившись назначением, он до предела использовал открывшиеся возможности: он был принят при дворе, он мог теперь снисходительно обращаться с прежними коллегами по Думе и вынашивать грандиозные планы реформ. Ему были дороги именно эти психологические стороны власти. Впоследствии, когда дела пошли хуже, другу, убеждавшему его уйти в отставку, он с негодованием заметил: «Как ты можешь мне говорить об отставке? Всю жизнь я мечтал стать товарищем губернатора, и вот — я министр!»[55]

Он не имел никаких административных способностей и даже свое собственное суконное дело умудрился довести до грани банкротства[56]. Он проводил мало времени на службе и не принимал во внимание на редкость прозорливые донесения департамента полиции о внутреннем положении в стране. В момент, когда страна стояла на критическом повороте истории, сей государственный муж, занимая ответственнейший в государстве пост, всеми помыслами был устремлен к завоеванию положения и связей в обществе: показания, данные им Чрезвычайной следственной комиссии после революции, выдают его полную растерянность[57]. Его нелепые поступки заронили подозрения в умственной неполноценности, явившейся следствием венерического заболевания.

Вступив в должность, Протопопов задумал программу либеральных реформ по еврейскому вопросу: отмену черты оседлости и других ограничений для евреев[58] — мера, давно назревшая, но едва ли самая насущная и своевременная, в особенности если учесть, что «черта» стерлась как бы сама собой в результате массового выселения евреев из прифронтовой зоны*. Эти планы Протопопова отвечали требованиям Прогрессивного блока и были подстегнуты Распутиным, который представлялся поборником еврейского равноправия. Обдумывал Протопопов и идею создания ответственного министерства — ответственного за все незаконные, а также «нецелесообразные» действия, однако не перед Думой, а перед сенатом — назначаемым сверху судебным органом[59]. Впрочем, ни одно из этих начинаний не было до конца разработано или воплощено. Через несколько недель после назначения Протопопов провел встречу с оппозицией в надежде выработать совместный курс действий, но и из этой затеи ничего не вышло.

* Подозреваемые в симпатиях немцам, многие евреи, жившие в прифронтовой полосе — их число достигало 250 тыс., — были вынуждены в 1915 году переселиться в глубь страны.

Разочарование новым министром внутренних дел наступило очень скоро, и возлагавшиеся на него

надежды уступили место ненависти. Раболепие министра внутренних дел перед Николаем и его супругой вызывало негодование думских политиков. С не меньшим возмущением воспринимались его бестактные поступки, как, например, перевод из тюрьмы под домашний арест генерала Сухомлинова (по настоянию Распутина) и появление в Думе в жандармском мундире[60]. Накануне созыва Думы за ним уже закрепилась слава ренегата. Вместо того чтобы служить мостом между администрацией и парламентом, он стал причиной еще большего углубления раскола между ними, ибо ни один уважающий себя политик не хотел иметь с ним дела.

* * *

Времени на размышление не оставалось. Информация, имевшаяся в распоряжении политических деятелей в Москве и Петрограде (и конфиденциально подтвержденная, как нам теперь известно, полицией), указывала на то, что экономические трудности городского населения могут в любой момент вызвать массовые беспорядки. Чтобы предупредить это, Думе следовало взять власть в свои руки, и как можно скорее. Нельзя было терять ни минуты: мятежный ураган мог смести с лица земли все без разбору, в том числе и саму Думу. Такое жесткое веление момента — настоятельная необходимость предпринять решительный шаг, прежде чем народное недовольство выплеснется наружу, — определяло безответственное и, можно сказать, даже позорное поведение лидеров оппозиции в конце 1916 года. Они словно вступили в гонку со временем: вопрос уже заключался не в том, произойдет ли революция, а в том, когда это случится и какую форму примет — будет ли это революция сверху, как некоторый государственный переворот, который произведут они сами, или же это будет революция снизу, спонтанное и неуправляемое выступление народа[61].

В сентябре и октябре главные оппозиционные партии сначала порознь, а затем и совместно, в рамках Прогрессивного блока, проводили конспиративные совещания, на которых вырабатывали стратегию поведения на предстоящей Думе. Настроены они были решительно и неумолимо: правительство должно уступить власть. На сей раз и речи не могло быть ни о каких оттяжках и компромиссах.

Вдохновителем этих революционных настроений была конституционно-демократическая партия. На заседании ЦК партии, проходившем 30 сентября — 1 октября, раздавались упреки в том, что партия потеряла контакт с народом, так как более не выступала в оппозиции. Левые кадеты хотели объявить правительству «беспощадную войну», даже рискуя вызвать своими действиями разгон Думы[62]. На конференции 22—24 октября кадеты формально приняли стратегию конфронтации. Из донесений агентов полиции[63] нам теперь достаточно хорошо известно о том, как проходило это собрание, самое судьбоносное во всей истории кадетской партии. Милюкова упрекали в чрезмерной осторожности, в том, что он слишком озабочен проблемой законности статуса партии с точки зрения властей. Страна качнулась влево, и если кадетам немедленно не свернуть в том же направлении, они утратят свое влияние. Некоторые делегаты из губерний, настроенные радикальней, чем думские депутаты, считали, что не стоит даже терять время на парламентские прения: всего вернее, по их мнению, было обратиться непосредственно к «массам» — то есть приступить к революционной агитации, как это делали в 1904—1905 годах «Союз освобождения» и «Союз союзов». Князь П.Д.Долгоруков считал, что Милюков сохранил позицию лидера партии только благодаря еще оставшейся надежде на то, что правительство выведет в отставку Штюрмера: если бы правительство тогда же решительно отказалось это сделать и не стало церемониться с Думой, с Милюковым было бы покончено. Для оппозиции это был последний шанс дать бой правительству в парламенте[64].

Полковник А.П.Мартынов, знаменитый начальник московской охранки, передавая по инстанции начальству информацию о кадетской конференции, почерпнутую из донесений своих агентов, снабдил ее собственным комментарием. По его мнению, суть кадетской стратегии выражена в резолюции, в которой говорится о необходимости «поддержания связи с широкими слоями населения и организации демократических элементов страны для противодействия общей опасности». Перспектива революции, добавлял он, — разразится ли она сейчас или после войны, когда страна столкнется с проблемами, которые правительство будет не в состоянии решить, — одинаково пугает кадетов[65].

Чтобы заставить правительство сдаться, кадеты избрали весьма рискованную и столь не приличествующую партии, всегда гордившейся законными методами борьбы и уважением к закону, линию поведения, что это можно объяснить лишь охватившей кадетов паникой. Кадеты публично приняли решение предъявить премьер-министру обвинение в измене. Не было ни малейших оснований для такого обвинения, и кадеты это вполне сознавали. Штюрмер был, конечно, бюрократом и реакционером, не годящимся на роль главы российского правительства, но ничего даже отдаленно смахивающего на измену он не совершал. Однако слухи об измене были так живучи в тылу и на фронте, что кадеты решили воспользоваться ими, обыграв немецкое происхождение фамилии главы кабинета министров*.

* Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 204—206; Дякин. Русская буржуазия. С. 241. О непопулярности Штюрмера из-за немецкого звучания его фамилии см.: ИА. 1960. № 1. С. 207. Не будь столь удобного предлога, обрушились бы на Протопопова, придравшись к его беседе с германским представителем в Стокгольме.

Кадеты согласовали свои действия с другими партиями Прогрессивного блока. 25 октября блок

принял общую платформу: требовать отставки Штюрмера, добиваться отмены законов, принятых по статье 87, и «акцентировать внимание на слухах о стремлении правых заключить сепаратный мир с Германией»[66].

Тем самым лидеры оппозиции вступили на путь, с которого им уже нельзя было свернуть — путь этот вел к революционному столкновению с престолом.

Штюрмер, посвященный полицией в курс этих событий, был, естественно, взбешен. Он предупредил царя, что на заседании Думы оппозиция собирается обвинить министров в коварной измене[67]. Использование таких приемов в военное время едва ли не преступно и было невообразимо ни в одной другой из воюющих стран. А в качестве первого шага Штюрмер предлагал лишить депутатов денежного содержания, а депутатам призывного возраста пригрозить отправкой в действующую армию. Кроме того, он испрашивал полномочий, если того потребуют обстоятельства, распустить обе палаты и назначить новые выборы. Николай уклонился от решительных действий — он желал, если это только возможно, избежать столкновений и позволил Штюрмеру распустить Думу, как он выразился, лишь в «крайнем случае»[68]. Власть как будто ускользала из рук царя, и у него не было сил ее удержать. Крайне измученный бессонницей и совершенно обескураженный, он потерял интерес даже к ежедневной прессе, и единственным его чтением стал «Русский инвалид» — патриотическая ежедневная газета, издаваемая военным министерством[69].

Не получив искомых полномочий, Штюрмер счел себя вправе в частном порядке сообщить думским лидерам, что, если они осмелятся обвинить правительство в предательстве, Дума будет тотчас же закрыта, а возможно, и вообще распущена[70].

Это предостережение расстроило ряды Прогрессивного блока, отколов его радикальное крыло, представленное левыми кадетами и прогрессистами, от более умеренного блока, который составляли основная масса кадетов, октябристы и отдельные консерваторы. Кадеты, связанные резолюцией партийной конференции, предупредили консервативно настроенных соратников, что, если они их не поддержат, кадеты примут еще более резкую резолюцию[71]. В.В.Шульгин и другие националисты выразили недовольство предложениями кадетов, полагая, что публичное обвинение в предательстве повлечет за собой катастрофические последствия. Стремясь не потерять поддержки консерваторов, кадеты согласились принять резолюцию блока, из которой слово «предательство» будет изъято[72]. Прогрессивная партия, недовольная этим компромиссом, вышла из блока. Левые кадеты тоже угрожали уходом, однако Милюкову удалось переубедить их, пообещав направить «резкий» адрес в Думу[73].

* * *

Заседания Думы открылись 1 ноября в 2.30 пополудни в атмосфере необычайно напряженной.

Председательствующий Родзянко начал с короткого патриотического обращения. Едва он закончил, все министры, предводительствуемые Штюрмером и Протопоповым, поднялись с мест и покинули зал, следом за ними ушли иностранные послы*. Социалисты реагировали криками и шумом. С.И.Шидловский, лидер октябристов и оратор Прогрессивного блока, зачитал основное обращение. Он критиковал правительство за то, что оно, с целью проводить законы по статье 87, оттягивало созыв Думы, за небрежение проблемами продовольствия и использование военной цензуры ради охраны своего «несуществующего престижа». Он предупредил, что над Россией нависла серьезнейшая опасность. Стране нужно правительство народного доверия, и Прогрессивный блок будет стремиться к достижению этой цели «всеми доступными нам законными способами»[74].

* По словам французского посла, это было сделано по требованию Штюрмера (см.: Paleologue M. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. P., 1922. V. 3. P. 86-87).

Керенский разразился истерической речью, уснащенной столь резкой бранью, какую еще не доводилось слышать под сводами этого зала[75]. Он обвинил «командующие классы» Европы в том, что они ввергли «демократию» в кровавый вихрь войны. Русское правительство он обвинил в том, что оно установило в стране режим «настоящего белого террора» и заполнило тюрьмы рабочими. И за всем этим стоит «Гришка Распутин». Возбуждаемый звуками собственного голоса, он воскликнул риторически: «Неужели, господа, все, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать: главный и величайший враг страны не на фронте, он находится здесь, между нами, и нет спасенья стране, прежде чем мы единодушным и единым усилием не заставим уйти тех, кто губит, презирает и издевается над страной».

Сравнив министров с «наемными убийцами» и указав на оставленные ими места, он гремел: «Где они, эти люди, в предательстве подозреваемые, братоубийцы и трусы?»

Не обращая внимания на замечания председательствующего, Керенский продолжал свою диатрибу в том же духе, предостерегая, что Россия «находится на краю величайших испытаний, не бывавших в русской истории» и грозящих анархией и разрухой. Настоящие враги России те, кто ставит личные интересы выше интересов страны: «Вы должны уничтожить власть тех, кто не сознает своего долга. Они [указывая на пустые места правительства] должны уйти, они являются предателями интересов страны».

На этих словах председательствующий попросил Керенского сойти с трибуны.

Левые бурно приветствовали его, но у большинства Думы, уже привыкшего к риторическим эскападам Керенского, особым уважением он не пользовался. Иное дело, когда на трибуну поднялся

Милюков: он снискал репутацию ответственного и благоразумного государственного мужа, и поэтому его речь, лишь немногим уступавшая по резкости выражений тираде Керенского, прозвучала значительно весомей. Следует помнить, что его обращение к Думе было результатом компромисса, достигнутого левой и правой фракциями Прогрессивного блока, и из солидарности с первыми, включавшими в себя значительную часть и его партии, Милюков обвинил правительство в предательстве, но, чтобы успокоить вторых, облек свое обвинение в более обтекаемую форму вопроса.

Милюков припомнил преобразования, произошедшие в России в 1915 году вследствие поражений на фронте, и надежды, которые эти перемены заронили в обществе. Но ныне, по истечении двадцати семи месяцев войны, настроение в стране иное: «Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе». Все союзные государства создали правительства национального единства, привлекая к военным усилиям самых достойных граждан, невзирая на партийную их принадлежность. А что в России? Здесь все министры, способные получить поддержку парламента, были устранены. Почему? Объяснение этого феномена Милюков стал искать в предательстве, опираясь на сведения, будто бы полученные им во время последней поездки по Европе: «Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли сделать, как поступить так, как поступало русское правительство [Родичев с места: «К сожалению, это так»]»[76].

Поведение правительства породило слухи об измене в высших эшелонах власти, распространившиеся по всей стране. И тут Милюков извлек заготовленную «бомбу»: ссылаясь на сообщение «Berliner Tagwacht» от 16 октября, он рассказал о том, что германское посольство еще до войны воспользовалось услугами личного секретаря Штюрмера, некого И.Ф.Манасевича-Мануйлова, журналиста с весьма темным прошлым, для подкупа консервативной газеты «Новое время». Отчего же дело, поначалу возбужденное против этого господина, было вскоре прекращено? Оттого, объяснял Милюков, что, как признал на следствии сам Мануйлов, он передал часть врученной ему немцами суммы премьер-министру Штюрмеру. Далее Милюков привел отзывы австрийской и немецкой прессы, весьма довольной отставкой Сазонова и замещением его на посту министра иностранных дел Штюрмером. Из приведенных свидетельств не может не создаться впечатления, что Штюрмер имел тайные связи с врагом и прилагал усилия для заключения сепаратного мира.

В этом месте из-за возмущения правых, выкрикивавших, что утверждения Милюкова — клевета, ему пришлось прервать выступление. Когда порядок был восстановлен, Милюков сделал несколько туманных, но зловещих намеков о деятельности некоторых симпатизирующих немцам дам за границей и в Петрограде. «Нам нужно судебное следствие, вроде того, какое было произведено над Сухомлиновым. Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели тех данных, которые следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь: инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность».

Во время пребывания в Париже и Лондоне, продолжал Милюков, ему рассказали, что центральные державы имеют доступ к самым сокровенным государственным тайнам России. Не так обстояло дело, когда за внешнюю политику отвечал Сазонов. Затем Милюков упомянул о встрече Протопопова с немецким бизнесменом в Стокгольме прошлой весной (что вовсе не было секретом и о чем Протопопов лично докладывал царю), вновь и вновь вызывая в сознании аудитории мысли об измене и подготовке почвы к сепаратному миру. Напомнив об уходе Протопопова из Думы в начале заседания, Милюков воскликнул: «Он слышал те возгласы, которыми вы встретили его выход. Будем надеяться вместе с вами, что он сюда больше не вернется».

Вновь обратившись к теме, с которой начал, Милюков заметил, что раньше была возможность взаимодействия Думы и правительства, но сейчас все по-иному. Воспользовавшись пресловутой фразой Шуваева: «Я, быть может, дурак, но я не изменник», Милюков увенчал свою речь изящным риторическим рефреном. «Что это, глупость или измена?» — вопрошал он,— глупость или измена, что Россия была не подготовлена к операции на Балканах после выступления на ее стороне Румынии; что Россия оттягивала предоставление польской автономии, пока к этому не вынудили немцы; что правительство расценивало как подстрекательство к мятежу все попытки Думы организовать внутренний фронт; что департамент полиции подстрекал к забастовкам и устраивал другие «провокации», чтобы иметь предлог для мирных переговоров? И на каждый из этих вопросов аудитория громко отзывалась: «Глупость!», «Измена!», «Одно и то же!» Впрочем, сам ответил на свой вопрос Милюков, это действительно не важно, ибо результат одинаковый. И, уходя с трибуны, он потребовал отставки кабинета министров.

Упомянутая Милюковым «субъективная уверенность» в том, что высшие сановники идут на соглашение с врагом, не имела под собой ни малейших оснований. Грубо говоря, это был чистейший вымысел. Милюков, конечно, прекрасно понимал, что ни Штюрмер, ни кто-либо другой из министров не совершали измены, и каковы бы ни были недостатки премьер-министра, он оставался лояльным российским гражданином. Позднее, в своих мемуарах, Милюков признал это[77]. И тем не менее он чувствовал за собой моральное право клеветать на невиновного человека и бросать самые тяжкие обвинения в адрес правительства, ибо считал, что в настоящий момент всего важнее кадетской партии получить власть в стране, пока страна еще не погибла[78].

На самом деле Милюков способствовал нагнетанию революционных страстей не меньше, чем все действия — или, вернее, бездействие — правительства. Резонанс от его выступления, привлекшего всеобщее внимание благодаря тому, что он говорил от имени самой значительной в России политической партии, еще более укрепила его репутация известного ученого: было невозможно вообразить, чтобы человек его положения в обществе мог выдвинуть столь серьезные обвинения, не имея неопровержимых доказательств. Некоторые даже полагали, что союзники сообщили Милюкову дополнительные уличающие свидетельства, которые он не пожелал огласить из соображений безопасности. Правительство запретило прессе печатать или комментировать речь Милюкова. Но этот запрет только усилил интерес к ней. Перепечатанная на машинке, размноженная на мимеографе и расклеенная по стенам, речь Милюкова распространилась на фронте и в тылу в миллионах копий[79]. Эффект был разительный: «Упрощавшая молва в народе и в армии гласила: член Думы Милюков доказал, что царица и Штюрмер предают Россию императору Вильгельму»[80]. И чувства, которым дала волю речь Милюкова, сыграли важнейшую роль в февральской революции[81], первоначальным и единственно существенным мотивом которой было озлобление на предательское правительство.

Но и последующие заседания Думы были для властей неутешительными. Шульгин, лидер прогрессивных националистов, заявил, что страна, два года храбро сражавшаяся с врагом, «смертельно боится собственного правительства... Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером»[82]. И левые восторженно аплодировали этому монархисту и антисемиту. Единственным оратором, защищавшим власть, был Н.Е.Марков (известный как Марков Второй), закоренелый реакционер и патологический юдофоб, позднее, в эмиграции, поддерживавший нацистов, а в тот период получавший регулярные субсидии от Протопопова.

Заседания Думы, проходившие с 1 по 5 ноября 1916 года, отмечены нагнетанием революционного психоза: мощно ощущавшегося, необъяснимого стремления к разрушению всего здания российской монархии. Эти чувства, давно уже разделяемые радикальной интеллигенцией, теперь захватили и либеральный центр, и даже просочились в ряды консерваторов. Генерал-адъютант В.Н.Воейков, наблюдавший за происходящим из Ставки в Могилеве, говорил о том, что «массовый психоз проявился во внедрении убеждения о необходимости сломать и уничтожить нечто, тяготившее людей и не дававшее им жить»[83]. Другой современник писал в декабре 1916 года об «осаде власти, обратившейся в спорт»[84].

Эти настроения пронизали все слои общества, о чем говорит поведение даже ближайших родственников царя, великих князей, примкнувших к Прогрессивному блоку. В конце октября, перед созывом Думы царь провел несколько дней в Киеве с матерью и близкими родственниками, предостерегавшими его от влияния жены и Распутина[85]. 1 ноября он принимал в Ставке вел. кн. Николая Михайловича, который не только был известен в обществе как историк-любитель, но и гордился репутацией самого радикального из Романовых, этакого русского Филиппа-эгалите. Он привез письмо царю, в котором умолял его избавиться от Распутина. Но он пошел дальше, затронув самый щепетильный вопрос о неблагоприятном влиянии императрицы:

«Ты доверяешь Александре Федоровне. Это вполне естественно. Между тем то, что она говорит тебе, не есть правда, она повторяет лишь то, что ей внушили. Если ты не властен отдалить ее от этого влияния, огради по крайней мере себя от постоянных систематических маневров, проводящихся через посредство твоей возлюбленной жены... Когда настанет час — а он уже близок, — с высоты трона ты можешь сам сделать министров ответственными перед тобой и законодательными учреждениями. И сделать это просто, естественно, без давления извне и по-иному, чем достопамятный акт 17 октября 1905 года... Ты стоишь на пороге эры новых волнений, на пороге эры покушений. Поверь мне, если я так настаиваю на твоем освобождении от цепей, которые тебя опутали, то делаю это лишь в надежде спасти тебя и спасти твой трон и нашу любимую родину от непоправимых бед»[86].

Царь, не потрудившись прочесть письмо, переслал его жене, которая пришла в невыразимый гнев и потребовала удалить Николая Михайловича из Петрограда[87].

7 ноября царь принял вел. кн. Николая Николаевича, командующего Кавказским фронтом, который уговаривал его позволить Думе назначить кабинет министров[88].

Невероятно, но даже Объединенное дворянство, эта вернейшая и крепчайшая опора монархии, приняло в Москве и Петрограде резолюцию, поддерживающую Прогрессивный блок[89]. Действительно, трудно было найти сколь-нибудь значительного политического деятеля или группу, даже самого крайнего консервативного, националистского толка, не присоединившихся к общему требованию фундаментальных перемен в структуре и личном составе правительства.

Штюрмер счел себя вправе, не только из личных соображений, но и из интересов государственной безопасности, потребовать роспуска Думы и ареста Милюкова[90]. Однако он не нашел поддержки, на которую рассчитывал: царь и министры были скованы страхом. В правительстве его сторону взял один лишь Протопопов. Остальные предпочли избегать резких мер. Царь не хотел идти на окончательный разрыв с Думой и надеялся все уладить, не уступая в критическом вопросе о назначении ответственного министерства. 4 ноября он послал с примирительными обращениями к Думе военного и морского министров[91]. Александра Федоровна убеждала его держаться твердо, но царь потерял уже всякую волю. И вот, вместо того, чтобы защитить своего премьер-министра от клеветнических обвинений, — истинной мишенью которых был трон, — он решил пожертвовать им и поставить на его место кого-нибудь более

угодного Думе. 8 ноября Штюрмер был выведен в отставку. Он так и не мог понять, что произошло, почему его обвинили в измене, в которой он не был повинен, и почему царь не защитил его от ложных наветов. Вскоре французский посол повстречал его на улице: он понуро брел, всецело погруженный в свои мысли и ничего вокруг не замечая[92]. (Он скончался на следующий год совсем сломленным человеком.)

Думу воодушевила отставка Штюрмера, в которой депутаты видели пример и подтверждение того, что ни один министр, им не угодный, не удержится на своем посту[93]. И новое назначение на освободившееся место А.Ф.Трепова, возглавлявшего министерство путей сообщения, только углубило их уверенность. Новоназначенный премьер-министр, по стандартам прежнего правительства, которое старческую немощь почитало залогом благонадежности, был человеком еще сравнительно молодым (ему было пятьдесят два года). Происходил он из семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать Столыпину, как и тот, вполне уверенный, что Россия не может долее управляться без содействия парламента. И ради достижения своей цели он готов был пойти на весьма смелые уступки: сформировать приемлемый с точки зрения Думы кабинет, отказаться от практики принятия законов по статье 87, облегчить положение рабочих, а также нацменьшинств — евреев и финнов[94]. В частных беседах с думскими лидерами во время перерыва в работе Думы (с 6 по 17 ноября) он заручился их поддержкой при условии отставки Протопопова.

В первой половине ноября 1916 года царь практически уступил революционным требованиям; окружающим он казался в те дни подавленным и безразличным[95]. И если бы русские либеральные политики могли трезво оценить положение, они бы убедились, что — по сути, если и не по форме, — они в общем-то получили то, чего добивались. Изгнав без достаточных оснований Штюрмера, заменив его премьер-министром, сочувствующим программе Прогрессивного блока, не распустив мятежную Думу, а предоставив ей возможность работать, царь сдался перед оппозицией. Но оппозиции, уже почуявшей запах крови, этого было недостаточно.

Несмотря на все свои благие намерения, Трепов мало преуспел. 19 ноября, когда возобновились заседания Думы, он обратился к ней с программной речью. Левые, предводительствуемые Керенским и Чхеидзе, встретили его оскорбительными выкриками, и в течение сорока минут он не мог промолвить ни слова*. Когда порядок наконец был восстановлен, он произнес примирительную речь, весьма напоминавшую по духу и содержанию столыпинские выступления в Думе. Он обещал положить конец беззаконию. Он просил помощи: «Забудем старые споры, отложим распри... От лица правительства я прямо и открыто заявляю, что оно исходит из желания посвятить свои силы на совместную с законодательными установлениями положительную реальную работу»[96].

* Дякин. Русская буржуазия. С. 251. Самых крикливых, и среди них Керенского и Чхеидзе, Родзянко на пятнадцать дней отстранил от работы в Думе.

Обязанность патриотов — не разрушать правительство, но укреплять его. Трепов воспользовался случаем, чтобы сообщить, что союзники пообещали России Константинополь и Черноморские проливы.

Все его усилия были тщетны. Постоянно прерываемый и сбиваемый с толку, Трепов распинался перед аудиторией, не желавшей идти на примирение: получив в жертву Штюрмера, она требовала теперь головы Протопопова. Когда Трепов закончил, слово попросил Пуришкевич. Приветствуемый социалистами, этот крайний монархист потребовал, чтобы правительство «прекратило продавать Россию немцам» и избавилось от Распутина и «распутинщины».

На последующих заседаниях признаков охлаждения страстей тоже не наблюдалось. Радикальные депутаты, не сдерживаемые теперь уже почти никакими запретами, открыто призывали страну к бунту. Меньшевики и другие социалисты покинули Думу 2 декабря, когда Прогрессивный блок единодушно одобрил отказ правительства принять предложение Германии о заключении сепаратного мира. Две недели спустя Керенский призвал население не подчиняться правительству[97].

Не получил Трепов поддержки и при дворе. Императрица, боясь потерять свое влияние, интриговала против него. В письмах мужу она называла его не иначе, как лжецом, заслуживающим виселицы[98]. Николай на сей раз не внял советам жены и согласился с Треповым, что Протопопов должен уйти. 11 ноября он сообщал, что Протопопов не хорош и будет замещен, и просил при этом не вовлекать в это дело Распутина, целиком принимая на себя ответственность за это решение. Весьма обеспокоившись, Александра Федоровна телеграфировала мужу просьбу не предпринимать ничего до их встречи и на следующий день вместе с детьми отправилась в Могилев. На месте ей быстро удалось переубедить Николая. Когда Трепов прибыл в Могилев получить одобрение кандидатуры преемника Протопопова, царь осадил его, заявив, что Протопопов все-таки останется. Даже угроза Трепова подать в отставку не заставила его смягчиться. А.И.Спиридович приводит этот эпизод как ярчайший пример влияния Распутина[99].

* * *

К концу 1916 года все политические партии и группировки объединились в оппозицию к монархии. Впрочем, это было их единственной точкой соприкосновения — ни в чем другом они не сходились. Крайне левых не устраивало что-либо меньшее, чем радикальное преобразование политического, социального и

экономического устройства России. Либералы и либерал-консерваторы удовольствовались бы парламентской демократией. И те и другие, при всем их различии, вели речь об институтах власти. Крайне правые, теперь тоже примкнувшие к оппозиции, напротив, сосредоточили внимание на личностях политических деятелей. По их мнению, в российском кризисе повинен был не сам режим, а люди, стоявшие у кормила власти, а именно императрица-немка и Распутин. И стоит убрать их с политической арены, считали они, как все пойдет хорошо. Добраться непосредственно до императрицы было невозможно, ибо это означало дворцовый переворот, но некоторые монархисты полагали, что той же цели можно достичь, изолировав ее от Распутина. Зная страстную привязанность Александры Федоровны к «старцу», легко было предположить, что разлука с ним сломит ее физически. А избавленный от пагубного влияния жены, царь примет здравое решение и уступит власть Думе. Если же он не пойдет на это, можно будет назначить регента — кого-нибудь из великих князей, всего вероятнее Николая Николаевича. Такие разговоры в ноябре и декабре 1916 года велись повсеместно в высших кругах: в яхт-клубе, посещаемом великими князьями, в кулуарах Думы и Госсовета, среди монархистов, в аристократических салонах, даже в Ставке в Могилеве. Повторялась ситуация марта 1801 года, когда заговор против Павла I, обернувшийся его убийством, был на устах всего петербургского общества.

Распутин стал естественной мишенью для правых потому, что влияние на царствующую чету открывало ему доступ к министерским назначениям. Штюрмер, Протопопов и Шуваев, занимавшие ключевые посты в российской администрации, обязаны были своим возвышением именно Распутину. Правда, его протеже Штюрмер был заменен врагом — Треповым, но при этом все понимали, что перебежавший дорогу «старцу» на удачную карьеру надеяться не может. Поговаривали даже, что Распутин вмешивается и в военные дела. Действительно, в ноябре 1915 года Распутин давал, через императрицу, стратегические советы Ставке. «Теперь, чтоб не забыть, — писала Александра Федоровна мужу 15 ноября 1915 года, — я должна передать тебе поручение от нашего друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови, и трудно будет заставить их уйти»[100]. Ни Николай, ни генералы не обращали внимания на подобные советы. Распутину строго запрещалось появляться в Ставке. И все же тот факт, что малограмотный крестьянин свободно давал советы в военных вопросах, не мог не задевать за живое консерваторов.

В Царском Селе его слово было законом. Распутин часто предрекал, что, если с ним что-нибудь случится, Россию ждут новые смутные времена. Его посещали видения потоков крови, пламени и дыма — темные, никак разумно не объясняемые предзнаменования несчастий, действительно вскоре оправдавшиеся[101]. Его предсказания беспокоили императрицу, заставляли еще ревностней защищать его от врагов, которые были, в ее глазах, врагами и династии, и России.

Распутин упивался своим могуществом. Его пьяные оргии, бахвальство и бесцеремонность становились с каждым днем все более вызывающими. Дам из высшего общества завораживали его грубая мощь, гипнотический взор и дар прорицателя. Распутин принадлежал к секте хлыстов, которые учили, что, согрешая, человек уменьшает количество греха в мире. В его доме с вечными цыганами вино текло рекой. Впрочем, любовные подвиги, приписываемые ему молвой, были более чем сомнительны. Врач Р.Р.Вреден, осматривавший Распутина в 1914 году, когда того ранила ножом ревнивая подруга, нашел детородные органы пациента в состоянии, которое наблюдается у весьма пожилых людей, что заставило врача усомниться в его способности вообще вести половую жизнь, и он приписал это действию алкоголя и последствиям сифилиса*.

* Архив С.Е.Крыжановского Box 5. File «Распутин» (Бахметьевский архив. Колумбийский ун-т, Нью-Йорк). Вырубова отрицала слухи о половой распущенности, утверждая, что он был совершенно равнодушен к женщинам и что она не знает ни одной, имевшей с ним интимной связи (Viroubova A. Souvenirs de ma vie. P., 1927. P. 115).

Поведение Распутина было столь вызывающим, потому что он ощущал себя стоящим над законом. В марте 1915 года шеф корпуса жандармов В.Ф.Джунковский осмелился доложить царю о том, что его агенты подслушали, как во время обеда в московском ресторане «Прага» Распутин хвастался, будто «может сделать, что захочет», с императрицей. В «благодарность» Джунковский был снят с должности и отправлен на фронт. После этого случая в полиции сочли более благоразумным держать порочащую Распутина информацию при себе. Льстецы и карьеристы, ищущие повышений по должности, стлались перед ним, честным патриотам грозила немилость, если они вызывали его недовольство. Гучкова и Поливанова, столько сделавших для возрождения русских военных усилий после разгрома 19.15 года, держали от двора на безопасном расстоянии, а Поливанову неприязнь Распутина стоила в конце концов должности. И то, что бразды правления всей страны оказались в руках такого шарлатана, более всего оскорбляло чувства монархистов.

Отношение царя к Распутину было двойственным. Он говорил Протопопову, что если сначала не принимал его во внимание, то со временем «привык» к нему[102]. Впрочем, Николай редко виделся со «старцем», предоставляя его императрице, которая принимала Распутина чаще всего в обществе Вырубовой. Коковцову в 1912 году царь говорил, что «лично почти не знает «этого мужичка» и видел его мельком, кажется, не более двух-трех раз, и притом на очень больших расстояниях времени»[103]. И все же царь не желал выслушивать никакой критики в адрес Распутина, считая это «делом семейным» (une affaire de

famille), как он заявил однажды Столыпину, запрещая когда-либо впредь касаться этой темы[104]. «Семейным» это дело было в том смысле, что Распутин будто бы обладал уникальной способностью затворять кровь и облегчать страдания наследника, болезнь которого оставалась вечной и неизбывной болью родителей. Дети в царской семье вообще были очень привязаны к «старцу». Однако царь твердо стоял на одном: Распутин не должен касаться политики[105].

К концу 1916 года у правящей четы сложилось убеждение, что оппозиция, стремящаяся свергнуть их с престола, нападает на их избранников и друзей исключительно в силу принципа: любой, на ком останавливался царственный выбор, каковы бы ни были его действительные заслуги, обречен подпасть под обстрел оппозиции. Но истинной мишенью была сама царская чета. Что это именно так, царственным супругам пришлось убедиться на примере Протопопова, которого назначили как раз с целью угодить оппозиции, но едва лишь он вступил в должность, как оппозиция набросилась на него. Царица писала мужу: «Помни, что дело не в Протоп. или X, Y, Z. Это — вопрос о монархии и твоем престиже, которые не должны быть поколеблены во время сессии Думы. Не думай, что на этом одном кончится: они по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих»[106].

Когда Родзянко пытался убедить царя, что Протопопов «сумасшедший», царь, усмехнувшись, заметил: «Вероятно, с тех пор, как я сделал его министром»[107]. То же было и с Распутиным. Александра Федоровна, и до некоторой степени ее супруг, были убеждены, что враги обижают их «Друга» только для того, чтобы задеть их самих.

Влияние Распутина достигло высшей точки в конце 1916 года, после неудачной попытки подкупить его. Думские лидеры, как известно, поставили Трепову условием сотрудничества отставку Протопопова. Трепов сообщил Протопопову, что предпочел бы, чтобы он отказался от своего поста и возглавил министерство торговли. Узнав об этом, Распутин решил, что это происки Трепова—Родзянко, и вместе с императрицей вступился за Протопопова[108]. Протопопов остался на месте. Этот случай убедил Трепова, что, пока Распутина не удалят, он не сможет исполнять своих обязанностей. Распутин брал взятки направо и налево, и это было известно: один лишь Протопопов платил ему ежемесячную субсидию в тысячу рублей из фондов департамента полиции[109]. Решился и Трепов предложить ему «отступного», чтобы раз и навсегда покончить со всеми взятками. При посредничестве своего родственника, генерала А.А.Мосолова, который ходил в собутыльниках Распутина, он предложил ему 200 тыс. рублей единовременно и постоянное месячное жалованье, если тот вернется в Сибирь и перестанет вмешиваться в политику. Распутин пообещал обдумать предложение, сам же, почуяв удобный случай расправиться с Треповым и повысить свою репутацию при дворе, сообщил обо всем императрице. Для Трепова это было началом конца[110]. И насколько престиж Трепова при дворе упал, настолько же возвысился престиж Распутина, ибо теперь он на деле доказал, что он есть тот самый «неподкупный человек из народа».

Неудачный маневр Трепова убедил врагов Распутина из правого крыла, что у них не остается иного выбора, как устранить его физически. Заговор стал составляться в Петрограде в начале ноября, еще до провалившейся попытки Трепова, и в следующем месяце уже вполне созрел. В круг заговорщиков вошли люди из самого высокого петербургского общества, включая великого князя. Центральной фигурой был двадцатидевятилетний князь Феликс Юсупов. Получивший образование в Оксфорде, миловидный, несколько женственный, поклонник Оскара Уайльда, он отличался суеверным малодушием. Юсупов поначалу надеялся повлиять на Распутина в нужном направлении и с этой целью подружился с ним, но, увидев бесполезность этого, решился на отчаянные меры, уверившись, что Распутин, помимо прочего, незаметно подпаивает царя наркотическими средствами и поддерживает связи с агентами врага. Мать князя Феликса княгиня Зинаида Юсупова-Эльстон, состоятельнейшая женщина в России (доход ее семьи в 1914 году составлял 1,3 млн. руб., что равнялось почти тонне золота), в свое время была дружна с императрицей, и причиной их размолвки послужил как раз Распутин. Есть предположение, что именно она склонила своего аполитичного сына к заговору[111]. Однако более вероятно, что Юсупов действовал по наущению имевшего на него большое влияние двадцатипятилетнего вел. кн. Дмитрия Павловича; любимый племянник царя и главный претендент на руку вел. княжны Ольги, именно он внушал Юсупову мысль о преступной измене Распутина.

Решившись убить Распутина, Юсупов стал искать сообщников*. Узнав о выступлении Василия Маклакова против Распутина в Думе, Юсупов предложил ему присоединиться к заговору. Он уверил Маклакова, что не пройдет и двух недель после смерти Распутина, как императрицу поместят в психиатрическую лечебницу: «Ее душевное равновесие исключительно держится на Распутине; оно развалится тотчас, как только его не станет. А когда император освободится от влияния Распутина и своей жены, все переменится; он сделается хорошим конституционным монархом»[112].

* Есть два описания очевидцев убийства Распутина. Пуришкевич описал события в дневниковой форме спустя два дня после убийства и опубликовал на юге России в 1918 году; эта версия была воспроизведена в Москве в 1923 году под названием «Убийство Распутина». Воспоминания Юсупова «Конец Распутина» вышли в Париже четыре года спустя. [Оба эти текста переизданы под одной обложкой «Захаровым» в 2005 году. — *Изд.]* Из второстепенных свидетельств самым информативным представляется книжка А.И.Спиридовича «Raspoutin» (Paris, 1935), автор ее, жандармский генерал, был комендантом охраны государственной резиденции в Царском Селе.

Юсупов поведал Маклакову, что намерен нанять либо террористов-революционеров, либо профессиональных убийц, но Маклаков отговорил его: уж если пошли на убийство — а необходимость этого он не оспаривал, — то привести свой замысел в исполнение следует самому Юсупову с товарищами. Маклаков не отказывался помогать советами и иными законными способами, но не смог лично принять участия в деле, так как вечером того дня, когда его наметили совершить (т.е. 16 декабря), у него было назначено выступление в Москве. «На всякий случай» он дал Юсупову резиновую дубинку со свинцовым наконечником.

Вторым, к кому обратился Юсупов, был Пуришкевич, которого общение с военными убедило, что правительство ведет страну к гибели. В начале ноября он посредством своих санитарных поездов распространял речь Милюкова среди войск, находящихся на линии фронта. 3 ноября на обеде в Ставке он умолял царя избавиться от нового Лжедмитрия, как он называл Распутина[113]. Произнесенная Пуришкевичем 19 ноября в Думе речь против Распутина по вниманию, которое она к себе привлекла, и популярности уступала только разве что милюковской. Юсупов слушал выступление Пуришкевича с балкона Думы и через два дня связался с ним. Пуришкевич не колеблясь согласился участвовать в дел[114]. Еще два человека были вовлечены в заговор: молодой поручик и врач по фамилии Лазаверт, служившие в санитарном поезде Пуришкевича. Вел. кн. Дмитрий, пятый участник группы, был незаменим для злоумышленников, ибо благодаря его статусу члена царской семьи они были избавлены от полицейского любопытства. Однако молчальниками заговорщиков никак не назовешь. Многие весьма случайные люди, и среди них заезжий английский дипломат Сэмьюэль Хор, уже заранее прекрасно знали, что должно произойти[115]. Пуришкевич не одному из своих друзей успел похвастаться, что 16 декабря убьет Распутина.

По плану заговорщиков сделать следовало все так, чтобы создалось впечатление, будто Распутин не мертв, а пропал без вести. Юсупов, пользовавшийся доверием жертвы, должен был завлечь его в свой дворец на Мойке, отравить, а затем избавиться от трупа. Детальную подготовку провели в конце ноября. Конспираторы поклялись никогда не рассказывать о содеянном, но и Пуришкевич, и Юсупов вскоре свою клятву преступили.

Убийство назначили совершить в ночь с 16 на 17 декабря, накануне закрытия заседаний Думы.

Распутина не раз предостерегали о готовящихся покушениях на его жизнь, и выманить его из квартиры на Гороховой 64, где он проживал под охраной полиции и собственных телохранителей, было не так-то просто. Тем не менее 13 декабря он дал согласие посетить Юсупова, чтобы познакомиться с его женой, племянницей царя княгиней Ириной. Уже и в самый роковой день Протопопов, Вырубова и несколько анонимных доброжелателей предупреждали Распутина о грозящей опасности. Похоже, им владело твердое предчувствие беды, ибо в эти дни он распорядился уничтожить свою переписку, положил деньги в банк на счет своих дочерей и много времени уделял молитве[117].

Было уговорено, что Юсупов заедет за Распутиным на машине в полночь, когда полицейская охрана будет снята, и поднимется по черной лестнице. Распутин по такому случаю вырядился в самый обольстительный свой наряд: на нем были бархатные шаровары, заправленные в новые сапоги, белая шелковая рубаха, украшенная голубой вышивкой, и расшитый золотом черный сатиновый пояс, подарок императрицы[118]. Юсупов припоминает, что от него исходил сильнейший запах дешевого мыла и выглядел он чище, чем обычно.

Юсупов приехал на Гороховую вскоре после полуночи в машине Пуришкевича, которой управлял переодетый шофером доктор Лазаверт. Распутин натянул калоши и надел бобровую шапку, и они поехали к Юсупову. Заговорщики тщательно подготовили место преступления. Юсупов провел гостя в комнату в подвальном этаже, прежде пустовавшую, но теперь обставленную так, чтобы придать ей вид гостиной: стоявшие повсюду в беспорядке чашки и бокалы должны были создать впечатление, что недавно здесь пировали. Юсупов сказал, что его жена наверху, но скоро присоединится к ним (в действительности она была в Крыму). Сообщники Юсупова находились в служившей кабинетом комнате, расположенной этажом выше и соединявшейся узкой лестницей с помещением, где принимали Распутина. Оттуда с граммофона безостановочно доносились звуки «Янки-дудль». Юсупов, будто бы в ожидании жены, предложил подкрепиться стоящими на небольшом столике миндальными и шоколадными пирожными, которые доктор Лазаверт обильно начинил мощной дозой порошка цианистого калия. Тут же стояли бокалы и бутылка излюбленной Распутиным мадеры с тем же растворенным ядом. Раздраженный тем, что его заставляют ждать, Распутин отказался от закуски и питья, но Юсупов все-таки уговорил его отведать пирожных и вина и, с затаенным волнением ожидая действия яда (по словам доктора, эффект должен был сказаться в течение пятнадцати минут), по просьбе Распутина стал петь под гитару. Распутину стало не по себе, но он держался на ногах. Юсупов, извинившись, вышел и поднялся наверх. Прошло уже два часа с момента приезда Распутина.

Наверху стали совещаться, как быть. Вел. кн. Дмитрий считал, что вернее всего отпустить сейчас Распутина и повторить попытку как-нибудь в другой раз. Но остальные не хотели об этом и слышать: Распутина нельзя отпускать живым. Юсупов предложил застрелить его. Он взял револьвер князя Дмитрия и спустился вниз, пряча оружие за спиной. Распутин выглядел совсем худо и тяжело отдувался, но глоток мадеры оживил его и он предложил прокатиться к цыганам — «мыслями с Богом, а телом-то с людьми»[119]. Как это бывает со многими убийцами, Юсупов не мог смотреть в глаза своей жертве и в суеверном ужасе вообразил, что Распутин может быть столь же неуязвим для пуль, как и для яда. Чтобы отогнать злые силы,

он предложил Распутину рассмотреть искусно сработанное из горного хрусталя и серебра итальянское распятие XVII века, стоявшее на комоде. Когда Распутин склонился над ним и перекрестился, Юсупов выстрелил ему в бок. С диким криком Распутин повалился на пол.

Услышав выстрел, остальные заговорщики немедленно бросились вниз. Они увидели склонившегося над телом Юсупова. По воспоминаниям Юсупова, Распутин был мертв, но Пуришкевич припоминает, что он корчился в агонии и еще дышал. Вел. кн. Дмитрий, доктор Лазаверт и поручик уехали в автомобиле Пуришкевича на Варшавский вокзал, чтобы сжечь в топке стоявшего там санитарного поезда шубу Распутина. Пуришкевич и Юсупов ожидали их возвращения в кабинете.

По воспоминаниям Юсупова, им внезапно овладело непреодолимое желание увидеть тело Распутина. Распутин лежал недвижно и по всем признакам был мертв. Но когда Юсупов стал внимательно вглядываться в лицо своей жертвы, он заметил, что левый глаз заморгал и открылся, затем — и правый глаз: Распутин глядел на него с безграничной ненавистью. Пока, не веря своим глазам, скованный ужасом Юсупов смотрел на Распутина, тот сумел подняться на ноги, схватил Юсупова за горло и прохрипел сквозь выступившую на губах пену: «Феликс, Феликс!» Юсупову удалось вырваться и убежать наверх, где сидел с сигарой Пуришкевич. Вот как передает эту сцену Пуришкевич: «На нем [Юсупове] буквально не было лица; прекрасные большие голубые глаза его еще увеличились и были навыкате; он в полубессознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взглядом, кинулся к выходной двери на главный коридор и пробежал на половину своих родителей»[120].

Пуришкевич схватил револьвер и устремился вниз. Распутина там не было. Он нашел его во дворе пробирающимся сквозь глубокий снег к воротам и кричащим: «Феликс, Феликс, все скажу царице!» Пуришкевич выстрелил, но промахнулся. Он выстрелил вновь — и снова мимо. Распутин был уже почти у самых ворот, ведущих на улицу. Пуришкевич тщательно прицелился и выстрелил в третий раз, — пуля сразила Распутина. Он выстрелил еще раз и, подбежав к распростертому на снегу телу, ударил ногой в висок.

Вскоре появился полицейский, совершавший обход окрестностей, и сказал, что слышал выстрелы. Юсупов объяснил, будто бы у него только что закончилась вечеринка и кое-кто из подгулявших гостей стрелял в воздух. Но, как назло, в близлежащем полицейском участке на Мойке 61 тоже слышали выстрелы, и вскоре полицейские появились опять. Пуришкевич, совершенно не способный держать язык за зубами, заявил: «Мы убили Распутина».

Вид бездыханного тела Распутина привел Юсупова в бешенство. Он побежал в кабинет, извлек из стола дубинку, которую ему дал Маклаков, и, возвратившись во двор, стал словно одержимый избивать труп, повторяя: «Феликс, Феликс!» Затем он лишился чувств. Когда он пришел в сознание, то приказал слуге пристрелить одну из своих собак, чтобы обеспечить алиби.

С помощью прислуги тело Распутина связали и, захватив для веса цепи, погрузили в машину вел. кн. Дмитрия. В отдаленном безлюдном месте, у моста, соединяющего Крестовский и Петровский острова, труп опустили под лед в Малую Невку вместе с шубой, которую так и не сожгли, потому что она оказалась слишком велика для топки. Доктор Лазаверт обнаружил в машине калоши убитого и швырнул их в канал, но промахнулся, и одна из калош упала на мост, где впоследствии ее и обнаружили, что навело полицию на след, по которому нашли тело Распутина.

Весть о смерти Распутина распространилась молниеносно: французский посол утверждает, что услышал об этом еще до конца дня. Императрица получила весьма подробное описание происшествия от Протопопова, но, пока тело не было обнаружено, она продолжала верить, что Распутин где-то скрывается. 17 декабря она писала мужу: «Я не могу и не буду верить, что Распутина убили. Бог милостив». Некоторую надежду ей подало письмо Юсупова, в котором он начисто отрицал, что ему что-либо известно о местопребывании Распутина, и с негодованием отвергал обвинения в причастности к убийству[121]. В городе, однако, в слух о гибели Распутина поверили сразу и встретили это известие с радостью. Вел. кн. Дмитрий, пришедший вечером 17 декабря в театр, вынужден был удалиться, так как публика устроила ему чуть ли не овацию[122]. Один из современных наблюдателей говорил, что атмосфера в Петрограде напоминала Пасху: богатые пили на радостях шампанское, а бедные то, что было им по карману[123]. «Собаке собачья смерть» — такой приговор простого народа, по словам французского посла Мориса Палеолога, можно было услышать в петербургских очередях*.

* Однако, по свидетельствам Милюкова и Маклакова, рассказы о веселии по поводу смерти Распутина — чистейшая «аристократическая легенда»; в действительности простые люди были встревожены убийством (см.: Spiridovich A.I. Raspoutin. P. 413—415).

Изуродованное тело Распутина обнаружили подо льдом 19 декабря. Вскрытие показало, что он скончался от трех пулевых ран еще до того, как тело было брошено в воду, но это, однако, не помешало расползтись слухам, будто его легкие были полны воды. Не было обнаружено никаких следов яда*. По желанию императрицы Распутина похоронили в Царском Селе, за пределами дворцовых земель, во владениях Вырубовой, и на его могиле была воздвигнута часовня, хотя официально сообщалось, что тело перевезено для захоронения в Сибирь. Тотчас после февральской революции тело было вырыто, сожжено и прах развеян[124].

* Отсутствие следов яда в трупе Распутина должно означать, что вино и пирожные отравлены вовсе не были. Материалы следствия по делу об убийстве Распутина продавались в Германии в период между войнами фирмой Karl W.Hiersemann (Originalakten zum Mord an Rasputin.Leipzig, n.d.: Library of Congress. DK 254. R3H5), но сохранившихся экземпляров сегодня не выявлено. В анонсе (С. 8—9) также говорилось, что следов яда при вскрытии не обнаружено.

* * *

Сообщить царю о смерти Распутина выпало генералу Воейкову. В своих воспоминаниях он так описывает реакцию царя: «С самого первого доклада — о таинственном исчезновении Распутина, до последнего — о водворении его тела в часовню Чесменской богадельни — я ни разу не усмотрел у его величества скорби и скорее вынес впечатление, будто бы государь испытывает чувство облегчения»[125].

Юсупов утверждал, будто слышал от сопровождавших Николая в Царское Село 18—19 декабря, что он был «в таком радостном настроении, в каком его не видели с самого начала войны»[126]. Действительно, в дневнике за 17—19 декабря царь совсем не упоминает Распутина и отмечает, что в ночь с 18-го на 19-е «хорошо выспался»[127].

Еще до убийства Распутина Николай собирался вернуться домой, чтобы провести Рождество с семьей. Теперь царская охрана настаивала на этом из опасения, что убийство Распутина могло быть первым из серии террористических актов[128]. И действительно, как мы увидим ниже, существовало несколько заговоров против Николая.

Смерть Распутина возымела вовсе не тот результат, какого ожидали заговорщики. Они намеревались разлучить царя с женой и сделать его более податливым влиянию Думы. Вместо этого трагедия только теснее сблизила супругов и лишний раз подтвердила справедливость их убеждения, что с оппозицией нельзя идти на компромисс. Николая возмущало участие в убийстве племянника Дмитрия и вызывала отвращение трусливая ложь Юсупова. «Мне стыдно перед Россией, — говорил он, — что руки моих родственников обагрены кровью этого мужика»[129]. Когда стало известно о причастности к акции Дмитрия, царь отослал его в русский отряд, дислоцированный в Персии. Но реакция высшего общества на эту меру наказания его ужаснула. Когда шестнадцать великих князей и княгинь ходатайствовали об оставлении Дмитрия в России, царь ответил: «Никому не дано право заниматься убийствами»[130]. Это прошение, по его мнению, компрометировало многих из его высокородных родственников и давало ему право прервать с ними сношения. Некоторых из них, в том числе и Николая Михайловича, просили покинуть Петроград. Чтобы выслужиться перед царской четой, Протопопов показал им перехваченные полицией приветственные телеграммы Пуриш-кевичу и Юсупову, среди них была телеграмма и от жены Родзянко[131] . Это глубоко ранило царя и заставило его еще резче ощутить свою отчужденность*.

* Убийцы Распутина не предстали перед судом, по-видимому, благодаря вмешательству императрицы-матери. Вел. кн. Дмитрий, проведя некоторое время в русских войсках в Персии, уехал в Англию, где вел беззаботную жизнь, вращаясь в кругах английской аристократии. Впоследствии он женился на американке, богатой наследнице. Его дневники, хранящиеся в Гарварде (Houghton Library), не выдают большого интереса к жизни на родине. Юсупов, высланный в одно из своих имений, тоже в конце концов перебрался на Запад. Пуришкевич был арестован большевиками, но затем выпущен. Впоследствии он присоединился к Белому движению и умер во Франции в 1920 году.

Трепов был смещен в конце декабря, и на его место взошел князь Н.Д.Голицын, которому суждено было стать последним премьер-министром старого режима. Сознавая свою непригодность к этой роли, Голицын просил царя отменить назначение ввиду слабого здоровья, преклонных лет и отсутствия опыта, но царь не желал ничего слушать. К тому времени, впрочем, Совет министров практически уже бездействовал, и поэтому должность председателя была чисто церемониальной.

Царская семья после возвращения Николая II из Ставки вела тихую жизнь в сравнительно небольшом Александровском дворце в Царском Селе. Они прекратили сношения почти со всеми родственниками, и в Рождество 1916 года не происходило привычного обмена подарками. Раз или два в неделю их посещал Протопопов с докладами, стараясь подладиться под царившее в этот день в доме настроение, о чем его заблаговременно осведомляла Вырубова[132]. Его доклады неизменно носили очень бодрый тон: что, мол, слухи о заговоре против царской семьи беспочвенны, что народ спокоен и у правительства достаточно сил, чтобы подавить любые беспорядки. Для пущей убедительности он организовал кампанию писем от простых людей, изливавшихся в выражениях любви и преданности престолу и нежелании никаких политических перемен. Александра Федоровна с гордостью показывала эти письма посетителям[133]. И эти же письма могли служить лишним подтверждением созревшему у царской четы убеждению, что все зачинщики беспорядков живут исключительно в столице. А о таком факте, что из-за необычайно суровой зимы железнодорожное сообщение в некоторых районах России полностью прекратилось, еще более истощив продовольственные и топливные запасы городов, царя в известность не поставили. Не сообщили ему и о том, что по улицам Петрограда бродят доведенные до отчаяния высокими ценами и дефицитом товаров, выброшенные с фабрик и заводов рабочие. Не достигала царя и информация, имевшаяся в распоряжении департамента полиции, — о заговорах с целью арестовать Николая и принудить его к отречению. Все идет хорошо, все контролируется, уверял царскую чету благодушный министр внутренних дел.

Жизнь в Царском Селе текла спокойно и неторопливо. Императрица подолгу оставалась в постели,

принимая у себя Вырубову, которая безопасности ради переселилась в Александровский дворец. Николай впал в депрессию, о чем ярко свидетельствовали его изборожденное морщинами лицо и ничего не выражающий взгляд. По утрам и после полудня он принимал сановников и иностранных дипломатов, а Александра слушала его беседы, сидя в особой задней комнате, за потайной дверью[134]. Днем он выходил на прогулку и иногда катался с детьми на моторных санях, которые соорудил один из его шоферов. По вечерам читал вслух из русской классики, играл в домино и составлял разрезные картинки. Время от времени во дворце смотрели кинофильмы, последней лентой в Царском Селе в конце февраля была «Мадам Дю Барри»[135]. Кое-кто из посетителей пытался предупредить их о близкой катастрофе. Александра в ответ только сердилась и, бывало, просила удалиться такого глашатая дурных вестей. Николай вежливо выслушивал, поигрывая папиросой или внимательно обследуя ногти и не проявляя большого интереса к предмету разговора. Он оставался глух к призывам вел. кн. Александра Михайловича, своего зятя и отца Ирины Юсуповой, одного из немногих великих князей, с которыми он еще поддерживал отношения[136]. Иностранцев же, осмелившихся подавать ему советы, он резко осаживал. Когда британский посол сэр Джордж Бьюкенен приехал в Царское с новогодним визитом и в беседе просил царя назначить премьер-министром кого-нибудь, кто пользуется доверием народа, царь ответил: «Так вы думаете, что Я должен приобрести доверие своего народа, или что он должен приобрести МОЕ доверие?»*.

* Buchanan G. My Mission to Russia. Boston, 1923. V. 2. P. 45—46; см. также сильно сокращенное рус. изд.: Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 194. [«Захаров» выпустит во второй половине 2005 г. новое издание этих мемуаров в полном переводе.] Ср.: Спиридович А.И. Великая война и февральская революция, 1914—1917 гг. Нью-Йорк, 1962. Т. 3. С. 14. По словам дочери Бьюкенена, Николай затем сказал, что слухи о нарастающих беспорядках преувеличенны и что армия спасет его. См.: Buchanan M. Petrograd, the City of Trouble. Lnd., 1918. P. 81. Николай получал от полиции донесения, что британское посольство поддерживает связь с антиправительственными группами в Думе и даже оказывает им финансовую помощь. См.: Воейков В.Н. С царем и без царя. Хельсингфорс, 1936. С. 175.

Власть, портящая, как известно, человека, в случае императора Николая не столько портила, сколько отдаляла его от людей.

Часто посещавший Царское Село в эти последние недели очевидец рассказывает, что атмосфера там напоминала траур в семье[137]. Дневники царя, которые он вел весьма регулярно, не дают представления о его мыслях или душевном состоянии; лишь 31 декабря, в день, когда он принимал английского посла и отказался внимать зловещим слухам, Николай записал, что они с императрицей «горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией!»[138]. 5 января 1917 года Голицын докладывал, что в Москве открыто говорят о «будущем царе», на что Николай ответил: «Мы с императрицей знаем, что все в руках Божиих. Да будет воля Его»[139].

Всегда сдержанный и спокойный, Николай лишь однажды потерял самообладание, приоткрыв за обычной внешне бесстрастной маской глубокое потрясение. Это случилось 7 января 1917 года во время визита Родзянко. Он, как обычно, вежливо выслушивал привычные предостережения, но когда Родзянко стал умолять «не заставлять народ выбирать между ним и благом страны», Николай «сжал голову руками» и сказал: «Возможно ли, что двадцать два года я старался делать как лучше и что все двадцать два года я ошибался?»[140]

* * *

Потерпев поражение в попытке изменить политику посредством ликвидации Распутина, консерваторы пришли к убеждению, что «есть только одно средство спасти монархию, это устранить монарха»[141]. Известно о двух заговорах, состоявшихся как раз с такой целью, но, всего вероятнее, их было больше. Один заговор был организован Гучковым. Как он сам вспоминал, он был уверен, что нарождающаяся русская революция не повторит пути французской революции 1848 года, когда рабочие свергли монархию и позволили взять бразды правления «лучшим людям». В России же, как предполагал Гучков, власть перейдет в руки революционеров, которые в одночасье страну погубят. Поэтому следует подготовить легальный переход монаршей власти от Николая к наследнику Алексею, при регентстве брата царя вел. кн. Михаила. Гучков привлек к своему замыслу товарища председателя Думы и члена Прогрессивного блока Н.В.Некрасова, крупного промышленника М.И.Терещенко (председателя военно-промышленного комитета в Киеве) и князя Д.Л.Вяземского. Конспираторы предполагали захватить царский поезд по дороге из Ставки в Царское Село и заставить Николая отречься в пользу сына[142]. Замысел этот далеко не продвинулся, так как заговорщикам не удалось заручиться широкой поддержкой, в особенности среди младших офицеров.

Большего достигли участники другого заговора, во главе которого стоял председатель Земгора и будущий премьер-министр первого Временного правительства князь Г.Е.Львов, а вторым человеком был начальник штаба генерал Алексеев[143]. Эта группа надеялась вынудить императрицу удалиться в Крым и убедить Николая вручить прерогативы монаршей власти вел. кн. Николаю Николаевичу. Заговорщики связались с великим князем, служившим тогда командующим на Кавказском фронте, через тифлисского городского голову А.И.Хатисова. Николай Николаевич попросил день на размышление и затем отверг предложение на том основании, что ни «мужики», ни солдаты не поймут необходимости такого переворота.

Хатисов телеграфировал Львову об отрицательном исходе дела, пользуясь заранее оговоренным шифром: «Госпиталь открыт быть не может». Но весьма показательно для настроений того времени, что Николай Николаевич не счел нужным известить своего государя о готовящемся заговоре.

Было множество толков о «декабристских» заговорах среди гвардейских офицеров и о террористских заговорах против императорской семьи[144], однако ни то ни другое, похоже, дальше пустых разговоров не заходило.

Протопопов, ослепленный властью премьер-министра Российской империи de facto, источал такую уверенность, что заставил многих современников действительно усомниться в его умственной полноценности. Он не придавал значения донесениям полиции о заговорах против царской семьи, сочтя заговорщиков, впрочем не без оснований, за досужих болтунов. Беспокойство ему доставляло другое, хотя он и был уверен, что сумеет справиться и с этой опасностью. На 14 февраля было назначено открытие двенадцатидневной сессии Думы. Полиция докладывала, что в обществе только об этом и говорят и что созыв Думы может послужить поводом для массовых антиправительственных демонстраций; однако и отмена созыва Думы могла поднять волну народного недовольства. Полиция считала насущной задачей предотвратить уличные демонстрации, дабы не вызвать столкновений с полицией и не подстегнуть восстания. Генерал К.И.Глобачев, начальник петроградского охранного отделения, 26 января сообщал Протопопову, что лидеры оппозиции, среди которых значились Гучков, Коновалов и Львов, уже числили себя законным правительством и распределяли министерские портфели[145]. Протопопов просил полномочий на арест Гучкова, Коновалова и других оппозиционеров, а также Центральной рабочей группы, которую они намеревались использовать для организации массовых выступлений[146]. Он бы с превеликим удовольствием засадил в тюрьму Гучкова заодно с тремя сотнями «бунтовщиков», которых считал душой нарождающегося восстания, однако не решался. Поэтому удовольствовался не менее полезной, на его взгляд, мерой, приказав арестовать

Рабочую группу, которая к тому времени (конец января) уже превратилась в откровенно революционную организацию.

Рабочая группа, руководимая Гвоздевым, проводила двойственную политику, типичную для меньшевиков, а позднее для возродившегося Петросовета, своего рода предтечей которого Рабочая группа была. С одной стороны, они поддерживали военные усилия и помогли Центральному военно-промышленному комитету сохранять рабочую дисциплину в оборонной промышленности. С другой стороны — бросали пламенные призывы к скорейшему свержению монархии и замене ее демократическим временным правительством — то есть призывали к политическому перевороту в разгар войны, которую при этом не собирались прекращать[147]. В их прокламации, выпущенной 26 января, заявляется, что правительство использует войну для порабощения рабочего класса. Конец войне, однако, не улучшит положение рабочих, «если ликвидировать войну будет не сам народ, а теперешняя самодержавная власть». Мир, достигнутый монархией, обернется для народа только «новыми цепями»: «Рабочему классу и демократии нельзя больше ждать. Каждый пропущенный день опасен — решительное устранение самодержавного режима и полная демократизация страны являются теперь задачей, требующей неотложного разрешения».

Прокламация заканчивалась призывом к фабричным рабочим быть готовыми к «общей организованной демонстрации» перед Таврическим дворцом (где заседала Дума), чтобы потребовать создания временного правительства[148].

Шаг, отделявший это воззвание от прямого призыва к насильственному свержению правительства, не был еще сделан, однако, что ни говори, подстрекательский характер прокламации очевиден. Известно, что Рабочая группа, поддерживаемая Гучковым и другими членами Прогрессивного блока, действительно планировала в день открытия заседаний Думы вывести на улицы Петрограда сотни тысяч рабочих с требованием радикальных перемен в правительстве; демонстрация должна была сопровождаться массовой стачкой[149]. Протопопов был намерен предотвратить это.

27 января, на следующий день после появления прокламации, все руководители Рабочей группы были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Протопопов проигнорировал возмущение деятелей промышленного комитета, полагая, что подавил в зародыше революционный переворот, запланированный на 14 февраля. (Месяц спустя, освобожденные рабочими, руководители Рабочей группы проследовали незамедлительно в Таврический дворец и помогли организовать Петроградский Совет.)

После ареста Рабочей группы Николай попросил бывшего министра внутренних дел Н.А.Маклакова составить проект манифеста о роспуске Думы. Выборы новой Думы — пятой — предполагалось перенести на декабрь 1917 года, то есть почти на год[150]. Слухи об этом вызвали чрезвычайное волнение в Думе[151].

Во избежание беспорядков в Петрограде в связи с открытием Думы Протопопов вывел Петроградский военный округ из подчинения Северного фронта, главнокомандующий которого, генерал Н.В.Рузский, подозревался в симпатиях к оппозиции. Новым командующим военного округа был назначен атаман уральских казаков генерал С.С.Хабалов[152].

Эти меры возымели желаемый результат. Арест Рабочей группы и строжайшие предостережения Хабалова заставили отменить демонстрацию 14 февраля в поддержку Думы. Но при всем том 90 тыс. рабочих Петрограда в этот день бастовали и провели мирную манифестацию в центре столицы[153].

Между тем управление страной забуксовало. Совет министров практически бездействовал, так как его члены под тем или иным предлогом перестали приходить на заседания, и даже Протопопов не появлялся[154].

И в этот, наиболее опасный для монархии момент был обезглавлен департамент полиции: генерал П.Г.Курлов, личный друг Протопопова, которого министр пригласил занять пост директора, натолкнулся на сильнейшее противодействие со стороны Думы и, прослужив короткое время в качестве управляющего, был вынужден уйти, даже не дожидаясь замены[155]. Шеф Особого отдела полиции, занимающегося контрразведкой, — И.П.Васильев писал впоследствии, что при Протопопове его отдел не получал никаких особых поручений[156]. Оппозиция открыто смеялась над запретом правительства на проведение митингов и собраний. Военная цензура в январе 1917 года тоже не действовала, потому что издатели газет и журналов не утруждали себя отсылкой предварительной копии в Цензорский комитет[157].

Но Протопопова, черпавшего беспредельный оптимизм в ежевечерних общениях с духом Распутина, все это не волновало[158].

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Вслед за двумя сравнительно мягкими зимами пришла необыкновенно суровая зима 1916/1917 годов: в Петрограде в первые три месяца 1917 года средняя температура была 12 градусов ниже нуля в сравнении с 4 градусами в то же время прошлого года. В феврале 1917 года температура падала в среднем до 14 градусов. В Москве было еще морозней: до 16,7 градуса ниже нуля[1]. Холода стояли такие, что крестьянки не решались пускаться в путь на городские рынки. Железнодорожные пути заметало гигантскими сугробами, и не хватало рук расчистить эти заносы. Даже локомотивы в такую стужу выходили из строя, и иногда приходилось часами их растапливать, чтобы создать давление. Суровые погодные условия усугубили тяжкую транспортную проблему. На тридцатый месяц войны большая часть подвижного состава была сильно изношена и выведена из строя. К середине февраля 1917 года в России действовало лишь три четверти от довоенного железнодорожного оборудования, и из этого числа большая доля стояла на приколе из-за суровых погодных условий: зимой 1916/1917 годов 60 тыс. вагонов, груженных продовольствием и топливом, не могли сдвинуться с места из-за снежных заносов — а это составляло одну восьмую всего грузового состава[2].

Нарушение снабжения имело катастрофические последствия для северных городов, в особенности для Петрограда. Запасов хлеба в столице, по-видимому, было достаточно. По словам генерала С.С.Хабалова, командующего округом, 25 февраля на городских складах было 9 тыс. тонн муки — количество, более чем достаточное на несколько дней жизни города[3]. Однако из-за нехватки топлива простаивали пекарни. Приблизительно в двадцатых числах февраля по городу поползли слухи о том, что правительство собирается ввести норму на хлеб по фунту на взрослого человека. Началась паническая закупка, опустошавшая булочные до последней крошки[4]. Образовались гигантские очереди, нередко люди стояли всю ночь напролет на жгучем морозе, чтобы оказаться первыми, когда утром откроются хлебные лавки. Люди были раздражены, и часто в толпе вспыхивали ссоры и драки. Даже сотрудники полиции жаловались на то, что им нечем кормить свои семьи[5]. Одновременно из-за топливного кризиса останавливались заводы. 21 февраля закрылся Путиловский завод. Десятки тысяч праздных рабочих хлынули на улицы.

Ничто лучше не иллюстрирует отстраненность правительства от реальности, чем решение царя в этот напряженнейший и сложнейший момент отправиться в Могилев. Он намеревался провести там неделю для совещаний с генералом Алексеевым, только что возвратившимся в Ставку после лечения в Крыму. У Протопопова это решение не вызвало никаких сомнений. Вечером 21 февраля он уверял государя, что беспокоиться не о чем и он может ехать со спокойным сердцем в уверенности, что тыл в надежных руках. К вечеру следующего дня царь уехал. А две недели спустя он уже вернулся как частное лицо — «Николай Романов», и под конвоем. Безопасность столицы была вверена весьма некомпетентным людям: военному министру генералу М.А.Беляеву, поднявшемуся на эту высоту по ступенькам военной бюрократической лестницы и получившему среди коллег прозвище «мертвая голова», и командующему округом генералу Хабалову, профессиональный опыт которого не выходил за рамки канцелярий и военных академий.

Внезапно погода в Петрограде переменилась и температура, поднявшись до 8 градусов выше нуля, не опускалась уже до конца февраля[7]. Горожане, так долго просидевшие взаперти из-за стужи, высыпали под ласковые лучи солнца. На фотографиях, запечатлевших события февральской революции, можно видеть веселые лица людей и ясное небо. Сюрпризы погоды сыграли немалую роль в исторических событиях тех дней.

На следующий день после отъезда царя в Ставку в Петрограде начались беспорядки, которые уже не стихали до падения монархии.

Во вторник, 23 февраля (8 марта), был Международный женский день. Процессия, организованная социалистами, прошла по Невскому к Городской думе — с требованиями женского равноправия, а заодно и хлеба. Повсюду на улицах можно было встретить казаков; толпы зевак рассеивала полиция.

Одновременно рабочие (по различным свидетельствам от 78 до 128 тыс. человек) объявили забастовку протеста против нехватки продуктов[8]. Однако день прошел сравнительно спокойно, и к шести часам вечера улицы приняли нормальный вид. Власти, хотя и не были подготовлены к демонстрации такого размаха, все же сумели обойтись без применения оружия. Губернатор Петрограда А.П.Балк и Хабалов

делали все возможное, чтобы избежать столкновений с народом, опасаясь внести политическую ноту в пока еще чисто экономические волнения. Охранка, однако, докладывая о событиях, имевших место 23 февраля и на следующий день, отмечала, что казаки отказывались входить в столкновение с толпой. Подобные наблюдения сделал и Балк[9].

Атмосфера отягощалась нападками на правительство, прозвучавшими и под сводами Таврического дворца, где с 14 февраля проходили заседания Думы. Февральская революция разворачивалась на фоне несмолкающей трескотни антиправительственных речей. И повели наступление на власти все те же, уже знакомые нам лица: Милюков, Керенский, Чхеидзе, Пуришкевич — обвиняя, требуя, угрожая. Их поведение в некотором смысле было не менее безответственно, чем поведение Протопопова и тех сановников, которые отнеслись к волнениям как к провокации жалкой кучки агитаторов.

24 февраля ситуация в Петрограде обострилась. Теперь на улицах было уже порядка 160—200 тыс. рабочих, частью бастующих, частью предоставленных самим себе из-за локаута, объявленного на их предприятиях. Испугавшись настроений рабочих окраин, расположенных за Невой, власти выставили кордоны на мостах, ведущих к центру города. Но рабочие легко обошли это препятствие, переходя Неву по льду. Катализатором волнений стала радикальная интеллигенция, в основном так называемые межрайонцы, то есть социал-демократы, ратующие за объединение большевиков и меньшевиков и выдвигавшие программу с призывом к немедленному прекращению войны и к революции[10]. Их лидер Лев Троцкий в это время находился в Нью-Йорке. Весь день проходили стычки между полицией и демонстрантами. Кое-где толпа громила магазины, творила иные бесчинства[11]. Повеяло особым духом русского бунта, духом безграничного насилия без цели и разбора — голая жажда разрушения, описываемого словами «погром» или «разгром». На Невском толпа организовалась в процессию, двинувшуюся с лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой войну!» И снова казаки явно не выказывали желания подчиняться приказам.

Понимая серьезность продовольственной проблемы, власти провели вечером 24 февраля совещание на высшем уровне. Присутствовали большинство членов Городской думы и министры, за исключением Голицына, которого не известили, и Протопопова, про которого говорили, что он, по всей видимости, занят спиритическим сеансом[12]. Петроградской думе было, наконец, даровано долгожданное право распоряжаться распределением продовольствия.

На следующий день бунтующие, не встретив суровых репрессивных мер, стали еще агрессивней. Демонстрации, проходившие в этот день, были явно организованы, ибо приобрели отчетливый политический оттенок. Появились красные знамена, революционные транспаранты, на которых помимо прочего можно было увидеть: «Долой немку!» К этому времени почти все промышленные предприятия города были закрыты и около 200—300 тыс. праздных рабочих заполонили улицы. На Казанской площади, в середине Невского, собралась толпа студентов и рабочих, они выкрикивали лозунги и пели «Марсельезу». Неподалеку оттуда в Гостином дворе были убиты трое гражданских. В другом месте бросили гранату в жандармов. Толпа, оттерев полицейского офицера от команды, избила его до смерти. Особенно часто нападения на полицию совершались на Выборгской стороне, где радикалы объявили «свободными» отдельные районы[13].

Императрица следующим образом описывала события того дня: «Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя»[14].

Интеллигенты-социалисты только уже по ходу дела поняли, что начинается революция. 25 февраля меньшевистские депутаты Думы обсуждали вопрос о созыве «Совета рабочих»[15]. И все же можно утверждать, что на начальной стадии волнения в Петрограде — а пока нигде больше беспорядков не наблюдалось — были по сути голодными бунтами, и политическое значение, которое им хотели придать интеллектуалы из меньшевиков и межрайонцев, отражало в основном их собственные чаяния. Таково, по крайней мере, было мнение ведущего петроградского большевика А.Г.Шляпникова. Когда ему сообщили, что в городе начинается революция, Шляпников проворчал: «Какая там революция! Дадут рабочим по фунту хлеба, и движение уляжется»[16].

Если еще оставалась какая-то надежда справиться с беспорядками в городе, то телеграмма царя, полученная Хабаловым вечером 25 февраля и требующая подавить беспорядки военной силой, всякую надежду похоронила. Чтобы понять мотивы, руководившие царем, следует иметь в виду, что ни он, ни находившиеся в Ставке генералы не понимали серьезности ситуации в столице, благодаря заботам Протопопова, который велел полиции «смягчать» донесения в Ставку[17]. В рапортах Хабалова в Могилев от 25-го и 26 февраля обстановка описывалась как вполне управляемая[18]. В результате еще 26 февраля никто в Могилеве не представлял себе истинной серьезности происходящего[19].

Информация, имевшаяся в распоряжении Ставки, давала основания полагать: демонстрация силы может восстановить порядок. В телеграмме царь писал, что в то время, когда солдаты мерзнут в окопах и готовы отдать жизни в весеннем наступлении, нельзя терпеть беспорядки в тылу: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией»[20]. Хабалов впоследствии говорил, что его очень удручило царское повеление идти на вооруженное столкновение с восставшими[21] — то есть толкающее как раз к тому, чего в городе пытались избежать. Покорный монаршей воле, он издал два распоряжения. Одно из них запрещало уличные собрания и

предупреждало, что войскам отдан приказ вести огонь по демонстрантам. Другое предписывало бастующим рабочим вернуться на предприятия до 28 февраля, те же, кто не подчинится приказам, лишаются отсрочки от военной службы и подлежат отправке на передовую[22]. Приказы эти срывали, едва лишь их успевали расклеить[23]. В одной из трех записок мужу 25 февраля императрица советовала не стрелять по демонстрантам. Она удивлялась, что не введено нормирование продуктов и не военизированы заводы: «Этот продовольственный вопрос может свести с ума», — заключала она[24].

В ночь с 25-го на 26 февраля власти утратили контроль над рабочими кварталами, в особенности на Выборгской стороне, где рабочие громили и поджигали полицейские участки.

Воскресным утром 26 февраля Петроград был занят военными частями в боевом снаряжении. Жителям было запрещено выходить из домов. Мосты через Неву были подняты. Утром все было спокойно, но к полудню тысячи рабочих, ожидая, какой оборот примут события, стали переходить реку по льду и заполнять центр города. Во второй половине дня во многих районах столицы войска открывали огонь по скоплениям людей. Самый кровавый инцидент произошел на Знаменской площади, в центре которой высилась знаменитая конная статуя Александра III работы скульптора П.П.Трубецкого, — это было излюбленное место сборищ политических агитаторов. Когда собравшиеся отказались разойтись, рота Волынского гвардейского полка открыла огонь — было убито 40 человек и столько же ранено*.

* Согласно Е.И.Мартынову (Царская армия в февральском перевороте. Л., 1927. С. 85), войска применяли пулеметы. Но это почти наверняка не так. Унтер-офицер, участник этих событий, заявлял, что войска вообще стреляли в воздух, а в гибели людей был повинен один пьяный офицер. См.: Былое. 1917. № 5/6 (27/28). С. 8-9.

Обращение к силе дало ожидаемый результат: к ночи в столице все было спокойно. Н.Н.Суханов, оставивший лучшее описание событий в Петрограде в 1917 году, участником которых он был, считал, что правительству удалось восстановить контроль над центром города[25]. В этот вечер был пышный прием у княгини Радзивилл, о котором петербургское общество говорило уже несколько недель.

Вид ее ярко освещенного дома на Фонтанке навел французского посла Мориса Палеолога на аналогию с Парижем в 1789 году[26].

Чтобы устранить главный рассадник политической оппозиции, царь повелел отложить заседания Думы до апреля. Голицын сообщил об этом Родзянко поздно вечером 26 февраля.

С наступлением ночи, казалось, все стихло. Но затем произошел целый ряд событий, и по сей день поражающих своей внезапностью и размахом: мятеж Петроградского гарнизона, за сутки превративший половину войск в повстанцев, а к 1 марта охвативший всю 160-тысячную солдатскую массу.

Понять случившееся невозможно, не приняв во внимание состав и условия содержания Петроградского гарнизона. Гарнизон состоял, собственно, из новобранцев и отставников, зачисленных в пополнение ушедших на фронт запасных батальонов гвардейских полков, квартировавшихся в мирное время в Петрограде. Перед отправкой на фронт им предстояло в течение нескольких недель проходить общую военную подготовку. Численность сформированных с этой целью учебных частей превосходила всякую допустимую норму: в некоторых резервных ротах было более 1000 солдат, а встречались батальоны по 12—15 тыс. человек; в общей сложности 160 тыс. солдат были втиснуты в казармы, рассчитанные на 20 тыс.[27]. Резервисты, набранные из народного ополчения, многим из которых было сильно за тридцать и даже за сорок, чувствовали себя обиженными судьбой. Здесь, в Петрограде, они подверглись обычным для русских солдат унижениям: офицеры к ним обращались на «ты» и им запрещалось ездить внутри вагонов городского транспорта[28]. Хоть и облаченные в шинели, они по сути ничем не отличались от рабочих и крестьян, которых встречали на улицах Петрограда и в которых сейчас им было приказано стрелять. Родзянко, имевший возможность близко наблюдать их, так описывал события неделю спустя: «Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому подобных я еще не видел и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только слышно было в толпе: «Земли и воли», «Долой династию», «Долой Романовых», «Долой офицеров», и началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея»[29]*.

* П.Е.Щеголев, опубликовавший переговоры Родзянко с Рузским в сб. «Отречение Николая II» (Л., 1927. С. 242), сделал к этому отрывку такое примечание: «Угловатость фразы вызвана, по-видимому, ошибками телеграфиста».

Февральская революция часто описывается как рабочее восстание, поэтому важно подчеркнуть, что в первую очередь это был солдатский мятеж — бунт вчерашних крестьян, которых власти из экономии содержали в переполненных казармах в самом сердце империи, что, по словам одного современника, было «равносильно раскладыванию костров вокруг порохового погреба».

Судьба царского режима всецело зависела от благонадежности армии, поскольку обычные органы охраны порядка — полиция и казаки — не обладали достаточной численностью, чтобы справиться с многотысячными толпами манифестантов. В феврале 1917 года насчитывалось всего 3,5 тыс. полицейских, вооруженных устаревшими японскими винтовками, и несколько казачьих рот, по необъяснимой причине лишенных оружия устрашения — нагаек[30]. Говоря в беседе с английским послом, что армия его спасет, царь

тем самым признавал свою зависимость от настроений в войсках. Однако лояльность войск поколебалась, когда они получили приказ стрелять по безоружным людям. Русским солдатам всегда претило, чтоб их использовали против гражданских, но теперь такая роль им нравилась всего менее, ибо, еще «зеленые» рекруты, они по-прежнему жили гражданскими интересами и сочувствовали гражданским нуждам. Наблюдая поведение казаков и солдат в эти критические дни, Суханов почувствовал, что они ищут лишь предлога, чтобы присоединиться к демонстрантам[31].

Такое же мнение высказывалось в одном из последних донесений охранки от 26 февраля, составленном незадолго до разгрома ее восставшими: «Движение вспыхнуло стихийно, без подготовки, и исключительно на почве продовольственного кризиса. Так как воинские части не препятствовали толпе, а в отдельных случаях даже принимали меры к парализованию начинаний чинов полиции, то массы получили уверенность в своей безнаказанности, и ныне, после двух дней беспрепятственного хождения по улицам, когда революционные круги выдвинули лозунги «долой войну» и «долой правительство», — народ уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть бессильна подавить движение в силу того, что воинские части не сегодня-завтра выступят открыто на стороне революционных сил, что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва расти до конечной победы и государственного переворота»[32].

Царский генерал Е.И.Мартынов, после октябрьского переворота перешедший на службу к большевикам и прекрасно описавший роль армии в февральской революции, критически отзывается о пассивности царских властей в ситуации братания петроградского гарнизона с восставшими. Он противопоставил их поведение энергичным мерам, предпринятым французским президентом Тьером в марте 1871 года: едва лишь началось братание войск с парижской толпой, Тьер отвел их в Версаль, откуда они позднее повели наступление и захватили столицу[33]. Беляев и Хабалов же, наоборот, беспомощно наблюдали разрастающийся бунт.

Первые шатания дисциплины в гарнизоне начались вечером 26 февраля в ответ на столкновение на Знаменской площади. Взволнованные случившимся рабочие пришли на Марсово поле, где стоял Павловский полк. Они рассказали солдатам 4-й роты Резервного батальона, что их собратья-волынцы стреляли по безоружным. Разгневанные павловцы ворвались в арсенал, захватили тридцать винтовок и вышли на улицу. Группа в сотню человек двинулась к Невскому с твердым намерением уговорить или заставить волынцев прекратить стрельбу. По дороге они столкнулись с отрядом конной полиции, и между ними завязалась перестрелка. Лидер бунтовщиков, молодой поручик, получил тяжелое ранение. Оставшись без командира, бунтовщики растерялись. Другие гарнизонные части их не поддержали. К ночи, когда павловцы вернулись в казармы, девятнадцать зачинщиков волнений были взяты под арест[34]. В телеграммах, отправленных в этот вечер в Могилев, Хабалов и Беляев упомянули о беспорядках в некоторых воинских частях, но заверили царя, что волнения будут подавлены[35].

Если поставить задачу определить конкретную дату начала февральской революции, то такой датой можно считать 27 февраля (12 марта) 1917 года, когда «рабочие демонстрации превратились в солдатский бунт»[36] и царские власти потеряли контроль над столицей. Самый значительный из описанных в истории, военный бунт начался с Павловского полка. Всю ночь солдаты митинговали, выражая возмущение расстрелом на Знаменской площади, и в конце концов проголосовали за неподчинение приказам стрелять в демонстрантов. Были отправлены гонцы в расположенные поблизости Преображенский и Литовский гвардейские полки, которые присоединились к этому решению. На следующее утро уже три полка вышли на улицы. В Павловском полку убили офицера. Солдаты громили казармы жандармских рот. Сметая с пути верные правительству пикеты, бунтовщики продвигались на Выборгскую сторону, где к ним присоединились восставшие рабочие. Мятежные солдаты разъезжали по городу в захваченных бронемашинах, крича и размахивая оружием. Всякий, кто попадался им на пути, рисковал оказаться жертвой самосуда. Часть солдат устремилась в Петропавловскую крепость и освободила узников. Толпа разгромила министерство внутренних дел. Над Зимним дворцом вознесся красный флаг. Полицейских, на свою беду оказавшихся в форме, избивали и убивали. Вечером толпа ворвалась в охранное отделение и начала крушить и жечь архивные документы — особое рвение при этом, по наблюдениям очевидцев, проявили тайные осведомители. Взламывались оружейные склады и похищались во множестве винтовки. Повсюду грабили магазины, рестораны и даже частные квартиры.

К ночи Петроград оказался в руках крестьян в шинелях. Из 160 тыс. солдат гарнизона половина бунтовала, а другая сохраняла «нейтралитет». Хабалов мог полагаться только на тысячу—две верных частей, в основном из Измайловского полка[37]. Лишь с полдюжины общественных зданий оставалось в руках правительства.

Скорость, с которой бунт распространился по Петроградскому гарнизону 27 февраля, нельзя объяснить только накопившимся у солдат крайним недовольством, хотя и это тоже, конечно, имело место. Но развитие бунта говорит о том, что ничего нельзя было сделать, чтобы его остановить. Это был вовсе не армейский бунт из тех, что в период войны случались в других странах, в том числе во Франции и Германии, но типичный русский бунт с мощным анархистским оттенком*. Взбунтовавшиеся были в большинстве своем рекрутами из крестьян 80-х годов рождения, и наследие трехсотлетнего рабства было у них в крови. Они оставались покорными лишь до тех пор, пока непослушание влекло за собой возмездие, но едва почувствовав безнаказанность за самые дикие свои поступки, мгновенно выходили из повиновения.

Хронология бунта указывает на то, что начался он с Павловского полка, восставшего в ночь с 26-го на 27 февраля вслед за безуспешным выступлением одной из рот. Беляев предлагал участников беспорядков отдать под трибунал, признанных виновными казнить, но Хабалов своей властью распорядился только арестовать зачинщиков[38]. Это было фатальным слабоволием. Троцкий, сам в подобной ситуации без колебаний применявший жесткие меры, следующим образом описывал психологию русских на пороге военного бунта: «Критический час соприкосновения напирающей массы и преграждающих путь солдат имеет свою критическую минуту: это когда серая застава еще не рассыпалась, еще держится плечо к плечу, но уже колеблется, а офицер, собрав последнюю силу решимости, отдает команду «пли». Крик толпы, вопль ужаса и угрозы заглушают голос команды, но только наполовину. Ружья колышутся, толпа напирает. Тогда офицер направляет дуло револьвера на самого подозрительного из солдат. Из решающей минуты выступает ее решающая секунда. Гибель наиболее смелого солдата, на которого невольно оглядываются остальные, выстрел по толпе унтера из винтовки, выхваченной у убитого, — застава смыкается, ружья разряжаются сами, сметая толпу в переулки и дворы»[39].

* В апреле — июне 1917 года бунты происходили во французских войсках на Западном фронте. Поводом для недовольства послужили крупные потери, понесенные в Нивельском наступлении, однако весть о русской революции, приведшая к восстанию русских частей, стоящих во Франции, также сыграла свою роль. Беспорядки охватили 54 дивизии: в мае 1917 года французская армия была неспособна вести наступательные операции. И все же бунт, который французское правительство сумело долгое время держать в тайне, был подавлен и ни в коей мере не угрожал гибелью государства — весьма показательный пример национальной и политической крепости Франции в сравнении с Россией (см.: Williams J. Mutiny 1917. Lnd., 1962; Watt R. M. Dare Call It Treason. N. Y., 1963).

26 февраля рука имперской власти дрогнула: как только она поколебалась расстрелять «самых подозрительных солдат», порядок рухнул и бунт стал разгораться подобно пожару.

Государь император все еще не представлял себе тяжести положения. Понятно поэтому, как он был раздражен, когда 26-го вечером ему показали телеграмму от Родзянко, столь несоответствующую донесениям Хабалова и Беляева: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца»[40].

Царь предпочел проигнорировать предостережение Родзянко, уверенный, что тот распространяет панику, чтобы вырвать политические уступки для Думы. На следующий день пришла еще одна телеграмма от председателя Думы: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии»[41]. Николай взглянул на телеграмму и обратился к своему адъютанту барону Фредериксу со словами: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать»[42].

Но уже в тот же день царское хладнокровие подверглось суровой проверке, ибо панические известия Родзянко получили подтверждение из источников, которым царь доверял несравненно больше. Пришла телеграмма от Хабалова, в которой он сообщал, что не в состоянии предотвратить запрещенные сборища, так как войска взбунтовались и отказываются стрелять в население[43]. Было несколько телеграмм от императрицы, в одной из которых она настойчиво убеждает: «Уступки необходимы»[44]. Вел. кн. Михаил советовал распустить Совет министров и заменить его кабинетом, ответственным перед Думой, под председательством князя Г.Е.Львова. Он предлагал себя в качестве регента*. В два часа пополудни Голицын от имени Совета министров сообщал царю, что бушующая толпа вышла из-под контроля и что Совет собирается уйти в отставку в пользу думского министерства, предпочтительно под председательством Львова или Родзянко. Кроме того, он рекомендовал ввести военное положение и назначить ответственным за безопасность в столице популярного генерала с боевым опытом[45]. Николай попросил Воейкова связаться с военным министром Беляевым, чтобы получить подтверждение. Беляев подтвердил, что Петроград стал неуправляем[46]. Решающую роль сыграла телеграмма от обер-гофмаршала графа П.К.Бенкендорфа, который спрашивал, желает ли государь, чтобы его жена и дети выехали к нему. Дети в это время болели корью, и царь, не желая, чтобы они пускались в дорогу, принял решение вернуться в Царское Село и отдал распоряжение подготовить свой поезд к отправке этой же ночью (с 27-го на 28 февраля)[47].

* Мартынов. Царская армия. С. 105; КА. 1927. №2(21). С. 11 — 12. Сообщение подписал вел. кн. Михаил, но оно явилось результатом совместного творчества его самого, премьер-министра Голицына, Родзянко, Беляева и Крыжановсгого (см.: Революция. Т. 1. С. 40).

Николай, наконец, понял, что в столице серьезные неприятности, но все еще не осознал их глубину и силу: подобно Людовику XVI 14 июля 1789 года, он полагал, что имеет дело с восстанием, а не с революцией. Он верил, что беспорядки можно подавить силой. Об этом говорят два его решения. Отвергнув предложение председателя Совета министров о передаче правления думскому кабинету, он повелел министрам оставаться на местах[48]. Однако предложение того же Голицына о назначении военного диктатора, ответственного за безопасность Петрограда, он принял. На эту роль он выбрал шестидесятишестилетнего

генерала Н.И.Иванова, который отличился в галицийской кампании 1914 года и имел солидный опыт службы в жандармерии. Во время обеда в Ставке в тот день царь, выглядевший бледным, печальным и взволнованным[49], отозвал в сторону генерала Иванова и имел с ним долгую беседу. Иванову было приказано отправиться в Царское Село во главе лояльных армейских частей для обеспечения безопасности императорской фамилии, а затем, в качестве новоназначенного командующего Петроградским военным округом, взять на себя командование полками, направленными с фронта ему на подмогу. Все министры переходили в его подчинение[50]. В девять часов вечера Алексеев передал генералу Данилову, начальнику штаба Северного фронта в Пскове, распоряжение обеспечить отправку двух кавалерийских и двух пехотных полков, состоящих из «самых прочных, надежных» солдат и «смелых» офицеров, в помощь генералу Иванову[51]. Сходный приказ был получен и штабом Западного фронта[52]. Размер военного контингента — восемь боевых полков, усиленных пулеметными командами, — указывал на то, что Николай и генералы планировали провести крупную операцию по подавлению бунта.

Иванов поднял по тревоге стоявший на охране Ставки батальон георгиевских кавалеров, то есть ветеранов, получивших ранения и награжденных Георгиевским крестом за храбрость, проявленную в бою. В разговоре с друзьями Иванов казался далеко не уверенным в благонадежности своих людей и успехе своей миссии[53]. Отряд из 800 человек выехал поездом из Могилева около одиннадцати утра, направляясь в Царское Село самым прямым путем — через Витебск и Дно. Сам Иванов выехал два часа спустя.

Теперь, когда мы знаем, что миссия Иванова не состоялась, трудно сказать, могла бы она быть успешной, действуй царь в последующие дни решительней. Однако замысел представляется не столь безнадежным, как в это, похоже, уверовали политики и даже генералы под влиянием политиков. 27 февраля восстанием был охвачен только Петроград; за исключением нескольких стачек солидарности в Москве, повсюду в стране было спокойно. Решительные действия дисциплинированных фронтовых частей могли бы подавить восстание, которое пока еще было лишь гарнизонным бунтом. Однако на этот план махнули рукой потому, что политики убедили себя — и, как показали дальнейшие события, напрасно, — будто лишь Дума способна восстановить порядок. Они сумели убедить и генералов оказать давление на царя и вынудить его отказаться от власти. В действительности политические уступки, когда они наконец были сделаны, дали эффект, противоположный ожидаемому, превратив бунт Петроградского гарнизона в народную революцию.

О том, что Петроградский гарнизон превратился в сброд, не способный к сопротивлению, ярко свидетельствует эпизод, произошедший 28 февраля на открытии заседаний новообразованного Совета. Как вспоминал Шляпников, после того как Чхеидзе открыл собрание и исполнительный комитет сделал отчет о своей деятельности, «по докладу были выступления, но значительная доля их не имела прямого отношения к отчету. Выступали солдаты — представители некоторых полков с приветствиями и поздравлениями с «победой народа». Благодаря этим выступлениям заседание Совета быстро превратилось из делового в митинговое... Около Таврического дворца раздается пулеметная пальба. Звуки выстрелов проникают и в комнату собрания, долетают и до чутких ушей солдат. Моментально создается паника, люди бросаются сплошною массою к дверям, волной выкатываются в Екатерининский зал. Солдаты, находившиеся в этой огромной зале, также стремились к выходу в различных направлениях. Некоторые бросились бить окна, выходящие в сад, намереваясь выпрыгнуть через разбитые стекла»[54].

Царский поезд — голубой с золотой отделкой — выехал из Могилева 28 февраля в пять часов утра, опережая Иванова и его экспедицию. Перед царским шел свитский поезд — с штабом и военной охраной. Однако, чтобы не помешать миссии Иванова, царский поезд двинулся не кратчайшим, а кружным путем[55], взяв вначале на восток — в направлении Москвы, а затем у Вязьмы изменив курс на северо-запад, в сторону станции Бологое. Этот виток имел серьезные последствия. Иванов приехал в Царское, как и планировалось, 1 марта. Если бы царский поезд проследовал тем же путем 2 марта, когда Николая принуждали к отречению, его жена была бы рядом с ним. И императрица была уверена, что в таком случае он смог бы противостоять требованиям оставить трон.

Весь день 28 февраля путешествие царского поезда и свиты проходило без всяких приключений. Но около часа ночи, когда свитский поезд въехал в Малую Вишеру, в 170 километрах к юго-востоку от столицы, офицер доложил, что пути впереди в руках «недружелюбно настроенных солдат». Когда чуть позднее в Малую Вишеру вошел царский поезд, государя разбудили. После краткого совещания было решено вернуться в Бологое и оттуда проследовать в Псков, где имелся телеграфный аппарат Хьюза для прямых переговоров и располагался штаб Северного фронта под командованием генерала Н.В.Рузского. Воейков, бывший свидетелем этого эпизода, рассказывал, что царь все это время проявлял удивительную выдержку[56]. Царский поезд достиг Пскова 1 марта в 7.05 вечера.

Встречал царя городской голова, но Рузского, ко всеобщему недоумению, не было. Он появился через несколько минут; по словам Дубенского, «Рузский шел согбенный, седой, старый, в резиновых калошах... Лицо у него бледное, болезненное, и глаза из-под очков смотрели неприветливо»[57]. Рузский, которому суждено было сыграть критическую роль в разворачивавшихся событиях, по положению уступавший только Алексееву, был, очевидно, самым «политизированным» из всех генералов командования. Ему часто приходилось сталкиваться с Протопоповым по вопросам продовольственного снабжения и по поводу решения о выводе Петроградского округа из его подчинения. Все его симпатии были целиком на стороне думской оппозиции. Он не любил Николая и считал монархию анахронизмом. «Николаю, таким образом, предстояло прожить самые критические два дня своей жизни под влиянием военачальника, настроенного

решительно против него»[58]. С первой минуты появления царя в Пскове Рузский стремился убедить его сначала даровать уступки Думе, а затем и отречься*.

* Рузский был арестован большевиками в сентябре 1918 года в Пятигорске, куда переехал, выйдя в отставку, и в следующем месяце убит в числе других 136 жертв террора. Он всячески старался очистить свое имя от обвинений, будто это он принудил Николая II к отречению. Императрица Александра Федоровна в письме мужу 3 марта 1917 года назвала Рузского Иудой (см.: КА. 1923. № 4. С. 219). О его судьбе см.: Вильчков-ский С.Н.//РЛ. 1922. № 3. С. 161-186.

В тот же вечер в Пскове ожидали Родзянко, который должен был дать подробный рапорт о положении в столице, но Совет министров запретил ему покидать город. В 8.41 вечера об этом стало известно в Пскове[59].

Царь и не представлял, насколько он не у дел с тех пор, как события стали развиваться по своим внутренним законам. Гражданские и военные чиновники никак не могли повлиять на ситуацию: 1 марта политическое противоборство шло не между царем и Думой, а между Думой и новым претендентом на власть — Петроградским Советом.

* * *

Когда мятежники сделали свое дело, центр внимания переместился в Таврический дворец. Накануне думские лидеры узнали, что царь повелел прервать сессию Думы. Под давлением радикалов Родзянко назначил на следующее утро заседание Прогрессивного блока с советом старейшин, состоявшим из представителей различных думских партий[60]. Теперь у Думы появился шанс продемонстрировать решимость, отклонив повеление царя и созвав новое революционное собрание. Дума так долго стояла на переднем крае оппозиции к царизму, что, когда город охватил хаос, люди невольно обратили взор к Думе в ожидании руководящей воли. Все надеялись, что Дума сможет тотчас же сформировать кабинет и взять на себя управление страной.

Но теперь, когда наконец столь долгожданная власть сама шла в руки, Дума спряталась за формальное соблюдение законопорядка.

Ведь Николай II был все еще монархом, и поскольку он запретил временно заседания Думы, у нее не было законного права продолжать работу. Некоторые левые и правые депутаты требовали проигнорировать желание царя, но Родзянко не уступал; напротив, он отправил царю телеграмму с просьбой предоставить Думе полномочия на формирование кабинета министров. К полудню он согласился обсуждать с советом старейшин дальнейший курс действий. Старейшины Думы были очень взволнованы. Они опасались, что их неповиновение монаршей воле может подлить масла в огонь народных страстей и способствовать анархии. В то же время они считали невозможным пребывать в инертности, когда к Думе стекаются толпы демонстрантов, требуя действий. 27 февраля толпа в 25 тыс. человек заполнила пространство перед Таврическим дворцом, некоторые проникли даже во дворец.

Зажатые в угол, старейшины выработали уклончивое, компромиссное решение. Из уважения к монаршей воле они просили депутатов собраться в 2.30 пополудни в другом зале Таврического дворца, так называемом Полуциркульном, на «частное совещание». Присутствовали большинство членов Прогрессивного блока вкупе с социалистами, но без консерваторов. Вот как описывает эту сцену Шульгин: «Он [зал] едва вместил нас: вся Дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись, остальные... Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто — была улица... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала Та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно. Потому что они были бледны, с тайно сжимающимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла Смерть...»[61]

После беспорядочной дискуссии, в ходе которой сторонники немедленного захвата власти советом старейшин столкнулись с более осторожными приверженцами законных методов, было решено сформировать исполнительный комитет в составе двенадцати членов Думы, по-прежнему частным порядком, под названием «Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношений с учреждениями и лицами». Возглавляемый Родзянко, этот комитет первоначально включал представителей Прогрессивного блока с добавлением двух социалистов (Керенского и Чхеидзе), представляя собой таким образом коалицию, охватывающую политический спектр от умеренных националистов до меньшевиков. Нелепое и неудобочитаемое название комитета отражало робость его организаторов. Революционный подъем масс, которого представители Думы так долго ждали, застал их врасплох: искушенные в перепалках с министрами, они не имели никакого представления о том, как справиться с разъяренной толпой. Они не умели взять власть, просто идущую им в руки. Зинаида Гиппиус, сравнивая робость думских лидеров с решительным поведением радикальной интеллигенции в Совете, отметила в своем дневнике психологические препятствия, которые они не могли преступить: «Только просить могли у «законной власти». Революция свергла эту власть — без их участия. Они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности, — сверху. Пассивно-явочным порядком. Но они естественно

безвластны, ибо взять власть они не могут, власть должна быть им дана, и дана сверху; раньше, чем они себя почувствуют облеченными властью, они не будут властны»[62].

Утверждается[63], что неспособность Думы сразу и недвусмысленно объявить себя властью имела катастрофические последствия, ибо лишила Временное правительство, образованное из нее, законных оснований. Однако значение, придаваемое этому факту, определяется не столько проблемой легальных основ власти, которой население по большому счету было не слишком озабочено, сколько отражением господствующего образа мыслей — а именно боязнью ответственности. Очевидец рассказывает, что думская группа приняла решение учредить «Временный комитет» в атмосфере, очень напоминающей ту, в которой в обычное время могли бы назначить комитет по рыболовству[64]. Бывший начальник петроградского охранного отделения А.В.Герасимов считал, что, прибегая к уловке не брать на себя власть, а для борьбы с беспорядками учредить неформальную организацию, думские лидеры хотели обезопасить себя на случай, если монархии все же удастся подавить мятеж — ибо они были извещены о приближении карательной экспедиции генерала Иванова[65].

По пословице «на безрыбье и рак рыба» петроградское население за правительство принимало Думу, и с 27 февраля по 1 марта к Таврическому дворцу стекались бесчисленные депутации выразить ей свою поддержку и верность. В этих депутациях были не только рабочие, солдаты и интеллигенция, но тысячи офицеров, военные части, охранявшие императорские дворцы, и — самое поразительное — даже жандармская рота, прошествовавшая к Таврическому дворцу под звуки «Марсельезы» с развернутыми красными знаменами[66]. 1 марта вел. кн. Кирилл Владимирович, комендант дворцовой охраны Царского Села и кузен царя, объявил, что признает власть Временного правительства[67]*.

* После революции, в эмиграции, он объявил себя императором.

Резкая перемена настроений части наиболее нелиберального слоя петроградского общества — офицеров правых взглядов, жандармов, полицейских, всего несколько дней назад бывших опорой монархии, можно объяснить только одним — страхом. Шульгин, вращавшийся в гуще событий, был твердо уверен, что офицеры, в частности, были парализованы страхом и искали у Думы защиты от взбунтовавшихся солдат[68].

«Временный комитет» разослал телеграммы командующим вооруженными силами, извещая их о том, что, дабы положить конец кризису власти, он возлагает на себя права прежнего кабинета. Порядок будет вскоре восстановлен[69].

Вечером Родзянко посетил председателя Совета министров Голицына, чтобы выяснить, согласится ли царь на формирование думского министерства. Голицын передал отрицательный ответ царя. Когда в десять часов вечера Родзянко вернулся с этим сообщением в Таврический дворец, во «Временном комитете» начались долгие дебаты, приведшие к неумолимому выводу, что не остается иного выбора, как принять на себя de facto правительственные полномочия. В противном случае следует ожидать либо полного беспорядка, либо захвата власти соперничающим и радикальным органом — Петроградским Советом, возродившимся к жизни в тот же день[70].

* * *

О возрождении Петросовета впервые заговорили меньшевики 25 февраля, но поставлен этот вопрос был по инициативе двух членов Центральной рабочей группы, арестованных в январе по приказу Протопопова, а утром 27 февраля освобожденных восставшими, — председательствующим рабочей группы К.А.Гвоздевым и секретарем Б.О.Богдановым. Оба были меньшевиками. За подписью «Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов» в тот же вечер в Таврическом дворце они выпустили обращение к солдатам, рабочим и другим жителям Петрограда избрать представителей на организационный митинг Совета[71]. Обращение не оставляло времени для проведения полноценных выборов, и в результате на открывшемся вечером собрании присутствовали всего лишь несколько десятков человек. И хотя, по некоторым свидетельствам, собралось около 250 человек, большинство составляли случайные наблюдатели и лишь 40—50 человек были признаны полномочными принять участие в выборах[72]. Собрание избрало Временный исполнительный комитет (Исполком) из восьми или девяти человек, главным образом меньшевиков: Чхеидзе занял пост председателя, а Керенский и М.И.Скобелев — его заместителей. Поскольку никакого протокола не велось, трудно сказать, что в точности происходило. Выступили несколько солдат, и было решено допустить солдатских представителей в Совет, в особую секцию. Затем последовало обсуждение продовольственного вопроса и необходимости создания милиции для охраны порядка. Было решено в качестве официального печатного органа Совета выпускать «Известия» и просить «Временный комитет» удержать средства у прежних властей путем захвата Государственного банка и других финансовых учреждений[73].

28 февраля своих представителей в Совет избрали заводы и военные части. В подавляющем большинстве избирались умеренные социалисты: экстремистские партии (большевики, эсеры-максималисты и межрайонцы) получили менее 10% голосов[74]. Выборы проводились крайне беспорядочно, в традициях русских сходов, где не заботятся о точном математическом подсчете индивидуальных мнений, а блюдут выражение коллективной воли. А поскольку мелкие мастерские и крупные заводы выставили равное число

представителей, как и военные части — от полка до роты, то Совет переполнили делегаты мелких предприятий и гарнизона. Ко второй неделе существования Совета из трех тысяч депутатов более двух были солдатами[75] — и это в городе, где промышленных рабочих насчитывалось в два-три раза больше, чем солдат. На фотографиях, запечатлевших заседания Совета, люди в шинелях преобладают.

Пленарные заседания Совета, первое из которых состоялось 28 февраля, напоминали гигантский сельский сход, как будто заводы и казармы выслали сюда своих большаков. Не было ни распорядка дня, ни процедуры принятия решений: в открытой дискуссии, в которой мог принять участие всякий, кто пожелает, вырабатывалось единодушное решение. Как и сельский сход, Совет на этой стадии напоминал косяк рыб, способный мгновенно изменить направление, повинуясь невидимой команде. Суханов следующим образом описывает первые собрания:

«— А что в Совете? — спросил я, помню, кого-то вошедшего за занавеску. Тот безнадежно махнул рукой:

— Митинг! Говорит кто хочет и о чем хочет...

Мне случилось несколько раз проходить через залу заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю: депутаты сидели на стульях и скамьях, за столом, внутри «покоя» и по стенам; между сидящими, в проходах и в концах залы, стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько заполнили все промежутки, что владельцы стульев также побросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шеи... Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из залы, чтобы не занимать места, и люди стояли, обливаясь потом, вплотную друг к другу; «президиум» же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толпа взобравшихся на стол инициативных людей, мешая ему руководить собранием. На другой день или через день исчезли и столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид митинга в манеже...»[76]*.

* «Митинг в манеже» — очевидно, намек на королевский манеж в Париже, где размещалась во время революции Национальная ассамблея, известная беспорядочным характером своих заседаний.

Поскольку такое столпотворение не годилось ни на что, кроме митинговых выступлений, и поскольку, кроме того, интеллигенция полагала, будто лучше всех других знает, что нужно «массам», полномочия вынесения решений скоро перешли к Исполкому. Этот орган, однако, не являлся представительным органом рабочих и солдат, ибо его члены, как и в 1905 году, были назначены социалистическими партиями. Таким образом, члены Исполкома представляли не рабочих и солдат, а соответствующую партийную организацию, и могли быть в любой момент замещены другими членами этой партии. И, как видно из дальнейших событий, это была намеренная политика радикалов. 19 марта солдатская секция проголосовала за расширение численности Исполкома и включение в его состав девяти солдатских и девяти рабочих представителей. Исполком отверг это решение, ссылаясь на то, что расширение состава произойдет на Всероссийском совещании Советов, намеченном на конец месяца[77]. Интеллигенция, заправлявшая в Исполкоме, предпочла бы даже держать в секрете список его членов. Имена деятелей Исполкома стали широко известны лишь в конце марта, после появления на улицах Петрограда листовки с требованием обнародовать имена*.

* Шляпников А. Семнадцатый год. Т. 3. М.; Л., 1927. С. 173. Такая скрытность, возможно, объясняется тем конфузным обстоятельством, что многие члены Исполкома были нерусскими по происхождению (грузины, евреи, латыши, поляки, литовцы и т.д.). См.: Станкевич В.Б. Воспоминания, 1914—1919 гг. Берлин, 1920. С. 86.

Таким образом, Исполком был не столько исполнительным органом Совета, как явствовало из его названия, сколько координационным органом .социалистических партий, поставленным над Советом и говорящим от его имени. Самые первые кооптации в Исполком проводились 6 марта, когда прислать своего оратора было предложено партии народных социалистов. Два дня спустя в состав Исполкома был введен и эсер, представлявший группу, называвшую себя «Республиканскими офицерами». 11 марта было предоставлено по одному месту представителям социал-демократических партий Польши, Литвы и Латвии. 15 марта в состав вошел большевистский делегат. Такой способ комплектации Исполкома был формализован 18 марта, с принятием принципа, согласно которому каждая социалистическая партия имеет право на три места: одно для члена ее центрального комитета, два других — для представителей местных организаций*.

* Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов: Протоколы заседаний Исполнительного комитета и Бюро Исполнительного комитета. М.; Л.,1925. С. 59. Согласно Марку Ферро (Ferro M. Des Soviets au Communisme Bureaucratique. P., 1980. C. 36), резолюция была проведена Шляпниковым. Именно благодаря этому положению вернувшийся в мае из Соединенных Штатов Троцкий получил место в Исполкоме.

Принятие этого принципа имело три последствия. Оно искусственно расширяло представительство в Исполкоме большевиков, которые имели мало приверженцев среди рабочих и практически никого среди солдат. Кроме того, оно укрепляло позиции умеренных социалистов, что придавало Исполкому политическую окраску, которая со временем вошла в противоречие со все более радикальными

настроениями в стране. И, что самое главное, бюрократизировало Исполком: этот самоназначаемый исполнительный орган «рабочих и солдатских масс» стал в действительности комитетом радикальной интеллигенции, среди которой трудно было отыскать рабочего или солдата и которая преследовала свои собственные интересы и руководствовалась своими собственными представлениями. «Отход в сторону бюрократизации во имя организаций совершился необратимо. Представительство определялось принадлежностью к организации, а не выборами, которые существовали лишь для виду. Все же ничто не указывает на то, что эти демократы предполагали намеренно нарушить или пародировать демократическую процедуру. Ничто, ни протест, ни дискуссия не нарушали атмосферу единодушия, кроме вопросов о численности представителей, которых можно включить в состав, и выборе организаций, определяемых как «представительные». Вокруг этого велась настоящая политическая борьба. Предложение большевиков предусматривало удвоение числа их представителей, обеспечение численного преимущества голосов, благодаря принятию представителей латышских большевиков. Представители других организаций не возражали: в общем, эта процедура обеспечивала равно и небольшевикам даже еще более твердый прирост выборных. Таким путем всякая ветвь и всякий отросток социал-демократии или эсеров имели право на двух представителей в бюро, даже если за ними стояло не более горстки активистов. Напротив, тысячи солдат и рабочих, совершивших в действительности февральский переворот, сходят навсегда со сцены. Отныне от их имени [выступают] "представители"»[78].

Как это ни удивительно, собрания Исполкома, при небольшом числе участников и их политической грамотности, протекали едва ли менее беспорядочно, чем собрания всего Совета, во всяком случае, в первые недели его существования. Как описывает их представитель трудовиков В.Б.Станкевич, они представляли собой такой же сумасшедший дом:

«В это время Исполнительный комитет имел чрезвычайный вес и значение. Формально он представлял собой только Петроград, но фактически это было революционное представительство для всей России, высший авторитетный орган, к которому прислушивались отовсюду с напряженным вниманием, как к руководителю и вождю восставшего народа. Но это было полнейшим заблуждением. Никакого руководительства не было, да и быть не могло...

Заседания происходили каждый день с часу дня, а иногда и раньше, и продолжались до поздней ночи, за исключением тех случаев, когда происходили заседания Совета и Комитет, обычно в полном составе, отправлялся туда. Порядок дня устанавливался обычно «миром», но очень редки были случаи, чтобы удалось разрешить не только все, но хотя бы один из поставленных вопросов, так как постоянно во время заседаний возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрешать не в очередь...

Вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходоков как из петроградского гарнизона, так и с фронтов и из глубины России, причем все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными в пленарном заседании Комитета, не довольствуясь ни отдельными членами его, ни комиссиями. В дни заседаний Совета или солдатской секции дела приходили в катастрофическое расстройство...

Важнейшие решения принимались часто совершенно случайным большинством голосов. Обдумывать было некогда, ибо все делалось второпях, после ряда бессонных ночей, в суматохе. Усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи. Бесконечные заседания. Отсутствие правильной еды — питались хлебом и чаем и лишь иногда получали солдатский обед в мисках, без вилок и ножей»[79].

В этот начальный период, по словам Станкевича, «от Комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать». В таких условиях риторика заменяла анализ, а добрые намерения — реальность. Позднее, к концу марта, когда из сибирской ссылки вернулся ведущий грузинский меньшевик Ираклий Церетели и занял место председательствующего, сессии Исполкома приобрели более упорядоченный вид, в большой мере благодаря тому, что его решения предварительно проходили обсуждение на собраниях социалистических партий.

Так, мгновенно, Петроградский Совет приобрел слоистую структуру: сверху — выступающий от имени Совета орган, состоящий из социалистов-интеллигентов, оформленный в Исполнительный комитет, снизу — неуправляемый сельский сход. Если не считать его интеллигентных ораторов, Совет представлял собой вполне сельское учреждение, втиснутое в самый космополитичный город империи. И в этом нет ничего удивительного: Петроград был подавляюще крестьянским городом еще до войны, когда крестьяне составляли 70% его населения. Но эта масса еще более возросла во время войны с притоком 200 тыс. рабочих, нанятых в деревнях для работы на оборонных заводах, и 160 тыс. рекрутов и резервистов, в основном тоже деревенского происхождения.

Сообразно традиционным меньшевистским и эсеровским взглядам на Советы как орган «демократического» контроля над «буржуазией», Исполком 1 марта большинством в 13 против 8 голосов вынес решение не входить в правительство, которое в это время формировала Дума*. Этим решением социалисты обеспечили себе право критиковать правительство и управлять им, не разделяя при этом с ним ответственности: позиция, весьма сходная с той, которую облюбовала себе парламентская оппозиция в отношении царизма. Как и в случае нерешительности думских лидеров, медливших объявить себя политической властью, радикальной интеллигенцией руководили не только теоретические, но и личные соображения. Сегодняшним исследователям события 26—27 февраля могут казаться необратимым переломом между прошлым и будущим, но современникам они таковыми не представлялись. К этому

времени восстание шло только в Петрограде — никто не последовал примеру столицы. Карательная экспедиция с фронта могла прибыть в любой момент. Свидетель тех событий и их исследователь С.П.Мельгунов отмечает, что в этот момент несколько тысяч хорошо вооруженных людей при толковом командовании могли легко овладеть Петроградом и тогда социалисты-интеллигенты могли поплатиться жизнью[80]. Поэтому, видимо, было гораздо благоразумнее предоставить ответственность «буржуазной» Думе и манипулировать ею из-за занавеса.

* Суханов Н. Записки о революции. Берлин; Петербург; Москва, 1922. Т. 1. С.255—256; Революция. Т. 1. С.49; Hasegawa T. The February Revolution: Petrograd 1917. Seattle; London, 1981. P. 410—412. Меньшинство составили члены Бунда, несколько меньшевиков и «межрайонка».

Таким образом, 27 февраля в России установилась особая форма правления: двоевластие, которое продержалось до 25—

26 октября, когда уступило место большевистской диктатуре. Теоретически «Временный комитет» Думы, вскоре переименованный во Временное правительство, нес всю административную ответственность, а функции Совета сводились к контролю, какой может осуществлять законодательный орган по отношению к исполнительному. В действительности, однако, все обстояло совсем не так. Совет, или, вернее, его Исполком распоряжался и устанавливал законы по своему усмотрению, порой даже не ставя в известность правительство. К тому же партнеры, или совластители, не могли сотрудничать эффективно, так как преследовали совершенно различные цели. Думские лидеры хотели сдержать революцию, советские же лидеры — ее развить. Первые были бы рады остановить ход событий на рубеже, которого они достигли к ночи

27 февраля, для вторых 27 февраля было лишь ступенью к «настоящей» — то есть социалистической — революции.

* * *

Думских лидеров, решивших наконец, что у них нет иного выбора, как сформировать кабинет вопреки монаршей воле, все же останавливало два затруднительных момента: законные основания своего решения и средства обуздать неуправляемые толпы. Наиболее консервативные члены «Временного комитета», и среди них Шульгин и Гучков, придерживались мнения, что следует предпринять еще одну попытку убедить Николая II предоставить Думе право назначить кабинет. Но большинство считали это бесполезной затеей, предпочитая узаконить свои действия с помощью Петроградского Совета или, вернее, его социалистической интеллигенции, окопавшейся в Исполкоме.

Это был крайне любопытный оборот. Совет в конце концов был не более чем общественная организация, своевольно учрежденная и управляемая представителями социалистических партии, которых никто не выбирал. В лучшем случае за ним можно было признать представительство рабочих и солдат города Петрограда и его окрестностей, то есть самое большее 1 млн. граждан в стране с 170-миллионным населением. С точки зрения законности, IV Дума — при всей ограниченности избирательного права — имела больше оснований выступать от имени всей страны. Но ее лидеры надеялись утвердиться посредством численности: сотрудничество с социалистическими партиями помогло бы им совладать с толпой, а также с потенциальной контрреволюцией. В это время Исполком был крепко взят в руки меньшевиками, которые согласились на принятие на себя Думой формальных правительственных прав. Решение испрашивать свои полномочия у Совета, представленного Исполкомом, психологически вполне объяснимо. Но решение это едва ли наделяло новое правительство законными правами, в которых оно нуждалось. Когда 2 марта Милюкову во время выступления, уже в качестве нового министра иностранных дел, крикнули из зала: «Кто вас выбрал?» — он не нашел ничего лучше, как заявить: «Нас выбрала русская революция!»[81] — довод, который с тем же основанием мог тогда привести всякий стремящийся к власти*.

* 18 марта, когда генерал Рузский просил Родзянко объяснить ему преемственность власти нового правительства, тот ответил, что Временное правительство было назначено «Временным комитетом» Думы, который сохраняет контроль за его действиями и министерскими назначениями (РЛ. 1922. № 3. С. 158—159). Поскольку к тому времени «Временный комитет» уже прекратил существование, такое объяснение — обман, вольный или невольный.

Социалисты из Исполкома вовсе не собирались предоставлять новому правительству свободу действий. Они были готовы поддерживать его только при условии, что оно примет и станет проводить программу действий, угодную Исполкому: то есть согласие давалось по известной формуле «постольку — поскольку». С этой целью 1 марта Исполком выработал программу из девяти статей[82], которая должна была послужить основой взаимодействия с новым правительством. Представители двух организаций встретились в полночь 1 марта. Милюков вел переговоры от имени Думы, Исполком представляла многопартийная делегация во главе с Чхеидзе. Неожиданно думский комитет не выдвинул никаких возражений против большинства условий, предложенных Исполкомом, в значительной степени из-за того, что в них не содержались два самых спорных вопроса, служивших водоразделом между либералами и социалистами, —

о продолжении войны и об аграрных реформах. В ходе переговоров, затянувшихся до поздней ночи, Милюков убедил социалистов отказаться от требования ввести выборы офицеров. Ему удалось также изменить положение о немедленном установлении «демократической республики», оставив возможность сохранения монархии, чего он страстно желал[83]. Обе стороны пришли к соглашению о принятии программы (содержавшей теперь уже только восемь пунктов) от имени новообразованного «Временного Совета министров» с одобрения Исполкома, но без его подписи. Программа должна была служить основой, которой надлежало руководствоваться правительству в ближайший краткий период — до созыва Учредительного собрания. Программа гласила:

«1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным; в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т.д.;

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допустимых военно-техническими условиями*;

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений;

4) Немедленная подготовка к созыву, на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования, Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны;

5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления;

6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования;

7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении;

8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам»[84].

* То есть то, что было обещано царским правительством уже в 1906 году, но так полностью и не воплотилось. — *Примеч. переводчика.*

Этот документ, плод ночного творчества вконец утомленных политиков, повлек самые плачевные последствия. Самыми пагубными были пункты 5 и 6, которые единым махом сметали губернскую администрацию и полицию, традиционно оберегавших устои Российского государства. Органы местного самоуправления — то есть земства — и городские советы, которые должны были заменить их, никогда не несли административной ответственности, да и не были к тому приспособлены. В результате — мгновенно охватившая страну анархия, вину за которую правительство стремилось свалить на старый режим, но в которой в действительности во многом было повинно само. Никогда ни одна революция, ни до, ни после 1917 года, не производила такого опустошительного разгрома административного аппарата.

Едва ли менее вредоносными были пункты 1 и 7. Конечно, демократическое правительство не могло содержать в заточении или ссылке политических деятелей, осужденных за их убеждения. Но всеобщая, без разбору амнистия, распространявшаяся и на террористов, привела к тому, что Петроград кишел самыми крайними радикалами, возвратившимися из Сибири и из-за границы. Они путешествовали на правительственный счет, горя желанием свергнуть это самое правительство. Когда англичане задержали Троцкого в Канаде на пути из Нью-Йорка в Россию, за него заступился и добился его освобождения Милюков. А Временное правительство снабдило въездными визами Ленина и его сподвижников, возвращавшихся из Швейцарии и не скрывавших намерений уничтожить это правительство. Получалось, что правительство само дало волю врагам демократии, нередко состоявшим в сношениях с неприятелем и им финансируемым, — что немыслимо представить со стороны более искушенного правительства. И, наконец, позволяя частям Петроградского гарнизона держать оружие и препятствуя отправке его на фронт, новое правительство не только уступило большую долю власти над 160 тыс. солдат, но и пригрело в столице озлобленную и вооруженную крестьянскую массу, которую его враги не преминули повернуть против него же.

Между тем 2 марта межрайонец Ю.М.Стеклов представил от имени Исполкома восьмистатейную программу на одобрение Совета. Было решено, что Совет назначит наблюдательный комитет, надзирающий за деятельностью правительства. И после новых переговоров относительно последних поправок «Временный комитет» объявил, что берет власть в свои руки*. По просьбе Милюкова Исполком призвал народ поддержать новое правительство. Заявление Исполкома, прохладное по тону, было обставлено условиями: демократия должна оказывать поддержку новому режиму «в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью»[85].

* Согласно С.П.Мельгунову (Мартовские дни. Париж, 1961. С. 107), термин «Временное правительство» до 10 марта официально не использовался.

Так с момента своего образования русское демократическое правительство пользовалось властью и

действовало с молчаливого согласия группы радикальной интеллигенции, которая, подмяв под себя исполнительный орган Совета, присвоила право говорить от имени «демократии». Хотя такая зависимость определялась до некоторой степени необходимостью заручиться помощью Совета для усмирения мятежных масс, либералы и консерваторы, образовавшие первое Временное правительство, не видели ничего дурного в таком устройстве. И, в конце концов, именно они добивались от Исполкома декларации в поддержку правительства. Почти не вызвали у них возражений и те условия, на которых Исполком согласился их поддержать. По словам Милюкова, помимо двух статей, которые были опущены или изменены, и статьи 7, все в декларации, представленной Исполкомом, было не только полностью приемлемо для думского комитета или допускало приемлемое толкование, но и «прямо вытекало из собственных взглядов вновь сформированного правительства на его задачи»[86]. Действительно, то, что Исполком указал в статьях 1, 5 и 6, кадеты предлагали Столыпину уже в 1906 году[87].

Новый кабинет был подобран Милюковым. Его состав, одобренный вечером 2 марта, был следующим:

Председатель Совета министров и министр внутренних дел кн. Г.Е. Львов
Министр иностранных дел П.Н.Милюков
Министр юстиции А.Ф.Керенский
Министр путей сообщения Н.В.Некрасов
Министр торговли А.И.Коновалов
Министр народного образования А.А. Мануйлов
Военный министр А.И.Гучков
Министр земледелия А.И.Шингарев
Министр финансов М.И.Терещенко
Государственный контролер И. В. Годнев
Обер-прокурор Святейшего синода В.Н.Львов.

Все роли были распределены давно, и имена действующих лиц появлялись в прессе уже в 1915-м и 1916 годах. Представители Думы предъявили список предполагаемого кабинета Исполкому для одобрения, но Исполком предпочел оставить этот вопрос на совести «буржуазии»[88].

56-летний князь Львов был преуспевающим помещиком, много лет проработавшим в земском движении. Во время войны он возглавил «Союз земств и городов», так называемый Земгор. По словам Милюкова, он был избран возглавить кабинет, потому что как председатель Земгора был ближе всех к исполнению роли общественного лидера, однако высказывались подозрения, что Милюков, сам стремившийся к лидерству в правительстве, выбрал кн. Львова, увидев в нем удобную подставную фигуру[89]. Более неподходящего человека для управления российскими делами в такое тревожное время трудно было вообразить. Кн. Львов не только не имел никакого опыта государственного управления, но и, кроме того, исповедовал крайнюю форму популизма, покоящегося на безграничной вере в мудрость и добрую волю «народа». Всякое центральное руководство он считал абсолютным злом. Входя в должность, он заявил: «Процесс Великой Революции еще не завершен, но каждый переживаемый нами день укрепит нашу веру в неисчерпаемую творческую силу русского народа, в его политическую мудрость и величие души»[90]. Львов доводил демократические и популистские убеждения до грани анархизма. В последующие недели и месяцы в Петроград за указаниями стекались из губерний бесчисленные делегации, которые он принимал с неизменным вниманием и уважением, но наотрез отказывался давать им наставления. Когда его попросили назначить новых губернаторов вместо снятых правительством, он ответил: «Это — вопрос старой психологии. Временное правительство сместило старых губернаторов, а назначать никого не будет. В местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением»[91]. И этот принцип он доводил до крайности, убежденный, что при истинной демократии все решения принимаются заинтересованными в них людьми[92], а функции правительства сводятся к простой их регистрации. В.Д.Набоков, управляющий делами Временного правительства, писал впоследствии: «Я не помню ни одного случая, когда бы раздался со стороны министра-председателя властный призыв, когда бы он высказался решительно и определенно... Он был воплощением пассивности»[93]. Лишенный воображения, он не понимал размаха событий, в водовороте которых оказался. А впрочем, чего можно было ожидать от человека, который, взирая на Ниагарский водопад, заметил: «И в сущности, что такое? — Течет река и падает. Только и всего»[94]. И такая невозмутимая глубокомысленность не покидала его никогда.

Назначение кн. Львова премьер-министром было настоящей катастрофой, усугубляемой тем, что он, кроме того, занимал пост министра внутренних дел. (Уйдя в отставку в июле, он исчез с политического горизонта и умер в 1926 году в Париже в совершенном забвении.)

Столь бездейственного и мягкого человека, естественно, затмили более властные личности в кабинете министров — П.Н.Милюков и А.Ф.Керенский, самые известные российские политики и непримиримые соперники.

Милюков родился в 1859 году и был на поколение старше Керенского. Главное его достоинство заключалось в неисчерпаемой энергии: беспрерывно в работе, постоянно на собраниях и переговорах, он находил время для написания книг, издания газет, чтения лекций. Он был широчайше образован — его

научные труды по праву снискали ему прочную славу одного из лучших российских историков. Он был и опытным парламентарием, не выказывая ни излишнего тщеславия, ни эмоциональности. Но чего он был начисто лишен и что погубило в конце концов его карьеру, так это политическая интуиция. Струве говорил о нем, что он относился к политике, как к шахматам, и если бы политика действительно была игрой, он был бы гроссмейстером. Умозрительным путем вновь и вновь возвращаясь к некоторой политической позиции, он, как ему казалось, находил правильное ее решение и пытался реализовать его, когда всем уже давно была совершенно очевидна ее проигрышность. Его выступления, уже на посту министра иностранных дел, сначала за сохранение монархии, а затем за обретение Россией Константинополя и Черноморских проливов, свидетельствуют о политической близорукости.

Керенский был полной противоположностью Милюкову. Если его противник был воплощением логики, он весь находился во власти эмоций. Благодаря умению улавливать настроения масс он очень скоро превратился в идола революции, но из-за своей импульсивности оказался неспособным справиться с обязанностями, которые на себя возложил.

В феврале 1917 года ему было только тридцать шесть лет, но он давно прочил себя в лидеры грядущей революции. В юности он не выказывал определенных политических симпатий: вся его биография отражает непомерное честолюбие, ищущее применения. В конце концов он примкнул к эсерам. Впервые он привлек всеобщее внимание, выступая защитником на нашумевших политических процессах (например, дело Бейлиса, ленских рабочих). В IV Думе он возглавил аморфную фракцию трудовиков и благодаря своим ораторским дарованиям стал выступать от имени всех левых. Из донесений полиции, опубликованных после февральской революции, видно, что в 1915 и 1916 годах он вел двойную жизнь. Пользуясь парламентской неприкосновенностью, Керенский разъезжал по России, чтобы встречаться с революционерами и наладить подрывную работу[95]. Уже задолго до революции его считали — и он сам себя считал — восходящей звездой на политическом горизонте. Зная о своем внешнем сходстве с французским императором, он любил принимать наполеоновские позы. У него был богатый артистический талант и богатый набор жестов и иных уловок, за которыми здравомыслящий человек не мог разглядеть ничего, кроме дешевой мелодрамы, но которые нравились толпе. Он умел поднять и повести массы, как никто другой, но эффект от его риторики был недолговечен. Современники считали, что ему недостает умения судить о людях, — недостаток, который в сочетании с порывистостью в конце концов погубил его как политика.

Керенский хотел сделать свою карьеру в революционной России, являя собой уникальное связующее звено двух сторон возникшего режима двоевластия — «буржуазии» и «демократии», в чем в определенной мере преуспел. Намечая список кабинета, Милюков оставил два министерских портфеля социалистам из Исполкома: он надеялся, что они станут мостом между кабинетом и Советом. Чхеидзе был предложен специально учрежденный пост министра труда, но, верный резолюции Исполкома не входить в «буржуазный» кабинет, он отказался. Керенский, напротив, отчаянно добивался места министра юстиции: ведь министерский пост в сочетании с членством в Исполкоме ставил его (после отказа Чхеидзе) в исключительное положение посредника между двумя центральными институциями нового режима. Он просил Исполком уполномочить его войти в кабинет. Когда его просьбу отклонили, он через голову Исполкома обратился непосредственно к «массам». В страстной речи к собранию Совета он клялся, что как министр никогда не предаст демократические идеалы. «Я не могу жить без народа, — восклицал он патетически, — ив тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня!» Произнося это, он был близок к обмороку. Конечно, это была чистой воды мелодрама, но она возымела действие. Рабочие и солдаты ответили восторженной овацией и на руках отнесли его в зал, где заседал думский «Временный комитет». Не в силах противостоять такому проявлению поддержки народных масс, Исполком согласился предоставить Керенскому право принять портфель министра юстиции, но вовеки не мог забыть ему этого шантажистского приема[96]. Уйдя с поста товарища председателя Совета, Керенский сохранил свое место в Исполкоме. В последующие месяцы, по мере того, как власть Временного правительства меркла, он неуклонно возносился благодаря именно такой двойственной позиции.

Насущной проблемой Временного правительства стали бывшие царские сановники — и те, что были взяты под стражу бдительными согражданами, и те, что сами пришли в Думу искать у нее защиты. 28 февраля и 1 марта сотни таких людей заполняли залы и комнаты Таврического дворца. Тут-то Керенский, как министр юстиции, и показал себя. Он не допустит насилия: «Дума не проливает крови», — гласил брошенный им лозунг, и он умудрялся следовать ему на глазах диких толп, готовых растерзать тех, кого он сам за несколько недель до того назвал изменниками. Он спас жизни многим высшим царским сановникам, заключив их под стражу. Не раз лично вырывал их из рук толпы, жаждавшей крови, как это было с Сухомлиновым и Протопоповым. Он распорядился разместить задержанных в Министерском павильоне, стоящем бок о бок с Таврическим дворцом и соединенном с ним крытым проходом. Там они содержались под мощной охраной и строгим запретом переговариваться. В ночь с 1-го на 2 марта, поражая население демонстрацией силы, их провели под конвоем в Петропавловскую крепость, и тщедушный Протопопов, казалось, совсем съежился от страха под нацеленным в его голову стволом винтовки. Когда в Петропавловской крепости уже не осталось места, остальных поместили в Михайловский манеж. Подсчитано, что в первые дни революции было арестовано или взято под стражу 4000 человек. Многие из них стали жертвами большевистского «красного террора».

Февральская революция совершилась сравнительно бескровно. Общее число пострадавших

составляет, по разным подсчетам, 1300—1450 человек, из которых 168 — убитых. Большинство смертных случаев приходится на Кронштадт и Гельсингфорс, где матросы-анархисты расправлялись с офицерами, обвиненными в «шпионаже», часто просто из-за немецкого звучания их фамилий*.

* Мартынов (Царская армия. С. 148) дает обшее число: 1315. Данные Авдеева, по-видимому, более точны: 1433 жертвы, из которых 168 убиты или скончались от ран — 11 полицейских, 70 военных, 22 рабочих, 5 студентов и 60 других, в том числе 5 детей (Революция. Т. 1. С. 111).

Положение правительства было незавидным. Оно должно было делить власть с Советом, контролируемым радикалами, полными решимости развивать революцию и, во имя социалистических идеалов, саботировать войну, которую правительство намеревалось продолжать. Не было у правительства я точного представления о своих функциях. Официально оно исполняло роль как бы местоблюстителя, взяв на себя заботу о государстве до созыва Учредительного собрания. «Они считают, что власть выпала из рук законных носителей, — записала Зинаида Гиппиус в дневнике 2 марта. — Они ее подобрали и неподвижно хранят, и передадут новой законной власти, которая должна иметь от старой ниточку преемственности»[97]. Но позиция эта не выдерживала практики, так как на правительство обрушилось множество проблем, требующих немедленного решения. Иными словами, работе правительства мешало не только то, что ему приходилось делить власть с другим органом, но еще и то, что оно не знало, как воспользоваться тем объемом власти, который ему отвели.

* * *

Хотя Временное правительство согласовало свой состав и программу действий с Исполкомом, последний не считал себя связанным с правительством никакими взаимными обязательствами и занимался законотворчеством по своему усмотрению. Самым разительным примером своеволия Исполкома явился знаменитый Приказ № 1, изданный 1 марта без согласования с Думой, хотя и касался самых животрепещущих проблем для страны, ведущей войну, — проблем ее вооруженных сил.

Один из мифов русской революции гласит, что Приказ № 1 был рожден буквально под диктовку возбужденной толпы солдат. Суханов оставил живописный рассказ о том, как известный социал-демократ адвокат Н.Д.Соколов сидит за столом в помещении Таврического дворца и записывает солдатские требования. Существует даже фотография, как бы прибавляющая достоверности этой версии возникновения документа (на фотографии, правда, при ближайшем рассмотрении, большинство запечатленных носят офицерскую форму). Однако более подробный анализ документа выдает не столь случайное его происхождение. Первоначально приказ был сформулирован вовсе не рядовыми солдатами, но подобранными Исполкомом гражданскими и гарнизонными депутатами (среди которых были и офицеры), в большинстве связанными с социалистическими партиями. Воспоминания Шляпникова не оставляют сомнений, что принципиальные положения Приказа № 1 были сформулированы социалистической интеллигенцией, изо всех сил стремившейся сохранить свое решающее влияние в гарнизоне[98]. И хотя приказ отражал некоторые действительные солдатские нужды, в первую голову он был политическим манифестом. Его авторы, хорошо знакомые с историей революции, знали, что традиционно главная угроза контрреволюции таится в вооруженных войсках. Надеясь не допустить этого в России, они желали окоротить права офицеров и лишить их доступа к оружию. Е.И.Мартынов отмечает, что с первых же дней революции Временное правительство и Исполком вели борьбу за армию: «Временное правительство опиралось на начальников и офицерство, а Совет рабочих и солдатских депутатов — на солдат. Известный Приказ № 1 был как бы клином, вбитым в тело армии, после чего она раскололась на две части и стала быстро разлагаться». Исполком воспользовался вечными жалобами солдат на дурное обращение с ними офицерства для свержения офицерской власти, что вовсе не отвечало нуждам армии. Достаточно сказать, что из семи статей приказа только два последних были посвящены положению рядового, остальные же касались роли вооруженных сил при новом режиме и целью их было лишить «буржуазное» правительство возможности воспользоваться ими, как это сделал Кавеньяк в 1848 году и Тьер в 1871-м. Для многих рядовых солдат и матросов понять это не составляло труда. Матрос, носящий весьма подходящую к случаю фамилию Пугачев, разглагольствовал на кухне у Мережковских, вернувшись с голосования Приказа № 1: «Это тонкие люди иначе поняли бы. А мы прямо поняли. Обезоруживай офицеров»[100].

Приказ, изданный «по гарнизону Петроградского округа», был тотчас же истолкован как применимый к вооруженным силам в целом — на фронте и в тылу[101]. Статья 1 призывала к проведению выборов во всех воинских соединениях — от роты до полка, а также на флоте — в комитеты, устроенные по модели Советов. Статья 2 предписывала от каждой роты избрать представителя в Петроградский Совет. Статья 3 устанавливала, что «во всех своих политических выступлениях» воинская часть подчиняется Петроградскому Совету и своим комитетам. Статья 4 предоставляла Петроградскому Совету право не подчиняться приказам Временного правительства, касающимся военных вопросов. Согласно статье 5, всякого рода оружие (винтовки, пулеметы, бронемашины и т.д.) должно было перейти в полное распоряжение и под контроль ротных и батальонных комитетов и «ни в коем случае не выдаваться офицерам». Статья 6 уравнивала в правах солдат вне службы и строя с прочими гражданами, в частности

упраздняя практику «вставания во фронт и обязательное отдание чести». Статья 7 также отменяла титулование офицеров («ваше превосходительство», «ваше благородие» и т.д.) и запрещала офицерам обращаться с солдатами грубо или фамильярно.

Трудно себе представить, что, когда Исполком проголосовал за Приказ № 1 и распространил его в войсках, он не предвидел последствий. Так же трудно поверить в то, что, принимая этот чрезвычайный документ, в Исполкоме полагали, будто он всего лишь отвечает солдатским жалобам. Неизбежным следствием приказа было свержение власти правительства и офицерского корпуса над войсками. Как только в войсках узнали о приказе, повсюду, в тылу и на фронте, стали создаваться самые разнообразные военные «комитеты»: армейские, корпусные, дивизионные, наряду с полковыми, батальонными и ротными. Все вместе они представляли собой весьма беспорядочную вереницу взаимоисключающих органов управления. Те, что функционировали на низшем уровне (рота, батальон и полк), обычно состояли из рядовых солдат и напоминали по структуре и процедуре городские Советы. Но те, что действовали в высших эшелонах, немедленно попали под влияние меньшевистской, большевистской и эсеровской интеллигенции, часто вчерашних студентов, которые использовали эти комитеты для осуществления своих политических задач, — военный эквивалент Исполнительного комитета Петроградского Совета. На всех уровнях теперь шли вечные митинги с бесконечными дискуссиями, завершавшиеся принятием решительных «резолюций». Старших офицеров считали теперь классовыми врагами, и с падением их власти армейская субординация рухнула.

Не менее пагубной была и статья 4, которая гласила: «Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов». Это в корне подрывало военные усилия правительства. Исполком считал себя ответственным за вооруженные силы, военного министра расценивал как своего сотрудника и однажды (6 марта) на своем заседании прямо выразил недовольство тем, что военный министр «не склонен подчиняться решениям Совета»[102].

Гучков, узнав о Приказе № 1 лишь после его опубликования, тщетно пытался заставить Совет отменить его. Все, чего ему удалось достичь,— это принудить Исполком выпустить Приказ № 2, который лишь частично исправлял положение, созданное первым приказом. Гучков добивался от Совета недвусмысленного заявления о том, что Приказ № 1 приложим лишь для тыловых частей. Однако в Приказе № 2, изданном 5 марта, об этом не говорится. Он посвящен в основном вопросу о том, должны ли офицеры избираться своими подчиненными, и оставляет впечатление, что Исполком одобряет такую процедуру. И нигде ни слова не говорится, что Приказ № 1 не касается фронтовых частей[103].

9 марта, менее чем две недели спустя с момента сформирования нового правительства, Гучков телеграфировал генералу Алексееву: «Врем, правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, кои допускает Совет раб. и солд. депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Врем, правительство существует лишь пока это допускается Советом раб. и солд. депутатов. В частности, по военному ведомству ныне представляется возможным отдавать лишь те распоряжения, которые не идут коренным образом вразрез с постановлениями вышеназванного Совета»[104].

* * *

Монархия не принимала никакого участия в этих критических событиях. Последние сколько-нибудь существенные распоряжения государя относятся к 25 февраля, когда он повелел подавить уличные беспорядки. Когда же монаршья воля оказалась невыполнима, монархия потеряла всякий вес. С тех пор она не только уже не могла повлиять на ход событий, но и вообще отошла на второй план, в то время как основная политическая борьба разворачивалась вокруг взаимоотношений Думы и Совета.

Однако, после того как появилось на свет Временное правительство, вопрос о будущем монархии обрел злободневность. Некоторые министры желали сохранить монархию на строго ограниченной, конституционной основе. Сторонники такой позиции, в основном Милюков и Гучков, считали существование монархии в том или ином виде необходимым, отчасти потому, что в сознании народных масс в России монархия символизирует «государство», а отчасти потому, что в многонациональной империи это был единственный наднациональный объединительный институт. Их противники утверждали: учитывая антимонархические настроения масс, нереально надеяться на сохранение монархии в какой бы то ни было форме.

Падение престижа монархии до самой низкой отметки произошло зимой 1916/1917 годов, когда даже присяжные монархисты отвернулись от нее. Гучков, при всех своих роялистских симпатиях, признавал, что в первые дни революции «вокруг трона была абсолютная пустота». А Шульгин записал 27 февраля: «Во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти»[105]. Значение этого факта трудно переоценить: он бросает критический свет не только на начало революции, но и на весь последующий ход событий. Многовековой исторический путь утвердил в русских людях — крестьянах, рабочих, солдатах — взгляд на царя как на хозяина или владельца страны. В силу таких представлений они не могли воспринимать государственную власть в отрыве от личности монарха. Россия без истинного — то есть «грозного», внушающего трепет — царя, а тем более без царя вообще, в сознании

людей представлялась абсурдным словосочетанием. С их точки зрения, именно личность царя определяла государство и его сущность, а не наоборот. Падение в начале века престижа царизма, связанное с военными поражениями и с неспособностью монархии подавить оппозицию, снижало в глазах народа и престиж государства, а вместе с ним и престиж правительства. Без «хозяина» страна, в народном понимании, рушится и прекращает существование, точно так же, как крестьянское хозяйство рушится и прекращает существовать со смертью большака. Когда это все-таки случилось, Россия обратилась к своему исконному укладу «казачьей вольницы», понимаемой как необузданная свобода, где единственной признаваемой властью была воля всей общины.

В свете этой традиции естественно было предположить, что население в массе предпочтет сохранить монархию. Однако на том особенном перекрестке истории, на котором оказалась Россия, этому препятствовали два обстоятельства.

Крестьянство было настроено все еще монархически. И все же в начале 1917 года оно было не прочь удариться в анархию, предчувствуя, что это дает шанс провести наконец-то долгожданный всеобщий «черный передел». Действительно, в период с весны 1917 года по весну 1918-го общинное крестьянство захватило и поделило между собой почти все частное землевладение. Когда же с этим было покончено, возобладали прежние традиционные монархические чувства, однако слишком поздно.

Другое соображение касается страха перед наказанием, возникшего среди жителей Петрограда, в особенности в гарнизоне. Февральские события можно рассматривать двояко: можно видеть в них славную революцию, а можно жалкий военный мятеж. Если бы монархия выжила, пусть даже сильно окороченная конституцией, то действия Петроградского гарнизона всего вероятнее квалифицировались бы как мятеж: «Полусознательное отталкивание от монархии должно было вызывать в массе жителей чувство боязни ответственности за содеянное... Революция, заканчивающаяся восстановлением старой династии, в сущности, превращалась в бунт, за участие в котором при изменившейся конъюнктуре могло грозить возмездие»[106].

Приехав в Псков 1 марта, Николай не помышлял об отречении. Напротив, он намеревался силой утвердить свою власть и в дневнике накануне записал, что послал в Петроград генерала Иванова, чтобы «водворить порядок». Но в Пскове он оказался во власти настроений, уязвлявших самые чувствительные стороны его души: патриотизм и любовь армии. И в разговоре с Рузским, состоявшемся вскоре после приезда, и в последующие двадцать четыре часа царь отовсюду слышал, что, пока он остается царем, России не добиться победы. С мнениями политиков, угадывая их своекорыстность, Николай не считался, но к словам генералов не мог не прислушаться. И по мере того как в штаб командования Северного фронта приходили все новые и новые телеграммы от военачальников, сначала как один убеждавших его, во имя благополучия страны и вооруженных сил, позволить Думе назначить кабинет, а затем заговоривших об отречении, — решимость царя таяла. Императрица, предвидевшая результат такого давления, 2 марта, убеждая его не подписывать «конституцию или еще какой-нибудь ужас в этом роде», добавляла: «Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в каком случае не обязан их исполнять, потому что они были добыты недостойным способом»[107].

Генерал Алексеев, на которого в отсутствие царя в Могилеве легли обязанности Верховного главнокомандующего, имел вполне веские практические основания быть обеспокоенным новостями из Петербурга: продолжение забастовок и мятежей в столице грозило нарушить железнодорожное сообщение и приостановить снабжение фронта[108]. А в дальнейшем возникала опасность распространения мятежей на фронтовые части. Утром 28 февраля, получив сообщение от Хабалова о том, что у него осталось только 1100 человек в верных частях, и то плохо вооруженных, Алексеев пришел к выводу, что надеяться на подавление петроградского мятежа силой больше нельзя[109]. В этих обстоятельствах он не видел другого способа спасти фронт от краха, как даровать политические уступки, которых требовал Родзянко. Узнав о распространении беспорядков на Москву, он 1 марта телеграфировал царю: «революция, а последняя неминуема, раз начнутся беспорядки в тылу, знаменует собой позорное окончание войны со всеми тяжкими для России последствиями. Армия слишком тесно связана с жизнью тыла, и с уверенностью можно сказать, что волнения в тылу вызовут таковые же в армии. Требовать от армии, чтобы она спокойно сражалась, когда в тылу идет революция, невозможно. Нынешний молодой состав армии и офицерский состав, в среде которого громадный процент призванных из запаса и произведенных в офицеры из высших учебных заведений, не дает никаких оснований считать, что армия не будет реагировать на то, что будет происходить в России». И поскольку Дума старается восстановить порядок в тылу, продолжал Алексеев, нужно дать ей возможность составить кабинет народного доверия[110]. К этой телеграмме он приложил проект манифеста, составленный по его просьбе Н.А.Базили, директором политической канцелярии Ставки[111], в котором царь уполномочивал Думу сформировать кабинет. Рекомендации Алексеева поддержал вел. кн. Сергей Михайлович, двоюродный брат царя, одно время возглавлявший Главное артиллерийское управление, но затем отставленный.

Около 10 часов вечера, пока это сообщение было еще в пути, Николай принял генерала Рузского. На просьбу царя откровенно изложить свое мнение Рузский высказался в пользу создания думского кабинета. Выслушав его, царь объяснил, почему с этим не согласен. Как вспоминал впоследствии Рузский, «основная мысль государя была, что он для себя в своих интересах ничего не желает, ни за что не держится, но считает себя не вправе передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред родине, а завтра умоют руки, «подав с кабинетом в отставку». «Я ответствен перед

Богом и Россией за все, что случилось и случится, — сказал Государь, — будут ли министры ответственны перед Думой или Государственным советом — безразлично, я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность».

Когда Рузский пытался убедить царя принять формулу «государь царствует, а правительство управляет», он ответил, «что эта формула ему не понятна, что надо было иначе быть воспитанным, переродиться, и опять оттенил, что он лично не держится за власть, но только не может принять решения против своей совести и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может считать, что он сам не ответствен перед Богом. Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды всех лиц, которые могли бы управлять Россией в ближайшие времена в качестве ответственных перед палатами министров, и высказывал свое убеждение, что общественные деятели, которые несомненно составят первый же кабинет, все люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться с своей задачей»[112].

Разговор с Рузским закончился около половины двенадцатого ночи, когда царю вручили телеграмму Алексеева с проектом манифеста Базили. Документ, составленный высшим офицером, произвел на него глубокое впечатление. Удалившись на несколько минут, Николай вызвал к себе Рузского и сообщил ему, что принял два решения. Рузский должен информировать Родзянко и Алексеева, что он уступает и позволяет Думе составить кабинет. Второе распоряжение касалось генерала Иванова. Ему следует послать сообщение следующего содержания: «Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать»*.

* Мартынов. Царская армия. С. 145. Телеграмма Иванову была послана по просьбе Алексеева (см.: КА. 1927. № 2 (21). С. 31).

Этими распоряжениями царь отказывался от идеи подавить петроградские беспорядки и вступил на путь политического примирения. Он надеялся, что его манифест произведет такое же успокоительное действие на народ, какое в свое время он ожидал от Манифеста 17 октября 1905 года*.

* Иванов добрался до Царского Села, где встретился с императрицей (Мартынов. Царская армия. С. 148), но его экспедиция в Луге, на подъезде к Петрограду, была остановлена восставшими, и солдаты разагитированы не исполнять своей миссии (см.: РЛ. 1922. № 3. С. 126).

Это было 2 марта в час ночи. Николай удалился в свой спальный вагон, но всю ночь не мог заснуть, мучимый сомнениями, приведут ли к желаемому результату его уступки, и беспокоясь о семье: «А мысли и чувства все время там! — записал он в дневнике. — Как бедной Алике должно быть тягостно одной переживать все эти события!» В 5.15 он все еще не спал[113]. Рузский связался с Родзянко по аппарату Хьюза в 3.30. Их разговор, длившийся четыре часа, возымел решающее действие на принятие Николаем решения об отречении, ибо именно из этого разговора Рузский, а через него и другие генералы высшего командования узнали, сколь отчаянное положение сложилось в Петрограде, и поняли, что манифест, дарующий Думе право назначить кабинет министров, пришел слишком поздно[114]. И они, в свою очередь, стали добиваться от царя отречения.

Рузский сообщил Родзянко, что царь согласился на создание кабинета, назначаемого законодательными органами и ответственного перед ними. Родзянко ответил: «Очевидно, что его величество и Вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко... Войска окончательно деморализованы, не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов... Считаю нужным Вас осведомить, что то, что предполагается Вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром». На просьбу Рузского объясниться Родзянко ответил, что «везде войска становятся на сторону Думы и народа, и грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием»*. Он порекомендовал прекратить присылку в Петроград частей с фронта, «так как они действовать против народа не будут».

* В действительности «народ» вовсе не требовал на трон царевича при регентстве: так хотелось думать части думских политиков.

Пока Рузский беседовал по прямому проводу с Родзянко, запись их разговора передавалась телеграфом Алексееву. Алексеев был потрясен тем, что ему пришлось прочесть. В девять часов утра 2 марта он связался с Псковом, прося немедленно разбудить царя («Все этикеты должны быть отброшены») и показать ему запись разговора Рузского с Родзянко — на карту поставлена судьба не только царя, но и всей династии, и самой России[115]. Генерал на другом конце связи ответил, что царь только недавно заснул и что через час назначен доклад Рузского.

Алексеев и другие генералы Ставки теперь решили, что выбора не осталось: Николаю следует последовать совету Родзянко и отречься[116]. Но Алексеев достаточно хорошо знал Николая, понимал, что он пойдет на это только под давлением со стороны военных, и поэтому взялся сообщить текст разговора

Рузского с Родзянко главнокомандующим фронтов и флотов. Он сопроводил сообщение собственной рекомендацией об отречении царя в пользу царевича Алексея и вел. кн. Михаила Александровича, с тем чтобы предотвратить развал армии, сделать возможным продолжение войны и спасти независимость России и судьбу династии. Он просил всех принявших его послание сообщить свое мнение непосредственно в Псков, а копию направить ему[117].

Рузский пришел с докладом к царю в 10.45 и вручил запись переговоров с Родзянко. Николай прочел их молча. Затем отошел к окну вагона и стоял там неподвижно, глядя на открывающийся пейзаж. Обернувшись, он сказал, что обдумает предложение Родзянко, но добавил: «Я опасаюсь, что народ этого не поймет: мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день священного коронования; меня обвинят казаки, что я бросил фронт»[118]. Он еще раз напомнил: «его убеждение твердо, что он рожден для несчастия, что он приносит несчастье России; сказал, что он ясно сознавал вчера уже вечером, что никакой манифест не поможет. "Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это"»[119].

В этот момент Рузскому вручили телеграмму, которую Алексеев разослал главнокомандующим с просьбой высказать мнение по поводу его предложения об отречении. Рузский прочел эту телеграмму царю вслух[120].

Приблизительно к двум часам дня в Псков стали поступать ответы военачальников на телеграмму Алексеева. Вел. кн. Николай Николаевич «коленопреклоненно» молил государя отказаться от короны, чтобы спасти Россию и династию. Командующие Западным фронтом генерал А.Е.Эверт и Юго-Западным фронтом генерал А.А.Брусилов тоже высказались за отречение. Генерал В.В.Сахаров, командующий Румынским фронтом, полагая Временное правительство «разбойной кучкой людей», тем не менее тоже не видел пути избежать отречения*.

* Отречение Николая II / Под ред. П.Е.Щеголева. Л., 1927. С. 203—205. Адмирал А.И.Непенин, командующий Балтийским фронтом, тоже присоединился к голосам за отречение. Его телеграмма пришла позже. Сам он был убит матросами два дня спустя (см.: Easily N.de. Diplomat of Imperial Russia, 1903-1917: Memoirs. Stanford, Calif., 1973. P. 121; РЛ. 1922. № 3. С. 143—144). От адмирала Колчака, командующего Черноморским флотом, ответа не последовало.

Между двумя и тремя часами дня Рузский вновь пошел к царю в сопровождении генералов Ю.Н.Данилова и С.С.Савича, взяв с собой телеграммы от вел. кн. Николая Николаевича и командующих фронтами[121]. Внимательно просмотрев их, царь попросил генералов откровенно высказаться. Они горячо заговорили, что и по их мнению у царя не остается иного выбора. Помолчав, Николай перекрестился и сказал, что готов к этому. Генералы тоже перекрестились. Николай удалился и появился вновь через четверть часа (3.05) с двумя сообщениями, написанными от руки на телеграфных бланках и адресованными — Родзянке одно, другое — Алексееву.

Первое гласило: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего, великого князя Михаила Александровича»[122].

Телеграмма Алексееву была по существу такой же, за исключением того, что в ней не упоминалось о регентстве[123].

Николай попросил в Ставке составить манифест об отречении. Алексеев поручил эту работу Базили. Основываясь на Своде законов, Базили составил текст, который в 7.40 был передан в Псков царю на подпись[124].

Все говорит о том, что Николай II отрекся из патриотических соображений, желая избавить Россию от позорного поражения и спасти ее армию от разложения. Окончательным доводом, заставившим его пойти на этот шаг, было единодушное мнение командующих фронтами, в особенности телеграмма вел. кн. Николая Николаевича*. Не менее знаменателен факт, что Николай обсуждал возможность отречения не с Думой и ее Временным правительством, а с генералом Алексеевым, как бы подчеркивая, что отрекается перед армией и по ее просьбе. Если бы царь в первую очередь заботился о сохранении трона, он мог бы скоропалительно заключить мир с немцами и бросить войска с фронта на усмирение бунта в Петрограде и Москве. Он предпочел отказаться от короны ради спасения фронта.

* Мартынов. Царская армия. С. 159. Впоследствии, вернувшись в Царское Село, Николай показал графу Бенкендорфу телеграммы от командующих фронтами в объяснение принятого им решения (см.: Benckendorff P.K. Last Days at Tsarskoe Selo. Lnd., 1927. P. 44—45).

Хотя все это время царь не терял самообладания, отречение явилось для него большой жертвой, и вовсе не потому, что ему были дороги сама власть или ее внешний блеск — первое он считал тяжким бременем, второе — скучной показухой, — но потому, что этим актом, по его мнению, он нарушал клятву, данную перед Богом и страной[125].

Однако на этом его испытания не кончились. В тот самый момент, когда государь император подписывал акт об отречении, в Петрограде два представителя Временного правительства, Шульгин и Гучков, сели в специальный поезд, следующий в Псков. Они везли их собственный вариант манифеста об

отречении, надеясь добиться от царя того, что он — о чем знать они еще не могли — уже сделал. Эту миссию им поручило Временное правительство, пришедшее этой ночью к решению, что для успешной деятельности ему необходимо отречение старой власти. Новое правительство надеялось, что, действуя стремительно, оно сможет представить народу нового царя, в лице цесаревича Алексея, прежде, чем Совет объявит установление в России республиканского строя.

Когда Рузский вышел из царского поезда, ему сообщили, что Шульгин и Гучков в пути. Он доложил об этом царю, и тот попросил вернуть телеграммы, предназначенные Родзянке и Алексееву. Рузский подумал, что, быть может, посланцы нового правительства, оба известные монархистскими взглядами, везут сообщение, позволяющее царю остаться на троне[126].

Ожидая их приезда, царь решил переговорить с придворным врачом, профессором С.П.Федоровым, чтобы спросить у него прямо, возможно ли излечение цесаревича от тяжкого недуга. Царь открыл, что, по предсказанию Распутина, по достижении 13-летнего возраста — то есть в 1917 году — цесаревич полностью излечится. Правда ли это? Федоров ответил, что такое выздоровление от гемофилии при нынешнем состоянии медицинской науки было бы просто чудом. Однако цесаревич может прожить долгие годы. И добавил: по его мнению, не следует надеяться, что после отречения Николай сможет держать сына, объявленного теперь царем, при себе, ибо более чем вероятно, что бывшего царя вышлют за границу[127]. Это соображение заставило Николая изменить решение. Он не мог расстаться с сыном и поэтому вместо отречения в его пользу вручал корону вел. кн. Михаилу Александровичу.

Этот импульсивный жест был последним дыханием вотчинного духа, непроизвольным движением души, показывающим, как глубоко укоренился такой образ мыслей в сознании русской монархии. Порядок наследования императорской власти был четко определен: согласно Основным законам, корона автоматически переходит к старшему сыну царствующего императора, даже если он несовершеннолетний и не может править[128]. Николай не имел никакого права отрекаться от имени сына и назначать своим наследником вел. кн. Михаила: «Престол Российский — не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу»[129]. Выбор вел. кн. Михаила был вдвойне неправомочен еще и потому, что Михаил, взяв в жены женщину невысокородного происхождения, уже однажды разведенную, в любом случае не мог претендовать на престол.

Шульгин и Гучков прибыли в Псков без четверти десять вечера и были немедленно препровождены в царский поезд. Оба были небриты, в помятых одеждах, про Шульгина говорили, что у него был вид приговоренного[130]. В присутствии Рузского, графа Фредерикса и генерала Нарышкина, ведшего запись, Гучков мрачно описал положение в столице. Избегая смотреть императору в глаза, уставившись в стол перед собой, он особенно напирал на опасность распространения беспорядков на фронтовые части и на бесполезность присылки карательной экспедиции. Он подчеркивал, что бунт стихийный: помощник Хабалова сообщил ему, что войска немедленно перешли на сторону восставших. По свидетельству Рузского, Николай был совершенно потрясен сообщением, что его личный конвой принял участие в мятеже. После этого он уже едва слушал Гучкова[131]. Гучков продолжал рассказывать, что петроградские бунтовщики настроены крайне антимонархически и во всех несчастиях России винят династию. Это требует резко переменить образ правления. Временный комитет был образован для восстановления порядка, в особенности в войсках, но эта задача требует и других перемен. Невозможность сохранения престола за Николаем определялась не только враждебностью населения к императору и императрице, но и боязнью возмездия. «У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, — говорил Гучков, — уверенность, что водворение старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена»[132]. Гучков заключил, что лучшим выходом для царя будет отречение в пользу сына и назначение регентом Михаила Александровича — таково мнение «Временного комитета». Такой шаг, принятый вовремя, может спасти Россию и династию.

Шульгин, наблюдавший за царем, пока Гучков излагал свою точку зрения, вспоминал, что тот был невозмутим. Когда Гучков закончил, он ответил «совершенно спокойно, как будто о самом обыкновенном деле», что еще раньше днем он принял решение отречься в пользу сына, «но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что, ввиду его болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя и за него, так как разлучиться с ним я не могу»[133]. Престол должен перейти к Михаилу. От неожиданности Гучков и Шульгин не нашлись, что ответить. Придя в себя от потрясения, они подняли вопрос о законности такой процедуры. Но среди присутствующих не было ни одного квалифицированного юриста, и вопрос повис в неопределенности. Шульгин и Гучков говорили, что, оставив в стороне вопрос о легальности такого акта, восшествие на престол юного цесаревича Алексея произвело бы большее впечатление на народ: «Прекрасный миф мог бы быть создан вокруг невинного и чистого дитя, — подумал про себя Гучков, — его обаяние могло бы успокоить озлобленные массы»[134].

Но Николай не уступал. Он удалился в свой вагон, где оставался двадцать минут, в течение которых переделал манифест об отречении, назначив своим преемником Михаила. По просьбе Гучкова и Шульгина он включил в текст пассаж с заповедью брату дать клятву работать «в единении» с законодательными учреждениями. Это было за полчаса до полуночи, но царь пометил документ 3.05 пополудни, то есть временем, когда принял первоначальное решение, чтобы не создавалось впечатление, что он оставил трон под давлением со стороны Думы.

«Ставка
Копии всем командующим
Начальнику Штаба.

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственною Думою, признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем Его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами государственными в полном и ненарушаемом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Псков. 2-го марта
Николай
15 час. 5 мин. 1917 г.
[Скреплено]
Министр Императорского Двора
Генерал-Адъютант Граф Фредерикс»[135].

Две черты этого исторического документа, которым завершилось трехсотлетнее правление Романовых, требуют пояснений. Первая: отречение было адресовано не Думе и ее «Временному комитету», фактическому правительству России, но верховному главнокомандующему генералу Алексееву. Очевидно, с точки зрения Николая, военное командование оставалось единственным носителем власти. Вторая черта, которая была повторена в прощальном обращении Николая к войскам 7 марта, — это осознание, что отныне Россия есть конституционная монархия в полном смысле слова: акт отречения предлагал Думе устанавливать новый конституционный порядок и определять роль монархии в нем.

Пока снималась копия с манифеста, которую думские делегаты должны были отвезти в Петроград, Николай по их просьбе написал две собственноручные записки Сенату. В одной он назначал князя Львова председателем Совета министров, что узаконило деятельность Временного комитета. По словам Гучкова, император, согласившись назначить Львова, спросил, какой чин он имеет. Когда Гучков ответил, что не знает, Николай только усмехнулся[136]: он, очевидно, не мог понять, как частное лицо, без всякого чина, может возглавить кабинет министров. Другое распоряжение касалось назначения вел. кн. Николая Николаевича преемником на посту Верховного главнокомандующего[137]. Хотя в действительности была уже полночь, оба документа помечены двумя часами дня, чтобы предшествовать по времени акту отречения.

Когда все было закончено, Николай сказал Шульгину, что намерен провести несколько дней в Ставке, затем навестить в Киеве мать и наконец присоединиться к семье в Царском Селе, где собирается оставаться до выздоровления детей от кори*. Все три документа были отосланы с курьером в Могилев для распространения. Следом в том же направлении двинулся царский поезд. В дневнике Николай записал: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!» А на следующий день, проведенный в пути к Ставке, «читал много о Юлии Цезаре».

* Мартынов. Царская армия. С. 171. По свидетельству Воейкова (Падение. Т. 3. С. 79), Николай предпочел направиться в Ставку, а не в Царское Село, куда путь был еще прегражден.

Новость об отречении Николая распространялась быстро и к полудню следующего дня достигла Царского Села. Александра Федоровна вначале не желала в него верить, говоря, что не может себе представить, чтобы ее супруг поступил так опрометчиво. Когда к вечеру слух подтвердился, она объяснила, что «император предпочел отречься от короны, чтобы не нарушать данную при коронации клятву удержать и передать своему наследнику самодержавие в том виде, в каком он принял его от своего отца». Потом она заплакала[138].

В контексте политической ситуации того времени отречение императора Николая II произошло уже на спаде событий, ведь несколькими днями ранее петербургская толпа свергла его своею властью. Но в более широком контексте российской политической жизни это был акт величайшей важности. Во-первых, потому, что государственные служащие и военные в России приносили клятву верности самому царю и отречение освобождало их от этой клятвы и от их обязанностей. До тех пор, пока на трон не взойдет Михаил (и только

в этом случае), чиновники и офицеры были вправе поступать по своему усмотрению, не имея над собой верховной власти, которой следует подчиняться. Во-вторых, поскольку народные массы в России привыкли идентифицировать личность монарха с государством и правительством, уход монарха означал для них развал империи.

* * *

Шульгин и Гучков уехали в Петроград в три часа ночи. Перед отъездом они сообщили телеграфом правительству содержание трех царских документов. Текст манифеста об отречении привел кабинет в замешательство, так как никто не предвидел отречения царя в пользу брата. Думский кабинет, боясь, что манифест в таком виде вызовет новые волнения, решил на время приостановить его публикацию.

Комитет провел остаток ночи в горячих спорах о программе дальнейших действий. Главными противниками были Милюков и Керенский. Милюков, выдвигая уже не раз приводившиеся им основания, доказывал, что важно сохранить монархию хоть в каком-то виде. Керенский возражал: как бы ни были вески исторические и правовые аргументы Милюкова, сегодня, учитывая настроение народа, такой курс совершенно невозможен. Кабинет взял сторону Керенского. Было решено как можно скорее устроить встречу с вел. кн. Михаилом и убедить его отказаться от престола. Родзянко сообщил об этом Алексееву и Рузскому, прося их пока сохранять царский манифест в тайне[139]. В иных обстоятельствах вел. кн. Михаил мог бы быть весьма подходящим кандидатом на роль конституционного монарха. Он родился в 1878 году и с 1899-го по 1904 год был естественным наследником престола. Но в 1912 году запятнал себя морганатическим браком, женившись в Вене без позволения царя на разведенной женщине. За этот проступок над ним и его имуществом была установлена опека, ему запретили возвращаться в Россию и уволили из армии. Позднее его царствующий брат смягчился, разрешил ему вернуться и позволил его жене Н.С.Вульферт носить титул княгини Брасовой. Во время войны Михаил служил на Кавказе командующим знаменитой Дикой дивизии и Вторым Кавказским корпусом. Был он мягким, скромным человеком, мало интересующимся политикой, столь же нерешительным и слабым, как и его старший брат. И хотя во время февральской революции он был в Петрограде, но оказался совершенно бесполезным для думских лидеров, надеявшихся на его помощь в восстановлении порядка.

В шесть часов утра Комитет Думы связался по телефону с вел. кн. Михаилом, остановившимся в доме княгини Путятиной. Его осведомили о решении брата передать ему российский престол и просили о встрече с кабинетом. Михаил был удивлен и раздосадован поступком брата, возложившего на него столь тяжкую ответственность без предварительной договоренности. Встречу с кабинетом отложили до утра, очевидно, потому, что министры хотели услышать отчет Шульгина и Гучкова об их миссии в Псков. Однако эмиссары задержались и пришли в дом Путятиной к моменту начала встречи[140].

От имени большинства в кабинете Родзянко заявил вел. кн. Михаилу, что, если он примет престол, в считаные часы разразится новый страшный бунт, который выльется в гражданскую войну. И правительство, не имея в своем распоряжении никаких надежных войск, ничего не может гарантировать. Поэтому решать вопрос монархии всего вернее предоставить Учредительному собранию. Керенский говорил в том же духе. Милюков высказал противоположное мнение (поддержал его только Гучков). Отказ принять корону будет означать гибель России, проговорил он голосом, осипшим от многодневных бесконечных выступлений, и продолжал: «Сильная власть, необходимая для укрепления порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Временное правительство одно без монарха... является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений; стране при таких условиях может грозить потеря всякого сознания государственности»[141].

Тогда в полемику вступил Керенский: «П.Н.Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете Россию!.. Наоборот. Я знаю настроение масс... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... именно этот вопрос будет причиной кровавого разлада. Умоляю вас, во имя России, принести эту жертву»[142].

В попытке примирить несогласные стороны и сохранить хоть что-то от монархического принципа Гучков предложил великому князю принять титул регента[143].

В час дня Михаил, с возрастающим нетерпением выслушивавший эти споры, пожелал поговорить с Родзянко с глазу на глаз. Все согласились, однако Керенский захотел удостовериться, что великий князь не станет советоваться с женой, имевшей репутацию политической интриганки. Усмехнувшись, великий князь заверил, что его жена сейчас находится в Гатчине. По словам Родзянко, основной вопрос, который ему задал великий князь, когда они остались наедине, был: может ли Дума гарантировать его личную безопасность, и отрицательный ответ Родзянко решил исход дела[144].

Возвратившись к думцам, вел. кн. Михаил заявил, что принял бесповоротное решение придерживаться воли большинства в правительстве и отказаться от престола до тех пор, пока его не предложит ему Учредительное собрание. Он прослезился. Керенский воскликнул: «Ваше высочество, вы — благородный человек. Отныне я буду это всюду говорить»[145].

Для составления манифеста об отказе от престола пригласили двух юристов — В.Д.Набокова и Б.Э.Нольде. До вечера они занимались составлением документа, иногда к ним присоединялся и великий князь, желавший, чтобы в тексте они подчеркнули его уважение к воле Учредительного собрания. К шести

вечера ему было предложено скрепить подписью следующий текст:

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины Нашей, принял Я твердое решение в том лишь случае воспринять Верховную Власть, если таковая будет воля Великого народа Нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учред. собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Гос. думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа»[146].

Великий князь подписал документ и передал Родзянко, который обнял его и назвал «благороднейшим человеком».

На следующий день, 4 марта, два манифеста об отречении — один высочайший от своего имени и от имени наследника, другой вел. кн. Михаила — появились напечатанными рядом на одном листе. По словам очевидцев, они были встречены населением с восторгом[147].

Прав ли был Милюков? Мог ли вел. кн. Михаил спасти страну от кровопролития, если бы последовал его совету, а не уговорам большинства? Едва ли. Довод, что русский народ осознает государственность только в связи с личностью монарха, был, без сомнения, весьма весомым. Однако эти теоретические соображения на время отступили перед настроениями толпы, почитавшей себя жертвой обмана и предательства монархии, и никто не сделал больше для воспитания этих чувств, чем сам Милюков своим достопамятным выступлением в Думе 1 ноября 1916 года. Вновь обратиться мыслями к монархии Россия была готова, лишь пережив год анархии и большевистского террора.

Как и остальные члены императорской фамилии, вел. кн. Михаил Александрович погрузился в частную жизнь.

* * *

Интеллигенция, образовавшая российское правительство, готовила себя к этой роли многие годы. Совершенно неправомочно утверждать поэтому, как это делал Керенский в одном из вариантов своих мемуаров, что Временное правительство оказалось у кормила власти «неожиданно»[148]: будущие члены правительства еще с 1905 года протестовали и требовали права сформировать кабинет. Почти все они принадлежали к Прогрессивному блоку, и их имена фигурировали в разнообразных неофициальных списках кабинета, уже многие годы публикуемых в российских газетах. Всем образованным людям они были известны как ведущие оппоненты царского режима, и, получив власть, они вроде бы реализовали свое естественное право.

Но, как отмечал Николай, никто из них не имел опыта управления страной. Все, что они знали в политике, было почерпнуто в Думе, и под политикой они понимали борьбу с правительственной бюрократией в залах и кулуарах Таврического дворца, обсуждение законодательных предложений и, в критические минуты, обращение к массам. Ученые, юристы, промышленники, они свободно разбирались в основополагающих вопросах социальной политики и в устойчивой парламентской демократии чувствовали бы себя прекрасно. Но правительству, конечно же, приходится заниматься не одним лишь законотворчеством: первое и главное — это управление. «Administrer, c'est gouverner, — сказал Мирабо, — gouverner, c'est regner; tout ce reduit la»*. Этот принцип им был совершенно не доступен, ведь они привыкли именно презренной бюрократии предоставлять заботу о рядовых, повседневных задачах государственного управления. Действительно, горя желанием все переделать по-новому, они и тут поставили все с ног на голову: если царский режим старался подчинить политику администрации, то они желали устранить администрирование из политики. Внимание первого Временного правительства было устремлено на искоренение неурядиц старого режима, в основном посредством законодательной деятельности, не сдерживаемой правом вето царя и верхней палаты. И за все время своего существования это правительство больше занималось разрушением старого правопорядка, чем созданием чего-то нового взамен. Оно так и не создало новых учреждений, способных заменить те, что рухнули либо под собственным весом, либо под натиском с его стороны.

* Управлять — значит править, править — значит царствовать; в этом вся *суть (фр.)*.

Такое невнимание к администрированию и исполнению законов, издаваемых их собственными канцеляриями, новые лидеры обосновывали верой в мудрость народа. Политические понятия, почерпнутые главным образом из литературных источников, приучили русскую интеллигенцию к восприятию демократии не как идеала, достигаемого кропотливой работой, а как некой реальности, которой мешает утвердиться лишь царское законоустройство. Они были убеждены — или, вернее, им пришлось убедить себя, — что для того, чтобы дать демократии проявиться, самое главное — отказаться от управления. В стране, привыкшей на протяжении веков к централизованному управлению и беспрекословному исполнению распоряжений

сверху, революционное правительство приняло крайнюю форму политического laissez-faire — и это в период, когда страна вела беспримерную войну, когда ее осаждали инфляция, аграрные волнения и множество других животрепещущих проблем.

Но даже и в этих обстоятельствах вполне возможно было ввести в стране некоторые начатки правопорядка, если бы Временное правительство не дало дорогу анархии, распустив губернскую администрацию и полицию. И Керенский намеренно уводит нас от истины, утверждая, в попытке самооправдания, что административный аппарат России был разрушен царским режимом[149]. Фактически все было сделано уже статьями 5 и 6 восьмистатейной программы, принятой Временным правительством 1—2 марта в согласии с Исполкомом[150]. 5 марта были уволены все губернаторы и вице-губернаторы, и их полномочия переданы председателям губернских земских управ. Эта акция все запутала и осложнила. Хотя многие царские чиновники, узнав об отречении государя императора, сами подали в отставку, а часть других были арестованы местными революционерами, во многих губерниях губернаторы приветствовали новое правительство и открыто чествовали его[151]. Правительство действовало как бы в твердом убеждении, что от представителей старого режима нельзя ожидать лояльности к новой власти и они при первой же возможности станут ее саботировать[152].

Справедливость этого предположения весьма сомнительна, ибо Временное правительство в глазах царской бюрократии, привыкшей подчиняться центральной власти, скоро облекалось ореолом законности. Если бы правительство пожелало убедиться в их лояльности, ему требовалось лишь обнародовать царское прощальное обращение к армии, в котором, как мы увидим, монарх заповедал подданным подчиняться Временному правительству, — этот документ новое правительство соизволило скрыть от своих граждан. Устранение губернаторов, исконной опоры российской администрации, создало в губерниях административный вакуум. Можно понять, почему революционные власти желали поставить своих людей на эти места, но трудно взять в толк, почему губернаторы не могли оставаться на своих должностях на тот краткий период, который был необходим для подыскания им замены. Эта акция напоминала упразднение французской Национальной ассамблеей в 1789 году института интендантов, основных агентов абсолютизма, что немедленно лишило Париж контроля над страной[153]. Возможно даже, что российская акция копировала французскую модель. Но во Франции социальные институты были много прочнее, и много прочнее было чувство национального единства, которого в России почти и вовсе не было. И потому во Франции эти меры не привели к столь драматическим последствиям: Франция, не в пример революционной России, устояла.

Роспуск старой губернской администрации был встречен весьма сочувственно интеллигенцией, чьи громкие слова о «массах» и «демократии» прикрывали ее властные амбиции. Город за городом, обычно под покровительством местных Советов, завоевывали они своими учреждениями, укомплектованными по полной выкладке заместителями, секретарями, телефонами, столами, шкафами и резиновыми печатями. Однако, не имея того опыта работы, которым обладали те, кого они сменили, новые администраторы просто тупо подражали своим предшественникам.

Более понятным представлялся — хотя и отозвавшийся впоследствии не менее разрушительными результатами — роспуск полиции и жандармерии, символов государственной власти для большинства населения. Эта мера предусматривалась статьей 5 известной программы. Департамент полиции был упразднен 4 марта, хотя к тому моменту это стало уже чистой формальностью, ибо уже с 27 февраля, когда здание департамента было разгромлено толпой, он практически бездействовал. Правительство распорядилось о роспуске охранного отделения и жандармских корпусов. На следующий день оно разослало инструкции местным властям о создании отрядов народной милиции, под командованием выборных офицеров, приданных в распоряжение земств и городских Советов. Такая милиция не пользовалась авторитетом: Набоков отмечает, что во многих местах ее заполонили уголовные элементы[154]. Спустя две недели после революции Россия осталась без полицейских институтов как в политической, так и в бытовой сфере. Когда в апреле 1917 года правительство оказалось перед угрозой возглавленного большевиками бунта, у него не нашлось надежных сил для самозащиты.

И вот, решение неизмеримо трудной первоочередной задачи — управления страной, ведущей войну и охваченной революционной эйфорией, — сделалось невозможным из-за грубейших приемов, продиктованных доктринерским представлением о демократии, верой в мудрость народа и презрением к профессиональному чиновничеству и полиции. Россия весной 1917 года явила миру уникальный пример правительства, порожденного революцией, устранившей прежний аппарат управления прежде, чем оно (правительство) смогло бы заменить его структурами собственного производства. Поначалу, впрочем, это было не слишком явно. В первые недели после прихода к власти Временное правительство получало отовсюду широкую поддержку. Вся страна клялась в верности ему, включая великих князей, генералов, не говоря уже о тысячах младших чинов. Даже самые реакционные представители Объединенного дворянства, предводительствуемые Самариным, проголосовали в его поддержку[155]. Иностранные государства быстро пошли на дипломатическое признание его, начиная с Соединенных Штатов (9 марта), за которыми одна за другой последовали Англия, Франция, Италия и другие страны-союзницы. Но это выражение поддержки со стороны населения и иностранных держав внушило новому кабинету обманчивое впечатление относительно его способности контролировать ситуацию в стране, в то время как оно висело между небом и землей. В.Д.Набоков в своих воспоминаниях о Временном правительстве писал: «И припоминается основное настроение: все переживаемое представлялось нереальным» [156].

* * *

Одна из сложностей понимания хода событий февральской революции заключается в двусмысленной природе двоевластия.

Теоретически при двоевластии кабинет должен был функционировать как совмещенный законодательный и исполнительный орган, и в той и в другой функции подвластный праву вето, которым наделен Совет, представляемый Исполкомом. Но на практике Совет не только осуществлял контроль над Временным правительством, но и самочинно издавал законы. Приказом № 1 Совет захватил безраздельную власть над вооруженными силами. Как мы увидим, он диктовал и военные цели России. Таким образом правительство теряло власть как в военной сфере, так и в сфере иностранной политики. В более земных вопросах, как, например, продовольственное снабжение и производственные отношения, транспорт и связь, Исполком распоряжался как высшая инстанция, даже не утруждаясь согласовывать свои действия с правительством.

Вожди Совета не скрывали того факта, что Временное правительство существует лишь с их благоволения. На Всероссийском совещании рабочих и солдатских депутатов 29 марта Церетели, меньшевистский председатель Исполкома, заявил, что Временное правительство существует благодаря соглашению, заключенному Петроградским Советом с «буржуазными цензовыми элементами общества»[157]. Другой член Исполкома, трудовик В.Б.Станкевич, хвастался, что Совет может распустить Временное правительство в пятнадцать минут, дав соответствующие указания по телефону[158]. Защитники системы «двоевластия» впоследствии говорили, что Совет делал все от него зависящее, чтобы поддерживать под руку шаткое правительство, и не только не думал о его свержении, а, наоборот, служил ему главным источником силы[159]. Исторические свидетельства не дают подтверждения таким заявлениям. Они говорят о том, что, даже когда Исполком как будто шел на выручку правительству, помогая усмирить волнения, он в то же время непременно старался подорвать его авторитет и престиж.

Вожди Исполкома произносили речи, унижающие правительство и роняющие его авторитет в глазах населения, привыкшего к почтительному отношению к власти. Прекрасным примером может служить выступление Чхеидзе 24 марта перед делегацией учащихся, пришедших в Совет с транспарантом, приветствующим Временное правительство. Чхеидзе обратился к ним со следующими словами: «Я вижу на вашем знамени надпись: «Привет Временному правительству», но для вас не секрет, что многие из них (из его членов) еще накануне революции дрожали и призывали не верить. Вы его приветствуете. Очевидно, вы верите, что оно будет высоко нести новое знамя. Если вы уверены в этом, то оставайтесь при этой уверенности. Мы и сами его поддержим, пока оно будет проводить демократические принципы. Но мы ведь знаем, что правительство наше не демократическое, а буржуазное. Следите же зорко за его деятельностью. Мы поддержим всякие его шаги, которые будут клониться к общей пользе, но все другое мы будем разоблачать, ибо перед нами судьба России»[160].

Такие слова в устах второй по влиянию политической фигуры в Совете и первого кандидата на пост президента Российской республики выдают лживость заявлений «защитников» из Совета о лояльной поддержке ими правительства. Относясь к нему как к институту, заведомо контрреволюционному, лишь усилиями Совета сдерживаемому «в рамках», они играли на руку своим врагам слева, справедливо рассуждавшим, что раз дело обстоит так, то следует правительство устранить, а всю полноту власти Совету взять на себя. И если Исполком уклонялся от такого шага, логически вытекающего из его утверждений, то только потому, что ему хватало смелости лишь на обвинения. Распоряжавшиеся в нем социалисты хотели, чтобы Временное правительство служило громоотводом народного недовольства, пока они будут обделывать дела за кулисами; они хотели управлять, не царствуя. Как хвастал впоследствии Троцкий, это дало большевикам возможность захватить власть, только требуя, чтобы Совет стал de jure тем, чем был de facto.

Отношения между двумя органами власти символизировались их взаиморасположением в городе. Совет и его Исполком находились в Таврическом дворце — обиталище Думы и центре оппозиции при царизме. Временное правительство сначала разместилось в Мариинском дворце, где прежде находился Совет министров, а в июле переместилось в Зимний — резиденцию царя*.

* К тому времени Совет переместился в Смольный, где ранее размещался Институт благородных девиц.

Исполком занимался законотворчеством во всех сферах деятельности. Под давлением рабочих он декретом установил восьмичасовой рабочий день для всех предприятий, включая и оборонные.

3 марта он выпустил приказ об аресте членов царской фамилии, не исключая даже вел. кн. Николая Николаевича, назначенного Верховным главнокомандующим[161]. Логика взятой на себя Исполкомом роли «демократического контроля» за «буржуазией» скоро привела к принятию репрессивных мер, напоминавших худшие дни царизма. Так, 3 марта он «уполномочил» функционирование почтовой и телеграфной служб, но под «надзором» советских органов[162]. Затем последовала цензура печати. 5 марта Исполком вынес распоряжение о закрытии всех изданий «черносотенного» направления, включая правую газету «Новое время», которая имела дерзость выходить без разрешения[163]. Два дня спустя Исполком посоветовал газетам и журналам не выходить без полномочий от Совета — то есть от самого себя[164]. Эта попытка восстановить

цензуру в виде, привычном до 1905 года, вызвала столь сильный протест, что ее пришлось отменить[165]. Показательно, как стремительно социалисты-интеллигенты, исповедовавшие самые высокие демократические идеалы, нарушили основной принцип демократии — свободу мнений.

Исполком продолжал бюрократизироваться. Уже 3 марта он создал сеть «комиссий», занимавшихся насущными проблемами: снабжением продовольствием, железнодорожным сообщением, почтой и телеграфом, финансами — настоящее постоянно действующее теневое правительство, дублирующее и через это контролирующее все действия правительства официального. Основным учреждением, служащим этой цели, была «Контактная комиссия» из пяти социалистов — представителей интеллигенции (Н.С.Чхеидзе, М.И.Скобелев, Ю.М.Стеклов, Н.Н.Суханов и В.Н.Филипповский), созданная 7 марта «в целях осведомления последнего о требованиях революционного народа, воздействия на правительство для удовлетворения этих требований и непрерывного контроля над их осуществлением»[166]. Так одним росчерком пера воля группы интеллигентов, назначенных социалистическими партиями, стала волей «революционного народа». По словам Милюкова, сначала правительство удовлетворяло всем требованиям Контактной комиссии. В конце марта Церетели говорил, что «не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашения» с Контактной комиссией[167]. Чтобы закрепить такую практику, 21 апреля Исполком просил Временное правительство не предпринимать «важных» политических шагов, предварительно не проинформировав его[168].

По понятным причинам Исполком обращал особое внимание на вооруженные силы. «В целях установления прочной и постоянной связи» Исполком назначил комиссаров в военное министерство, в армейское главнокомандование и в штабы главнокомандующих фронтов и флотов. Эти комиссары должны были следовать инструкциям, исходящим из Исполкома. Во фронтовой зоне ни один приказ, изданный военным командованием, не имел силы без предварительного одобрения Исполкома и его комиссаров. Последние должны были помогать решать споры, возникающие в войсках и между мирным населением и войсками в боевой зоне или прилежащих к ней районах. Военному министру надлежало наставлять военное командование содействовать советским комиссарам в исполнении ими своих обязанностей[169].

Исполком продолжал неуклонно расширяться. 8 апреля в его состав вдобавок к десяти уже имевшимся солдатским представителям вошли еще девять (все из эсеров и меньшевиков) — они стали первыми избранными его членами. Десять же ранее назначенных были переизбраны — большевикам при этом не досталось ни одного места. Представители рабочих были набраны из меньшевиков, большевиков и эсеров[170].

В первый месяц существования Петроградский Совет служил лишь нуждам столицы, но затем распространил свое влияние на всю страну. На Всероссийском совещании рабочих и солдатских депутатов, созванном в Петрограде в конце марта, была принята резолюция о включении в состав Исполкома представителей губернских Советов и фронтовых армейских частей, превратившая Петроградский Совет во Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов[171]. 16 делегатов из разных частей России пополнили ряды Исполкома, превратившегося теперь во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Теперь его численность возросла до 72 человек, из которых 23 были меньшевиками, 22 — эсерами и 12 большевиками.

Дабы направлять и систематизировать свою работу, Исполком создал 14 марта новый бюрократический орган — Бюро. К середине апреля в Бюро входило 24 члена (11 меньшевиков, 6 эсеров, 3 трудовика и 4 «нефракционных» социал-демократа). Большевики поначалу отказались от участия на том основании, что им было предложено недостаточное число мест[172].

Исполком и его Бюро заменили собой неисправимо недисциплинированные пленарные заседания Совета, который созывался все реже и реже. Если Совет все-таки собирался, то лишь для того, чтобы бурно приветствовать решения Исполкома. В первые четыре дня своего существования (28 февраля — 3 марта) Совет собирался ежедневно. Далее, в течение всего месяца, — только четыре раза, а в апреле — шесть. Никто не обращал особого внимания на его шумные заседания. В отдельности солдатская секция и рабочая секция собирались несколько чаще.

Хотя Исполком, со своим Бюро, и Совет, следующий их указаниям, должны были изображать истинный голос народных масс, в их составе не было представителей крестьянских организаций. У крестьян, составляющих 80% населения страны, был свой Крестьянский союз, державшийся от Совета на приличном расстоянии. Всероссийский Совет, таким образом, выступал от имени малой части населения страны, в лучшем случае каких-нибудь 10—15%, если принимать в расчет крестьянство и «буржуазию», которые никак в Совете представлены не были.

* * *

Действуя в столь сложных условиях, Временное правительство сосредоточило усилия на «демократическом» законотворчестве, которое было легко провести и которое заведомо получило бы одобрение Совета. Заседания кабинета происходили по вечерам, часто далеко за полночь. Министры были вконец утомлены и нередко засыпали прямо во время заседания.

В первые недели после прихода к власти правительство провело множество законов, частью направленных на искоренение неурядиц старого режима, частью — на осуществление положений

восьмистатейной программы. Солдаты получили полные гражданские права, и те, что служили в тылу, более не подлежали суду военного трибунала. Все ограничения гражданских прав, связанные с религиозной или этнической принадлежностью, были сняты. Смертная казнь отменена. Права собраний и обществ гарантированы. Польше была обещана полная независимость после окончания войны (хотя и определявшаяся условием сохранения ее «связи с Россией в свободном военном союзе»), а Финляндии было гарантировано восстановление ее конституционных прав. Производство законов было, пожалуй, самым продуктивным сектором российской экономики[173]. Беда, однако, в том, что если законы, предоставлявшие новые свободы, начинали действовать с ходу, то на законы, налагающие новые обязанности, никто не обращал внимания.

По трем основным вопросам — земельная реформа, Учредительное собрание и мир — правительство действовало в весьма медлительной манере.

Помимо областей, прилегающих к большим городам, известие об отречении царя достигало сельской глубинки, еще спящей в оковах суровой зимы, с черепашьей скоростью. Большинство деревень впервые услышали о революции четыре-шесть недель спустя, то есть в первой половине апреля, с началом весенней оттепели[174]. Крестьяне истолковали эту новость на свой лад — как призыв к захвату частновладельческих земель, что десять лет назад удалось сдержать Столыпину. «Черный передел» стал вновь набирать силу по мере того, как общинные крестьяне, сперва робко, но постепенно все дерзостней, захватывали землевладения, и в первую очередь принадлежащие тем крестьянам, которые вышли из общины и вели единоличное хозяйство. Первые сообщения об аграрных беспорядках достигли Петрограда в середине марта[175], но массовый характер они приобрели в апреле. Зачинщиками земельных бунтов часто были дезертиры и уголовники, оказавшиеся в марте на свободе; порой целые общины поддавались их влиянию. На этой первой стадии аграрной революции крестьяне разоряли в основном уединенные дворы и усадьбы, рубили деревья, растаскивали зерно и разгоняли взятых в батраки военнопленных[176]. Как и в 1905 году, случаи физического насилия были редки. 8 апреля правительство призвало крестьян воздержаться от незаконного захвата земель. Была кроме того назначена комиссия под начальством министра земледелия А.И.Шингарева, призванная составить проект программы земельных реформ для представления Учредительному собранию[177].

Эсеры активно занимались организацией крестьянства. Они восстановили Крестьянский союз, распавшийся после 1905 года. Союз приветствовал Временное правительство и в своих обращениях призывал крестьян к терпению и выдержке[178]. Призывы правительства и Крестьянского союза производили успокоительное действие: многие крестьяне решили, что будет вернее обрести права на землю законным путем, а не силой. Однако аграрные волнения стихли только в июне, после того, как социалисты вошли во Временное правительство и пост министра земледелия занял лидер эсеров В.М.Чернов. И все же нельзя было полагаться бесконечно на долготерпение деревни: неспособное провести земельную реформу, правительство вскоре утратило симпатии общинных крестьян.

Дабы обеспечить продовольственное снабжение городов, Петроград ввел 25 марта государственную монополию на торговлю хлебом. Крестьянам предписывалось излишки зерна сдавать правительственным агентам по твердым ценам. Однако средств обеспечить соблюдение этих предписаний не было, и крестьяне не повиновались им, продолжая реализовывать излишки на свободном рынке. Аграрные волнения весьма пагубно отразились на обстановке в армии. Слухи о грядущем «черном переделе» вызвали на фронте первое массовое бегство солдат, боявшихся опоздать к вожделенной минуте и остаться ни с чем[179].

Ничто не было столь необходимо для стабилизации обстановки, как скорейший созыв Учредительного собрания. Лишь орган власти, избранный на демократической основе, обрел бы неоспоримую законность и в этом качестве был бы способен отразить атаки как крайне правых, так и крайне левых. Сложности проведения выборов в тот момент были, безусловно, устрашающими. И все же дело было столь безотлагательным, что опытные политики сочли бы за лучшее созвать несовершенное Собрание незамедлительно, нежели совершенное — когда-нибудь в свое время. Когда в 1848 году Июльская монархия во Франции пала, Учредительное собрание для избрания нового правительства созвали в два месяца. В Германии в конце 1918 года после поражения в войне и отречения кайзера, в разгар народных волнений новые власти сумели созвать Национальную ассамблею менее чем за четыре месяца. Российское Временное правительство не смогло сделать этого за весь восьмимесячный срок своего существования.

25 марта правительство назначило комиссию из семидесяти юристов для выработки закона о выборах в Учредительное собрание. Они немедленно увязли в технических подробностях. Недели проходили за неделями — и все безрезультатно. Набоков замечает, и не без оснований, конечно, что всегда оказывались другие, более настоятельные, не терпящие отлагательства дела[180]. Откладывая выборы, правительство не только нарушало положения своей программы, но и оказывалось беззащитным перед обвинением, на которое нечего было возразить, что оно намеренно тянет время, ожидая, пока улягутся революционные страсти[181]. Медлительность правительства сыграла значительную роль в его окончательном свержении: как мы увидим ниже, один из главных предлогов, которым воспользовались большевики при захвате власти в пользу Советов, состоял в том, что только советское правительство сможет обеспечить созыв Учредительного собрания.

Еще одним жизненно важным вопросом был вопрос о войне и мире. Теоретически все ведущие партии, представленные в правительстве и Совете, за исключением большевиков, выступали за продолжение

войны до победного конца. Эта позиция отражала и настроение населения. Вопреки широко распространенному мнению, что февральская революция была вызвана усталостью от войны, антигерманские настроения в стране были очень сильны. К свержению царского режима в первую очередь привело убеждение, что он неспособен довести войну до победы, ищет сепаратного мира и даже выдает врагу секреты. «В первые недели [февральской революции], — писал Суханов, — солдатская масса Петербурга не только не слушала, но не позволяла говорить о мире, готовая поднять на штыки каждого неосторожного «изменника» и "открывателя фронта врагу"»[182]. В марте — апреле привычным было видеть солдат, несущих лозунги «Война до победного конца»[183]. Французский историк, которому представилась возможность читать послания Временному правительству и Совету в первые два месяца нового режима, подтверждает наблюдения Суханова. В прошениях рабочих на первом месте стоял восьмичасовой рабочий день; только 3% призывали к миру без аннексий и контрибуций; 23% крестьянских посланий требовали «скорого и справедливого мира», но и здесь это был вопрос второстепенный. Что же касается солдат, то их послания ясно указывают, что «они склонны были считать выступающих за немедленный мир приспешниками кайзера»[184]. Это был столь болезненный вопрос, что даже большевики, единственные явные сторонники мира, с большой осторожностью открывали свои взгляды в публичных выступлениях. Весьма показателен для оценки отношения к ним Петроградского гарнизона тот факт, что при выборах солдатских депутатов в Исполком 8 апреля большевики не получили ни одного мандата[185]. Случаи насилия, имевшие место в марте и апреле, в большинстве своем были направлены против лиц, носящих немецкие фамилии и потому подозреваемых в измене. Адмирал Колчак, главнокомандующий Черноморским флотом, докладывал, что основные беспорядки в его частях направлены против офицеров с немецкими фамилиями[186]. То же можно сказать и о Кронштадте. Когда 27 февраля петроградская толпа подожгла дом графа Фредерикса, министра двора (между прочим, шведа по происхождению), сделано это было потому, что его имя возбуждало подозрения в симпатиях к немцам[187].

Несмотря на ненависть к немцам и широкую поддержку войны против внешнего врага, вопрос о целях войны, благодаря агитации социалистов, занял важное место в народном сознании. Весьма характерно для интеллигентов-социалистов, что во имя благородных целей они отстаивали противоречивые политические взгляды. Они желали вести войну до победного конца и все же навесили на эту войну ярлык «империалистической» и проводили законы (например, Приказ № 1 и декрет о восьмичасовом рабочем дне), которые делали продолжение войны невозможным. Они хотели национальной победы и при этом в своих декларациях говорили, что массы во всех воюющих странах объединены общим интересом свергнуть «правящий класс». В «Воззвании к народам всего мира» Исполком 15 марта призвал все народы подняться на революцию:

«...обращаясь ко всем народам, истребляемым и разоряемым в чудовищной войне, мы заявляем, что наступила пора начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран; наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире.

В сознании своей революционной силы российская демократия заявляет, что она будет всеми мерами противодействовать захватной политике своих господствующих классов, и она призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира...

Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств как изнутри, так и извне. Русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силе»[188].

Такая риторика, вероятно, представлялась вполне резонной интеллигенции, составившей «Воззвание», но, как и концепция «двоевластия», не могла не смутить обывателя. Ведь если «правящие классы» России действительно ведут «захватную политику», то почему они стоят у власти и зачем позволять «истреблять» себя в их «чудовищной войне»?

Милюков, ответственный за внешнюю политику, избрал свой путь. Он не разделял оптимизма социалистов насчет движения за мир в Германии и был убежден, что их призыв не вызовет сочувствия. Из откровений А.Ф.Трепова, прозвучавших в декабре прошлого года, стало известно, что союзники обещали России Константинополь и Черноморские проливы. Милюков не хотел отказываться от этих притязаний по двум соображениям: во-первых, это могло бы вызвать на Западе сомнения в решимости России продолжать войну и, во-вторых, это открыло бы двери германской пропаганде за мир. Его позиция в отношении российских территориальных притязаний привела к первому столкновению между правительством и Советом.

В интервью 22 марта Милюков определил цели войны с точки зрения правительства. Они включали «освобождение» славянских народов Австро-Венгрии, «слияние» украинских территорий Австро-Венгрии (то есть Галиции) с Россией и обретение Константинополя и Черноморских проливов[189]. Социалисты-интеллигенты восприняли заявления Милюкова как вызов их «Воззванию», которое провозглашало отказ от «захватных стремлений». Под давлением Совета и по настоянию некоторых членов кабинета, в особенности Керенского, правительство согласилось издать официальное заявление о целях войны, более соответствующее позиции Исполкома. Одобренное последним, с небольшими изменениями оно было обнародовано 27 марта[190]. Заявлением утверждалось, что цель России «не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный захват чужих территорий, а утверждение полного мира на основе самоопределения народов». Эта формула свидетельствовала о капитуляции перед

социалистами, хотя Милюков впоследствии и утверждал, что ее можно было понимать и как заявление русских прав на территорию противника[191]. Месяц спустя спор о целях войны разгорелся вновь и на сей раз явился причиной глубочайшего политического кризиса.

* * *

В период с 23-го по 28 февраля революция не выходила за пределы Петрограда. Страна жила своими обычными заботами, как будто не замечая, что происходит нечто экстраординарное. Из хроники тех дней[192] видно, что первым городом, прореагировавшим на события в столице, была Москва, где 28 февраля проходили стачки и демонстрации, а на следующий день был избран Совет рабочих депутатов. 1 марта прошли митинги в некоторых губернских городах — в Твери, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове. 2 марта их примеру последовали и другие города. Насилия не наблюдалось: когда коммунистический летописец пишет, что население многих городов «присоединилось к революции», подразумевается толпа на мирной манифестации в поддержку Временного правительства. Тихая поступь революции указывает, насколько ее зарождение было связано с особыми обстоятельствами столичного города — а именно: особенно острая нехватка продовольствия и топлива и недовольство военного гарнизона. Это помогает понять, почему еще 2 марта генералы и политики верили, что отречение царя удержит революцию в пределах одного лишь Петрограда. Но оказалось, именно отречение царя, обнародованное 3 марта, заставило общество понять, что в стране произошла революция: результатом был стремительный крах власти.

В течение марта во всех городах стали возникать Советы по образцу петроградского, исполнительные органы которых оказывались в руках интеллигентов-социалистов. В начале апреля губернские Советы послали своих представителей в Петроград, где они вошли в состав Петроградского Исполкома для создания Всероссийского центрального исполнительного комитета — ВЦИКа.

Революция шествовала по стране бескровно; как выразился У.Г.Чемберлен, она «совершалась по телеграфу»[193]. Смена режимов повсюду воспринималась как свершившийся факт, не встречая никакого сопротивления и, тем самым, не требуя применения силы. Пока еще ни классовая, ни национальная ненависть не омрачала почти единодушно переживаемое облегчение в связи с падением прежнего режима. Во многих местах в торжествах в честь Временного правительства участвовали и офицеры, и бывшие царские чиновники.

Одним из непредвиденных результатов революции и провозглашенных ею демократических идеалов было нарождение националистических движений в областях, населенных в подавляющем большинстве нерусскими. Движениями руководила коренная интеллигенция, которая помимо обычных социалистских или либеральных заявлений выдвигала требования о предоставлении той или иной степени автономности для своих регионов. Первыми подняли голос украинцы, которые 2 марта сформировали в Киеве совет, получивший название Рада; первоначально требования Рады к правительству касались вопросов культуры, но вскоре ей потребовалась политическая власть. Подобное наблюдалось и у других народов, населяющих Россию, среди которых были и разбросанные по стране мусульмане, созвавшие в мае Всероссийский конгресс[194].

* * *

В.В.Розанов о манифесте сказал: царь «написал просто, что в сущности он отрекается от такого подлого народа»[195].

Судя по записям в дневнике царя, в ночь после отречения он спал «долго и крепко». 3 марта, приехав в Могилев, он узнал от Алексеева, что его брат Михаил отказался принять корону и вручил судьбу монархии в руки Учредительного собрания. «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» — записал в дневнике Николай. Он составил другой вариант манифеста, в котором вручал престол сыну. Алексеев решил не сообщать правительству о последней перемене монаршей воли и передал документ на хранение генералу Деникину[196].

На следующий день Николай обратился к премьер-министру кн. Львову с просьбой позволить ему проследовать со свитой в Царское Село и оставаться там до выздоровления детей, после чего он хотел бы отбыть в порт Романов на мурманском побережье. После окончания войны он желал бы удалиться в свою резиденцию в Ливадии. В кодированном послании в Ставку Временное правительство сообщило о согласии удовлетворить эти просьбы[197].

Поскольку вопрос о судьбе бывшего монарха грозил стать камнем преткновения в отношениях между правительством и Советом, кабинет пришел к выводу, что всего благоразумнее переправить царя с семьей за границу. В первую неделю марта кабинет запросил правительства Англии, Дании и Швейцарии о готовности предоставить убежище императорской фамилии. 8(21) марта Милюков заявил британскому послу Дж. Бьюкенену, что для него «крайне желательно, чтобы император выехал из России немедленно», и он был бы признателен правительству Англии, если бы оно предложило убежище и кроме того заверило, что «императору не будет дозволено выехать из Англии в течение войны»[198].

После недолгих колебаний английского правительства 9(22) марта министр иностранных дел Артур Бальфур послал в британское посольство в Петрограде телеграмму следующего содержания: «По

дальнейшем рассуждении было решено, что для императора было бы предпочтительней приехать на время войны в Англию, чем в какую-либо иную страну, граничащую с Германией. Возникли опасения, как бы под влиянием императрицы пребывание в Дании или Швейцарии не стало средоточием интриги и что в руках мятежных русских генералов император может стать главой контрреволюции. Это сыграет на руку Германии и создаст риск, которого следует избежать любой ценой»[199].

Предложение, формально сделанное Временному правительству 13 марта, было подтверждено личным посланием короля Георга V императору Николаю, в котором король заверял в неиссякаемой дружбе и приглашал обосноваться в Англии*.

* Мартынов. Царская армия. С. 191; Buchanan G. My Mission to Russia. Boston, 1923. V.2. P. 104—105. Милюков скрыл от царя послание английского короля.

Планы правительства в отношении императорской фамилии не принимали, однако, в расчет опасений интеллигентов-социалистов, что, оказавшись за границей, бывший монарх станет центром контрреволюционных заговоров. По этой причине они предпочитали содержать его дома под надзором. Как мы уже говорили, 3 марта Исполком проголосовал за арест царя и его семьи. Правительство тотчас же уступило требованию Исполкома и 7 марта объявило, что императорская фамилия будет содержаться под арестом в Царском, направив в Могилев четырех своих представителей для сопровождения арестованного. 8 марта, когда стало известно о переговорах с Англией, Исполком вновь вынес решение об аресте царя и его семьи, конфискации имущества и лишении гражданских прав. Чтобы воспрепятствовать отъезду бывшего царя в Англию, Исполком принял решение установить в Царском охрану из своих людей[200].

Тем временем в Могилеве царь прощался с армией. 8 марта он написал прощальный приказ войскам, в котором завещал сражаться до победы и «повиноваться Временному правительству»[201]. Алексеев передал этот документ в Петроград, но Гучков, действуя по указанию кабинета, очевидно, не решавшегося перечить Исполкому, распорядился его задержать[202]. Позднее в то же утро царь прощался с офицерами Ставки. Он подходил к каждому и обнимал. Редко кто мог сдержать подступавшие слезы. Не в силах и сам вынести волнения момента, царь откланялся и вышел. «Сердце у меня чуть не разорвалось!» — записал он в дневнике[203]. В 4.45 пополудни он сел в свой поезд, но уже без своих вечных спутников генерала Воейкова и графа Фредерикса, которых по требованию Алексеева вынужден был отпустить. Перед отъездом Алексеев объявил царю, что тот должен считать себя арестованным[204].

В этот же день, 8 марта, в Царское Село приехал генерал Корнилов, новый главнокомандующий Петроградского округа (он был назначен царем по настоянию Родзянко незадолго до отречения). Корнилов объявил императрице, что она находится под арестом, и расставил часовых во дворце и парке. Хотя эта мера была предпринята по требованию Исполкома, однако в действительности, напротив, обеспечивала безопасность императорской фамилии, ибо Царскосельский гарнизон стал вести себя дерзко и угрожающе. Согласно Бенкендорфу, Корнилов посоветовал Александре Федоровне при первой же возможности перевезти семью в Мурманск и там сесть на военный корабль, идущий в Англию[205].

Императорский поезд прибыл в Царское утром 9 марта. Представленный охране как «полковник Романов», царь был немало поражен, увидев, что повсюду расставлены часовые и посты охраны и что передвижения его и членов семьи даже в пределах дворца строго ограничены. Свои апартаменты он не мог покинуть без сопровождения вооруженного охранника.

Узнав, что бывший царь уехал из Могилева, искушенные в истории интеллигенты-социалисты обеспокоились: их пугала аналогия с бегством Людовика XVI, настигнутого в Варенне. 9 марта члены Исполкома собрались в крайнем волнении. Чхеидзе заявил, что бывший царь, на самом деле находившийся в это время в Царском Селе, бежал и должен быть остановлен[206]. Совет решил воспретить ему покидать Россию, «хотя бы это грозило разрывом отношений с Временным правительством», и заключить в Петропавловскую крепость[207]. Делегация Исполкома, возглавляемая Чхеидзе, встретилась с правительством в тот же день и получила заверения в том, что царю не будет дозволено покинуть страну без разрешения Исполкома[208].

Дабы убедиться, что бывший царь действительно находится в Царском, как его в этом убеждали, Исполком в тот же день (9 марта) направил туда отряд из трех сотен пехотинцев с пулеметным отделением под командованием С.Д.Мстиславского, эсеровского офицера. По прибытии на место Мстиславский потребовал, чтобы ему немедленно «предъявили арестованного». «Пусть он станет передо мной, — думал Мстиславский, — простым эмиссаром революционных рабочих и солдат, он — император, всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержец, как арестант при проверке в его былых тюрьмах».

«Мстиславский был в старом тулупе с пуговицами военного чиновника, с папахой на голове, при шашке и с браунингом, коего рукоять торчала из бокового кармана. Вскоре в коридор вышел бывший государь; он приблизился к группе, очевидно, желая заговорить; но Мстиславский стоял, не отдавая чести, не снимая папахи и даже не здороваясь. Государь остановился на мгновение, в упор посмотрел ему в глаза, а затем, круто повернувшись, ушел обратно»*.

* Такое описание со слов Мстиславского приводит Мартынов (см.: Царская армия. С. 198). Бенкендорф, бывший свидетелем этой сцены, говорит, что Мстиславский удовольствовался видом проходящего по коридору бывшего царя

(Benckendorff Last Days. P. 49—50).

Благодаря мерам, предпринятым Корниловым[209], императорская семья была отрезана от окружающего мира: ни один человек не мог попасть в Царское без позволения, все письма и телеграммы просматривались, телефонные разговоры прослушивались.

21 марта в Царском неожиданно объявился Керенский. Ему впервые довелось встретиться лицом к лицу с тем, кто был предметом самых яростных его думских выступлений. Описание Керенским этой встречи и впечатления, какое произвел на него царь, весьма любопытно:

«Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна смежной комнаты. От этой группы отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне. Это был Николай II. На пороге комнаты, в которой я ожидал его, он остановился, словно не зная, что делать дальше. Встретить ли меня в качестве хозяина или подождать, пока я заговорю? Протянуть ли мне руку или дождаться, пока я первым поздороваюсь с ним? Я сразу же почувствовал его растерянность, как и беспокойство всей семьи, оказавшейся в одном помещении с ужасным революционером.

Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку и отрывисто произнес: «Керенский», как делал обычно, представляясь кому-либо. Он крепко пожал мою руку, улыбнулся, почувствовав, по-видимому, облегчение, и тут же повел меня к семье. Его сын и дочери, не скрывая любопытства, внимательно смотрели на меня. Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, подала мне руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас и раздраженная, обладала железной волей. В те несколько секунд мне стала ясна трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами. Несколько последовавших за этим встреч с царем лишь подтвердили мое первое впечатление...

Склад ума и обстоятельства жизни царя обусловили его полную оторванность от народа. Он знал о пролитой крови и слезах тысяч людей лишь из официальных документов, в которых ему сообщали о «мерах», принятых властями «в интересах мира и безопасности государства». Эти доклады не доносили до него боли и страданий жертв, в них лишь говорилось о «героизме» солдат, «преданно выполнявших свой долг перед царем и отечеством». С детства его приучили верить, что его благо — это благо страны, а потому «вероломные» рабочие, крестьяне и студенты, которых расстреливали, казнили или отправляли в ссылку, казались ему чудовищами, отбросами человечества, которых следует уничтожить ради интересов страны и его «верноподданных»...

В каждую из своих редких и кратких поездок в Царское Село я стремился постичь характер бывшего царя. Я понял, что его ничто и никто не интересует, кроме сына и, быть может, дочерей. Такое безразличие ко всему внешнему миру казалось почти неестественным. Наблюдая за выражением его лица, я увидел, как мне казалось, что за улыбкой и благожелательным взглядом красивых глаз скрывается холодная, застывшая маска полного одиночества и отрешенности. Он не захотел бороться за власть, и она просто-напросто выпала у него из рук. Он сбросил эту власть, как когда-то сбрасывал парадную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жизнь — жизнь простого, не обремененного государственными заботами гражданина. Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова: «Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми». И это, добавила она, была отнюдь не поза.

И действительно, все, кто общался с ним в этом его новом положении пленника, единодушно отмечали, что Николай II постоянно пребывал в хорошем расположении духа и явно получал удовольствие от своего нового образа жизни. Он колол дрова и укладывал их в парке в поленницы. Время от времени занимался садовыми работами, катался на лодке, играл с детьми»[210].

Учитывая настроения в Исполкоме, нечего было и думать об осуществлении планов правительства на отъезд царя в Англию. И все же, когда в конце марта (по ст. ст.) Англия известила Временное правительство о том, что отменяет свое приглашение, это вызвало шок. И тогда, и еще долгое время потом считалось, что это премьер-министр Ллойд Джордж убедил Георга V не следовать своим великодушным порывам. Да и сам Ллойд Джордж не спешил развеять это впечатление[211]. Однако теперь известно, что поступал он так с целью «прикрыть» короля, который отменил свое решение, опасаясь осложнений и не желая раздражать лейбористов в парламенте, высказывавших «враждебные мнения по этому вопросу»[212]. Роль короля в этой позорной акции содержалась в строжайшем секрете: существовала инструкция «следить, чтобы в отчеты военного министерства не попало ничего, что могло бы оскорбить королевское чувство»[213]. Впоследствии это уже стало чертой государственной политики Англии: пока идет война, на ее землю не должна ступить нога ни одной из особ русского императорского дома. Исключение было сделано лишь для вдовствующей императрицы Марии Федоровны, датчанки по происхождению, сестры вдовы короля Эдуарда VII, Александры*.

* Хотя дочь британского посла пыталась изо всех сил изобразить, сколь огорчен был ее отец действиями своего правительства (Buchanan M. The Dissolution of an Empire. Lnd., 1932. P. 196—198), материалы английских архивов

говорят, что он всецело поддерживал правительство (Rose K. King George V. Lnd., 1983. P. 21).

По словам Керенского, «окончательный ответ» английского правительства произвел на императора «ошеломляющее» впечатление[214] — не потому, что он мечтал покинуть Россию, а потому, что это явилось новым подтверждением окружавших его «предательства, трусости и измены». Последующие четыре месяца он провел в вынужденном бездействии — читал, ходил на прогулки, работал в саду.

* * *

Февральскую революцию от других революционных переворотов отличало множество особенностей. Но самой поразительной чертой была скорость, с которой рухнуло Российское государство. Так, словно величайшая в мире империя, занимавшая одну шестую часть суши, была каким-то искусственным сооружением, не имеющим органического единства, а вроде бы стянутым веревками, концы которых держит монарх в своей руке. И когда монарх ушел, скрепы сломались и все сооружение рассыпалось в прах. Керенский говорил: бывали моменты, когда ему казалось, что «слово «революция» совершенно неприложимо к тому, что произошло в России [между 28 февраля и 3 марта]. Целый мир национальных и политических отношений пошел ко дну, и сразу все существующие политические и тактические программы, как бы хорошо и смело они ни были задуманы, оказались беспомощно и бесполезно повисшими в пространстве»[215].

О том же феномене, в присущей ему едкой манере, говорит В.В.Розанов: «Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «великого переселения народов»... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего. Остался подлый народ...»[216]

К концу апреля, спустя восемь недель от начала революции, корабль российского государства стал тонуть. 26 апреля Временное правительство выпустило патетическое воззвание, в котором признавало, что не способно управлять страной. Керенский сожалел, что не умер, когда революция еще была юной и преисполненной надежд на то, что нация сможет управлять своим государством «без хлыста и палки»[217].

Русский народ, избавившись от царизма, на который навешивал вину за все невзгоды, застыл в оцепенении на пороге новообретенной свободы. Совсем как та дама из рассказа Бальзака, которая так долго хворала, что, когда наконец излечилась, решила, что ее поразил новый недуг.

ПРИМЕЧАНИЯ

Принятые сокращения

АРР — Архив русской революции
БК — Борьба классов
БиЕ — Энциклопедический словарь О-ва Брокгауз и Ефрон
БСЭ — Большая Советская Энциклопедия
ВЕ — Вестник Европы
ВЖ — Вестник жизни
ВИ — Вопросы истории
ВИКПСС — Вопросы истории КПСС
ВО — Вечерние огни
ВС — Власть Советов
ВЧ — Вечерний час
Декреты — Декреты советской власти. М., 1957
ДН — Дело народа
ГМ — Голос минувшего
Гранат — Энциклопедический словарь Тов-ва Гранат
ЖС — Живое слово
ИА — Исторический архив
ИВ — Исторический вестник
ИЗ — Исторические записки
ИМ — Историк марксист
ИР — Иллюстрированная Россия
ИСССР — История СССР
КА — Красный архив
КЛ — Красная летопись
КН — Красная новь

Ленин. Хроника— В.И.Ленин: Биографическая хроника, 1870—1924. М., 1970-1985
ЛН — Литературное наследство
ЛС — Ленинский сборник
МГ — Минувшие годы
НВ — Наш век
НВр — Новое время
НВЧ — Новый вечерний час
НД — Новый день
НЖ — Новая жизнь
НС — Наше слово
НХ — Народное хозяйство
НЧС — На чужой стороне
ОД — Общественное движение в России в начале XX века / Под ред. Л.Мартова. СПб., 1910- 1914
Падение — Падение царского режима / Под ред. П.Е.Щеголева. Л., 1924-1927
ПН — Последние новости
ПР — Пролетарская революция
ПРиП — Пролетарская революция и право
РВ — Русские ведомости
РЗ — Русские записки
Революция — Авдеев Н. и др. Революция 1917 года: хроника событий. М, 1923-1930
РЛ — Русская летопись
РМ — Русская мысль
РС — Русское слово
СБ — Старый большевик
СВ — Социалистический вестник
СД — Социал-демократ
СЗ — Современные записки
СиМ — Страна и мир
СУиР — Собрание узаконений и распоряжений
ЭВ — Экономический вестник
ЭЖ — Экономическая жизнь
BM — Berliner Monatshefte
Forschungen — Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte
Jahrbucher — Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas
NZ — Die Neue Zeit
RR — Russian Review
SR — Slavic Review
SS — Soviet Studies
VZ — Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte

Глава первая

[1] Maugham S. Ashenden. N.Y., 1941. P. VII-VIII.
[2] Hoetzsch O. Russland. Gottingen, 1915. S. 309—311.
[3] НВ. 1899.4 февр. № 8240. С. 3.
[4] См.: Kassow S. The Russian University in Crisis: 1899—1911. Ph. D. Dissertation Princeton University, 1976. P. 130—147; Былое. 1921. № 16. С. 125-128; Могилянский М. // Былое. 1924. №24. С. 117-125.
[5] Былое. 1921. № 16. С. 127; Череванин Н. // ОД. Т. 1. С. 267.
[6] Kassow S. The Russian University. P. 135.
[7] Ibid. P. 141-143.
[8] Былое. 1921. № 16. С. 127-128.
[9] Там же. С. 128.
[10] Kassow S. The Russian University. P. 155— 156.
[11] Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 199.
[12] Bazylow L. Polityka wewnetrzna caratu. Warsawa, 1966. S. 197; Трубецкой Е.Н.//Melnik J. Russen uber Russland. Frankfurt, 1906. S. 17—18.
[13] Приводится в кн.: Judge E.H. Plehve. Syracuse, N.Y., 1983. P. 19.
[14] Melnik. Russen. S. 18, 48.
[15] См. ниже: глава третья.
[16] Judge. Plehve. P. 12-37.
[17] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 34.
[18] Judge. Plehve. P. 59.
[19] Об этом см. ниже: кн. 2, глава девятая.

[20] Рабочее дело. 1899. № 1. С. 24-34.

[21] О нем: Shyneiderman J. Sergei Zubatov and Revolutionary Marxism. Ithaca, N.Y., 1976.

[22] Gurko V.I. Features and Figures of the Past. Stanford, Calif, 1939. P. 116.

[23] Geyer D. Der russische Imperialismus. Gottingen, 1977. S. 151; Ascher A. The Revolution of 1905. Stanford, Calif., 1988. P. 44.

[24] Malozemoff A. Russian Far Eastern Policy, 1881—1904. Berkeley, Calif, 1958. P. 201-202.

[25] Ibid. P. 221.

[26] Освобождение. Т. 3. 1904. 19 июля (1 авг.). № 52. С. 33.

[27] [Богданович А.В.] Три последних самодержца. М.; Л., 1924. С. 335.

[28] ИЗ. 1965. №77. С. 241.

[29] Там же. С. 241—242; см. также: Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 324.

[30] Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С. 240.

[31] Там же. С. 241.

[32] Крыжановский СЕ. Воспоминания. Берлин, б. г. С. 17—18.

[33] См., напр.: Богданович А.В. Три последних самодержца. С. 299.

[34] Протоколы были опубликованы в кн.: «Частное совещание земских деятелей, происходившее 6, 7, 8 и 9 ноября 1904 г. в С.-Петербурге». М., 1905. См. также: Шипов. Воспоминания. С. 258—278; Galai Sh. The Liberation Movement in Russia, 1900—1905. Cambridge, 1973. P. 214-221; Пайпс Р., Струве: левый либерал. М., 2001. С. 516—517.

[35] Шипов. Воспоминания. С. 269.

[36] Ascher. Revolution. P. 66—68.

[37] О банкетной кампании см.: Белоконский И.П. Земское движение. М., 1914. С. 238-257; Emmons TV/California Slavic Studies. 1977. № 10. P. 45-86.

[38] Emmons // Idem. P. 57.

[39] Сборник секретных циркуляров // New York Public Library: Russia, MVD, Department Politsii. 1904. 10 Dec. Shelf mark «QGF/ + .

[40] Шипов. Воспоминания. С. 278—281; Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. М., 1970. С. 37.

[41] Содержание этого до сих пор неопубликованного документа изложено в диссертации: Vemer A.M. Nicholas II and the Role of the Autocrat during the First Russian Revolution, 1904—1907. Ph. D. Dissertation, Columbia University, 1986. P. 192—198.

[42] Ibid. P. 193-194.

[43] См.: Черменский. Буржуазия. С. 41.

[44] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 331—332; Черменский. Буржуазия. С. 42—43.

[45] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 335.

[46] Текст см.: Новый государственный строй России / Под ред. Г.Г.Савича. СПб., 1907. С. 6-8.

[47] Bazylow. Polityka wewnetrzna. S. 333.

[48] Освобождение. 1905. 7(20) янв. № 63. С. 221.

[49] О нем см. его собственные мемуары: Гапон Г. История моей жизни. М., 1990; см. также: Венедиктов В. Георгий Гапон. М.; Л., 1931; Sablinsky W. The Road to Bloody Sunday. Princeton, N. J., 1976.

[50] Bazylow. Polityka wewnetrzna. S. 347.

[51] Sablinsky. The Road. P. 117.

[52] Ibid. P. 130-131.

[53] Гуревич Л.Я. // Былое. 1906. № 1. С. 197-198.

[54] Ascher. The Revolution. P. 82—83; Verner. Nicholas II. P. 226—227.

[55] Полный текст петиции см.: Начало первой русской революции, январь—март 1905 года/ Под ред. Н.С.Трусовой. М., 1955. С. 28—30.

[56] Дневник Святополк-Мирской // ИЗ. 1965. № 77. С. 273; Революция 1905—1907 гг. в России: Документы и материалы / Под ред. А.Н.Панкратовой и др. М., 1961. Т. 4. Ч. 1. С. 35.

[57] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 340.

[58] Начало / Под ред. Трусовой. С. 52.

[59] Verner. Nicholas II. P. 259; Святополк-Мирская // ИЗ. 1965. № 77. С. 247.

[60] Ascher. The Revolution. P. 94, 138, 151.

[61] Ibid. P. 157-160. « Ibid. P. 172.

[62] Niedzielski K. Z burzliwych dni, 1904-1905. Warsawa, 1916. S. 240-241.

[64] Ascher. The Revolution. P. 120.

[65] Schwarz S.M. The Russian Revolution of 1905. Chicago, 1967. P. 123.

[66] Святополк-Мирская // ИЗ. 1965. № 77. С. 247.

[67] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 143— 144.

[68] КА 1925. №1(8). С. 51-

[69] Там же. С. 65.

[70] Новый государственный строй / Под ред. Г.Г.Савича. С. 11—14.

[71] Ascher. The Revolution. P. 114.

[72] Черменский. Буржуазия. С. 57.

[73] Маклаков ВА. Из воспоминаний. Н.-Й., 1954. С. 324—325. Самое полное описание этой организации см.: Sanders J.E. The Union of Unions. Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1985.

[74] Galai. Liberation Movement. P. 245—248.

[75] Galai Sh. // Jahrbucher. 1976. № 24. S. 522-523.

[76] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 388.

[77] Там же. С. 305.

[78] Там же. С. 397.

[79] Черменский. Буржуазия. С. 68.

[80] Там же. С. 69.

[81] Текст обращения Трубецкого см.: Правительственный вестник. 1905. 8 июня. С. 1.

[82] Освобождение. 1905. № 75. С. 432. « СЗ. 1937. №65. С. 226.

[84] Петергофское совещание о проекте Государственной думы. Берлин, б. г.

[85] Текст см.: Новый государственный строй / Под ред. Савича. С. 21 — 23; Черменский. Буржуазия. С. 105—108; Ascher. The Revolution. P. 177— 181. Его предшественникам посвящена диссертация: Doktorow G.S. The Introduction of Paliaraentary Institutions in Russia during the Revolution of 1905—1907. Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1975.

[86] Ascher. The Revolution. P. 179.

[87] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 482.

[88] Verner. Nicholas II. P. 353.

[89] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 488.

[90] Черменский. Буржуазия. С. 91—92.

[91] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 551—552.

[92] Galai. The Liberation Movement. P. 259; Sanders. The Union of Unions. P. 1030-1046.

[93] РВ. 1905.27 авг. № 232. С. 1.

[94] Morison J.D. // 1905: La Premiere Revolution Russe/Ed. by F.-X.Coquin, C.Gervais-Francelle. Paris, 1986. P. 68—69; Ascher. The Revolution. P. 201.

[95] Ascher. The Revolution. P. 198.

[96] Искра. 1905. 29 июля. № 107. С. 1.

[97] Трубецкой // Melnik J. Russen. S. 16-17.

[98] Kassow. The Russian University. P. 381—383; Morison // 1905/Ed. by F.-X.Coquin, C.Gervais-Francelle. P. 68—69; Войтинский В. Годы побед и поражений. Т. 1. Берлин, 1923. С. 57—63.

[99] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 544, 626—627.

[100] Ascher. The Revolution. P. 211; Anweiler O. The Soviets. N. Y., 1974. P. 43; ИЗ. 1941. №11. С. 3-5.

[101] Kassow. The Russian University. P. 386.

[102] КА. 1925. № 11/12. С 55-56.

[103] Записка кн. Н.Д.Оболенского // Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 26.

[104] Высший подъем революции 1905—1907 гг.: Вооруженное восстание, ноябрь—декабрь 1905 года / Под ред. А.Л.Сидорова. Т. 1. М., 1955. С. 47.

[105] 1905 год в Петербурге/Под ред. Н.И.Сидорова. Т. 2. Л., 1925. С. 101-102.

[106] КА. 1927. № 3(22). С. 173.

[107] Милюков П.Н. Воспоминания, 1859-1917. Т. 2. Н.-Й., 1955. С. 342-343.

[108] Schwarz. The Russian Revolution. P. 333; Петербургский и Московский Советы рабочих депутатов 1905 г. (в документах) / Под ред. Л.Геллер, Н.Ровенской. М.; Л., 1926. С. 9.

[109] Anweiler. The Soviets. P. 45. no Ibid. P. 45.

[111] 1905 год / Под ред. Н.И.Сидорова. Т. 2. С. 102.

[112] Войтинский. Годы побед и поражений. Т. 1. С. 93-94; ИЗ. 1941. № П. С. 7.

[113] Петербургский и Московский Советы/Под ред. Л.Геллер, Н.Ровенской.С. 11.

[114] Ascher. The Revolution. P. 223.

[115] См. ниже: глава восьмая.

[116] 1905 год/Под ред. Н.И.Сидорова. Т. 2. С. 5.

[117] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 14—15.

[118] Там же.

[119] Алексеев А.С. // Юридический вестник. 1915. № 11/3. С. 39.

[120] Былое. 1919. № 14. С. 109.

[121] Там же. С. 110-111.

[122] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 17,41—42.

[123] Новый государственный строй/Под ред. Савича. С. 25—27.

[124] Петербургский и Московский Советы/Под ред. Л.Геллер, Н.Ровенской.С.29-31.

[125] Szeftel M. The Russian Constitution of April 23, 1906. Brussels, 1976. P. 33-35.

[126] КА. 1927. № 3(22). С 168.

[127] Ascher. The Revolution. P. 229.

[128] Vemer. Nicholas II. P. 434.

[129] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 68—69.
[130] Verner. Nicholas II. P. 438.
[131] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 68,110.
[132] Verner. Nicholas II. P. 438-440.
[133] КА. 1927. № 3(22). С. 187.
[134] Ascher. The Revolution. P. 253—262; см. также: Die Judenpogrome in Russland/Ed.A.Linden.Koln; Leipzig, 1910.
[135] Витте. Воспоминания. Т. 3. С. 85—88.
[136] КА. 1927. №3(22). С. 169.
[137] См.: Аграрное движение в России в 1905—1906 гг. СПб., 1908.
[138] Manning R.T. The Crisis of the Old Order in Russia: Gentry and Government. Princeton, N.J., 1982. P. 155—157.
[139] Аграрное движение. Т. 2. С. 30.
[140] Manning. Crisis. P. 142.
[141] КА. 1927. № 3(22). С 172-174.
[142] Anweiler O. The Soviets. P. 59—60.
[143] См. ниже: кн. 2, глава девятая.
[144] Anweiler O. The Soviets. P. 60; Ascher. The Revolution. P. 301.
[145] Ascher. The Revolution. P. 108.
[146] Витте. Воспоминания. Т.3. С. 218—251.

Глава вторая

[1] Legras J. Аи Pays Russe. P., 1895. P. 356.
[2] Градовский А.Д. Собр. соч. СПб., 1907. Т. 7. С. 1—2.
[3] См.: Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1918; Ruffman K.H. Das Russlandbild im England Shakespeares. Gottingen, 1952.
[4] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars and the Russians. N. Y.; Lnd., 1898. Vol. 2. P. 10.
[5] Дневник Государственного секретаря А.А.Половцова. М., 1966. Т. 2. С. 70.
[6] Витте СЮ. Самодержавие и земство. Штутгарт, 1903. С. 206, приводит слова Макензи-Уоллеса.
[7] Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. Белград, 1939 Т. 1.С. 41.
[8] См. наст, издание. С. 36—37.
[9] Дневник В.НЛамздорфа (1886—1890). М.; Л., 1926. С. 140.
[10] Там же. С. 249-251.
[11] Витте СЮ. Воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 434—435; Verner A.M. Nicholas II and the Role of the Autocrat during the First Russian Revolution, 1904—1907. Ph. D. Dissertation, Columbia University, 1986. P. 103.
[12] КА. 1931. №3(46). С 10.
[13] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 585—586.
[14] Бурцев В. За стелет. Лондон, 1897. Т. 1. С. 264.
[15] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 266—267.
[16] См.: Канторович В. // Былое. 1923. № 22. С. 208-209.
[17] Там же. С. 206.
[18] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 328.
[19] Там же. С. 474.
[20] Канторович В. // Былое. 1923. № 22. С. 228.
[21] Torke H.-J. // Forschungen. 1967. Т. 13. S. 227, 257.
[22] Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1897. Т. 2. С. 552; БиЕ. Т. 30. С. 441-442.
[23] Taranovsky TV/Canadian Slavonic Papers. 1984. № 2(3). Vol. 26. P. 213— 214.
[24] Ibid. P. 212-213.
[25] Taranovsky T. The Politics of Counter-Reform: Autocracy and Bureaucracy in the Reign of Alexander III, 1881—1894. Ph. D. Dissertation. Harvard University, 1976.
[26] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars. Vol. 2. P. 93—94.
[27] Евреинов В.А. Гражданское судопроизводство в России. СПб., 1887. С. 39-41, 54; Torke H.-J. // Forschungen. S. 14, 56.
[28] Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 90.
[29] Там же. С. 95-96.
[30] Маклаков Н.А. // Падение. Т. 5. С. 207.
[31] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars. Vol. 2. P. 82—83.
[32] Ibid. P. 79.
[33] МГ. 1908. № 10. С 29-30.
[34] Никонов М.Н. //Дневник В.Н.Ламздорфа. С. 135.
[35] Dolgoroukov P. La Verne sur la Russie. P., 1860. P. 16.
[36] Pares B. Russia and Reform. Lnd., 1907. P. 154.

[37] См.: Starr S.F. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830— 1870. Princeton, N. J., 1972.
[38] Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004.
[39] Jones R.E. The Emancipation of the Russian Nobility, 1762—1785. Princeton, N.J., 1973. P. 182.
[40] Rubakin N.A. // Weissman N.B. Reform in Tsarist Russia. New Brunswick, N.J., 1981. P. 11.
[41] Крыжановский СЕ. Воспоминания. Берлин, б. г. С. 98—99.
[42] Pintner W.M. // SR. 1970. XXIX. № 3. P. 432.
[43] Дан Ф.И. Происхождение большевизма. Нью-Йорк, 1946. С. 443—444.
[44] Taranovsky T. The Politics of Counter- Reform. P. 227.
[45] Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1883 годы). Берлин, 1884. С. 31-32.
[46] Министерство внутренних дел: Ист. очерк. СПб., 1901. С. 48—49.
[47] КА. 1927. № 3(22). С. 169.
[48] Rogger H. // SR. 1966. № 4. P. 626.
[49] Дневник П.А. Валуева. М., 1961. Т. 1. С. 100. (Запись за 14апр. 1861 г.).
[50] Taranovsky T. The Politics of Counter-Reform. P. 234.
[51] См.: Зайончковский. Российское самодержавие. С. 237.
[52] Пайпс Р. Россия при старом режиме. М, 2004. С. 422—431.
[53] Содержание записки-доклада Победоносцева от 30 окт. 1885 года излагается в кн.: Зайончковский. Российское самодержавие. С. 236— 239.
[54] Об этом см.: Orlovsky D.T. The Limits of Reform: The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia, 1802—1881. Cambridge, Mass., 1981.
[55] Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964. С. 395-396.
[56] Weissman N.B. Reform in Tsarist Russia. P. 48.
[57] Ibid. P. 62.
[58] Заварзин П.П. Работа тайной полиции. Париж, 1924. С. 11—13.
[59] БиЕ.Т.37.С357.
[60] Drage G. Russian Affairs. Lnd., 1904. P. 243.
[61] Von Laue T.H. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. Lnd.; N.Y., 1963. P. 34-35.
[62] Ibid. P. 180.
[63] Pasvolsky L., Moulton H.G. Russian Debts and Russian Reconstruction. N.Y., 1924. P. 16.
[64] Ibid. P. 1; McKay J. P. Pioneers for Profit. Chicago, 1970. P. 380.
[65] McKay J.P. Pioneers for Profit. P. 37.
[66] Ол П.Б. Иностранные капиталы в России. Пг., 1922. С. 8—9.
[67] Von Laue T.H. Sergei Witte. P. 274-275.
[68] Kirkland E.C. A History of American Economic Life. N. Y., 1951. P. 541.
[69] Wagenfuhr R. // Vierteljahreshefte zur Konjunkturforschung, Sonderheft 31. Berlin, 1933. S. 18.
[70] Хромов П.А. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. М., 1950. С. 452-454, 459, 462.
[71] Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 380.
[72] Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX— XX столетий. М., 1973. С. 31.
[73] Stein H.-P. // Forschungen. 1967. Vol. 13. S. 468. Текст присяга см.: Полное Собрание Законов. СПб., 1894. Т. 14. № 11014.
[74] Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 119, 197—199.
[75] Деникин А.И. Старая армия. Париж, 1929. С. 7.
[76] Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия. С. 212.
[77] Там же. С. 221-223.
[78] Mayzel M. // Cahiers du Monde Russe et Sovietique. 1975. Vol. 16. № 3(4). P. 297-321.
[79] Деникин А.И. Старая армия. С. 13.
[80] Деникин А.И. Путь русского офицера. Н.-Й., 1953. С. 121—122.
[81] Stein H.-P. // Forschungen. S. 474-479.
[82] Подробнее см.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. Глава 7.
[83] Там же. С. 245-247.
[84] Фадеев Р. Русское общество в настоящем и будущем: (Чем нам быть?). СПб., 1874; Пазухин А.Д. // РВ. 1885. № 175. С. 5-58; Елишев А.И. [А.И.Букеевский]. Дворянское дело. М., 1898.
[85] Manning R.T. The Crisis of the Old Order in Russia: Gentry and Government. Princeton, N.Y., 1982, passim.
[86] Витте. Самодержавие и земство. С. 168.
[87] Петергофское совещание о проекте Государственной думы. Берлин б. г. С. 149-150.
[88] Manning. The Crisis. P. 32-33.
[89] Becker S. Nobility and Privilege in Late Imperial Russia. De Kalb, III., 1985: P. 28.
[90] Ozerov I. // Melnik J. Russen Uber Russland. Frankfurt, 1906. S. 214.
[91] Анфимов А.М., Макаров И.Ф. // ИСССР. 1974. № 1. С. 85.
[92] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars. Vol. 3. P. 512—513.
[93] Ibid. P. 182-183.
[94] Подробнее см.: Curtiss J.S. Church and State in Russia. N.Y., 1972. Chap. 3.

[95] Ibid. P. 130.
[96] Ibid. P. 182-183.
[97] Ibid. P. 339-340.
[98] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars. Vol. 2. P. 91.

Глава третья

[1] Shanin Th. The Awkward Class. Oxford, 1972. P. 64-68, 90-91. Ср.: Stepniak [Kravchinskii]. The Russian Peasantry. N.Y., 1888. P. 169.
[2] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: Общий Свод/Под ред. НЛ.Тройницкого. СПб., 1905. Т. 1. С. 16.
[3] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 79, 81.
[4] Family and Inheritance. Cambridge/Ed, by J.Goody. 1976. P. 1.
[5] Fukutake T. Asian Rural Society: China, India, Japan. Seattle; Lnd., 1967. P. 4, 24.
[6] Першин П.Н. Земельное устройство дореволюционной деревни. М.: Воронеж, 1928. Т. 1. С. 148-149.
[7] БиЕ.Т.29.С384.
[8] Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. С. 189, 191.
[9] Александров В.А. Сельская община в России. М., 1976. С. 178—186, 314-315.
[10] Статистический справочник по аграрному вопросу/Под ред. Н.П.Огановского, А.В.Чаянова. М., 1917. Вып. 1. С. 10—11. Табл. 3.
[11] БиЕ. Т. 29. С. 382-383.
[12] Росницкий Н. Лицо деревни. М.; Л., 1926. С. 16—18.
[13] Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. СПб., 1906. С. 66.
[14] Там же. С. 72-75.
[15] Брук С.И., Кабузан В.М. // ИСССР. 1980. № 3. С. 83-84.
[16] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 147—148.
[17] Хромов П.А. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. М., 1952. С. 439; Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1950. Т. 2. С. 163.
[18] Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале XX века. М., 1961. С. 15.
[19] Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). М., 1956. С. 125, 129.
[20] Bradley J. // Russian History. 1979. Vol. 6. Pt. 1. P. 22.
[21] Рашин. Население России. С. 135—136.
[22] Frederic H. The New Exodus. N.Y.; Lnd., 1892. P. 50.
[23] Simms J.Y. Jr. // SR. 1977. Vol. 36. № 3. P. 377-398.
[24] Ibid. P. 385.
[25] См. сноску 13.
[26] Рашин. Население Еоссии. С. 208.
[27] Schulze-Gavernitz G., von. Volkswirtschaftliche Studien aus Russland. Leipzig, 1899. S. 146-165.
[28] Ibid. P. 131.
[29] См.: Pipes R.Social-Democracy and the St.Peterburg Labor Movement. Cambridge, Mass., 1963.
[30] Существенное исключение представляет статья: Зайцев К. // Jahrbucher fur Kultur und Geschichte der Slaven. Neue Folge. 1934. Bd 10 № 3(4). S. 421-453.
[31] Из наиболее ярких описаний русской деревни можно назвать: «Из деревни» А.Н.Энгельгардта, рассказы Чехова, «Деревню» И.Бунина, «О русском крестьянстве» Горького.
[32] В особенности: Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. СПб., 1877—1879; Ефименко А. Исследования народной жизни. Т. 1. Обычное право. М., 1884.
[33] Феноменов М.Я. Современная деревня. Л.; М., 1925. С. 95.
[34] Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм.
[35] Деникин А.И. Старая армия. Париж, 1929. С. 50.
[36] Там же.С.50-51.
[37] КА. 1925. № 1(8). С. 53.
[38] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 229—230.
[39] См.: Brooks J. // Literature and Society in Imperial Russia/Ed, by Wm. M. Todd. Stanford, Calif., 1978. Vol. 3. P. 124.
[40] Oserov [Ozerov] I. // Melnik J. Russen uber Russland. Frankfurt, 1906. S. 215; Curtiss J.S. Chroch and State in Russia. N.Y., 1972. P. 182-183.
[41] Brooks J. // Zemstvo in Russia/Ed, by T. Emmons, W.S.Vucinich. Cambridge, 1982. P. 243-244; Eklof B. //Journal of Social History. 1981. Vol. 14. № 3. P. 366.
[42] Geyer D. Der russische Imperialismus. Gottingen, 1977. S. 53—54.
[43] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 144.
[44] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars and the Russians. N.Y.; Lnd., 1898. Vol. 2. P. 7.
[45] Зайцев К.И. А.Бунин. Берлин, 1933. С. 101-102.
[46] Успенский Г. Власть земли // Поли. собр. соч. М., 1949. Т. 8. С. 25.

[47] См., напр.: Ефименко. Исследования. Т. 1. С. 136—138.
[48] «Кистяковский Б. // Вехи. М., 1909. С. 143.
[49] Ефименко. Исследования. Т. 1. С. 174—175.
[50] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 86.
[51] ЭнгельгардтА.Н. Издеревни. М., 1987. С. 430—431.
[52] Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней. Париж, 1933. Т. 2. С. 248—249.
[53] Зайцев // Jahrbucher fur Kultur. S. 444-445.
[54] Stepniak. The Russian Peasantry. P. 6. К такому же выводу приходит А.Васильчиков (Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. СПб., 1876. Т. 1. С. 297—298).
[55] Ефименко. Исследования. Т. 1. С. 143—145.
[56] Зайцев // Jahrbucher fur Kultur. S. 440—441; Феноменов М.Я. Современная деревня. С 93.
[57] Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967.
[58] Энгельгардт А.Н. Из деревни. С. 540—541.
[59] Там же. С. 534; ср.: Ефименко. Исследования. Т. 1. С. 141.
[60] Ефименко. Исследования. Т. 1. С. 141—142.
[61] Толстой Л.Н. Записная книжка (1865) // Поли. собр. соч. М., 1952. Т. 48. С. 85.
[62] Зайцев // Jahrbucher fur Kultur. S. 422.
[63] Энгельгардт А.Н. Из деревни. С. 540, 542.
[64] См.: Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars. Vol. 2. P. 115.
[65] « Зайцев // Jahrbucher fur Kultur. S. 436—437.
[66] Brooks J. // Literature and Society/Ed, by Todd. P. 97—150.
[67] Ibid. P. 149-150.
[68] CarothersJ.C.//Psychiatry. 1959. T. 21. P. 317-318.
[69] Eklof B. // Journal of Social History. P. 376.
[70] Русь. 1905.17(30) авг. № 191. С. 2.

Глава четвертая

[1] Ellul J. Autopsie de la Revolution. P., 1969. Сходная мысль содержится в эссе Альбера Камю «Взбунтовавшийся».
[2] Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y., 1950. P. 145.
[3] Tonnies F. Community and Society. East Lansing, Mich., 1957. P. 42—43.
[4] Pareto V. The Mind and Society. N.Y., 1935. № 2034, 2044, n.
[5] Gilson E., Langan Th. Modern Philosophy. N.Y., 1963. P. 43.
[6] Подробнее см.: Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Berlin, 1911.
[7] Keim A. Helvetius, Sa Vie et Son Oeuvre. P., 1907. P. 316n, 336; Cumming 1. Helvetius. Lnd., 1955. P. 17.
[8] См.: Keim A. Helvetius. P. 246.
[9] Ibid. P. 268.
[10] Helvetius C.A. De l'Esprit, or Essays on the Mind. Lnd., 1810. P. 184 (Essay II. Ch. 25).
[11] Ibid. P. 187.
[12] Ibid. P. 489 (Essay IV. Ch. 17); ср.: Grossman M. The Philosophy of Helvetius. N. Y., 1926. P. 74.
[13] Halevy E. La Jeunesse de Bentham. P., 1901 // Grossman M. Helvetius. P. 168.
[14] The Correspondence of Edmund Burke/Ed, by A.Cobban, R.A.Smith. Cambridge, 1967. Vol. 6. P. 47.
[15] Halevy E. The Growth of Philosophic Radicalism. Boston, 1960. P. 20.
[16] The Old Regime and the French Revolution. Pt. 3. Ch. 1.
[17] Cochin A. Les Societes de Pensee et la Democratic. P., 1921. P. 5—6.
[18] Ibid. P. 9-10, 15.
[19] Каганская М. // «22». Иерусалим, 1988. № 59. С. 118; Saves Chr. La Signification de la Surenchere Linguistique dans la Phrase'ologie Bolchevique. These pour le Doctoral. Universite des Sciences Sociales. Toulouse, 1986.
[20] Griewank K. Der neuzeitliche Revolutsionsbegriff. Weimar, 1955. S. 14, 22, 24, 30.
[21] Cochin A. La Crise de l'Hisloire Revolutionnaire. P., 1909. P. 3.
[22] Aulard A. The French Revolution. N.Y., 1910. Vol. 3. P. 86.
[23] См.: Furet F. Penser la Revolution Francaise. P., 1983. P. 211, n.
[24] См. высказывания Бертрана де Жувенеля, Раймона Арона и Карла Мангейма в кн.: Huszar G.B., de. The Intellectuals. Glencoe, III., 1960. P.3.
[25] Schumpeter. Capitalism. P. 148—149.
[26] Aron R. The Opium of the Intellectuals. Garden City, N. Y., 1957. P. 203— 204.
[27] См.: Huszar. The Intellectuals. P. 367.
[28] Бакунин М. Государственность и анархия // Archives Bakounin/Ed. by A.Lehning. Leiden, 1967. Vol. 3. P. 150.
[29] Marx K., Engels F. The Holy Family. Moscow, 1956. P. 174-176.

[30] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 3. С. 4.
[31] Leroy-Beaulieu A. Le Doctrines de Haine. P., 1902. P. 8—9, 34—35.
[32] Троцкий Л. Литература и революция. М., 1924. С. 192—194.
[33] Leroy-Beaulieu A. The Empire of the Tsars and the Russians. N. Y.; Lnd., 1898. Vol. 2. P. 67.
[34] Подробнее см.: Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе. М., 1986.
[35] Пайпс Р. Струве: правый либерал. М., 2001. С. 106.
[36] Legras J. Аи Pays Russe. P., 1895. P. 356-357.
[37] Алтекман О.В. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924. С. 145.
[38] Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. М., 1895. С. 34-35.
[39] Программа Народной Воли (1879) // Революционное народничество 70-х годов XIX века / Под ред. С.С.Волка. М.; Л., 1965. С. 173.
[40] К.Маркс и Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 78—79.
[41] Пайпс Р. Струве. С. 80.
[42] О нем см.: Hildermeier M. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands. Cologne; Vienna, 1978.
[43] Ibid. P. 61-62.
[44] Ibid. P. 65.
[45] Протоколы первого съезда Партии Социалистов-Революционеров. М., 1906. С. 360.
[46] Спиридович А.Н. Революционное движение в России. Пг., 1916. Т. 2. С. 311—312; Hildermeier M. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands. S. 136.
[47] См.: Hildenneier M. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands. S. 112.
[48] Ibid. S. 117.
[49] Об эсерах см.: Perrie M. // SS. 1972. Vol. 24. № 2. P. 223-250; о социал-демократах см.: Lane D. The Roots of Russian Communism. Assen, 1969.
[50] Hildermeier M. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands. S. 252.
[51] Perrie // SS. P. 249—250; Lane D. The Roots of Russian Communism. P. 50.
[52] ОД. СПб., 1914. Т. 3. Кн. 5. С. 99-100.
[53] РЗ. 1939. Т. 13. С. 124.
[54] Essays on Russian Liberalism/Ed, by Ch.E.Timberlake. Columbia, Mo., 1972. P. 11.
[55] Emmons T. // SR. 1973. № 3. P. 461-490.
[56] Galai Sh. The Liberation Movement in Russia, 1900—1905. Cambridge, 1973.
[57] Шелохаев В.В. Кадеты. М., 1983. С 67-68, 84.

Глава пятая

[1] Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 296; ср.: Szeftel M. The Russian Constitution of April 23, 1906. Brussels, 1976. P. 33—35.
[2] Приводится в кн.: Hosking G.A. The Russian Constitutional Experiment. Cambridge, 1973. P. 92.
[3] Падение. Т. 5. С. 418.
[4] Тверской П.А. // ВЕ. 1912. Кн. 47. № 4. С. 188; Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905—17 гг. Л., 1977. С. 121.
[5] Коковцов В.Н. Из моего прошлого. П., 1933. Т. 1. С. 306.
[6] Baring M.A Year in Russia. Lnd., 1907. P. 213; Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949. Т. 2. С. 5.
[7] Об этом см.: Левицкий В. // ОД. СПб., 1914. Т. 3. Кн. 5. С. 347—469; Rogger H. // California Slavic Studies. 1964. Т. 3. P. 66—94; Journal of Modern History. 1964. Т. 36. № 4. P. 398-415.
[8] См. показания Крыжановского // Падение. Т. 5. С. 378.
[9] Briefe Wilhelms II an den Zaren, 1894-1914. Berlin, 11920?]. S. 376.
[10] См.: предисловие в кн.: La Chute du Regime Tsariste: Interrogatoires. P., 1927. P. 36.
[11] Крыжановский СЕ. Воспоминания. Берлин, б. г. С. 123.
[12] РМ. 19О7.Янв.№1.Ч.2.С. 131.
[13] Лучшее исследование об Основных законах 1906 года см.: Szeftel. The Russian Constitution.
[14] Гучков// ПН. 1936. 9 авг. № 5616. С. 2.
[15] Ерошкин Н.П. // Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. М., 1960. С. 334.
[16] Самое полное собрание законов см.: Новый государственный строй России/Под ред. Г.Г.Савича. СПб., 1907.
[17] См.: Гессен В.М. Исключительное положение. СПб., 1908; Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905—1907 гг. М., 1958. С. 8-42.
[18] Перевод основных законов с комментариями можно найти в кн.: Szeftel. The Russian Constitution.
[19] Маклаков // La Chute: Interrogatoires. P. 35.
[20] Старцев. Русская буржуазия. С. 11 — 13; Hosking. Constitutional Experiment. P. 16—17.
[21] Гучков // ПН. 1936. 9 авг. № 5616. С. 2.
[22] Крыжановский С.Е. Воспоминания. С. 81—82, 84—86.

[23] Маклаков В.А. Первая Государственная дума. Париж, 1939. С. 59—117.
[24] Курлов П.Г. Гибель императорской России. Берлин, 1923. С. 66.
[25] Hildermeier M. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands. Koln; Wien, 1978.
[26] Столыпин П.А. Сборник речей. СПб., 1911. С. 9.
[27] Государственная дума: Стеногр. отчеты, 1907. Сессия 2. Заседание 40-е. СПб., 1907. Ч. 2. С. 696.
[28] Geifman A. // Jahrbucher. 1988. Vol. 36. № 2. S. 250.
[29] Ibid. P. 250-251.
[30] Маклаков // La Chute: Interrogatoires. P. 40.
[31] Nicolson H. Sir Arthur Nicolson, Bart. Lnd., 1930. P. 225.
[32] Witte und Stolypin. // Menschen die Geschichte machten/Ed. by Rohden P.R., Ostrogorsky G. Vienna, 1931. Bd. 3. S. 268.
[33] Тверской // ВЕ. 1912. Апр. Т. 47. № 4. С 186.
[34] КА. 1926. № 4/17. С 81-90.
[35] Изгоев А. П.А.Столыпин: Очерк жизни и деятельности. М., 1912. С. 14.
[36] Отчет за 1904 год // КА. 1926. № 4(17). С. 84.
[37] Струве // РМ. 1911. Окт. № 10. Ч. 2. С. 139-140; ср.: Коковцов. Из моего прошлого. Т. 1. С. 205; Изгоев. П.А.Столыпин. С. 67.
[38] Крыжановский. Воспоминания. С. 127—139.
[39] Зенковский А.В. Правда о Столыпине. Нью-Йорк, 1956. С. 73—113.
[40] Былое. 1917. № 5(6). С. 212-227.
[41] Savickij N. // Le Monde Slave. 1934. Vol. 4. № 12. P. 381; Столыпин П.А. Сборник речей. С. 28.
[42] Изгоев. П.А. Столыпин. С. 42.
[43] См.: Царизм в борьбе с революцией, 1905—07 / Под ред. А.К.Дрезена. М., 1936. С. 80-86.
[44] Bazylow L. Ostatnie lata Rosji Carskiej: Rzady Stolypina. Warsaw, 1972. S. 172.
[45] Вентин А. // Современный мир. 1910. № 4. Ч. 2. С. 69.
[46] НВр. 1906. 27 авг. № 10939. С. 2
[47] См.: Новый государственный строй России / Под ред. Г.Г.Савича. С. 170-174.
[48] Там же. С. 193-200.
[49] Выступление Столыпина в Думе 6 марта 1907 г. // Государственная дума: Стеногр. отчеты, 1907. Сессия 2. Заседание 5-е. СПб., 1907. Ч. 1. С. 115.
[50] Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. С. 391.
[51] Государственная дума: Стеногр. отчеты, 1917. Сессия 2. Заседание 36-е. СПб., 1907. Ч. 2. С. 436-437.
[52] См. наст, издание. С. 136.
[53] См.: Macey David A. J. Government and Peasant in Russia, 1881—1906, De Kalb, 111., 1987.
[54] Manning R.T. The Crisis of the Old Order in Russia: Gentry and Government. Princeton, N.J., 1982. P. 55.
[55] Крыжановский СЕ. Воспоминания. С. 215—216.
[56] Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа. С.189.
[57] Новый государственный строй России / Под ред. Савича. С. 232— 238.
[58] Кофод А.А. Русское землеустройство. СПб., 1914. С. 30.
[59] См., напр.: Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России(1861-1914). М., 1924.
[60] См.: Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа.
[61] Там же. С. 199.
[62] Там же. С 206.
[63] Там же. С. 305.
[64] Василевский Е.Г. Идейная борьба вокруг Столыпинской аграрной реформы. М., 1960. С. 67-84.
[65] См.: Дубровский СМ. Столыпинская земельная реформа. С. 419.
[66] Pasvolsky L, Moulton H.G. Russian Debts and Russian Reconstruction. N.Y., 1924. P. 91.
[67] Bazylow L. Ostatnie lata Rosji Carskiej. S. 205; Крыжановский СЕ. Воспоминания. С. 93—94; Hosking. Constitutional Experiment. P. 150.
[68] Этот разговор, состоявшийся в июле — августе 1906 года, воспроизведен в КА (1923. № 4. С. 132-135).
[69] КА. 1924. № 5. С. 105—107; Коковцов. Из моего прошлого. Т. 1. С. 236— 238; Szeftel. The Russian Constitution. P. 296, n — 297, n.
[70] Курлов. Гибель. С. 73—74; Крыжановский // Падение. Т. 5. С. 403,415.
[71] Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905—17 гг. С. 111-116.
[72] Там же. С. 82.
[73] Пайпс Р. Струве: правый либерал. М., 2001. С. 80.
[74] Маслов П.П. // ОД. Т. 3. Кн. 5. С. 117.
[75] Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП: Протоколы. М., 1959. С. 525-526.
[76] Головин // Падение. Т. 5. С. 367, 373.
[77] КА. 1923. №4. С. 132.
[78] Коковцов // Падение. Т. 7. С. 88, 97.
[79] Тверской // ВЕ. 1912. Апр. Т. 47. № 4. С. 193.

[80] Крыжановекий. Воспоминания. С. 90; Крыжановский // Падение. Т. 5. С. 401; письмо Крыжановского к В.Н.Коковцову от 20 июня 1929 года, находящееся в Архиве Крыжановского, см.: Bakhmeteff Archive, Columbia University.

[81] Курлов. Гибель. С. 94; Крыжановский // Падение. Т. 5. С. 421.

[82] Крыжановский. Воспоминания. С. 114.

[83] Крыжановский // Падение. Т. 5. С. 418; Szeftel. The Russian Constitution. P. 259.

[84] Hosking. Constitutional Experiment. P. 50.

[85] Керенский А // СЗ. 1936. Т. 60. С 460.

[86] Гучков// ПН. 1936. 12 авг. № 5619. С. 2.

[87] Крыжановский // Падение. Т. 5. С. 406, 411, 415.

[88] [Конституционно-демократическая партия], Третья Государственная дума: Материалы для оценки ее деятельности. СПб., 1912. С. VII.

[89] Гучков // Падение. Т. 6. С. 252-253.

[90] Hosking. Constitutional Experiment. P. 136.

[91] Коковцов. Из моего прошлого. Т. 2. С. 8.

[92] Струве// РМ. 1911. Окт. № 10. Ч. 2. С. 140.

[93] Третья Государственная дума. С. 286—290.

[94] См.: Hosking. Constitutional Experiment. P. 116—146.

[95] Крыжановский. Воспоминания. С. 128—130.

[96] То же. С. 218; Гучков // ПН. 1936. 30 авг. № 5637. С. 2.

[97] Текст законодательного акта, введенного в действие 14 марта 1911 года, см.: Зенковский. Правда о Столыпине. С. 285—302.

[98] Аврех А.Я. Столыпин и Третья дума. М., 1968. С. 334—335.

[99] Тамже.С.331.

[100] Там же. С. 337.

[101] Ю1 Там же. С. 337-338.

[102] Гучков // ПН. 1936. 30 авг. № 5637. С. 2.

[103] Коковцов. Из моего прошлого. Т. 1. С. 457.

[104] Gurko V.I. Features and Figures of the Past. Stanford, Calif., 1939. P. 515.

[105] Коковцов. Из моего прошлого. Т. 1. С. 463.

[106] Там же. С. 460-461.

[107] Курлов. Гибель. С. 128; Зенковский. Правда о Столыпине. С. 234.

[108] Гире А.Ф. // Серебренников А., сост. Убийство Столыпина: свидетельства и документы. Нью-Йорк, 1986. С. 191.

[109] Полицейские материалы о Богрове и его показания были опубликованы Б.Струмилло (см.: КЛ. 1923. № 9. С. 177-189; 1924. № 1(10). С. 226—240). Краткую сочувственную биографию Богрова написал его брат Владимир (Дмитрий Богров и убийство Столыпина. Берлин, 1931).

[110] Такой отзыв генерала Спиридовича о Кулябко приводит Г.Е.Рейн (см.: Серебренников А., сост. Убийство Столыпина. С. 197).

[111] В пользу теории о том, что Столыпин пал жертвой охранки, высказался А.Я.Аврех (Столыпин и Третья дума. С. 367—406).

[112] Курлов. Гибель. С. 75—76.

[113] из Падение.Т.6.С.252.

[114] КА. 1929. №4(35). С. 210.

[115] Коковцов. Из моего прошлого. Т. 2. С. 8.

[116] Хромов П.А. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. М., 1950. С. 454- 455.

[117] Thery E. La Transformation Economique de la Russie. P., 1914. P. XVII.

[118] Pasvolsky L., Moulton H.G. Russian Debts and Russian Reconstruction. P. 177.

[119] Ibid. P. 50.

[120] Haimson L. // SR. 1964. Dec. Vol. 23. № 4. P. 634-636.

[121] Это оспаривает L. Haimson. Ibid. P. 619-642; SR. 1965. Vol. 24. № 1. March. P. 1-22.

[122] Расчет сделан на основании кн.: Griffin J. I. Strikes. N. Y., 1939. P. 43.

[123] Knowles K.G.J. Strikes: A Study in Industrial Conflict. Oxford, 1952. P. 310.

[124] Haimson L. // SR. 1965. Dec. Vol. 24. № 1. P. 4-8.

[125] См.: Nietzsche in Russia/ Ed. by B. Rosenthal. Princeton, N.J., 1986.

[126] Стихия и культура. Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 351, 359.

Глава шестая

[1] Fischer Fr. War of Illusions. Lnd., 1975; Germany's Aims in the First World War. N.Y., 1961.

[2] Ламздорф В.Н. Дневник, 1891-1892. М.; Л., 1934. С 299.

[3] Емец В.А. Очерки внешней политики России, 1914—1917. М., 1977. С. 52-53.

[4] Зайончковский А.М. Мировая война 1914—18 гг. М., 1938. Т. 1. С. 39-40.

[5] Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Т. 2. С. 127; Емец В.А Очерки. С. 46.

[6] См.: Tanenbaum J.K. // Knowing Ones' Enemies / Ed. by E.R. May. Princeton, N.J., 1984. P. 150- 171.

[7] Головин. Военные усилия России. Т. 2. С. 129—130; Russland auf dem Wege zur Katastrofe / Ed. by G. Frantz. Berlin, 1926. S. 68—69.

[8] Stone N. The Eastern Front, 1914-1917. N. Y., 1975. P. 42.

[9] Fischer Fr. War of Illusions. P. 388.

[10] Knox A. With the Russian Army, 1914-1917. Lnd., 1921. Vol. 1. P. XIX.

[11] О вступлении России в войну см.: Lieven D.C.B. Russia and the Origins of the First World War. Lnd., 1984.

[12] Suchomlinow ISukhomlinov] W.A. Erinnerungen. Berlin, 1924. S. 363—364.

[13] Расчет произведен на основании данных, помещенных в кн.: Общий свод... первой всеобщей переписи населения / Под ред. Н.АТройницкого.СПб, 1905.Т. 1.С.56.

[14] Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века. М., 1986. С. 15-16.

[15] Емец В.А. Очерки. С. 33; Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P.544.

[16] Головин Н.Н. Военные усилия России. Т. 1. С. 97—105.

[17] Керсновский А. История Русской Армии. Белград, 1935. Ч. 3. С. 507; Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. XXV-XXVI.

[18] Керсновский А. История Русской Армии. Ч. 3. С. 613.

[19] Головин Н.Н. Военные усилия России. Т. 2. С. 121.

[20] Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. 31 -32.

[21] Ibid. P. 222, n.

[22] Ibid. P. 27.

[23] Емец В.А. Очерки. С. 95.

[24] Головин Н.Н. Военные усилия России. Т. 2. С. 8.

[25] Там же. С. 7.

[26] Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М., 1973. С. 109-110.

[27] Бескровный Л.Г. Армия и флот России. С. 105.

[28] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 525.

[29] Зайончковский А.М. Мировая война. Т. 1. С. 365.

[30] Головин Н.Н. Военные усилия России. Т. 1. С. 62.

[31] Керсновский А. История русской армии. Ч. 4. С. 877.

[32] Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. Lnd., 1929. P. 254—255.

[33] Падение. Т. 7. С. 119.

[34] Струве П.Б. Экономическая проблема «Великой России» // Великая Россия: Сб. статей. М., 1911. Кн. 2. С. 151-152.

[35] Гучков// ПН. 1936. 23 авг. № 5630. С. 2.

[36] Борисов Б. // Военный сборник. Белград. 1922. Т. 2. С. 21.

[37] Этот эпизод имел место 4 авг. 1915 г., см.: Яхонтов А.Н. //АРР. 1926. Т. 18.С. 36.

[38] Приводится в кн.: Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 56.

[39] Михайловский Б.В. Русская литература XX в. М., 1939. С. 411—418.

[40] Bazylow L. Obalenie caratu. Warszawa, 1976. S. 297—298; Katkov G. // Revolutionary Russia/ Ed.by R.Pipes.Cambridge, Mass., 1968.P.64—66.

[41] Sazonov S. Fateful Years. Lnd., 1928. P. 32.

[42] КН. 1922. №6 (10). С 182-199.

[43] Добровольский С. // Военный сборник. Белград, 1922. Т. 2. С. 63—64; Емец В.А. Очерки. С. 46.

[44] Маклаков Н. // Падение. Т. 3. С. 103; Suchomlinow. Erinnerungen. S. 368-369.

[45] Емец В.А. Очерки. С. 68. (Приведены слова ген. Ю.Н.Данилова.)

[46] Там же. С. 50.

[47] Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. 60-61.

[48] Ibid. P. 86, 90.

[49] Moltke H., von. Erinnerungen, Briefe, Dokumente, 1877—1916. Stuttgart, 1922. S. 434-435; Memoirs du Marechal Joffre, 1910-1917. P., 1922. Vol. 1. P. 353,369.

[50] Емец В.А. Очерки. С. 95.

[51] Buchan J. A History of the Great War. Boston, 1922. Vol. 1. P. 526-527.

[52] Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. 268—269; Бескровный Л.Г. Армия и флот России. С. 15.

[53] Moltke. Erinnerungen. S. 385.

[54] Ibid. P. 406,414.

[55] Керсновский А. История русской армии. Ч. 3. С. 729.

[56] Falkenhayn E. von. Die Oberste Heeresleitung, 1914—1916. Berlin, 1920. S.26.

[57] Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. 349.

[58] Шляпников А.Г. и др. Кто должник? М., 1926. С. 125.

[59] Там же.

[60] См.: Головин Н.Н. Военные усилия России. Т. 2. С. 143.

[61] Емец В.А. Очерки. С. 175; Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 95.

[62] Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914— 1917). Л., 1967. С. 78. (Приведено высказывание К.Ф.Шацилло.)

[63] Stone N. The Eastern Front. P. 131-132, 147.

[64] См.: Suchomlinow W.A. Erinnerungen. S. 414.

[65] Его воспоминания: Suchomlinow W.A. Erinnerungen. Русский перевод: Воспоминания Сухомлинова. М.; Л., 1926.

[66] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 79. О нем см.: Сидоров АЛ. Экономическое положение России. С. 77—79.

[67] Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. Lnd., 1939. P. 327.

[68] Letters of the Tsaritsa to the Tsar, 1914—1916 / Ed. by B.Pares. Lnd., 1923. P. 108. Русский перевод см.: Переписка Николая и Александры Романовых, 1914-1915 гг. М.; Пг., 1923. Т. 3. С. 242.

[69] Белецкий СП. Григорий Распутин. Пг., 1923. С. 33—35.

[70] Letters / Ed. by B.Pares. P. ПО. См.: Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3. С. 244.

[71] Родзянко // Падение. Т.7. С. 153; Дякин В.С. Русская буржуазия. С.89.

[72] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Б.Б.Граве. М.;Л., 1927. С. 39.

[73] Емец В.А. Очерки. С. 175.

[74] Яхонтов А.Н. //АРР. 1926. Т. 18. С. 15.

[75] « Pares B. The Fall. P. 256.

[76] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 89-90.

[77] О нем см.: Abraham R. Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution. N. Y., 1987.

[78] Центральный комитет трудовой группы, Александр Федорович Керенский: (По материалам Департамента полиции). Пг., 1917.

[79] Wilcox E.H. Russia's Ruin. Lnd., 1919. P. 193.

[80] Abraham R. Alexander Kerensky. P. 96.

[81] Белецкий СП. Григорий Распутин. С. 13.

[82] Bazylow L. Obalenie caratu. S. 65; Paleologue M. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. P., 1922. Vol. 2. P.54-55.

[83] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 113.

[84] Яхонтов А.Н. // АРР. 1926. Т. 18. С. 53-56.

[85] Падение. Т. 7. С. 68—69; Семенников В.П. Политика Романовых накануне революции. М.; Л., 1926. С. 82—83.

[86] Текст см.: Яхонтов А.Н. // АРР. 1926. Т. 18. С. 98.

[87] Pares B. The Fall. P. 269.

[88] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 103.

[89] Полный англ. текст см.: Pares B. The Fall. P. 271—273.

[90] Буржуазия накануне февральской революции // Под ред. Граве. С. 27-29; КА. 1932. № 1/2 (50/51). С. 133-136; АРР. Т. 18. С. 109-110.

[91] Примеры см.: Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 114.

[92] Pares B. The Fall. P. 275-276.

[93] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 39.

[94] НВр. 1896. 14(26) мая. № 7258. С. 2. « Яхонтов А.Н.// АРР. 1926. Т. 18. С. 62.

[96] Там же. С. 128.

[97] Там же.

[98] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 126—127.

[99] РВ. 1915.27сент.№221.С2.

[100] Pares B. The Fall. P. 285.

[101] Ibid. P. 242-243.

[102] Государственная дума: Стеногр. отчеты. IV Созыв. Сессия IV. Заседание 4. Пг., 1915. С. 303-305.

[103] Бескровный Л.Г. Армия и флот России. С. 71.

[104] Сидоров А.Л. Экономическое положение. С. 102—103.

[105] Падение. Т. 7. С. 140.

[106] Погребинский А.Л. // ИЗ. 1941. Т.П. С. 164.

[107] Шляпников А. Канун семнадцатого года. М, б. г. Т. 1. С. 95—121; Bazylow L. Obalenie caratu. S. 100.

[108] См.: Погребинский А.П.//ИЗ. 1941. Т. 11. С. 189-199.

[109] Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 200.

[110] Как это делает N. Stone (The Eastern Front. P. 201).

[111] Knox A. With the Russian Army. Vol. 1. P. 355-356.

[112] Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 93.

[113] О Земском союзе см.: Котляревский С. // РМ. 1916. Март. Ч. 2. № 3. С. 137—141; Polner T.I. Russian Local Government during the War and the Union of Zemstvos. New Haven, Conn., 1930.

[114] О них см.: Bazylow L. Obalenie caratu. S. 103—105.

[115] См., напр.: Горемыкин и Рухлов // Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 97.

[116] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 66.

Глава седьмая

[1] Шульгин В.В. Дни. Белград, 1925. С. 156.

[2] Погребинский А.П. Государственные финансы царской России в эпоху империализма. М., 1968. С. 64.

[3] Yurovsky L.N. Currency Problems of the Soviet Union. Lnd., 1925. P. 12; Claus R.Die Kriegswirtschaft Russlands.Bonn; Leipzig, 1922. S.21.

[4] Рассчитано С.Н.Прокоповичем. См.: Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны. М., 1960. С. 131—132.

[5] Расчет сделан на основании данных, приведенных в кн.: Сидоров АЛ. Финансовое положение России. С. 117.

[6] Claus R. Die Kriegswirtschaft. S. 25.

[7] Сидоров АЛ. Финансовое положение России. С. 146.

[8] Claus R. Die Kriegswirtschaft. S. 4.

[9] Ibid. P. 4-5.

[10] Статистический справочник по аграрному вопросу / Под ред. Н.П.Огановского, А.В.Чаянова. М., 1917. Т. 1. С. 10—11; Предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. Пг., 1916. С. XV.

[11] БыстренинВ.П.//РМ. 1916.Нояб.С. 1; см. также: Изгоев А.С.//РМ. 1916. Окт. С. 2.

[12] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Б.Б.Граве. М.;Л., 1927. С. 137.

[13] Bazylow L. Obalenie caratu. Warsaw, 1976. S. 160.

[14] Florinsky M. The End of the Russian Empire. New Haven, Conn., 1931. P. 121.

[15] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 131.

[16] Knox A. With the Russian Army, 1914-1917. Lnd, 1921. Vol. 2. P. 388; ср.: Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны, 1914-1917 гг. М., 1962. С. 306-309.

[17] Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914-17). Л., 1967. С. 132-133.

[18] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 422.

[19] Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М.;Л., 1930. С. 165,398.

[20] Stone N. The Eastern Front, 1914—1917. Lnd., 1976. P. 238.

[21] Paleologue M. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. Paris, 1922. Vol. 3. P. 92-93.

[22] Letters of the Tsaritsa to the Tsar, 1914—1916 / Ed. by B.Pares. Lnd., 1923. P. XXIV; Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. Lnd., 1939. P. 401 (приводятся слова Юсупова).

[23] Показания Штюрмера// Падение. Т. 1. С. 222.

[24] Там же. Т. 7. С. 205.

[25] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 413.

[26] Gurko B. Memories and Impressions of War and Revolution in Russia, 1914-1917. Lnd., 1918. P. 188.

[27] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 416.

[28] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 274—275. Ср.: Блок А.А. Последние дни императорской власти // Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 193; см. также : РЗ. 1916. Нояб. С. 243.

[29] Речь. 1917. 3 янв. // Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 275.

[30] Спиридович А.И. Великая война и февральская революция, 1914— 1917 гг.Н.-Й., 1962.Т. 3. С. 13.

[31] Knox A. With the Russian Army.Vol. 2. P. 424-425.

[32] КА. 1926. №4(17). С 24.

[33] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 127.

[34] Там же. С. 136.

[35] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 552; Letters/ Ed. B.. Pares. P. XXXVIII.

[36] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 542.

[37] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 134.

[38] Knox A. With the Russian Army. Vol. 2. P. 515; Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 133—134.

[39] Изгоев // РМ. 1916. Окт. Ч. 3. С. 1-5.

[40] Петрищев А. // РЗ. 1916. Окт. С. 233-239.

[41] Сидоров АЛ. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М., 1973. С. 492, 496; Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1952. Т. 2. С. 641.

[42] Сидоров А.Л. Экономическое положение. С. 496.

[43] Пайпс Р. Струве: правый либерал. М., 2001. С. 294.

[44] Bazylow L. Obalenie caratu. S. 303—304.

[45] См.: Мельгунов СП. Легенда о сепаратном мире. Париж, 1957.

[46] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 138.
[47] Тоже. С. 140-141,147—148.
[48] Pares B. The Fall. P. 378-379.
[49] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 141.
[50] Letters / Ed. by B.Pares. P. 395. Русский перевод см.: Т. 5. С. 120.
[51] Pares B. The Fall. P. 380.
[52] Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 201.
[53] Pares B. The Fall. P. 380.
[54] Gurko B. Memories and Impressions. P. 184.
[55] Гучков, согласно: Pares B. The Fall. P. 381.
[56] Черменский Е.Д. IV Дума. С. 196. Сн. 4.
[57] Падение. Т. 1.4.2. С. 1-64.
[58] Черменский Е.Д. IVдума. С. 198.
[59] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 268—269.
[60] Падение. Т. 4. С. 29; Katkov G. Russia 1917: The February Revolution. N.Y., 1967. P. 213.
[61] Pares B. The Fall. P. 383.
[62] Черменский Е.Д. IV дума. С. 204.
[63] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 145—148; Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 236—237.
[64] Буржуазия накануне февральской революции / Под ред. Граве. С. 146-147.
[65] Там же. С. 147.
[66] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 241.
[67] Семенников В.П. Монархия перед крушением, 1914—1917. М., 1927. С. 130-131.
[68] Hasegawa Ts. The February Revolution: Petrograd 1917. Seattle; Lnd., 1981. P. 55.
[69] КА. 1923. N4. С 196.
[70] Черменский Е.Д. IV дума. С. 206.
[71] Там же.
[72] Там же. С. 207.
[73] Там же.
[74] Государственная дума: Стеногр. отчет. IV созыв. Сессия 5. Заседание 1. Б. г. С. 11-13.
[75] Там же С. 29-33.
[76] Резанов А.С.Штурмовой сигнал П.Н.Милюкова. Париж, 1924. С. 43-61.
[77] Милюков П.Н.Воспоминания, 1859-1917. Н.-Й., 1955. Т. 2. С. 276-277.
[78] Милюков Петрункевичу в 1919 году. (См.: Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 243.)
[79] Bazylow L. Obalenie caratu. C. 204.
[80] Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. Мюнхен, 1949. Т. 2. С. 218-220.
[81] Среди современников эти взгляды разделяли: дворцовый комендант В.Н.Воейков (С царем и без царя. Гельсингфорс, 1936. С. 166) и либеральный публицист Ариадна Тыркова-Вильямс (From Liberty to Brest Litovsk. Lnd., 1919. P. 3); среди историков: Черменский (IV дума. С. 212—213), Дякин (Русская буржуазия. С. 275—276) и Георгий Катков (Russia, 1917. N.Y., 1967. P. 194-197).
[82] Государственная дума: Стеногр. отчет. IV созыв. Сессия 5. С. 68.
[83] Воейков. С царем и без царя. С. 185.
[84] Бобринский // ВЕ. 1916. № 12. С. 379.
[85] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 244.
[86] Lettres des Grands-Dues a Nicolas II. P., 1926. P. 258—259.
[87] Переписка Николая и Александры Романовых, 1916—1917. М.; Л., 1927. С. 128-129, 131.
[88] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 244—245.
[89] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 189; ВЕ. 1917. № 2. С. 324.
[90] Paleologue M. La Russie des Tsars. Vol. 3. P. 90.
[91] Ibid. P. 91.
[92] Ibid. P. 105.
[93] Речь. 1916. 11-14нояб.//РЗ. 1916. Нояб. С. 238-239.
[94] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 248; Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 175- 176; ВЕ. 1916. Нояб. С. 342-343.
[95] Вел. кн. Дмитрий // Юсупов Ф. Конец Распутина. Париж, 1927. С. 134.
[96] Государственная дума: Стеногр. IV созыв. Сессия 5. Заседание 6 (19нояб. 1916). С. 253-254.
[97] Там же. Заседание 18 (16 дек. 1916). С. 1225—1226; Bazylow L. Obalenie caratu. S. 248—249.
[98] КА. 1923. №4. С. 187.
[99] Спиридович А.И. Распутин. Париж, 1935. С. 335—338.
[100] Letters/Ed. by B. Pares. P. 221. Русский перевод см.: Переписка Николая и Александры Романовых, 1914—1915 гг. М; Пг., 1923. Т. 3. С. 459.
[101] См. последнюю волю и завещание в кн.: Симанович А. Распутин. Париж, 1930. С. 256; Семенников В.П. Политика Романовых накануне Революции. М.; Л., 1926. С. 92.

[102] Падение. Т. 4. С. 14.
[103] Коковцов. Из моего прошлого. Т. 2. С. 41.
[104] Спиридович. Распутин. С. 94.
[105] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 261.
[106] Переписка Романовых. Т. 5. С. 153.
[107] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 177; ср.: Pares B. The Fall. P. 382.
[108] Протопопов // Падение. Т. 4. С. 15—16. С. 176—177; Mossolov A.A. At the Court of the Last Tsar. Lnd., 1935. P. 170-173.
[109] Там же. С. 31.
[110] Протопопов // Падение. Т. 4. С. 5; Спиридович А.И. Великая война. Т. 2.
[111] Katkov. Russia 1917.P. 197.
[112] Маклаков// СЗ. Т. 34. С. 265.
[113] Pares B. The Fall. P. 396.
[114] Ibid. P. 396-397,402.
[115] ibid. P. 403.
[116] Спиридович. Распутин. С. 369—370; Шульгин. Дни. С. 119.
[117] Спиридович. Распутин. С. 374.
[118] Paleologue M. La Russie des Tsars. Vol. 3. P. 141.
[119] Pares B. The Fall. P. 406.
[120] Пуришкевич В.М. Убийство Распутина. Париж, 1923. С. 81.
[120] Pares B. The Fall. P. 462; КА. 1923. № 4. С 425.
[122] Спиридович. Распутин. С. 396.
[123] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 207.
[124] там же. С. 216-217; Pares B. The Fall. P. 410.
[125] Воейков. С царем и без царя. С. 178.
[126] Юсупов. Конец Распутина. С. 204.
[127] КА. 1927.№1(20).С. 124.
[128] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 203, 211.
[129] Там же. Т. 2. С. 217.
[130] Текст см.: Воейков. С царем и без царя. С. 182—183.
[131] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 214—215.
[132] Там же. Т. 3. С. 29.
[133] Там же. Т. 2. С. 184; Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 287.
[134] Pares B. The Fall. P. 414.
[135] Воейков. С царем и без царя. С. 191.
[136] Bazylow L. Obalenie caratu. S. 338—339.
[137] Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 17. >[38] КА. 1927. №1(20). С. 126.
[139] Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 19.
[140] Rodzianko M.V. The Reign of Rasputin. Lnd., 1928. P. 253-254.
[141] СЗ. 1928. Т. 24. С. 279
[142] Гучков//ПН. 1936. 9сент. № 5647. С. 2; 13сент.№ 5651. С. 2.
[143] Маклаков // СЗ. 1928. № 34. С. 279.
[144] Гучков//ПН. 1936.9сент. №5647. С. 2.№5651.13сент. С. 2; см.также: Pares B. The Fall. P. 427—448; Падение. Т. 6. С. 278; Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 301—302; Спиридович А.И. Великая война. Т. 2. С. 166; Т. 3. С. 46; Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 187.
[145] См.: Pares B. The Fall. P. 428—429; Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 300; Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 14—17; Гучков// ПН. 1936.13 сент. №5651. С. 2.
[146] Секретный доклад от 26 янв. 1917 г. см.: Блок. Последние дни. С. 205— 208.
[147] Там же; Bazylow L. Obalenie caratu. S. 287.
[148] Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 42.
[149] Там же.Т.2.С. 188;Т. 3.С.41.
[150] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 273—274.
[151] Спиридович АИ. Великая война. Т. 3. С. 47; Katkov. Russia 1917. P. 240.
[152] ПР. 1923. № 13. С. 269-270.
[153] Блок. Последние дни. С. 220; Bazylow L. Obaienie caratu. S. 344—345.
[154] Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 47; Протопопов// ГМ. 1926. Т. 15. №2. С. 189-191.
[155] Блок. Последние дни. С. 220—221; Bazylow L. Obalenie caratu. S. 344— 345.
[156] Дякин В.С. Русская буржуазия. С. 274—275.
[157] Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 40.
[158] ЩеголевП.Е. Охранники и авантюристы. М., 1930. С. 140—141.

Глава восьмая

[1] Труды Центр, стат. упр. М, 1921. Т. 7. Вып. 1. С. 252.

[2] Протопопов // Падение. Т. 4. С. 21.

[3] Мартынов Е.И. Царская армия в февральском перевороте. Л., 1927. С. 118; Балк А.П. Последние пять дней царского Петрограда. // Bakhmeteff Archive, Columbia University.

[4] ПР. 1923. № 13. С. 290; Keep J.L.H. The Russian Revolution. Lnd., 1976. P. 58.

[5] Спиридович А.И. Великая война и февральская революция, 1914— 1917 гг. Н.-Й., 1962. Т. 3. С. 56-57; В.Н.Воейков. С царем и без царя. Гельсингфорс, 1936. С. 193.

[6] Мартынов. Царская армия. С. 60—61, 207.

[7] Балк. Последние пять дней.

[8] Hasegawa Ts. The February Revolution: Petrograd 1917. Seattle; Lnd., 1981. P. 215—217, 222.

[9] Былое. 1918. №1(29). С 161.

[10] Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 133—134.

[11] Наблюдения очевидцев см.: Paleologue M. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. Paris, 1922. Vol. 3. P. 215.

[12] Спиридович А.И. Великая война. Т. 3. С. 86—87; Paleologue M. La Russie des Tsars. Vol.3. P. 215.

[13] Описание см.: Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 232—246.

[14] КА. 1923. № 4. С 208-210.

[15] Известия. 1917. 27 авг. № 155. С. 6.

[16] В огне революционных боев: (Районы Петрограда в двух революциях 1917 г.) / Под ред. Е.Р.Левитаса. М., 1967. С. 84.

[17] Васильев // Щеголев П.Е. Охранники и авантюристы. М., 1930. С. 141-142.

[18] КА. 1927. №2(21). С. 4-5.

[19] Дубенский Д.Н. // РЛ. Париж, 1922. № 3. С. 28-30.

[20] Падение. Т. 1.С. 190.

[21] Там же.

[22] Мартынов. Царская армия. С. 82; Революция. Т. 1. С. 35.

[23] Суханов Н. Записки о революции. Берлин; СПб.; М., 1922. Т. 1. С. 53.

[24] КА. 1923. № 4. С. 209-210 (письмо от 25 февр.).

[25] Суханов. Записки. Т. 1. С. 53, 59.

[26] Paleologue M. La Russie des Tsars. Vol. 3. P. 214, 218. М.Палеолог приводит слова Сенак де Мейана.

[27] Мартынов. Царская армия. С. 206.

[28] Об условиях содержания и настроениях см.: Там же. С. 58—59.

[29] Родзянко Рузскому// РЛ. 1922. № 3. С. 147.

[30] Мартынов. Царская армия. С. 207.

[31] Суханов. Записки. Т. 1. С. 54.

[32] Былое. 1918. № 1(29). С. 173-174.

[33] Мартынов. Царская армия. С. 208.

[34] Инцидент описан там же (С. 85—88); Лукаш И. Павловцы. Пг., 1917.

[35] Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Берлин, 1922. Т. 1. С. 124. Мельгунов С.П. Мартовские дни. Париж, 1961. С. 84.

[37] Алексеев // РЛ. 1922. № 3. С. 118; Хабалов // Падение. Т. 1. С. 203.

[38] Хабалов // Падение. Т. 1. С. 196; Мартынов. Царская армия. С. 88—89.

[39] Троцкий Л. The History of the Russian Revolution. N. Y., 1937. Vol. 1. P. 121-122.

[40] Революция. Т. 1.С. 37.

[41] Там же. С 38.

[42] Там же; Фредерикс // Падение. Т. 5. С. 38.

[43] КА. 1927. № 2(21). С. 8; Мельгунов СП. Мартовские дни. С. 157.

[44] Блок А.А. Последние дни императорской власти // Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 243.

[45] Мартынов. Царская армия. С. 104.

[46] Воейков//Падение. Т. 3. С. 71. Текст см.: РЛ. 1922.№3.С. 114.

[47] Benckendorff P. K. Last Days at Tsarskoe Selo. Lnd., 1927. P. 2—3. Революция. Т. 1. С. 40.

[49] Дубенский // РЛ. 1922. № 3. С. 38.

[50] Его распоряжения см.: Мартынов. Царская армия. С. 114—115; РЛ. 1922. №3. С. 117.

[51] РЛ. 1922. №3. С. 115.

[52] КА. 1927. №2(21). С. 10-11.

[53] Basily N. de. Diplomat of Imperial Russia, 1903—1917: Memoirs. Stanford, Calif., 1973. P. 109.

[54] Шляпников А Семнадцатый год. Изд. 2. М., б. г. Т. 1. С. 155.

[55] Benckendorff. Last Days. P. 10; Basily. Diplomat. P. 113—114; Дубенский // РЛ. 1922. № 3. С. 38.

[56] Падение. Т. 3. С. 74.

[57] Дубенский // РЛ. 1922. № 3. С. 46-47.

[58] Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 492.

[59] Шульгин В.В. Дни. Белград, 1925. С. 214; Мельгунов. Мартовские дни. С. 53—55; Мартынов. Царская армия. С. 140.

[60] Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 348.

[61] Шульгин. Дни. С. 157—158. Протокол этой встречи, записанный неизвестным участником, впервые появился в «Воле России». (Прага, 1921. 15 марта. № 153. С. 4.) См. также: Вардин И. // КН. 1923. № 2(12). С. 267-293.

[62] Гиппиус З. Синяя книга. Белград, 1929. С. 89. Дневниковая запись за 28 февр. 1917; Шульгин. Дни. С. 241.

[63] Schapiro L.// Revolutionary Russia/ ed. R.Pipes. Cambridge, Mass., 1968. P. 128-130; Kerensky A. The Catastrophe. N. Y.; Lnd., 1927. P. 12.

[64] Мельгунов. Мартовские дни. С. 27—28.

[65] Там же. С. 28.

[66] Там же. С. 80.

[67] Там же; Мартынов. Царская армия. С. 134.

[68] Шульгин. Дни. С. 233-234, 239.

[69] Мартынов. Царская армия. С. 112.

[70] Там же. С. ПО; Революция. Т. 1. С. 41-42.

[71] Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 330—331. Текст см.: Smilg-Benario M. Der Zusammenbruch der Zarenmonarchie. Vien, 1928. Table 13; ср.: Ferro M. Des Soviets au Communisme Bureaucratique. P., 1980. P. 30-31.

[72] Токарев Ю.С. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в марте — апреле 1917 г. Л., 1976. С. 33—34.

[73] Революция. Т. 1. С. 40—41.

[74] Hasegawa Ts. The February Revolution. P. 380.

[75] Шляпников А. Семнадцатый год. М.; Л., 1927. Т. 3. С. 167—170.

[76] Суханов. Записки. Т. 1. С. 190.

[77] Шляпников А. Семнадцатый год. Т. 3. С. 173.

[78] Ferro M. Des Soviets. P. 37; ср.: Anweiler O. The Soviets. N.Y., 1974. P. 104-106.

[79] Станкевич В.Б. Воспоминания, 1914—1919 гг. Берлин, 1920. С. 80—82.

[80] Мельгунов. Мартовские дни. С. 12—13.

[81] Милюков П.Н. История второй русской революции. София, 1921. Т. 1.4.1.С. 51.

[82] Революция. Т. 1. С. 49—50; Суханов. Записки. Т. 1. С. 256—260.

[83] Революция. Т. 1. С. 49; Милюков. История. Т. 1. Ч. 1. С. 46; Милюков П.Н. Воспоминания, 1859-1917. Н.-Й., 1955. Т. 2. С. 307.

[84] Полный текст см.: Мартынов. Царская армия. С. 177—178.

[85] Революция. Т. 1. С. 53.

[86] Милюков. История. Т. 1. Ч. 1. С. 47.

[87] Крыжановский С.Е. Воспоминания. Берлин, б. г. С. 124.

[88] Токарев. Петроградский Совет. С. 94.

[89] Милюков. История. Т. 1. Ч. 1. С. 45; Hasegawa T. The February Revolution. P. 525.

[90] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Париж, 1921. Т. 1. Ч. 1. С. 75.

[91] Милюков. История. Т. I. Ч. 1. С. 67.

[92] Kerensky. The Catastrophe. P. 120.

[93] V.D.Nabokov and the Russian Provisional Government. New Haven, Conn.; Lnd., 1976. P. 84.

[94] Полнер Т.И. Жизненный путь Г.Е.Львова. Париж, 1932. С. 151.

[95] См. наст, издание. С. 252.

[96] Сверчков Д.Ф. Керенский. Л., 1927. С. 21; Мельгунов. Мартовские дни. С. 112-113.

[97] Гиппиус. Синяя книга. С. 97.

[98] Шляпников А. Семнадцатый год. 2-е изд. Т. 1. С. 173—174; ср.: Токарев. Петроградский Совет. С. 61—62.

[99] Мартынов. Царская армия. С. 212.

[100] Гиппиус. Синяя книга. С. 97.

[101] Текст см.: Революция. Т. 1. С. 176—177.

[102] Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов: Протоколы заседаний Исполкома и Бюро Исполкома / Под ред. Б.Я.Наливайского. М.;Л., 1925. С. 17.

[103] Текст см.: Революция. Т. 1. С. 180—181.

[104] ШляпниковА. Семнадцатый год. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 236.

[105] Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция: Восстание в Петрограде. М., 1967. С. 352; Шульгин. Дни. С. 150.

[106] Мельгунов. Мартовские дни. С. 135; Гучков процитирован в кн.: Бурджалов. Вторая русская революция. С. 352.

[107] КА. 1923. №4. С. 215.

[108] РЛ: 1922. № 3. С. 119.

[109] КА. 1927. №2(21). С. 19.

[110] Текст см.: Мартынов. Царская армия. С. 144—145.

[111] Basily. Diplomat. P. 116-117.

[112] Вилчковский С.Н. // РЛ. 1922. № 3. С. 169-170.

[113] РЛ. 1922. № 3. С. 133, 176; Отречение Николая II/ Под ред. П.Е.Щеголева.Л., 1927.С. 153.

[114] Текст телеграммы см.: Отречение / Под ред. Щеголева. С. 197—201.

[115] РЛ. 1922. № 3. С. 133-134.

[116] Отречение / Под ред. Щеголева. С. 149.

[117] Текст см.: Отречение / Под ред. Щеголева. С. 202—203. РЛ. 1922. № 3. С. 177-178.

[119] Отречение/ Под ред. Щеголева. С. 154.

[120] Там же. С. 154-155.

[121] Тексты телеграфных сообщений см.: Там же. С. 203—205; ср.: С. 155; КА. 1927. № 2(21). С. 72—73. Генерал Саввич опубликовал воспоминания об этих событиях в газете «Отечество» (Архангельск, 1919. 10—12 янв. № 5—7 (102—104)), рукопись этих воспоминаний хранится в Колумбийском ун-те в Архиве Крыжановского (Бахметевский архив. Ящик № 3).

[122] факсимильное воспроизведение//Мартынов. Царская армия. С. 159.

[123] Текст см.: РЛ. 1922. № 3. С. 140.

[124] Историю создания текста манифеста см.: Basily. Diplomat. P. 122— 125; см. также: Мартынов. Царская армия. С. 159; КА. 1927. № 3(22). С. 7.

[125] См. выше наст, издание.

[126] РЛ. 1922. № 3. С. 179.

[127] Записка Федорова Мартынову см.: Мартынов. Царская армия. С. 160; Benckendorff. Last Days. P. 46—47.

[128] Градовский А.Д. // Собр. соч. СПб., 1901. Т. 7. С. 158-162.

[129] Набоков В. Временное правительство. С. 49.

[130] Воспоминания об этих событиях Гучкова см.: Падение. Т. 6. С. 263— 266; Basily. Diplomat. P. 127—131; Шульгин. Дни. С. 265—83. См. также: Отречение / Под ред. Щеголева. С. 163.

[131] Рузский // Отречение / Под ред. Щеголева. С. 138.

[132] Отречение // Под ред. Щеголева. С. 169—171; Мартынов. Царская армия. С. 167-170.

[133] Basily. Diplomat. P. 128; Мартынов. Царская армия. С.164.

[134] См.: Basily. Diplomat. P. 128.

[135] Smilg-Benario. Der Zusamraenbruch. Table 36. Текст также см.: Мартынов. Царская армия. С. 173—174.

[136] Basily. Diplomat. P. 129—130.

[137] Оба документа см.: Мартынов. Царская армия. С. 174.

[138] Benckendorff. Last Days. P. 17.

[139] Мартынов. Царская армия. С. 174—175; Отречение / Под ред. Щего-лева. С. 158—160.

[140] Воспоминания Милюкова о переговорах с вел. кн. Михаилом см.: Милюков П.Н. История второй русской революции. Т. 1.4. 1. София, 1921.С.54—55; Гучков // Basily. Diplomat. P. 143—145.Воспоминания Шульгина см.: Дни. С. 295—306.

[141] Мелыунов. Мартовские дни. С. 226.

[142] Там же. С. 227.

[143] Basily. Diplomat.P. 144. '[44] APR 1922. Т. 6. С. 62.

[145] Мартынов. Царская армия. С. 181; Шульгин. Дни. С. 302—303.

[146] Мелыунов. Мартовские дни. С. 233—234; факсимильное воспроизведение см. Smilg-Benario. Der Zusamraenbruch. Table 37.

[147] Копия хранится в Houghton Library, Harvard. Shelf mark +56-909.

[148] Керенский // СЗ. 1932. № 50. С 409.

[149] Там же.

[150] См. наст, издание. С. 327.

[151] Революция. Т. 1. С. 73.

[152] Набоков В. Временное правительство. С. 61—62.

[153] Godechot J. Les Institutions de la France sous la Revolution et l'Empire. P., 1951. P. 89- 91; Lefebvre G. La Revolution. P., 1957. P. 165-167.

[154] Набоков В. Временное правительство. С. 83.

[155] Революция. Т. 1.С. 82.

[156] Набоков В. Временное правительство. С. 135.

[157] Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов: Стеногр. отчет / Под ред. М.Н.Цапенко. М.; Л., 1927. С. 38.

[158] Церетели И.Г. Воспоминания о февральской революции. Париж; Гаага, 1963. Т. 1.С. 97.

[159] Там же. С. 107-108.

[160] Революция. Т. 1. С. 114.

[161] Петроградский Совет/ Под ред. Наливайского. С. 9. 1

[162] Там же. С. 10.

[163] Революция. Т. 1.С. 64.

[164] Там же. С. 72.
[165] Там же. С. 80.
[166] Там же. С. 71-72.
[167] Милюков. История. Т. 1. Ч. 1. С. 74.
[168] Петроградский Совет/Под ред. Наливайского. С. 118.
[169] Там же. С. 61-62.
[170] Токарев. Петроградский Совет. С. 145—146.
[171] Протокол см.: Всероссийское совещание / Под ред. Цапенко; ср.: Революция. Т. 1. С. 162—163.
[172] Токарев. Петроградский Совет. С. 148—152.
[173] Законодательная деятельность отражена в трехтомном собрании The Russian Provisional Government / Ed. by A.Kerensky, R.Browder. Stanford, Calif., 1961.
[174] Wojna R. Walka o ziemie w Rosji w 1917 roku. Wroclaw, 1977. S. 79.
[175] Революция. Т. 1.С. 96.
[176] Крестьянское движение в 1917 году / Под ред. К.Г.Котельникова, ВЛ.Меллер. М.; Л., 1927.
[177] Keep J.L.H. The Russian Revolution. Lnd., 1976. P. 162-163.
[178] Революция. Т. 1. С. 84-85.
[179] Россия в мировой войне 1914—1918 гг. (в цифрах). Центр, стат. упр. Отдел военной статистики. М., 1925. С. 26.
[180] Набоков В. Временное правительство. С. 135.
[181] Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное собрание. Париж, 1932. С. 73.
[182] Суханов. Записки. Т. 2. С. 140.
[183] Церетели. Воспоминания. Т. 1. С. 40.
[184] Ferro M.// Pipes R. Revolutionary Russia. P. 143—157.
[185] Токарев. Петроградский Совет. С. 145.
[186] КА. 1927. № 3(22). С. 57.
[187] Bazylow L. Obalenie caratu. Warsawa, 1976. S. 376, n.
[188] Известия. 1917. 15(28) марта. № 15. С. 1.
[189] Васюков В.С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966. С. 87-88.
[190] Текст см.: Революция. Т. 1. С. 195—196.
[191] Милюков. Воспоминания. Т. 2. С. 345—346.
[192] Революция. Т. 1. С. 30—52.
[193] Chamberlin W.H. The Russian Revolution, 1917-1921. N.Y., 1935. P. 85.
[194] Эта тема подробно исследована в третьем томе нашей книги.
[195] Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. Берлин; Париж, 1917. С. 5.
[196] Деникин. Очерки. Т. 1. Ч. 1. С. 54. Этот документ до сих пор не опубликован.
[197] КА. 1927. № 3(22). С. 54; Мартынов. Царская армия. С. 187—189.
[198] Buchanan G. My Mission to Russia. Boston, 1923. Vol. 2. P. 104.
[199] Public Record Office, London, FO 371-3008, P.I, Reel 22, Doc. 196482.
[200] Революция. Т. 1. С. 73—76; Петроградский Совет/ Под ред. Наливайского. С. 29—30.
[201] РЛ. 1922. №3. С. 96-97.
[202] 202 Там же. С. 97-98.
[203] КА. 1927. № 20. С. 138; описание у Дембовского см.: РЛ. 1922. № 3. С. 87—88 (здесь ошибочно указана дата события 6 марта).
[204] Мартынов. Царская армия. С. 194.
[205] Benckendorff. Last Days. P. 30—31.
[206] КА. 1927. №3(22). С. 67.
[207] Мартынов. Царская армия. С. 196—197.
[208] Там же. С. 197.
[209] Там же. С. 200-201.
[210] Kerensky. The Catastrophe. P. 264-269; КА. 1927. № 20. С. 140.
[211] См., напр., статьи Милюкова и «Дионео» // ПН. 1932. 12 июня. № 4099. С. 2.
[212] Rose K. King George V. Lnd., 1983. P. 211-214.
[213] Public Record Office, London, FO 800-383, P. 32, April 7, 1917 (March 25 OS).
[214] Мельгунов СП. Судьба императора Николая II после отречения. П., 1951. С. 175.
[215] Kerensky. The Catastrophe. P. 111.
[216] Розанов. Апокалипсис. С. 6.
[217] Церетели. Воспоминания. Т. 1. С. 124; Революция. Т. 2. С. 74.

Именной указатель

Августин Блаженный — 172

Азеф Е.Ф. — 29, 261, 263
Аксельрод П.Б. — 200
д'Аламбер Ж. — 179
Александр Михайлович — 367
Александр 1 — 80
Александр II — 80, 101
Александр III — 29, 44, 80-82, 88, 101
Александра Федоровна — 58, 83—85, 304, 309, 310, 329-331, 338,339, 352-358, 366, 367, 385,411, 420, 421, 443
Алексеев М.В. — 273, 373, 384, 411, 414, 415, 420, 441
Алексей Николаевич — 85,416,417
Анна Иоанновна — 15
Апраксины — 85
Арон Р. — 184, 185
Бадмаев П.А. — 329
БазилиН.А. — 411,415
Бакунин М.А. — 186, 187, 195
БалкА.П. — 374
Бальфур А. — 440
Бейлис М. — 99
Беляев М.А. — 373, 379, 381, 383
Бенкендорф А.Х. — 97
Бенкендорф П.К. — 383
Бенкендорфы — 85
Бентам И. — 177
Берк Э. — 176
Блок А.А. — 267
Бобринский А.А. — 337, 340
Богданов Б.О. — 390
Боголепов Н.П. — 17, 21
БогровД.Г. — 259-262
Боэций А. — 171
Брасова — см. Вульферт Н.С.
Брусилов А.А. — 328, 415
Булыгин А.Г. — 42, 46
Бунин И.А. — 155, 156
Бьюкенен Д. — 367
Бэкон Ф. - 171, 172
БэрингМ. — 212
Валуев П.А. — 93, 94, 99, 100
Ванновский П.С. — 19—21
Васильев И.П. —371
Вебер Э. — 151
Вильгельм II — 27, 213
Витте С.Ю. — 26-28, 36, 48-54, 58-60, 63-73, 81, 106-110, 113, 166, 222, 225, 256, 291
Воейков В.Н. — 351, 385, 386, 441
Воейковы — 85
Волковы — 85
Вреден Р.Р. — 356
Вульферт Н.С. — 422
Вырубова А.А. — 83, 330, 366
Вяземский Д.Л. — 368
Гапон Г.А. — 38—42
Гвоздев К.А. — 317, 370, 390
Гельвеций К. — 172—177, 187, 188
Гельфанд А.Л. — 72
Георг III — 231
Георг V — 441, 445
Герасимов А.В. — 60, 61, 389
Герценштейн М.Я. — 233
Гершуни Г.А. — 205
Гинденбург П. — 294
Гиппиус З.Н. — 405

Глинка М.И. — 246
Глобачев К.И. — 369
Гоббс Т. — 76
Годнее И. В. — 400
Голицын Н.Д. — 365, 366, 383
Горемыкин И.Л. — 73, 91, 213, 214, 231, 245, 248, 249, 290, 307, 310, 313, 331
Горчаков А.М. — 229
Горький М. — 266
Гоц А.Р. — 206
Гринвальды — 85
Гротены — 85
Гучков А.И. — 67, 222, 234, 246, 251, 254, 284, 290, 332, 340, 356, 357, 368-370, 396, 400, 408, 409, 416-423, 441
Дан Ф.И. — 55, 56, 97
Данилов Г.Н. — 307, 384
Данилов Ю.Н. — 415
Деникин А.И. — 116, 117, 151
Джунковский В.Ф. — 356
Дмитрий Павлович — 359—362, 365
Долгоруков П.В. — 94
Дурново П.Н. — 67, 72, 91, 223, 239, 256, 257, 291, 292
Дягилев С.П. — 266
Екатерина II — 76, 89, 122
Ермолов А.С. — 45, 46, 146, 147, 152
Емец В.А. — 270
ЖоффрЖ. — 295
Зайончковский П.А. — 102
Засулич В.И. — 199
Зензинов В.М. — 206
Зубатов С.В. — 24-26
Иван IV — 163
Иванов Н.И. — 383, 384
Игнатьев Н.П. — 102
КавеньякЛ.Э. — 406
Каляев И.П. — 19
Карпович П. В. — 21
КассоЛ.А. — 260
Керенский А.Ф. — 307, 308, 316, 347, 353, 374, 390, 400-404, 421-425, 443-446
Кирилл Владимирович — 389
Клук А. — 295, 296
Ключевский В.О. — 52
Ковалевский М.М. — 318
Коковцов В.Н. — 313, 245, 248, 253
Колчак А. В. — 436
Коновалов А. И. — 265, 340, 369,400
Конт О. — 192
Коперник Н. — 171
Корнилов Л.Г. — 441, 442
Корфы — 85
Кошен О. — 178, 179, 193
Кривошеий А. В. — 307, 314
Крыжановский С.Е. — 33, 35, 223, 239, 249
Кулябко Н.Н. — 259, 260
Курлов П.Г. — 261, 371
Куропаткин А.Н. — 28, 48
Лавров П.Л. — 195
Лазаверт С.С. — 360—362
Ленин В.И. — 265
Леруа-Болье А. — 189
Ли Хун-чжан — 27
Лист Ф. — 107
Ллойд Джордж Д. — 445
Локк Д. — 172, 173, 175, 188

Лопухин А.А. — 35
Львов В.Н. — 400
Львов Г.Е. — 246, 319, 368, 369, 383, 400-402, 440
Львов Н.Н. — 246
Людендорф Э. — 294
Людовик XVI — 442
Маклаков В.А. — 47, 48, 313, 314, 359
Маклаков Н.А. — 221, 304, 371
Манасевич-Мануилов И.Ф. — 348
Мануйлов А.А. — 400
Мария Федоровна — 70, 310, 445
Марков Н.Е. — 350
Маркс К. — 186-188,198, 199, 201
Мартынов А.П. — 344
Мартынов Е.И. — 379, 406
Маслов П.П. — 206
Махайский Я. — 187
Мельгунов С.П. — 396
Менделеев Д. И. — 78
Милюков П.Н. — 48, 60, 206, 254, 344, 347-350, 374, 399-403, 409, 421-424, 437, 438, 440
Мисес Л. — 185
Михаил Александрович — 383, 417-419, 422-424, 440
Михайличенко — 224
Мольтке Х., младший — 299
Мольтке Х., старший — 271
Монтень М.— 170
Мосолов А.А. — 358
Мосоловы — 85
Моэм С. — 15
Мстиславский С.Д. — 442, 443
Набоков В.Д. — 34, 401, 423, 428
Нарышкин К.А. — 417
Нейдгарт О.Б. — 229
Некрасов Н.В. — 368, 400
Николай I — 80
Николай II — 22, 27, 28, 30, 31, 36, 41, 44-46, 49-54, 58-60, 64-66, 70-73, 82-85, 98, 211, 212, 245, 275, 292, 308-316, 329-331, 338, 351-353, 355, 357, 364-368, 373, 382, 383, 386, 387, 410-421, 439-445
Николай Михайлович — 351, 365
Николай Николаевич — 64, 276, 280, 282, 287, 292, 295, 300, 308, 369, 415, 420, 430
Николсон А. — 228
Ниловы — 85
Ницше Ф. — 266
Нокс А. — 274, 281, 295, 333, 335
Нольде Б.Э. — 423
Носарь Г.С. — 19,61,71
Оболенский А.Д. — 63, 64
Павел I — 355
Павлов И.А. — 204, 205
Палеолог М. — 83
Парес Б. — 88, 300, 335
Парето В. — 170
Петр I — 89, 94, 122, 147
Петрункевич И.И. — 206, 246
Плеве В.К. — 21-26, 29, 30, 38, 39, 102
Плеханов Г.В. — 199
Победоносцев К.П. — 36, 100, 101
Поливанов А.А. — 282, 283, 303, 304, 310, 316, 331, 332, 356, 357
Потоцкий — 258
Притвиц Ф. — 293, 294
Протопопов А.Д. — 336, 337, 339—342, 352, 355, 358, 366, 369-373
Пуришкевич В.М. — 360—363, 374
Радзивилл — 372
Распутин Г.Е. — 83, 304, 309, 3303, 339, 355-364

Ренненкампф П.-Г. К. — 293, 293
Родзянко М.В. — 306, 310, 315, 340, 346, 377, 378, 389, 423
Родичев Ф.И. — 234
Рожественский З.П. — 49
Розанов В.В. — 439, 446
Рузвельт Т. — 49
Рузский Н.В. — 371, 385, 386, 412-417
Рухлов С.В. — 286
Рябушинский П.П. — 307
Саблер В.К. — 304
Савинков Б.В. — 19, 29
Савич С.С. — 415
Сазонов С.Д. — 275, 298, 313, 332
Самарин А.Д. — 314
Самарин Ю.Ф. — 160
Самсонов А. В. — 292—294
Сахаров В. В. — 415
Святополк-Мирский П.Д. — 31 —37, 41, 42
Сергей Александрович — 25, 26, 36, 44
Сергей Михайлович — 335, 411,412
Сергиевич В.И. — 17, 18
Сипягин Д.С. — 22, 203
Скобелев М.И. —390, 431
Соколов Н.Д. — 405, 406
Сократ — 172
Спиридович А.И. — 354
Станкевич В.Б. — 394, 429
Стеклов Ю.М. — 399,431
Столыпин П.А. — 30, 70, 73, 212, 228-264, 291, 353
Струве П. Б. — 15, 30, 58, 209, 210, 215, 402
Суханов Н.Н. — 377, 405, 431, 436
Сухомлинов В.А. — 275, 276, 280—282, 288, 290, 303, 304, 315
Тарановский Т. — 97
Тенньес Ф. — 170
Терещенко М.И. — 368, 400
Того Х. — 49
Токвиль А. — 178, 183
Толстой Л.Н. — 78, 125, 150, 154, 163
Трепов А.Ф. — 352-354, 358, 365, 437
Трепов В.Ф. — 255-257
Трепов Д.Ф. — 25, 42, 49, 56, 60-64
Троцкий Л.Д. — 71, 189, 190, 374, 399, 430
Трубецкой Е.Н. — 21,67
Трубецкой П.П. — 377
Трубецкой С.Н. — 35, 51, 55, 57
Тьер А. — 379, 406
Успенский Г.И. — 156
Фалькенгайн Э. — 295
Федоров СП. — 417
Федосеевы — 85
Фердинанд, эрцгерцог — 274
Филипп, знахарь — 85
Филипповский В.Н. — 431
Фондаминский И.И. — 206
Фредерикс В. Б. — 417, 436, 441
Фредериксы — 85
Фулон И.А. — 38, 39, 41
Хабалов С.С. — 371, 374, 376, 379, 381, 417
Хатисов А.И. — 369
Хвостов А. — 314, 327
Хрусталев П.А. — см. Носарь Г.С.
Церетели И.Г. — 395, 431
Чайковский П. И. — 78

Челноков М.В. — 307
Чемберлен У.Г. — 439
Чернов В.М. — 204, 434
Чехов А.П. — 78, 154, 194
Чхеидзе Н.С. — 308, 316, 353, 374, 385, 390, 431, 442
Шидловский Н.В. — 43
Шидловский СИ. — 346
Шингарев А.И. — 400, 434
Шипов Д.Н. - 33, 35, 67, 222, 234, 246
Шляпников А.Г. — 376, 385
Штюрмер Б.В. — 331, 337, 344-348, 352-355
Шуваев Д.С. — 355, 396
Шульгин В.В. — 346, 350, 409, 416-418, 421
Шульц-Геверниц Г. — 148, 149
Шумпетер Й. — 167
Щегловитов И.Г. — 304, 333
Щербатов Н.Б. — 314
ЭвертА.Е. — 415
Эллюль Ж. — 201
Энгельгардт А.Н. — 161, 162
Энгельс Ф. — 188, 198, 199
Эрнст Людвиг Гессенский — 338
Юсупов Ф.Ф. — 358-363
Юсупова И.А. — 359
Юсупова-Эльстон З.Н. — 359
Янушкевич Н.Н. — 276

Содержание

Предисловие к русскому изданию 2005 года 5
Предисловие к первому русскому изданию 8
Вступление 10
Глава первая. 1905: первый гром 15
Глава вторая. Государственный уклад России 75
Глава третья. Сельская Россия 127
Глава четвертая. Интеллигенция 167
Глава пятая. Конституционный эксперимент 211
Глава шестая. Мировая война 268
Глава седьмая. Приближение катастрофы 320
Глава восьмая. Февральская революция 372
Примечания 447
Именной указатель 475

Ричард Пайпс
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Книга 1. Агония старого режима. 1905—1917
Переводчики
Михаил Тименчик
Сергей Струков (предисловие)
Редактор Игорь Захаров
Художник Григорий Златогоров
Верстка Кирилл Лачугин
Корректор Мария Антонова
ISBN 5-8159-0527-5
Директор издательства Ирина Евг. Богат
Издатель Захаров
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9

(Рядом с Никитскими Воротами, отдельный вход в арке)
Тел.: 291-12-17, 258-69-10
Факс: 258-69-09
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: zakharov@dataforce.net
Подписано в печать 16.06.2005. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 2000 экз. Изд. № 527. Заказ № 467.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru